

Ф АИТАКТЫКА, 1962



ФАНТАС-
ТИКА,
1962
ГОД

Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1962

СТРАННИК И ВРЕМЯ

1

За этот срок Земля постарела на триста лет.

Мои чувства не хотели примириться с тем, что теперь меня окружало. По земле уже ходили другие люди, потомки моих исчезнувших современников. Мое имя напоминало им о парадоксе, об одном исключительном случае, о загадке, смущавшей специалистов.

Сознание, что я никогда не увижу ни родных, ни друзей, никого из своих современников, что их уже нет, приводило меня в отчаянье. За триста лет изменилось все, и только на ночном небе так же свежо и молодо сверкали звезды.

Когда-то в детстве (страшно сказать, триста с лишним лет назад) я прочел старинный роман про удивительного странника Мельмота, ему причудливыми и щедрыми обстоятельствами была дарована слишком долгая жизнь. Согласно с суевериями далекого века, там не обошлось без злых и потусторонних сил... Мечтательная романтическая сказка, плод фантазии старинного писателя и, разумеется, эксперимент, маленький и невинный, игра со временем и пространством.

Я тоже был материалом в руках экспериментатора. И в конце концов он и не знал, будет ли мое

новое появление на свет вторым рождением или пробуждением после долгого, слишком затянувшегося сна. Он не был также уверен — вернется ли вместе со мной в мир мое прошлое, резервированное в тех участках мозга, которые умеют остановить миг, спрятать его впрок, чтобы повторить, когда в этом возникнет надобность. Предусмотрительный и педантичный, он записал все, что я помнил, с помощью электронного аппарата-новинки на тот случай, если это будет все же не пробуждение после долгого сна.

Только с помощью эксперимента можно проверить истинность гипотезы. Но этот эксперимент должен был пережить и самого экспериментатора и всех его учеников, и истинность гипотезы должны были установить биофизики, которые еще не родились.

Отдав себя в руки экспериментатора, я, казалось, отказался от всего, что может доставить радость человеку, — от современности, от друзей, от знакомых, от личных пристрастий и привычек. Взамен этого мне было обещано почти бессмертие. Я отдавал свою жизнь как бы в долг. Один из сотрудников нашей лаборатории, Алешка Димин, сострил по этому поводу не веселому поводу:

— В долг? Но с процентами, да еще с какими!

Через триста лет я снова должен был ожить, вернуться в мир, обрести чувства и разум.

Экспериментатор — пора назвать его имя — Всеволод Николаевич Обидин был скромен, сдержан, не любил громких слов, чуждался славы и только однажды на публичной лекции позволил себе назвать тему, над которой работал, «проблемой временной смерти», о чем сразу же и пожалел, потому что это выражение попало в печать и вызвало усмешку на лице профессора Чемоданова и даже легкий академический смешок, немножко похожий на кашель...

— Жизнь, — сказал Чемоданов Обидину, смакуя каждое слово и подчеркивая его голосом, — жизнь — состояние временное, согласен. Но смерть — это от-

рицание времени, что, я думаю, не может быть предметом дискуссии, настолько это неоспоримый факт.

Обидин не стал возражать. Да и к чему? Действительно, смерть — отрицание жизни, но то, что он имел в виду, вовсе не отрицало жизни, наоборот, оно говорило об удивительной силе жизни, способной преодолеть время, как бы задержав его, или, вернее, прервать поток времени, а потом вновь соединить. Нет, он не хотел говорить об этом с Чемодановым. Он предпочитал говорить с ним о самых обыденных вещах, о расписании дачных поездов Ленинград — Зеленогорск, о свежих огурцах, об электрической бритве, продающейся в магазине новинок на Невском.

Мне приходилось вспоминать факты довольно большой давности. Между событиями, лежащими по ту и по эту сторону, промежуток в триста лет. Но, как сейчас, я вижу наш научно-исследовательский институт, раздевалку с задремавшей вахтершей, коридор, монтера с времяяжкой и водопроводчика Гришу, вечно что-то поправлявших и ремонтировавших, институтский буфет с пышной буфетчицей Соней, давно невымытые окна, строгую, надменную, пожилую секретаршу в канцелярии и ученого секретаря, бегущего к директору с какой-то бумажкой.

Наша лаборатория была на третьем этаже, рядом с буфетом. На стене висело чье-то изречение, звучавшее примерно так: «Исследовать — значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто».

Попав впервые в эту лабораторию, я был приятно поражен при виде этого изречения, показавшегося мне глубоким и оригинальным. Ведь я пришел туда, окончив философский факультет. О профессоре Обидине я слышал еще в университете, что он экспериментатор, только экспериментатор и недолюбливает всякие мудрствования, философствования и теоретические спекуляции. Странно, что меня допустили в это «святое святых» экспериментальной биофизики, меня, знакомого с естественными науками только

умозрительно и теоретически, да и то в связи с тем, что я изучал на философском факультете. Казалось, и в этом случае возобладали экспериментальные интересы руководителя лаборатории, пожелавшего рискнуть и проверить, на что может быть годен человек, окончивший теоретический факультет.

Здесь нужны были ловкие, быстрые, расторопные руки, умеющие приготовить препарат или провести опыт, руки, прежде всего руки, а потом уже все остальное.

А что я знал о своих руках, о их ловкости и точности их движений? Я родился в семье историка. Когда в квартире гасли электрические лампочки из-за того, что перегорали пробки, вызывали монтера. Гвоздь в стену вбивала мать. Да, я слишком мало знал о своих руках, гораздо меньше, чем о своей памяти, о своем воображении, о своем умении вникать во внутреннюю суть вещей и явлений. Здесь нужны были мои руки. Только руки. Даже не я сам. И вот я начал знакомство со своими собственными руками.

Мне дали ключ и попросили достать из шкафа банку со спиртом. Меня предупредили, что наклейке с надписью «осторожно, яд» не нужно верить. Уборщица Дорофеева имеет пристрастие к спиртным напиткам. Я взял ключ, сунул его в замочную щель, повернул, но дверца шкафа не раскрылась. Я стоял перед шкафом, вертел ключ и влево и вправо, а секунды текли, и дверца не открывалась.

Потом послышались неторопливые шаги. Рука Обидина протянулась за ключом, и не поддававшаяся моим усилиям дверца сразу же открылась.

Обидин с удивленным любопытством посмотрел на меня, на меня и на мои руки. Потом он каждый раз смотрел на меня, каждый раз, когда у меня не получался опыт или когда мои неловкие руки роняли что-нибудь в спешке. Он смотрел молча. И только однажды, когда я уронил на пол сосуд с жидким кислородом и чуть не на ногу ему, он сказал, мило и терпеливо улыбаясь:

— Да, у вас руки настоящего теоретика.

Как только я начал сознавать себя, как только научился видеть и понимать то, что меня окружает, я уже знал, что у меня есть имя.

Меня звали Павликом, позже Павлом, а еще позже я узнал, что у меня, кроме того, есть и фамилия — Погодин и отчество — Дмитриевич.

Я воспринимал свое имя как нечто возникшее вместе со мной, неотделимое от меня, слово, выражавшее меня всего от ног до головы и отделявшее от других.

Помню, как меня удивило и даже несколько обескуражило, когда я познакомился с мальчиком, которого звали так же, как и меня, Павликом. Он ничуть не был похож на меня, но меня и его называли одним и тем же именем, намекая на то, что имя вовсе не выражает сущности того, кто его носит, а скорее создано для удобства, как номер телефона, квартиры или автобуса.

Но в этой новой эпохе, в которой я очутился благодаря тому, что ученым удалось прервать и снова возобновить мою жизнь, я оказался человеком без имени. Да и кому бы пришло в голову называть меня Павлом Дмитриевичем, когда я вовсе не нуждался в имени и отчестве. Меня отличало от всех других, существовавших одновременно со мной, нечто более значительное, чем имя: возраст. Ведь мне недавно исполнилось триста тридцать пять лет. Меня и без имени знала вся планета, называя человеком XX столетия, выходцем из прошлого. Имя мне заменяло время, которое я представлял, время и пространство, потому что и пространство стало иным. Пассажирские линии соединяли Землю с Марсом, с Венерой и с другими планетами солнечной системы, и слово «Земля» звучало сейчас, как в мое время звучали слова «Московская область». Имя мне заменял мой мир, исчезнувший в истории, но не потерявший своей реальности, запечатленный в памяти электронных аппаратов, на пленке кинолент и магнитофонных записей... И все же самой реальной и вещественной при-

метой минувшего был я — представитель своего времени, своим существованием как бы соединивший две эпохи.

О новом мире я знал еще пока очень мало. Ведь не так уж много времени прошло (всего неделя), как я ожил или проснулся после затянувшегося на целых триста лет сна.

Мое новое существование началось в том же самом экспериментальном отделении дискретной жизни института биофизических проблем, где, как выяснилось, я пролежал сотни лет в том загадочном состоянии, которое ученые назвали парадоксальным термином: «временная смерть».

За эти три столетия, разумеется, здание перестраивалось много раз, и только то помещение, где я лежал, оставалось нетронутым, архаичным, построенным из глиняного кирпича и гранита.

Эксперимент, в сущности, еще продолжался. Правда, я ожил, но разве дело было только в этом? Какие изменения произошли в моем организме при переходе от состояния временной смерти к состоянию жизни, явления тоже временного, интересовало медиков, биофизиков, физиологов и кибернетиков. Ко мне пока не допускали никого, кроме специалистов, и даже историки и нетерпеливые журналисты должны были ждать, когда доступ в мое помещение станет более свободным.

И в пору прежней моей жизни — и не очень ли странно звучат эти слова, как будто у одного человека может быть две жизни? — скажем точнее и осторожнее — и прежде мне доводилось не раз болеть и лечиться в больнице, я и тогда остро чувствовал, что больной для врачей не только и не столько личность, сколько организм, в котором протекают интересующие специалистов процессы, но здесь я чувствовал это во много раз острее.

Здесь я был организмом. О том, что я, кроме того, и личность, все забывали. Правда, один из биофизиков, наиболее чуткий и внимательный, называл меня по имени и отчеству, желая этим подчеркнуть, что

он рассматривает мою особу не только как общее и универсальное, но и как частность.

— Добрый день, Павел Дмитриевич, — обычно этими словами он приветствовал меня. И на лице его появлялась симпатичная улыбка.

Мне не хочется обвинять в бессердечности и сухости других медиков и биофизиков, более сдержанных и державшихся со мной более отчужденно. Ведь я был в их глазах представителем минувшего времени, времени утраченного и необратимого, и своим существованием приводил их в замешательство. Я протизоречил логике, здравому смыслу и загадочным возвращением из небытия ставил под сомнение все привычные представления о жизни и смерти.

Для ученых этого мира я не был личностью. Ведь все, что вызвало в них такой острый интерес ко мне, относилось не к моей личности, а к моему организму и его функциям. Их меньше всего интересовало мое «я», именуемое Павлом Дмитриевичем, а больше всего то, что было обобщено, — типичным и связанным с человечеством, жившим три столетия тому назад.

Я смотрел на них, людей двадцать третьего века, с не меньшим изумлением, чем они смотрели на меня. За три столетия человеческий облик изменился не так уж сильно, но все же изменился. В них, в этих людях, в их лицах и в их позах чувствовалась сдержанная сила и нечто прекрасно-гармоничное, напоминавшее о живописи Леонардо.

Успокоенность и статичность? Нет. Именно сдержанность, чувство собственного достоинства и нечто другое, новое, незнакомое и трудно определяемое, особенно сильно проступающее в выражении глаз, внимательно смотревших на меня, глаз, чей опыт был на триста лет богаче моего.

Говорили они кратко, математически логично и ясно, словно анализируя вслух задачу.

— Ваша восприимчивость после отчуждения? — спросил меня один из них.

— Какого отчуждения? — не понял я.

Он усмехнулся.

— Отчуждения временной смерти.

— Воспринимаю все так же свежо и остро, как вчера.

— Какое вчера? — переспросил он. — Вчера, то есть накануне сегодня или триста лет назад? Для вас ведь это тоже вчера.

— Для меня, но не для вас.

— Да, меня тогда не было, — сказал он спокойно.

— Но зато вы знаете все, что произошло за эти триста лет, а я не знаю.

— Не спешите. Узнаете и вы.

— Когда?

— Когда окрепнет ваш организм.

3

Я вспоминал. Уж не собирался ли я восстановить свое утраченное прошлое мгновение за мгновением? Нет, в этом пока не было никакой надобности. Ученые проверяли силу моей памяти, да и, кроме того, им хотелось узнать кое-что о далеком прошлом от очевидца, а не слушать длинную исповедь.

И вот я вспоминал то, что было триста лет тому назад, словно все это случилось только вчера.

Голоса моих современников приблизились ко мне, сквозь время пробился и голос той, которая впоследствии стала моей женой. В сущности, память и есть самое удивительное чудо. Она соединяет «здесь» и «теперь» с «тем» и «тогда», то есть с тем, чего уже нет.

— Павел, — говорит Оля, — ты с ума сошел! Зачем ты привел меня сюда, в этот сквер? Мы разбудим старушек-пенсионеров, которые дремлют на солнышке.

— Здесь хорошо, — говорю я и показываю ей на молодые деревья, окутанные весенней зеленой дымкой, на многоэтажный дом с окнами синими, как речная студеной струя, на девочку, прыгающую на песчаной тропинке.

— Павел!

Когда она произносит мое имя, мне кажется, что я слышу его впервые.

— Павел!

Она произносит его не так, как другие. Звук словно становится легким и глубоким, как эхо в лесу, как вздох. Это отражение моего «я» в ее сознании и голосе.

— Павел! Посмотри вон туда.

Я смотрю. На скамейке сидит пара: старик и старуха. И оба дремлют.

— Муж и жена. Сразу видно. Прожили вместе долгую счастливую жизнь.

— Разбуди их. И спроси: были ли они счастливы?

— Были, — говорит Ольга. — Но завидовать им не стоит.

— А я все-таки завидую этому старцу. Он всегда вместе со своей спутницей. Всегда рядом, не то что мы.

— Ты думаешь, что и мы когда-нибудь будем вот так дремать на солнышке?

Мы сидим на скамейке в сквере. Вокруг нас прозрачный, весенний, звенящий мир. Над крышей многоэтажного дома плывет облако. Оно плывет медленно-медленно. Мы оба сидим и прислушиваемся к тому, что не вне, а внутри нас. И мне кажется, что мгновение остановилось, чтобы продлить радость нашей встречи.

Вместе с мгновением остановилось все. Весь мир ждет, терпеливо ждет в наступившей тишине, чтобы не помешать нам. Не слышно ни трамваев, ни троллейбусов. Даже быстрая ласточка как бы остановилась в полете. Она летит и не летит. И девочка, казалось, застыла, сделав прыжок.

— Завтра я уезжаю, — говорит Оля.

— Куда?

— В Москву. К тете.

— Надолго?

— На три недели.

«Господи, на целых три недели», — думаю я.

Мне не приходит в голову, что наступит такой

день, когда мы расстанемся с Олей не на три недели, а на триста лет.

Я жил тогда на набережной реки Мойки, на самой тихой улице Ленинграда. Напротив нашей квартиры косо стояли подстриженные тополя. По утрам улица гулко молчала, и окаменевшая вода неподвижно лежала в сыром гранитном ущелье. Я был тогда студентом философского факультета. Мне представлялось, что все предметы ждали того странного часа, когда их заставит заговорить и раскрыть свой смысл, свою сущность какой-нибудь вновь родившийся Гегель. Он ударит по вещам и явлениям, как по клавишам рояля...

Я юношески остро чувствовал скрытую музыку за каждой мелочью быта. Все казалось мне значительным: полоска заката на сумрачном небе, ветка клена, восклицание кондукторши в автобусе, афиша на стене, улыбка на лице прохожего, бой стенных часов, результат футбольного матча сборных Ленинград — Тбилиси, шум дождя.

Я думал, что философия — это что-то вроде ключа, которым можно открыть все явления и вещи, как двери. Стоит только сказать вслух:

— Сезам, откройся!

Но Сезам не открывался. Ни мне, ни даже тем, кто читал лекции и писал учебники. Впрочем, это я понял позже, уже учась на втором курсе. Понял и почему-то очень огорчился.

Жизнь шумела, как шумит летний дождь. Пахло травой и мокрыми ветвями. Временами гремел гром. Это гремело нетерпение, сидевшее внутри меня. Чего я, собственно, ждал? Я ждал того же, чего ждут все юноши на свете. Я был почти пьян от ощущения бытия, от радости, что я живу, вижу, хожу, читаю, дышу.

Утром, подойдя к окну, я смотрел на улицу с таким удивлением словно она только что возникла из небытия. Ну, а весь мир, разве он не сейчас проснулся вместе со мной?

Но речь шла только о том мире, который был за окном. Все, что пребывало в квартире, свидетель-

ствовало об устойчивости и постоянстве. Иногда мне казалось, что квартира и семья возникли намного раньше, чем весь остальной мир. Буфет и обеденный стол были намного старше вселенной.

Мать в халате и в стоптанных шлепанцах несла сковородку с шипящей колбасой. Отец хмуро читал газету. Не глядя на меня, он спрашивал рассеянно:

— Ну, что там у тебя?

— Ничего. Полный порядок.

— А с Папиросником как? Наладилось?

— За кого ты меня принимаешь, отец? Папиросник догматик, невежда, серый человек, хоть он и написал брошюрку о Спинозе.

— Знаю.

— Ну, а раз знаешь, зачем же спрашиваешь?

Отец молчит и с интересом смотрит на меня. Он забыл о жареной колбасе и о газете. Я заметил, интерес его ко мне возникает временами. В такие минуты он смотрит на меня не то испуганно, не то изумленно.

— Я спрашиваю, потому что хорошо знаю жизнь. А ты знаешь ее плохо. Стоит ли связываться с Папиросником?

— В прошлый раз, — перебиваю я отца, — он поставил мне неудовлетворительную отметку за отличный ответ. Папиросник думал, что это я ему прислал на лекции записку, которая начиналась словами: «Мы, философы...» Это его любимая фраза. Он не понимает, как она нескромно звучит — «мы, философы!». А за душой несколько скучных и примитивных брошюр.

— И все-таки не стоило посылать записку с такими словами. Зачем? Грубо и бессердечно.

— В тебе говорит профессиональная солидарность. Ты тоже профессор.

Отец преподает историю. Его узкая специальность — эпоха итальянского Возрождения. Уже много лет он пишет книгу о Леонардо да Винчи.

Когда отец говорит о Леонардо, он преображается. Лицо его свежее, в глазах появляется юношеский блеск. Потом блеск исчезает, и отец снова ста-

новится отцом и профессором, усталым и прозаичным человеком, похожим на своих обыденных коллег. В самом имени Леонардо есть что-то возвышающее и чудесное. Оно как утро, как удар колокола, как облако, отраженное в синеве лесной реки, как внезапное прозрение. В нем есть что-то от космоса и от земли... Я знаю: интерес отца к Леонардо это не просто профессиональный, академический интерес. В свое время для докторской диссертации отец взял другую тему. Интерес отца к Леонардо юношески чист, наивен. Он возник в отце задолго до того, как он стал профессором и сделал знание истории предметом материального благополучия семьи. Все свое свободное время отец посвящал размышлениям об удивительнейшем из людей. Он пытался шаг за шагом мысленно восстановить жизнь этого человека и ту неповторимую духовную атмосферу, которая его окружала... Он пытался, как казалось мне в юности, сделать невозможное, победить время и оживить того, кого давно уже нет.

Иногда отец словно забывал о том, что Леонардо жил в XVI веке, и говорил о нем так, будто только вчера с ним расстался.

Но бескорыстный интерес к Леонардо не мог заполнить все время отца, отец читал довольно скучные лекции, заседал и писал равнодушные академические статьи для разных исторических изданий. В нем загоралась искра, только когда речь заходила о Леонардо, потом прометеев огонь потухал и начиналась академическая жизнь, неинтересная и вялая, как учебник истории для вузов.

4

Обидин поручил мне провести опыт с дрожжевыми грибочками.

Я начал с того, что заразил питательную среду (самое обычное сусло) подопытными организмами. Для дрожжевых грибочков сусло — рай, мир изобилия. Но они, бедные, не подозревают, что я сейчас заморозю этот рай вместе с ними. Ведь температура

жидкого азота, куда я их опущу, ниже ста восьмидесяти градусов.

Затыкаю пробкой пробирку с суслом. Сыплю в химический стакан теплоизоляционную мипору. Осторожно кладу туда пробирку с микроорганизмами. Затем погружаю стакан с пробиркой и мипорой в жидкий азот, погружаю медленно и осторожно, чтобы брызги не попали в теплоизоляционную прослойку и не вызвали слишком быстрого замораживания.

Но вот все сделано, и я смотрю на часы. И вдруг у меня рождается сомнение: не забыл ли я по рассеянности прокалить «петлю» (длинную иглу), прежде чем подцепить ею грибки и положить в пробирку с суслом?

Я начинаю опыт снова. Накалив петлю и дав ей остыть, я подцепляю разводку микроорганизмов и опускаю в питательную среду. Снова обкладываю пробирку мипорой. Снова погружаю химический стакан в жидкий азот.

Для таких низких температур существует специальное название: глубокий холод. Сейчас в «глубину» этого холода погружены крошечные организмы-клетки, которые должны совершить прыжок через «ничто».

Что значит должны? Не они должны, а я должен их заставить, проявив искусство экспериментатора.

На другом столе ждет конца опыта люминесцентный микроскоп. Он бесстрастен и точен, как мысль математика, как глаз марсианина, взглянувшего на вас или вернее через вас в бездонный мир относительности, в малый мир увеличивающегося пространства.

Через час я взгляну в этот бесстрастный мир, и ожившие, вынутые из глубины холода дрожжевые грибки окрасятся в радостный светло-зеленый цвет, мертвые же — в мрачный коричнево-желтоватый. Немножко похоже на картину художника-сюрреалиста, пытающегося передать сущность бытия и небытия с помощью всего-навсего двух красок.

Если мертвых окажется больше, чем живых, то

вряд ли Обидин признает опыт удавшимся. Он сложит губы в жалостливую усмешку и скажет всего одно слово:

— Диапауза.

Но как скажет! Буквально врежет в сознание. Диапауза — это строго научное слово. Оно выражает состояние покоя, в которое впадают насекомые под влиянием низких температур. Это приспособительная реакция, жизненная пауза, своего рода вынужденная остановка. Но у нас в лаборатории это словечко имеет другой смысл, оно обозначает, что кому-то что-то не удалось, кто-то снебрежничал, схалтурил.

На ручных часах истекают минуты, предназначенные для опыта. Я грею воду, быстро вынимаю химический стакан из жидкого азота и погружаю его в теплую воду. Там не спеша оживают любители сула.

Я готовлю препарат, окрашиваю микроорганизмы акридином оранжевым и смотрю в люминесцентный микроскоп. Затем начинаю подсчет. Нет, Обидину не придется жалостливо усмехаться. Восемьдесят процентов живых. Опыт удался. И, конечно, не благодаря какой-нибудь случайности, а только моим рукам, наконец-то научившимся ловко и точно работать.

Я снова смотрю в микроскоп на микроорганизмы, сделавшие прыжок через «ничто», и мне, разумеется, не приходит в голову, что когда-нибудь и мне придется испытать то, что уже испытали они, оторвавшись от скользящего мгновения.

В половине второго я бегу перекусить в институтский буфет, предварительно заглянув в соседнюю комнату, где работает Алексей Димин со своей художавой миловидной помощницей, у которой такая странная фамилия: Зет. В шутку у нас называют ее Икс-Игрек. Но она не сердится. Ей нравится ее абстрактная математическая фамилия.

В узком коридорчике я встречаю профессора Чернявского — низенького, коренастого, с гордой осанкой. Это очень острый момент. Я не знаю, здороваться

мне с ним или нет. И все-таки здороваюсь. Он презрительно косится на меня и чуть заметно кивает своей несоразмерно большой головой.

Чернявский презирает меня. За что? Пока это в институте никому не известно. И, разумеется, меньше всех мне. Сначала я обнадеживал себя, думая, что Чернявский держится со всеми так же, как со мной. Но вскоре я в этом разубедился. Так вот подчеркнуто недружелюбно и сухо здороваюсь он только со мной да еще, пожалуй, с Чемодановым.

То, что я попал в одну компанию с Чемодановым, меня удручает. За что не любит меня Чернявский? Что я сделал ему плохого?

Я слишком много думаю об этом старике. Одно время я предположил, что это склочник, злой, бездарный и несправедливый человек. Но это не подтвердилось. Наоборот, он принципиален, образован, вежлив, доброжелателен и талантлив. В конце сороковых годов он пострадал, отстаивая свои научные взгляды. Его противники вытеснили его из лаборатории. Рассказывают, что он, не склонив головы, вынес из лаборатории пробирки с дрозофилами. Прошло несколько лет, и мушки дрозофилы были реабилитированы. Они снова честно служили познанию, так же как и Чернявский.

Оттого что Чернявский усомнился во мне, я сам начинаю в себе сомневаться. Может, я действительно совершил недостойный поступок, ставший известным Чернявскому? Но когда? И уж кто-кто, а я-то должен бы об этом знать.

Лаборатория генетики в том же коридоре, что и наша. Хочу я этого или не хочу, но я вынужден встречаться с Чернявским часто. И каждый раз на его лице появляется выражение, от которого мне становится не по себе.

Вот и сейчас в буфете... Я сижу у окна. Рядом со мной свободное место. Единственное свободное место. Все остальные заняты. Входит Чернявский. Он предпочитает есть стоя, чем сесть рядом со мной. Это уже чересчур. Я вскакиваю и демонстративно покидаю буфет. Но никто не замечает моей демонстрации.

Забегая вперед, я должен сказать, что только через триста лет мне удалось, наконец, узнать, за что невзлюбил меня Чернявский.

5

На этот раз я проснулся после обычного и не затянувшегося на триста лет сна. И посмотрел. Вокруг меня стояли привычные вещи.

Наверно, для того, чтобы я не чувствовал всей шемящей сердце, пугающей, головокружительной необычайности другой, незнакомой эпохи, вокруг меня создали искусственную обстановку остановившегося времени.

На стене висели те же самые часы, что и триста лет назад. И стена тоже была прежней. Я узнал и шкаф, тот самый шкаф, который, к своему великому стыду, я не сумел открыть в первый день, когда поступил на работу в лабораторию профессора Обидина. В шкафу стояли те же склянки, что и тогда, даже стеклянная банка с наклейкой «яд!». На какую-то долю минуты меня охватывает сомнение. Может быть, мне все это приснилось?

Ответа нет.

И вдруг до меня доносится голос. В этом голосе есть что-то знакомое. Где и когда я его слышал? И только через несколько мгновений я догадался, что слышу самого себя. Кто-то включил электронный аппарат, мою память.

— Всеволод Николаевич, — умоляет мой голос, — Всеволод Николаевич, поймите! Я слишком молод для мемуариста. И, кроме того, я не могу вспоминать по заказу! Не могу!

До меня доносятся эти мои слова, произнесенные триста лет назад. Затем наступает пауза.

Тишина. По-видимому, аппарат выключили. Звук собственного голоса, только что слышанный, словно позвал меня из исчезнувшего времени. Я вздрогнул.

Потом я долго лежал с сильно бьющимся сердцем, словно навсегда утраченное прошлое было тут же, рядом со мной.

Тут рядом. Что это значит? Не значит ли это, что я сейчас увижу родных и друзей? Всех, кроме Оли. Время Оли еще не наступило. Она улетела в далекий космический рейс и должна вернуться на Землю приблизительно через триста обычных земных лет. Могу ли я увидеть снова старушку мать и сына Колю, шестилетнего мальчугана?

Утром, прежде чем идти на работу в институт, я завозил Колю в детский сад на Васильевском острове, а вечером после работы заезжал за ним. Он уже ждал меня в коридоре, возле своего гардеробчика, где висели его шубка и шапка. Он сам надевал шубку и боты и шел со мной к троллейбусной остановке.

Однажды он спросил меня:

— Скоро вернется мама?

Я не ответил.

Он посмотрел на меня и повторил свой вопрос:

— Скоро?

Я промолчал.

Не мог же я ответить ему, что его мать вернется через несколько сот лет, когда не будет на Земле ни его, ни меня, ни наших внуков и правнуков. Для нас с ним и для всех наших современников она умерла. Но она была жива, она летела в космическом пространстве, и тонкий, как игла, пучок электромагнитных волн и световых лучей, посланных с атомной радиостанции космолета, пока сообщал нам о ее самочувствии и здоровье.

— Скоро? — снова спросил Коля.

— Нет, не скоро, Коля. Очень не скоро.

Я смотрел на свои ручные часы, где лихорадочно быстро двигалась красная секундная стрелка. Там, на космическом корабле, где жила Ольга, часы на много лет отставали от моих. Но если бы я стал объяснять это Коле, он бы не понял меня. Шестилетним детям невозможно объяснить теорию относительности. Детям? Да и взрослым очень трудно понять, что время замедляется от скорости движения. Нужно

буквально вывернуть логику наизнанку, чтобы понять и поверить в то, что наши с Колей дни равняются почти минутам там, где сейчас пребывает Ольга.

В выходные дни я гулял с Колей, читал ему сказки. Тогда я еще не думал о том, что добровольно покину его. Для меня он так и остался шестилетним белобрысым Колей. А ведь он стал Николаем Павловичем и, возможно, дожил до глубокой старости, так и не дождавшись возвращения матери и пробуждения отца.

Я лежал с сильно бьющимся сердцем, словно прошлое было тут, за стеной.

Биофизик подошел ко мне и сказал приветливо и спокойно:

— Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Как вы себя чувствуете?

Хотя он не раз посещал меня, я не знал его имени. И вот сейчас я спросил, как мне его называть.

— Павел Погодин, — ответил он.

— Но ведь я Павел Погодин! Я!

— Я тоже, — ответил он ласково и тихо.

— Однофамилец?

— Не совсем. Отчасти и родственник. И к тому же тезка. У вас есть возражения?

— Помилуйте! Как я могу возражать? Законы природы...

— Да, ничего не поделаешь. Законы... Я прямой ваш потомок. Если вы не забыли, после наступления вашей временной смерти остался ваш сын.

— Коля?

— Николай Павлович, — поправил он меня. — Он женился. У него было четверо детей.

— Он не мог жениться и иметь детей. Ему было всего шесть лет.

— Но к шести годам вы должны прибавить еще триста.

— Моя логика все еще не может освоить этот странный факт. Мне все еще кажется, что я приду

домой и увижу Колю. Вчера меня вдруг охватило беспокойство. Я думал о том, что опоздаю на целый час в детский сад за Колей и воспитательница будет пробирать меня за неаккуратность.

Я помолчал, а затем с грустью добавил:

— Но оказалось, я опоздал не на час, на три столетия.

— Опоздал? — Биофизик улыбнулся. — Бессмысленное слово. Особенно в ваших устах. Куда опоздал? Почему? Не думайте об этом. Не надо. Не сожалеете. Вы оторвались от своей эпохи и обрели другую. Это знакомо не вам одному.

— Разве?

— Я говорю о космонавтах дальних экспедиций. Но обретенное ими время слито с пространством, которое они преодолели. Вас же развремнили, разорвав ваше бытие на две части. Но память ваша действует неплохо, в чем мы имели возможность убедиться. Она свяжет две половины разорванного бытия... В сущности, и в этом нет ничего неестественного. В миниатюре каждый испытывает это, ложась вечером спать, а утром просыпаясь. Ваш сон несколько затянулся. Вот и все.

Я смотрел на него, я удивлялся все больше и больше. Моя логика не могла примириться с этим алогичным фактом. Передо мной стоял мой отдаленный потомок, и мы с ним были не только в одной комнате, но и в одном времени.

— О чем вы думаете? — спросил он меня тихо.

— Все о том же. Об алогизме всего того, что сейчас происходит со мной, о несоответствии всему тому, к чему я привык.

— Так ли уж это алогично? Обстоятельства забросили вас в двадцать третье столетие. Но ведь был более удивительный случай, когда человека двадцать третьего столетия судьба забросила в шестнадцатый век.

— О каком человеке вы говорите?

— О великом художнике и инженере Леонардо да Винчи.

— Но время необратимо. Как это могло быть?

— Мы как-нибудь вернемся к этой теме. Я должен покинуть вас на несколько дней. Послезавтра я выступаю с докладом на конференции биофизиков космической станции в окрестностях Венеры. До свидания.

Он ушел, так и не объяснив, что он имел в виду, когда говорил о Леонардо. Вероятно, он шутил. Как мог человек из будущего попасть в прошлое?

Я лежал и вспоминал все, что я знал о великом художнике итальянского Возрождения.

После смерти моего отца, историка, всю жизнь изучавшего XVI век, я нашел в ящике его письменного стола большую и чрезвычайно интересную статью о Леонардо.

Мне вспомнилась фраза из этой статьи, чуточку загадочная и странная, принадлежавшая не отцу, а цитируемая им из какой-то книги об итальянском художнике:

«Мир красоты у Леонардо изображается так, как если бы действительность уже была глубочайшим образом приспособлена к человеку, как если бы смягчились все ее антагонизмы и все ее движения выровнялись. Нет жесткости, нет угловатости, нет грубости и резкости связей и переходов...»

Эта мысль пронизывала всю статью отца. Его страстно интересовал вопрос, почему Леонардо, живя в таком неустроенном и грубом веке, изображал другую, бесконечно более совершенную действительность, и изображал ее так, словно отлично знал ее.

Поставив этот вопрос перед самим собой и перед читателем, отец так и не успел ответить на него. Ему помешала смерть. Но ведь ход отцовских мыслей говорил о том, что он был близок к раскрытию какой-то большой тайны.

И вот я снова услышал загадочные слова о Леонардо от биофизика, своего тезки и потомка.

Я помню шубу профессора Чемоданова. Ее шил в ателье на Литейном лучший портной города.

К шубе Чемоданова в институте относились по-

чительно. Ее вешали в особом углу на отдельном крючке, и вахтерша сидела целый день, охраняя ее и боясь отлучиться. Там на этом крючке висела и его фетровая шляпа.

Когда Чемоданов шел, все оглядывались. Он, как и его шуба, был сделан из особого материала. Он шел, заполняя собой пространство и время. И время тоже! На полном, чисто выбритом его лице играла снисходительная улыбка.

Мы (под словом «мы» я подразумеваю сотрудников нашей лаборатории), мы были отчасти довольны, что Чемоданов нас терпел, что он мирился с нашим существованием и с нашими проблемами. Мы хотели только одного, чтобы он оставил нас в покое, забыл о нашем существовании.

Чемоданова в институте уважали. За что? Трудно ответить на этот загадочный вопрос. Может быть, за то, что он сумел внушить всем — от директора до вахтерши — превратное представление о своей особе. Чемоданов только тем и занимался, что уважал себя. На это он тратил уйму времени. Он вкладывал в это столько таланта, столько старания, столько страсти, что достиг того, чего хотел. Его действительно уважали. Уважали потому, что он сам уважал себя. К его словам прислушивались. Помню, как я сам, слушая его речь на заседании Ученого совета, ловил каждое слово и искал в нем сокровенный и глубокий смысл.

— Великое павловское учение, — говорил Чемоданов, — открывает перед нами... Открывает перед нами... — он делал паузу с мастерством актера. И голос у него тоже был актерский. Я напрягал все свое внимание, ожидая услышать что-нибудь новое...

И действительно, речь Чемоданова производила на меня некоторое впечатление, но не смыслом, а скорей интонацией. Каждое слово Чемоданова было похоже на него самого. Оно требовало к себе уважения. Почему? За что? Это уже другой вопрос.

Да и как было не уважать Чемоданова! Он был такой солидный, внушительный, каждое слово, произнесенное им, приобретало какую-то особую реальность, словно в смысл и звучание этого слова Чемо-

данов вкладывал самого себя со своим чисто выбритым полным лицом, со своей снисходительной улыбкой.

Я уже упоминал о том, что Чемоданов снисходил к нам, мирился с нашим существованием. Вероятно, это было ему не легко, потому что в глубине души ему не могло нравиться то, чем мы занимались.

— Дискретные явления жизни, — как-то сказал он, остановившись возле дверей нашей лаборатории, — анабиоз... Ну что ж, проживем, увидим.

Жаль, что ему не пришлось прожить триста лет. Что бы он сказал сейчас, увидев меня среди людей далекого будущего? Он бы сказал своим солидным голосом:

— Чепуха! Метафизика! Вредные фантазии!

И я уверен, что люди бы поверили ему, а не фактам. Уж слишком он был солиден и убедителен, убедительнее всяких фактов.

Иногда он исчезал. Уезжал в командировку или в отпуск. Его отсутствие ощущали все. В институте чего-то не хватало. Чего? Трудно сказать... Но вот он появлялся снова. На его полном, чисто выбритом лице играла улыбка, но уже не та снисходительная, что была раньше, а другая. Эта улыбка выражала нечто значительное, она как бы говорила о том, что во время своего отсутствия Чемоданов приобщился к каким-то тайнам. Он что-то знал. Он один да еще господь бог. Они оба. Эта улыбка наводила на всех уныние, вселяла шемящее чувство неуверенности и беспокойства, словно Чемоданов знал что-то, касающееся всех и всего — и сотрудников и лабораторий, но пока держал это втайне.

Спустя неделю эта улыбка исчезала, и лицо Чемоданова снова приобретало снисходительное выражение.

— Ну, что у вас там? — остановив меня или Димина, спрашивал он доверительным тоном. — Дискретные явления? Сомнительные явления! Сомнительные! Но проживем, увидим.

Сколько же лет он собирался жить? Ему было под шестьдесят. Я так и не знаю, сколько он прожил:

Помню, незадолго до генерального эксперимента, с помощью которого я победил время, мы с Всеволодом Николаевичем Обидиным проходили по Невскому проспекту и случайно остановились возле ресторана. У ярко-ярко освещенного окна за толстым стеклом сидел Чемоданов, священнодействуя с блюдом, которое ему только что подали. Ресторанное стекло, как рама картины, выделяло его из всего окружающего мира.

Прошло полминуты, не больше, но мне показалось, что время исчезло, остановилось и Чемоданов в своей стеклянной раме победил бренность и слился с вечностью, живой и трепещущей, как миг.

6

Мой тезка и потомок, биофизик Павел Погодин принес с собой какой-то незнакомый мне предмет, сделанный, по-видимому, из синтетических материалов, поставил его и спросил:

— Хотите совершить маленькую прогулку?

За триста лет я ни разу не выходил из своего помещения и даже вздрогнул от этого неожиданного предложения.

— Когда?

— Когда хотите, хоть сию минуту.

— Но я еще не брился. Мне нужно переодеться.

— Зачем? Вы можете лежать, как лежали. Мы даже не будем убирать стен. Для чего? Мир придет сюда к нам. Время и пространство.

— Что-то вроде кинохроники, — сообразил я, — но где же экран?

Павел улыбнулся.

— Кинохроника? Древнее слово. Его помнят разве только историки культуры. Нет, речь не о столь примитивном отражении мира, а о чем-то, как вы убедитесь, более реальном, вещественном и более интимно связанном с тем, что вокруг нас и в нас самих. Кинохроника, насколько я представляю, всегда отражение прошлого, очень недавнего, но прошлого. Хоть на день, но все же отставание от «теперь» и

«сейчас». А тут речь идет о синтезе прошлого, настоящего и будущего. Не только об отражении, но о реальном, вещественном синтезе, как вы сейчас убедитесь. «Тогда», «теперь» и «завтра», пронизанные диамикой.

— Что это — искусство или жизнь? — спросил я.

Он уклонился от ответа.

— Поговорим об этом потом.

Он нажал кнопку аппарата и сразу исчез, как будто провалился сквозь землю. Исчезло всё, что меня окружало: стены, вещи. Исчез и я сам. Я уже не ощущал своего тела, словно пребывал одновременно и здесь и там. Но где и что это «здесь» и чем оно отличается от «там»?

Мир вдруг стал беспредельным, словно в комнату, где я только что лежал, вошла вселенная. Затем исчезнувшее на миг мое «я» вернулось ко мне. Я летел в прозрачном аппарате над песчаной пустыней.

Красивый женский голос сказал негромко:

— Марс. Море времени.

Он был близко, этот чудесный мелодичный голос, и одновременно бесконечно далеко, словно в прошлом. В нем была конкретная реальность настоящего и что-то от воспоминания.

— Пролив Нереид.

Молчание.

— Северный сырт. Утопия.

Потом, как на картине итальянского Возрождения, я увидел лицо девушки на фоне неба, и оно чудесно ожило приближаясь. Мелодичный голос произнес вне и внутри меня:

— Эллада. Море змей.

Ощущение полета во сне. И музыка в ушах. Сердце бьется учащенно.

Внезапный поворот во времени и пространстве. И вот я уже иду по аллее сада. Впереди прозрачная стена. За стеной ничто. Вакуум. Бездонное и пустое пространство.

Голос девушки, словно приближаясь — не то из

прошлого, не то из будущего, — говорит, преодолевая время:

— Межпланетная космическая станция Балашево.

Я иду и иду, и тонкая прозрачная стена отделяет меня от физического «ничто», от вакуума. Возле прозрачной стены у самого «ничто» играют дети.

Мяч летит. Он ударяется в прозрачную стену и без звука отлетает от нее. Стена беззвучна.

Я подхожу к детям. Их четверо: две шестилетние девочки и два мальчика. Один совсем крошка. Карапуз смотрит на меня, вытаращив синие глазенки.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Витя.

— А что там за стеной?

— Пустота, — отвечает он равнодушно.

— А ты не боишься туда провалиться?

— Чего бояться. Стена. Она высокая-высокая. Катя вчера сказала: «Она до неба». Но здесь ведь нет неба, дядя. Небо только на земле.

Снова ощущение легкости, ощущение полета во время сна. И музыка.

Передо мной озеро. Сквозь прозрачную синеву воды видно, как плывет окунь.

Рядом с плывущим окунем возникает поле ржи. Над рожью облако. Я иду по тропе во ржи. Где-то близко поет жаворонок. Озеро и рожь сливаются, как слова в стихотворении. Близко возле меня плывет окунь. Я вижу, как шевелятся его красные плавники.

Вся свежесть мира здесь, рядом, внутри и вне. Безмятежно и хорошо, как бывает только рано утром.

Доносится ржание лошади. Этот звук словно перемещает пространство. Возле меня синева леса. Белка скользит между косматых ветвей лиственницы. Острый запах хвои.

Резкий поворот. И опять ощущение полета во сне.

Я вижу своего отца. Он сидит за обеденным столом и смотрит на меня из-под густых седых бровей.

— Леонардо, — говорит он, размышляя вслух, — был удивительной личностью. В этом отношении он похож на свое время.

И вдруг к воспоминанию об отце присоединяется нечто, никогда не виданное мной и непредставимое.

Фабрика фотосинтеза. Я стою возле аппарата, который ловит солнечный луч и превращает его в органическое вещество.

Передо мной возникает ветвь яблони с красными яблоками, ветвь, созданная как бы из ничего.

Все окутано тихой мелодией: машины, люди и роботы, похожие на людей.

Девушка-робот спрашивает меня:

— Вы устали?

— Ничуть.

Она стоит возле меня, и мне кажется, что я слышу, как бьется ее сердце. На ее невыразительном лице появляется улыбка.

— Как вас зовут? — спрашиваю я.

— У меня нет имени, — отвечает она. — Да и зачем оно мне? И что такое имя?

— Имя — это слово, — говорю я, — отнюдь не выражающее сущность того, кто его носит.

— А что такое сущность? У меня нет сущности. Я не человек. Я — робот. Мою сущность меняют сообразно программе. Я — явление. Явление без сущности. — Она рассмеялась. — Мы затеяли с вами слишком серьезный разговор. Я — механический помощник. Мое дело угадывать желания людей и служить им. Не огорчайтесь. У меня нет души.

— У вас нет души? — удивленно воскликнул я. — Тогда у кого же она есть, душа?

— У людей.

Она любезно улыбнулась и исчезла.

И сразу исчезла фабрика фотосинтеза.

Возник космический пейзаж, черное небо, полное звезд. Меня снова охватило ощущение беспредельности.

И вдруг мир укоротился. Я снова в той комнате, в которой триста лет протекли быстро, как час.

Павел Погодин, потомок мой, стоял возле моей постели.

— Ну как вам понравилось путешествие? — спросил он меня.

— Путешествие? А я думал, сновидение, хотя мир слишком реален, слишком веществен для сна.

— Еще бы, — усмехнулся он. — В реальности того, что вы видели и пережили, не приходится сомневаться. Это была действительность в снятом виде. Вернее, сгусток ее.

— Но у этой действительности причудливая логика сна или волшебной сказки.

— Не совсем, — перебил он меня, — сон, в сущности, алогичен. А в том, что вы видели, была логика, но вы ее не уловили.

— И все-таки жизнь это или искусство?

— Хотите поговорить на философско-эстетические темы? Ну что ж, если вы не устали, я прочту вам что-то вроде лекции... В палеолитическую эпоху неизвестный и безымянный охотник смешал охру с жиром и изобразил на стене пещеры бегущего быка. Это была первая человеческая попытка схватить движение, а следовательно, пространство и время и передать их сущность. Вы мне скажете, что живая речь, язык, слово, осмысленный звук, проникшийся плотью вещей и чувств, возникли раньше рисунка. Но линия и цвет могли передать то, что не могло передать слово, — пространство, движение во всей жизненности. От палеолитического рисунка до кинокадра и телевидения прошло тридцать тысяч лет. Ваша жизнь прервалась, точнее говоря — замедлилась как раз в эпоху расцвета кино и телевидения. Ну, а что произошло за эти триста лет? Человечество победило пространство и время. Наука и техника нашли новый способ отражения текущего бытия, они смогли остановить мгновение и, наоборот, запечатлеть эйнштейново время, дали человеку возможность пребывать в различных пунктах мироздания. Вы скажете, что и кино с телевидением давали возможность, сидя у себя дома, обозревать весь земной шар. Но в нашем новом способе видения мира есть принципиаль-

ное отличие от старого. Новое видение — это синтез ваших опредмеченных размышлений и дум с живой реальностью, снятой в обычном времени и времени эйнштейновом, где скорость равна скорости света... Но я вижу, вы утомились. А вам нельзя переутомляться. Пока нельзя. Итак, до завтра, дорогой Павел Дмитриевич.

7

Проходя по коридору, я каждый раз ускорял шаги, чтобы не встретиться с Чернявским. Он делал вид, что не замечает меня. Я тоже делал вид. Но еще как замечал! Он был для меня самым заметным человеком в институте.

В лаборатории генетических проблем, которой руководил Чернявский, я бывал всего два раза, хотя она находилась рядом с нашей лабораторией. И не потому, что меня не интересовала генетика, а потому, что там работал Чернявский.

В лабораторию генетических проблем мог войти каждый, кроме меня да еще, кажется, Чемоданова. Таким образом, между мною и Чемодановым протянулась невидимая нить. Мы оказались с ним рядом. У нас не было с ним ничего общего. Ровно ничего. Но Чернявский, по-видимому, придерживался на этот счет другого мнения. Почему? Оставалось только гадать. Я не собирался выяснять свои отношения с Чернявским. Пока не собирался. Для этого я был слишком самолюбив.

Все старались напомнить мне о нем. Как раз в эти годы генетика вместе с кибернетикой стали самыми модными науками. А профессор Чернявский ведь пытался соединить эти две науки — кибернетику и теорию наследственности. И сотрудники нашего института, особенно молодые, ни о чем так много не говорили, как о последних работах Чернявского.

Живые существа и время! Узел времени, такого странного и загадочного, узел, куда сходились все нити, мгновения и века, держал в своих руках этот темноволосый, коренастый человек с тем, чтобы развязать его, этот узел, раз навсегда. Что это означает?

Не означает ли это, что Чернявскому откроется тайна жизни и тайна времени и он увидит ту точку, то непостижимое, откуда все началось? Но если так, он почти бог, бог экспериментальной биологии. Молодежи он и казался таким вот богом. И он, этот бог, невлюбил меня. Хорошо, что об этом почти никто не знает. Но кое-кто уже догадывается. Маша Зет, помощница Алешки Димины, спросила меня недавно:

— Что это Чернявский морщится, когда завидит тебя?

— А может, тебя, а не меня?

— Нет. Со мной он как со всеми. Мил. Приветлив.

Я не стал продолжать этот разговор. В лаборатории Чернявского работало много молодых сотрудников и сотрудниц. Многие из них приглашали меня заглянуть к ним, но я каждый раз отвечал:

— Некогда. — И делал вид, что меня несколько не интересует генетика. А она меня очень интересовала.

Чернявский, так казалось мне тогда, создал в своей лаборатории нечто вроде станции, что-то вроде переговорного пункта. Он расположился как бы в самом центре времени и бытия. Нуклеиновые кислоты и опыты с дрозофилами информировали его о тех таинственных процессах, которые соединяют нас с предками и потомками. Он знал код, шифр, с помощью которого все поколения всех живых существ на земле могли вести беседу, ни на секунду не прерывая ее в течение сотен миллионов лет.

И вот этот человек разглядел во мне нечто такое, чего не разглядели другие и даже я сам. Не мог же он относиться ко мне так без всякой причины. И я сам искал в себе эти недостатки, почти уверенный, что они у меня должны быть.

Мы жили с Ольгой на даче в Карташевке. Коле было всего полтора года. Он учился произносить первые слова, называя вещи теми именами, которые им дали люди, жившие задолго до нас.

Колю мы видели только по выходным дням. Утром мы уезжали на работу, когда он еще спал. Вечером мы приезжали слишком поздно. Но зато выходные дни проводили с ним, уводили его гулять в тенистый карташевский лес.

Мы садились на полянке, расстелив на траве плащ. Ребенок играл, собирал шишки, а мы сидели и разговаривали. Оля редко рассказывала о своей работе. Она работала в физиологической лаборатории, изучавшей космические проблемы. А я, начинающий цитолог, смотрел на физиологию немножко свысока, как многие цитологи и биофизики, считая, что физиология после смерти Павлова и Орбели топчется на месте...

— Ну что у вас нового в институте? — спросил я, однако, все же думая про себя: что может быть нового в науке, в которой свило уютное гнездо так много посредственных и консервативных людей, людей, умеющих делать ложнозначительную мину, вроде нашего Чемоданова?

Ольга рассмеялась.

— Представь себе, этот же вопрос мне задал сегодня один слишком развязный очеркист и тоже таким же высокомерным тоном. «Девушка, — сказал он мне, — у вас такое выражение лица, словно вы собираетесь играть в чеховской пьесе». — «Допустим, — ответила я, — ну и что же?» Он усмехнулся и сказал: «Чеховским героиням ближе вишневый сад, чем электромагнитное поле Земли...»

— Отчасти он прав, этот журналист. Ты действительно похожа на чеховскую героиню.

— Благодарю за комплимент.

Мы беспечно разговаривали, не думая ни о чем серьезном, играли с ребенком. Над нами висело безоблачное июльское небо. Где-то в лесу куковала кукушка, протяжно и мелодично, словно вливая в свой светлый звук все лесное безмятежное прекрасное летнее бытие.

К вечеру мы вернулись домой, на столе лежала телеграмма. Я распечатал ее и прочел: «Приезжай тяжело болен отец».

Отца в живых я уже не застал. Он лежал на своем старом диванчике, холодный и отчужденный, безмолвный слепок того, кем он был.

Через неделю после похорон, просматривая отцовские рукописи, я обнаружил незаконченную статью о Леонардо да Винчи, которая меня чрезвычайно заинтересовала.

Впрочем, это была не статья, а скорее дневник. Слишком много личного. И, может быть, именно поэтому я с необычайной остротой почувствовал, что связывало моего отца, человека, в сущности, очень обыкновенного, заурядного профессора, с одним из гениальнейших людей далекого прошлого. Между тем и другим стояла стена из нескольких веков. И дело было не только в том, что мой отец изучил все, что оставил после себя Леонардо, но в том, что он мысленно восстановил его личность, его внутренний мир и его время. Но главное не это. Меня ошеломила мысль, что Леонардо был как бы заброшен из будущего, где значительно изменились человеческий ум и человеческие чувства.

Эта мысль была фантастичной, она противоречила всему тому, что я знал об отце, человеке чрезвычайно трезвом, историке, признававшем только документ, только факты, и притом проверенные по многу раз. И вдруг эта мысль, романтическая и наивная, ничем не подтвержденная, противоречащая логике, здравому смыслу. Уж не воображал ли отец, что Леонардо ребенком был доставлен с другой планеты?

Я рылся в черновиках отца, ища продолжения статьи. Мне хотелось получить ответ на вопрос, который меня страстно занимал. Но черновики не имели никакого отношения к незаконченной статье. Это были скучные, написанные сухим академическим языком страницы учебника истории для вузов. В них, в этих страницах, отразилась та половина личности моего отца, которую так ценили некоторые его коллеги, доценты и профессора, влюбленные в бесстрастную и сухую точность и не понимавшие, что жизнь, история и документ — это не одно и то же.

Всеволод Николаевич Обидин редко пользовался отпуском. Увлеченный работой, он обычно и лето проводил в своей лаборатории. Но в этот раз он решил отдохнуть: слишком знойное и душное стояло лето.

Обидин не любил санатории, дома отдыха, дачи, предпочитая странствования по незнакомой местности с рюкзаком за спиной. Мы провожали его на перроне Московского вокзала в Горный Алтай, желая ему счастливого пути. Но путь оказался не очень-то счастливым.

Через две недели от Обидина пришла открытка, адресованная всем сотрудникам лаборатории, восторженно описывающая красоты алтайской природы. Но вслед за открыткой прибыла телеграмма, из которой мы узнали, что наш шеф лежит в горноалтайской больнице, что у него сломана нога в результате «микроркатастрофы» (обидинское словечко) на Семинском перевале. Что это была за «микроркатастрофа», мы так и не узнали.

Открытки и письма, которые посылал нам наш шеф из больницы, были с юмором, чуточку, правда, нарочитым и демонстративным, свидетельствовали не столько о душевном настроении и самочувствии писавшего, сколько о его желании казаться веселым и бодрым.

Вернулся Обидин неожиданно, без всякого предвещения, похудевший, прихрамывающий, необычайно бодрый и энергичный. За два месяца пребывания в больнице у него родилась идея, которая торопила и его, и его врачей, и природу, заставив его стать здоровым раньше срока.

Что это была за идея?

Пока о ней знали только я и научный сотрудник Димин, но знали не так уж много. Обидин, в сущности, показал нам только леса, а не само здание.

Помню, как после разговора с Обидиным я возвращался из института на дачу. Размечтавшись, я проехал свою остановку и ждал обратного поезда в Сиверской. Гремела гроза с молнией и дождем. Но

я почти ничего не замечал, весь погрузившись в лихорадившие меня мысли.

В продолжение многих лет Обидин вел опыты и исследования над клетками. Ему не раз доводилось замедлять жизнь клеток, почти приостановив ее ход, и, преодолев значительное время, снова возвращать их к бытию. Сейчас речь шла уже не об отдельных клетках, а об организме в целом, организме — этой сложнейшей системе из всех систем. Клетки выдерживают замедление, почти остановку, жизненных процессов, но выдержит ли нервная система, мозг? Сохранится ли или, вернее, возобновится ли само сознание?

Наконец подошел поезд. Я сел в вагон и сразу, забыв, куда я еду, погрузился в размышления. Я опомнился только тогда, когда увидел, что снова проезжаю знакомый мне домик.

В этот раз я уже не стал ждать поезда, а пошел пешком под проливным дождем.

— Что это? — спросила Ольга, увидев меня, промокшего и усталого. — Уж не шел ли ты пешком из Ленинграда?

— Почти угадала, — сказал я, — я так торопился домой, что не дождался поезда.

— Это похоже на тебя. Ты нетерпелив. И в Ленинграде всегда ходишь пешком, чтобы не стоять на остановке и не ждать автобуса. Медленнее, но зато без ожидания.

— А что, если бы жизнь шла без ожидания?

— Тогда бы неинтересно было жить.

Я переоделся, рассеянно и наскоро поужинал, подошел к кровати, где спал Коля, постоял и отошел.

— Чем ты так взволнован, Паша? Что случилось?

— Ничего. Лично со мной ничего. Но мир изменится, изменится все, если удастся реализовать новую идею Обидина. Изменятся вещи, понятия, время, сама жизнь, слова. И особенно изменится слово «ждать».

Ольга рассмеялась.

— Ты хочешь сказать, что ты станешь более тер-

пеливым, разучишься нервничать и торопиться? Что это за идея?

Мы проговорили почти до рассвета.

Ольгу идея Обидина увлекла не меньше, чем меня. Если опыт удастся, то в биологической науке произойдет грандиозный скачок и живые организмы обретут почти бессмертие, жизнь удлинится почти безгранично и индивид будет длиться во времени, побеждая его.

Мы сидели рядом и смотрели друг на друга, словно наука уже подарила нам безграничную власть над временем.

— Интересно, — спросила Ольга, — кому Обидин поручит вести этот опыт? Если тебе, то тебе придется и ночевать в институте...

9

Я сделал всего несколько шагов по комнате — от стены, где стояла койка, до дверей. Дверь раскрылась. Еще шаг, и этот шаг сказочно растянулся и перенес меня в другой мир.

Рядом со мной шел мой тезка и потомок Павел Погодин.

— Чутьочку медленнее, — сказал он. — Вам еще нельзя ходить так быстро.

И как только раскрылись двери, пространство сдвинулось.

Приятное ощущение легкости и свободы овладело мной. Так я чувствовал себя в юности или в детстве.

— Далеко ваша квартира?

Павел рассмеялся.

— Квартира? Недавно я вспомнил это допотопное слово, перечитывая «Преступление и наказание». Гениальный роман! Нет, я живу недалеко. На берегу горной реки Катунь. В шести тысячах километров от места работы.

— И поспеваете на работу? В мое время скорый поезд доставлял пассажира из Ленинграда на Алтай за пять суток.

— Сейчас я трачу на это сорок, сорок пять минут, не так уж мало, если учесть, что требуется столько же времени на обратный путь. Полтора часа...

— Почему так далеко?

— Край нравится. Заповедное место. А я помещан на рыбной ловле. Люблю бродить по лесу. Когда-то существовало такое милое словечко «бродяга».

— А сейчас не существует?

— Возможно, и сохранилось где-нибудь в далеких уголках мира, где-нибудь на Сатурне или на Венере. Романтическое словечко, чуточку, правда, театральное. А еще было слово «странник». Оно уже вышло из употребления, кажется, в ваше стихийно-буйное время. В детстве я увлекался исторической лингвистикой, коллекционированием старинных слов...

Мы мило болтали. А пространство и время между тем делали свое дело. Им даже не надо было менять декорации. Сорок пять минут быстрого движения, отчужденного от всего окружающего, — и вот мы уже в Горном Алтае.

Мы очутились с Павлом на тропе в пихтовом лесу. Круто убегала звесь гора, и гремела прозрачная река.

Я остановился, жадно вбирая в себя грохот, гром, звенящее падение воды, весь этот пахнущий пихтовыми ветвями мир. Остановился и мой тезка-потомок.

— А где же поселок? — спросил я.

— Поселок? Здесь поблизости нет населенных пунктов. Живу я со своей семьей. Дом в трех шагах отсюда, в лесу.

— Робинзонада?

— Ничуть. И какое может быть одиночество, когда любого, самого отдаленного пункта планеты можно достичь за час пребывания в машине быстрого движения. До ближайшего населенного пункта три минуты.

— И все живут так вот на лоне природы?

— Нет, разумеется, не все. Ведь не все любят природу.

— А насколько же увеличилось население планеты за эти триста лет? И разве может хватить на всех желающих вот таких красивых уединенных ландшафтов?

— Людей действительно много. Во много раз больше, чем в двадцатом веке. Но ведь один экономист прошлых столетий подсчитал, что если бы люди всего мира собрались в одном месте на митинг или на грандиозную сходку, они заняли бы площадь не больше Баденского озера в Швейцарии. Вся остальная поверхность земли на эти часы осталась бы свободной от человека. Человечество, взятое вместе, составляет очень небольшую часть всей живой массы планеты, растительной и животной. Людей сейчас во много раз больше, чем триста лет назад, но всем хватает места. И по очень простой причине — благодаря средствам передвижения, транспорту, возможности быть здесь и везде. А кроме того, новые средства связи. Пребывая здесь, на берегу Катуня, я могу общаться с друзьями, удаленными на сотни километров, с новоселами Венеры, Марса и всех бесчисленных космических станций.

— Здесь и везде, — повторил я, — там и тут. Но не означает ли это, что не тут и не там, везде и нигде. Не есть ли это распыление сил, чувств, мыслей, самого бытия?

— Так думали противники технического прогресса, новой научной и технической революции. Они предполагали, что слишком быстрое движение лишит личность глубины и содержательности, сделает человека суетящимся, вечно куда-то спешащим существом. Но они ошиблись. Быстрота движения не помешала людям размышлять, чувствовать полноту и прелесть бытия, наоборот, человек освободился от спешки, от нетерпеливой заботы чего-то не успеть, куда-то опоздать. Он знает, сколько минут и часов от дома до места работы и от места работы до любого пункта солнечной системы. В наше время опаздывает только тот, кто этого очень хочет! Но идемте! Нас ждут. Тропа ведет прямо к дому.

Воздух был синь и прозрачен, как река. Река неслась и шумела внизу под скалой. На другом берегу стояла гора.

Я крикнул. И, как в раннем детстве, радостно и протяжно мне ответило густое эхо из леса.

Я крикнул еще раз. И бытие мое как бы раздвоилось. Два голоса окликали друг друга, разделенные скалой.

Для чего я кричал? Уж не искал ли я сам себя в этом новом мире. Я словно не верил в свое существование и хотел снова и снова убедиться в том, что я живу, дышу, двигаюсь, вижу и слышу.

Прекрасное спокойствие окружало меня. Лес. Прозрачная, неистово несущаяся по камням горная река. И толстые белые березы рядом с черными пихтами, карабкающимися на круто уносившуюся ввысь гору.

Я стоял на тропе.

Меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Это был мой тезка и потомок Павел. Он держал в руках два длинных бамбуковых удилица. Одно удилице он передал мне вместе с прозрачной, как воздух, коробкой, где бились толстые слепни. Они бились, не замечая перегородки, отделяющей их от мира.

— Ловили когда-нибудь хариусов? — спросил Павел.

— Не довелось, — ответил я. — Ведь прожил-то я всего тридцать пять лет. И много еще не успел в том мире, вернее — в том времени, в котором жил раньше.

— Да, это верно. У вас ведь два опыта, две жизни. Та и эта. Два начала. Ну что ж! Разве это так уж плохо?

По узкой тропе мы спустились к реке. Я выбрал самого толстого, упитанного слепня, надел его на крючок и, взмахнув удилицем, далеко закинул леску с наживкой.

Через минуту я забыл о своем спутнике. А он, вероятно, забыл обо мне. Наличное бытие, весь этот

прекрасный, сказочно растянувшийся миг, наполненный звенящей водой и прозрачной синью, принял меня со всем моим прошлым, замкнув в этом покое.

Леска натянулась. Хариус схватил наживку.

Сколько длился этот миг? Казалось, он длился долго-долго. Натянувшаяся леса соединяла меня с хариусом, с рекой, прохладно несущейся по камням, и с чем-то еще, не воспринятым моими обострившимися чувствами.

Миг превратился в день, а затем в неделю.

Я гостил у Павла, подружился с его семьей.

Павел и его семья жили в небольшом, сказочно менявшемся доме с убирающимися стенами. По желанию живущих стены дома становились то глухими к шуму, слепыми и не пропускающими света, то идеально прозрачными и зоркими, вбирающими в себя все окружающее пространство: реку, горы, небо, облака, всю убегающую за горизонт даль. Когда они были не нужны, они просто исчезали.

В доме, что меня поразило, не было вещей. Вещи появлялись, да, именно появлялись по мере надобности вместе с желаниями живущих: ночью — одни, утром — другие, в обеденный час — третьи. Затем они словно растворялись в воздушной среде и теряли свои очертания.

Быт без вещей был прекрасен, как природа. Ничто не отяжеляло взгляд, не отнимало пространства ни в доме, ни возле дома. Воздух, деревья и стены, похожие на струю горной реки.

— И в городских домах тоже нет вещей? — спросил я Павла.

— Они и есть и их нет, — ответил Павел. — Они появляются по желанию и исчезают. Правда, еще есть люди, которые любят вещь. Ее предметное, тяжелое, осязаемое бытие. Но это их специальность. Ведь эти люди работают в музеях истории быта. Сейчас невозможно смотреть без улыбки на все эти буфеты, комоды, столы, стулья, кровати, горшки. Тяжелые, неуклюжие предметы, красноречиво повествующие о жизни всех этих владельцев движимой и

недвижимой собственности. Собственность. Смешное и нелепое слово! Как слово «таракан». Тараканов давно уже нет. Их изучают палеоэнтомологи... В нашем мире вещь перестала быть вещественной. Слилась с желанием человека. Сказочная мечта о ска-терти-самобранке осуществилась. Теперь вещи служат человеку, находясь в пространстве и времени ровно столько, сколько это нужно. Затем их вещественное бытие как бы исчезает. Вместо вещей — функции, действия.

Я жил, жадно и остро вбирая в себя все, что меня окружало. Второе детство, вторая юность, вторая зрелость, другая жизнь.

Мальчика, сына Павла, игравшего в пихтовом лесу, звали Коля. Ему было пять с половиной лет, почти столько же, сколько моему Коле, когда эксперимент, проделанный надо мной Обидиным, навсегда разлучил нас с ним и перенес меня из одного времени в другое.

Этот Коля чем-то был похож на моего мальчика, своего предка. Впрочем, в этом возрасте все мальчишки похожи друг на друга. Он играл в лесу на поляне недалеко от дома. У него не было игрушек фабричного производства. Он сам мастерил их. Как я позже узнал, ребенка не хотели приучать к готовым вещам и предметам, сделанным чужой рукой, он сам создавал мир вокруг себя.

Появлялся Коля дома только на час, на два. Затем машина быстрого движения уносила его в интернат, расположенный за несколько тысяч километров от дома. Няня была не нужна. Машина с роботом, заменявшим и шофера и няню, доставляла Колю до места. Пятилетний мальчик не боялся остаться наедине с роботом в машине быстрого движения. Ведь путешествие занимало всего несколько быстрых минут, скользивших привычно и почти незаметно. Оптический аппарат, включенный во время движения, мог в любое мгновение показать мальчику милую улыбку мамы и строгий взгляд отца, принести слова ласки и одобрения из пространства, как бы находящегося и далеко и рядом.

Даль и близь сливались воедино, «тут» и «там» подчинялись желанию Коли, в чьем распоряжении были машина и робот. Но мог ли он улететь куда-нибудь дальше интерната или сделать посадку ближе? Я этого пока еще не знал. Я о многом еще не успел спросить Павла, его жену Аню и самого мальчика. Кроме них, в доме жила еще старушка, Анина мать — Людмила Сергеевна. Из всей семьи она одна смотрела на меня настороженно, чуточку испуганно, хотя и тщательно старалась скрыть свои чувства. Виновата ли она была в том, что ее здравый смысл пожилой женщины не мог примириться с парадоксальностью моего существования, объяввшего две разные эпохи и пребывавшего в течение трехсот лет по ту сторону и жизни и смерти? Едва ли! Здравый смысл говорил ей, что в этом кроется что-то непонятное и почти сверхъестественное, противоречившее всему ее личному житейскому опыту, помноженному на опыт многих поколений. Правда, тут были замешаны науки и эксперимент. Ну и что? Здравый смысл и инстинкт житейской трезвости подсказывали ей, что дело идет о чем-то сомнительном и недостоверном. Она смотрела на меня, как в мое время слишком трезвые и осторожные люди смотрели на фокусника в цирке, творившего мнимые чудеса при помощи ловких рук и профессиональных навыков и при этом повторявшего назойливо и фальшиво:

— Граждане, чудес не бывает. А есть только наука и искусство.

Уж не фокусник ли я, не профессиональный ли обманщик, пробравшийся в их дом с какой-то явно сомнительной целью?

Какое я имел право — если это было на самом деле — нарушить логику жизни, извратить законы природы и появиться снова на свет после долгого пребывания «нигде» и в «ничто»?

Людмила Сергеевна не могла ко мне привыкнуть. Я этого не мог не заметить. Вероятно, она с нетерпением ждала, когда пройдут все сроки оказанного мне гостеприимства и я вернусь туда, где пребывал так долго, играя в прятки с временем и судьбой! Сро-

ки! Нет, о сроках пока не было речи. Я гостил, и гостеприимные мои хозяева Павел и Аня не напоминали мне о том, что пора переменить обстановку. Может быть, следовало мне самому напомнить им об этом? Но имел ли я право распоряжаться своим временем и желаниями? В какой-то мере я был экспериментальным материалом, и все зависело от ученых, изучавших дискретные явления жизни и их последствия для человеческого организма.

Людмила Сергеевна наблюдала за мной, по-видимому, вопреки своему характеру, чуждавшемуся всего странного, загадочного и двусмысленного, наблюдала из любопытства. Я замечал иногда взгляд ее глаз, привыкших иметь дело с обыденным, домашним, интимным, приуроченным к человеческим навыкам и чувствам, я был для нее словно призрак, обязанный сейчас же исчезнуть, испариться. Но призрак вел себя слишком естественно: он ел, кашлял, жаловался на головную боль, он рассказывал Коле старинные сказки про милых и наивных зверей.

В свою очередь, я тоже наблюдал за Людмилой Сергеевной. Она была тем, что в мое время называли домашней хозяйкой. В отличие от дочери, зятя и внука она не отлучалась на долгие часы из дома. Она пребывала здесь, среди этих стен. Ей не надо суетиться, спешить на рынок, в булочную или в прачечную. За нее это делали роботы, автоматические слуги, полумеханизмы-полуорганизмы. Внутри них происходили такие же быстротечные и сверхэкономные биоэнергетические процессы, как в живом человеке... Что значит сила привычки! Людмиле Сергеевне они казались не более необычными, чем ветви столетней сосны, стоявшей возле дома. В то время как я, обычный человек, не урод и не покойник, одним своим наличием приводил в крайнее замешательство ее рассудок. По-видимому, ради зятя, которого она любила и уважала, она заставляла себя терпеть мое присутствие и не давать волю своим чувствам. Иногда на ее лице появлялась любезная улыбка, она улыбалась мне, но не ради моей особы, а ради зятя и науки. Сколько стоили ей эта улыбка и ласковые

слова, обращенные ко мне, ласковые слова, сквозь которые все же пробивались неприязнь и страх.

В ней было много мужества, в этой старушке, заставлявшей себя оставаться дома вместе со мной, когда отбывали на работу Павел и Аня.

Разговаривая со мной, она тщательно избегала прошедшего времени и употребляла только те слова и выражения, которые ей и мне давали возможность не переступить за пределы текущего мгновения. Я тоже старался при ней не говорить о своем прошлом.

— Вы что любите больше, — спросила она меня как-то, — макароны или цветную капусту?

— И то и другое, — поспешил ответить я.

Как я благодарен был ей именно за эти домашние прозаические слова. С Павлом и Аней мы больше говорили на философско-отвлеченные темы.

— С соусом или без соуса? — последовал затем вопрос.

— Вы ставите меня в затруднительное положение, — ответил я, — для того чтобы сказать точно, я должен вспомнить, что я любил триста лет тому назад.

Лицо Людмилы Сергеевны исказилось, стало презрительным и гневным.

— Меня не интересует ваше прошлое. Еще учась в школе, я ненавидела археологию и всякие древности.

Какой-то бес дернул меня продолжать в том же духе, в каком я начал:

— Для вас это археология и древности. А для меня — увы! — это такая же реальность, как вчерашний день.

Наступило продолжительное молчание. Молчанием старушка отгораживалась от меня и от моего прошлого, так неделикатно напомнившего о себе.

11

Там, в бесконечных просторах вселенной, живет другое время, время, враждебное всем человеческим меркам и привычкам.

В те дни я еще не подозревал о коварстве эйнштейнова времени и с доверием смотрел на свои ручные часы «Москва», где на черном циферблате то-ропилась только одна стрелка, длинная красная стрелка, отмечающая секунды. Остальные стрелки не спешили.

Я ждал Ольгу на скамейке бульвара. Мы должны были встретиться здесь, а потом отправиться вместе с ней к Всеволоду Николаевичу с визитом. Я терпеть не могу это жесткое накрахмаленное слово «визит», но попробуйте-ка найти другое! Ведь я шел в гости не к сверстнику-приятелю, а к пожилому профессору, к заведующему лабораторией, и поэтому мне пришлось долго ждать свою жену, сидевшую в парикмахерской на улице Желябова.

Парикмахер не спешил, он завивал Ольгины волосы, нисколько не сомневаясь в том, что нет на свете дела важнее. Он, этот парикмахер (вспоминаю я сейчас, забегая вперед), делал Ольге прическу и накануне того дня, когда Ольга разлучилась с Землей, чтобы познать другое пространство и другое время. И тогда парикмахер тоже не спешил, хотя, может, и следовало поспешить. Он ведь не знал, что его клиентка отбывает в командировку, продолжительность которой измерялась не днями, а столетиями. А Ольга его не торопила.

Я несколько забежал вперед и спутал времена. Но мне это придется делать часто и впредь...

Ольга не торопилась, а я нервничал. Я знал, как ценит аккуратность мой шеф.

Мы пришли на улицу Салтыкова-Щедрина, где жил Обидин, чуточку опоздав. Все гости были уже в сборе и сидели за столом.

Обидин рассказывал о своей московской тетушке, которой недавно исполнилось девяносто восемь лет. Девочкой-подростком она присутствовала на знаменитом Пушкинском торжестве и слышала речь Ф. М. Достоевского. Сейчас это кажется чудом.

Все вдруг присмирели, очевидно мысленно желая представить себе промежуток, отделявший нас от той эпохи, когда жили — Достоевский и девочка,

которой посчастливилось слышать его страстный, задыхающийся шепоток, девочка, ставшая нашей современницей.

Потом, как это часто бывает в обществе, разговор без всякой причины ушел в сторону и коснулся профессора Чемоданова и недавнего происшествия с его шубой. Рассказывал Димин. Он был большой мастер устной речи, создатель институтского фольклора. На днях вахтерша, охранявшая шубу Чемоданова, отлучилась в буфет, и в это время шуба исчезла. Начался ужасный переполох. Но расторопному водопроводчику Грише удалось задержать вора... И шуба снова висит на своем месте... Она ввела в искушение человека, уже было вступившего на честный путь... Все посмеялись.

Потом какой-то незнакомый мне профессор-москвич с полуседыми солидными усами и детскими глазками, совсем уже не профессорскими, напомнил о загадочном случае, сенсационном и парадоксальном, приведшем в крайнее замешательство всех палеонтологов и зоологов, о древней, считавшейся давно вымершей рыбе, пойманной в Атлантическом океане и своим существованием нарушившей все законы эволюции и времени. Ну, пусть эта рыба живет себе на здоровье и резвится в современных водах, как она резвилась сотни миллионов лет тому назад, еще в палеозойскую эру, но из-за этой не вовремя выплывшей рыбы ему, бедному ихтиологу, пришлось переделывать уже печатающийся учебник ихтиологии и оплатить новую работу типографии.

Тут вмешался молодой, красивый и самоуверенный человек, оказавшийся юристом: он заявил, что ихтиолог не должен оплачивать типографские расходы за переверстку и новый набор, ведь причиной была не небрежность автора, не его прихоть, а прихоть самой природы, выкинувшей неожиданный номер.

Ушли от Обидиных мы во втором часу ночи и долго ждали автобуса.

— Ну, как тебе понравилась эта история с рыбой? — спросила Ольга. — Мне больше понравилась история с чемодановской шубой.

— Эти факты, — сказал я, — имеют какое-то внутреннее сходство. Оба из области палеонтологии.

В тот же день Людмила Сергеевна призналась мне, сложив губы в полупрезрительную и отнюдь не любезную улыбку:

— Я не могу привыкнуть к вам. Не могу! Все мои чувства настрожены. Кто вы?

— Я. — Павел Погодин. Павел Дмитриевич. Тетка и предок вашего зятя. Разве вам это не известно?

— Предок! Вдумайтесь в смысл этого слова, не означает ли это, что вы не должны пребывать здесь... Здесь Коля, ребенок, мой маленький внук. От него тщательно скрывают ваше прошлое. Ему еще рано знать, что невозможное стало возможным. Да и стало ли? Не хочется в это верить.

— Я не очень настаиваю, чтобы вы верили. Забудьте о том, что у меня две жизни. Вообразите, что я просто гость, знакомый вашего зятя, наконец просто человек, которого ваш зять изучает. Он ведь ученый.

— Он мог бы изучать вас там, в своем институте.

— Но помилуйте, я же не сам напросился. Не далее, как вчера, я намекнул ему, что мой визит несколько затянулся и не пора ли... Но он не дал мне даже закончить фразу. «Нет, не пора». Он долго и терпеливо объяснял мне, что мое пребывание здесь, в этих благодатных местах, необходимо для моего еще не окрепшего организма и для науки, интересам которой он служит.

— А все-таки, кто вы? Кто вы не в том смысле, что у вас есть имя, отчество и фамилия, а в другом, более существенном? Мои чувства не хотят признать вас как нечто законное, естественное и соответствующее обычной реальности. Если бы вы мне сказали, что это мистификация, дурная, нелепая, абсурдная шутка, я бы очень обрадовалась.

— Ну, хорошо, — сказал я, — считайте, что все это мистификация и абсурд. Мне, наконец, это на-

доело. Я тоже устал от ваших сомнений и вашей откровенности. Согласитесь сами, не для того же я пребывал столько лет в состоянии анабиоза, чтобы сидеть здесь с вами, на этой тихой периферии, вдали от центра жизни. Тоже удовольствие!

Меня начала раздражать эта старая женщина, явно тяготившаяся моим присутствием и не хотевшая от меня это скрывать. За откровенность я платил ей откровенностью. Мне приходилось проводить слишком много времени в ее присутствии. В доме в эти часы не было никого, если не считать роботов, бесшумно исполнявших все ее желания. Чтобы не раздражать ее, я либо уходил в лес, либо замыкался в молчании. Но она, как все старушки всех времен и народов, не любила молчания и сама начинала разговор со мной и обязательно о моей скромной особе и о том двусмысленном и загадочном, что, по ее мнению, было связано с моей странной и не располагающей к себе личностью.

Однажды она спросила меня:

— А почему вы согласились и дали ученым возможность совершать над вами этот возмутительный и противоестественный эксперимент? — Она строго посмотрела на меня и продолжала: — Только не пытайтесь уверить меня, что вы это сделали ради науки и общества, скажите истинную причину.

— Я не собираюсь ее скрывать. Дело в том, что моя жена отправилась в космическое путешествие на фотонном корабле и, согласно теории относительности, должна вернуться на Землю примерно через триста лет. Я ее жду. Разве ваш зять не сказал вам об этом?

— Может, и говорил, но я пропустила его слова мимо ушей. А скорее всего, умолчал. Он считает меня отсталой, старомодной, консервативной женщиной и разговаривает со мной преимущественно о вещах очень конкретных и близких, а главное — понятных.

На последнем слове она сделала ударение. И повторила:

— А главное — понятных.

Я сделал вид, что не обратил на это внимания, и продолжал:

— И вот я жду ее. Свою жену. Я ждал ее триста лет. Ее отбытие в столь длительное путешествие и дало мне право подвергнуться всему, что требовал от меня эксперимент. Желаящих анабиозироваться было много. Но, во-первых, я сам работал в лаборатории дискретных проблем, а во-вторых, мне хотелось увидеться с женой.

Людмила Сергеевна посмотрела на меня с любопытством, но к этому любопытству примешивалось нечто злорадно-насмешливое.

— И вы хотите подкупить меня этой сентиментальной историей? Не удастся! Мои чувства настрожены. И даже если это было в самом деле так, имели ли вы право, вы и ваши экспериментаторы, нарушать естественный ход жизни? В вашем состоянии и поведении есть нечто противоестественное.

— Возможно, — ответил я. — Но ведь согласитесь, что кому-то, скажем моим современникам, показалось бы противоестественным многое из того, что вы считаете привычным. Скажем, робот-няня, который или которая отвозит Колю в интернат в машине быстрого движения. В мое наивное время ни одна мать не доверила бы своего ребенка бессердечному автомату, ни одна мать и тем более ни одна порядочная бабушка. — Я не без умысла подчеркнул интонацией голоса это слово: — Да, ни одна уважающая себя бабушка.

— Бессердечному? Откуда это вам известно? Да ведь дело совсем не в этом, есть или нет сердца. Важнее другое, няня-автомат застрахована от ошибок и случайностей. Ее бесперебойная работа гарантирует от всяких несчастных случаев, на нее можно положиться.

— Своего сына Колю я бы не доверил не только механической, но и живой няне: Я сам отвозил его в детский сад Академии наук, что на Университетской набережной, и сам привозил его оттуда. Я терял на это ежедневно почти два часа. Но никогда не жалел об этом. Мне эти два часа доставляли радость.

Я брал своего мальчика, вел к троллейбусной остановке. Затем я брал его к себе на колени. За стеклом троллейбуса бежали дома, мелькали пешеходы, деревья. Я смотрел сквозь стекло троллейбуса словно Колиными глазами. Все вдруг свежело, молодело, становилось огромным и загадочным. Мое существование в эти часы как бы сливалось с Колиным. Мы читали вместе с ним по слогам вывески медленно-медленно и соединяли вместе не только буквы и звуки, но и то, что в тысячу раз конкретнее букв и звуков: суть и облик вещей. Сквозь оболочку привычных названий магазинов, ресторанов, кафе, учреждений пробивались сказочные миры. Иногда мы читали не слева направо, как полагалось, а справа налево, извлекая странную музыку из каждого слова и названия. Поездка в троллейбусе никогда не казалась нам слишком долгой. Наоборот, мы с сожалением покидали свое место, когда троллейбус подбегал к последней остановке. «Папа, — однажды спросил меня Коля, — а есть где-нибудь такой троллейбус, который бежал бы без остановки день, неделю, месяц, год, сто лет... Все бежал бы и бежал, забыв остановиться... Есть?» — «Нет, такого троллейбуса нет, Коля, и не может быть. Он не нужен людям». Я ответил, может быть, чересчур категорично, если учесть все последующее. Но Коля все равно не поверил мне. В его детском воображении уже возник этот чудесно бегущий троллейбус без пространства и времени. И своему воображению Коля поверил больше, чем моим равнодушным словам. Коля был очень забавный мальчик.

Людмила Сергеевна слушала меня, пока не прерывая. Но в ее глазах по-прежнему играло насмешливо настроенное выражение.

— Однако же, — сказала она, — ваша любовь к своему забавному мальчику не помешала вам бросить его, бросить навсегда. По-видимому, эксперимент вам был дороже, чем мальчик. Вы пожертвовали мальчиком ради сомнительной возможности анабиозироваться, изведать холод временного, но все же довольно продолжительного небытия.

— Во-первых, я жертвовал не им, а прежде всего собой. Мой мальчик был окружен заботой.

— Но вы расставались с ним навсегда!

— Да, если хотите, навсегда. Но я расставался навсегда не только с ним, но и со всеми своими современниками. Я расставался с временем, в котором родился и жил, с домом, с товарищами, с институтом. Со всем тем, что необходимо каждому человеку.

— И вы еще упрекаете в бессердечности искусственную няню моего внука! Вы, совершивший бессердечный поступок. Вы...

Она, по-видимому, еле сдержала себя, чтобы не наговорить мне лишнего. Но потом спохватилась, вспомнив о просьбе зятя и дочери быть со мной внимательной.

— Извините. Я стара. Отстала от жизни. И, должно быть, многого не понимаю.

— Не прибедняйтесь!

Это словечко из лексикона моего времени подвернулось на язык случайно.

— Что вы сказали? — насторожилась Людмила Сергеевна. — Я не поняла.

— Не прибедняйтесь.

По-видимому, это выражение давно вышло из употребления.

— Вы говорите дерзости, молодой человек.

— Какие дерзости? Помилуйте. Наоборот. К тому же я отнюдь не молодой человек. Вы забыли, что я старше вас на двести с лишним лет.

— Я не хочу ничего об этом знать.

Она встала. И только она встала, как сразу потерял очертания, а затем и исчез стул, на котором она только что сидела. Затем она скрылась в своей комнате. Появились стена и дверь и отделили ее от меня.

Обидин в приподнятом настроении. Он ходит из угла в угол, иногда бросая взгляд туда, где ожидает своей участи красавица белая мышь, предназначенная для очередного опыта.

Обидин спрашивает меня:

— Как вы думаете, стал бы Гёте писать своего «Фауста», если бы жил в наше время?

Я отвечаю:

— А почему бы нет? Идея неплохая.

— Неплохая, но не современная. Что мучило гётевского Фауста? Что не давало ему покоя? Мысль о невозможности безусловного абсолютного знания.

— Мне бы его заботы.

— Не отшучивайтесь и выслушайте. Гёте работал над «Фаустом», когда крупные ученые, подобно Лапласу, мечтали о емкой формуле, способной объять весь мир. В непокое Фауста, дорогой философ, в непокое Фауста, мечтавшего о безусловном и абсолютном знании, много общего с непокоем Лапласа. В наше время ученые уже не страдают тем, чем страдали Фауст и Лаплас, не мучаются от сознания невозможности абсолютного знания. Они понимают, что вселенная настолько богата частностями, настолько разнообразна, что ее нельзя объять одной формулой. Они знают, что каждое событие вовсе не предопределено заранее...

— Как это думали механисты, — перебил я.

— К черту механистов! Не в них дело... Не знаю, как вы, дорогой философ, но в молодости и я мечтал об абсолютном знании. Я тогда не был знаком ни с теорией вероятности, ни с квантовой механикой, я думал, что можно вместить в формулу весь мир... Но, друг мой, если нам удастся реализовать нашу дерзкую идею, наш парадоксальный замысел, мы подойдем почти к абсолюту.

— Почти? По-видимому, все дело в этом «почти»?

— Да, в этом главная особенность современной науки. Без «почти» нельзя познать мир. «Почти» это то, что дает ускользнуть абсолюту в той игре, которую ведет человеческое познание с действительностью. Оно связывает абсолютное с относительным, в сущности, странной для всякого рассудка связью. Мир неисчерпаем и богат неожиданностями. Разве не будет неожиданностью для науки, если мы докажем, что смерть — явление вовсе не абсолютное, что

организм можно оживить. Мы освободим человека от железного детерминизма времени, развремим его, откроем перед ним безграничный простор.

— Но пока речь идет ведь не о человеке, — сказал я, — а всего только о белой мыши. Это ей, с вашего позволения, будет дано интимно познакомиться с будущим, перескочив через настоящее. Анабиоз! Не совсем, впрочем, удачный термин. Жизнь с перерывом, с длинным антрактом, антрактом на несколько столетий...

— Вы забыли о том, что опыт, сколько бы он ни длился, не должен пережить экспериментатора. Откуда я буду знать, что вот эта самая белая мышь проснется после своего затянувшегося на несколько столетий сна?

— Да, об этом я забыл.

— А может, она не проснется. Не победит время... Еще будучи студентом, я страстно стал интересоваться проблемой времени. Меня удивляло, что все мои знакомые, и умные и неумные, вовсе не рассматривали время как проблему. Они смотрели на часы с таким видом, словно часовые и минутные стрелки возникли и появились на свет вместе с самим временем. Им не приходило в голову, что у времени нет начала и не будет конца. Их жизнь шла в одном ритме с ходом часов. Время и они, живущие, составляли одно целое. Ведь рыба, плавающая в воде, вероятно, считает, что она движется в пустом пространстве... В ту зиму, когда я так много думал о времени, я познакомился с теорией относительности. Меня поразила мысль Эйнштейна, его видение мира. Эта дивная и мощная мысль выхватила меня из окружающей обыденной жизни и унесла с собой в космос. Я увидел Землю как бы со стороны, из космоса. И тут передо мной возникла другая проблема, уже не теоретическая, а практическая. Человеческая жизнь коротка, как же человек станет хозяином времени и пространства?

— Но однако же, — прервал я Обидина, — вы стали заниматься не физикой и астрономией, а биологией, анабиозом, вы взяли себе в учителя не

Циолковского и Эйнштейна, а профессора Бахметьева и Петра Юльевича Шмидта.

— Бахметьев ближе к Циолковскому, чем вы думаете. Один дополняет другого. Имейте терпение, философ, слушайте меня не перебивая. Природа хорошо вооружила организм для борьбы с суровой средой. Но человек вооружает сам себя. Тридцать тысяч лет, от верхнего палеолита до эпохи кибернетики и атомной техники, шла борьба с природой за овладение окружающей средой. Но что такое время? Это тоже, в сущности, среда. Оно существует в неразрывном единстве с пространством. Нельзя покорить пространство, не победив время. Но кто-то из физиков, кажется Умов, сравнил жизнь человека с заведенными часами. Восемьдесят лет жизни! Что это по сравнению с миллионами световых лет! И вот мне, тогда еще студенту-биологу, пришла почти сумасшедшая мысль: использовать те закономерности, которые выработала природа организма для преодоления среды в борьбе со временем, для победы над ним. Жизнь прерывна, это доказывает анабиоз... Изучить закономерности прерывности жизни, доказать, что обмен веществ вовсе не равен жизни, а затем победить время. — Обидин рассмеялся. — Как вам нравится эта идея?

— Услышал бы вас Чемоданов! Он давно обвиняет вас в поисках абсолюта.

— Я как раз о нем подумал! На заседании Ученого совета не далее как вчера, когда обсуждали перспективный план научно-исследовательских работ, он заявил, что деньги, отпущенные на наши исследования, это все равно... и при этом сделал жест, сложил губы и фукнул с таким видом, словно эти денежки уже вылетели в трубу. Но Чемоданову в этот раз не повезло. Кто-то из наших хозяйственников напомнил ему о шести сотнях яиц, отпущенных на опыты его группы.

— А что случилось с этими яйцами?

— Ничего. Поговаривают, что Чемоданов их съел.

— Завидный аппетит!

— А, по-моему, он правильно распорядился эти-

ми яйцами. Превратил их в свою плоть и кровь. Хорошая яичница лучше плохого эксперимента. А какой из Чемоданова экспериментатор? Он теоретик. Плохой. Не талантливый. Но все же теоретик. Пишет статьи по философии естествознания.

— Не каждого, кто пишет статьи, можно называть теоретиком.

— Вы хотите отказать Чемоданову во всем. Он и не практик. Он и не теоретик. А кто же он?

14

Как выяснилось, у моего гостеприимного хозяина было две профессии. Крупнейший исследователь, биоэнергетик и биофизик, он совмещал свою научно-исследовательскую работу, и теоретическую и экспериментальную, с непритязательной должностью лесного обходчика. Сторож, или, как в мое время называли, лесник. Вот чем он занимался, поселившись на берегу Катуня.

Сообразно этим двум занятиям распределялось и его время. Проведя сорок пять минут в машине быстрого движения, Павел дома задерживался недолго, переодевался, обедал и уходил в лес.

Что он любил больше — теоретические проблемы или лесные тропы? Трудно сказать. Вероятно, то и другое в равной мере.

Иногда он и меня брал с собою. Я надевал соответствующий костюм. Его костюм. Мы были одного роста и одинакового сложения. Специально предназначенный для этого робот помогал мне одеться. Вот это было уже совсем ни к чему и порядком меня смущало. Смущение мое усугублялось еще и тем обстоятельством, что у механического помощника, расторопного и угадывающего все мои желания, было человеческое имя: Митя.

Это имя, простое и милое, звучавшее несколько фамильярно и интимно, облекало своим звучанием нечто стоящее по ту сторону жизни. Митей называли предмет, вещь. Вещь ли? Вещи никогда не бывают разумными, хотя и служат разуму. А Митя был воплощением разума, хотя и относился к существам

неодушевлённым. Он никогда не ошибался, исполняя мои желания. Между ним и мной существовала, как я узнал позже, связь, о физической сущности которой в двадцатом веке имели смутное представление. Механических помощников и людей связывало силовое поле, однако же не электромагнитной природы. Физическая сущность этого силового поля была более деликатного свойства, чем грубые электромагнитные волны. Помню, в какую ошибку я впал, сказав однажды при Мите:

— Счастье, что Митя и ему подобные лишены эмоций.

— Как сказать! — возразил Павел. — Он, в сущности, весь состоит из эмоций. Ведь физическая природа силового поля, которое соединяет вас с Митей, имеет прямое и непосредственное отношение к эмоциям. Митя чересчур эмоционален. Он постоянно чувствует ваши переживания и сопереживает вам.

— Тогда это ужасно! — сказал я. — Я думал, что пользуюсь услугами бездумной вещи, автомата, механизма. Я не знал, что он чувствует и переживает.

— Он весь состоит из чувств и переживаний. Он наполнен эмоциями, как лирический поэт или актер-трагик. Но успокойтесь! Он ведь не личность. Его эмоции имеют чисто служебный утилитарный характер.

— Но он чувствует, сочувствует, сопереживает?

— Эти чувства и переживания существуют в нем не для себя, а для вас. В Мите нет того, что мы называем «я», которое есть в любом животном высшего типа: в кошке, в собаке, в курице, в крысе. Митя как бы неотделим от того, кому он служит. Он ваш придаток. — Павел усмехнулся. — Эмоциональный придаток, учтите!

Я с облегчением вздохнул, когда Митя удалился. Мы разговаривали о нем, словно он в самом деле был только вещь, только предмет.

В лесу Павел старался обходиться без роботов. Труд лесника, в сущности, архаический труд, древняя работенка, чуждавшаяся техники.

Я помогал Павлу собирать опавшие сучья. Мы

складывали их в кучу и разводили костры. Дым забивался в нос и в глаза, он напоминал мне и Павлу о тех далеких временах, когда люди считали пылающий костер и желтое мечущееся между ветвей пламя почти чудом.

Посидев у костра, помечтав, полюбовавшись огнем, бросавшим отсвет на воду шумевшей рядом горной реки, мы шли дальше. Павел шел рядом со мной. По-видимому, он побанвался, чтобы я, чего доброго, не заблудился. Стоило мне отойти на несколько шагов в сторону от тропы и скрыться в густой чаще, как Павел уже окликал меня:

— О-о! Павел Дмитриевич! Где вы?

— Я здесь! Ау!

В эту минуту мы были связаны непрочной связью, звуками, тающими в лесу.

— Ау! Где вы?

Эфемерная связь, что и говорить. Стоило мне только промолчать и затаиться... Но для чего? Зачем? Разве от этого бы что-нибудь изменилось?

— Я здесь!

И Павел каждый раз не мог скрыть радости, когда снова стоял рядом со мной.

— Жаль, — сказал он, — что вы оставили дома Митю. Митя бы без всякого «ау» знал, в какой вы стороне. А сейчас он сидит дома и скучает без вас. Я ведь его подключил к вам. Он теперь ваш эмоциональный двойник. Вы ушли, и он уже затосковал. И теперь будет тосковать каждый раз, как собака без любимого хозяина.

— Это хорошо или плохо? — спросил я.

— Я не совсем понимаю ваш вопрос. Кому «хорошо»? Ему? Мите? Вам? Для Мити не существует ни «хорошо», ни «плохо». Он живет по ту сторону оценивающих принципов. Оценивать может только человек. А Митя — вещь. Эмоциональная, тонко чувствующая вещь, но все же вещь. Что касается вас, вам хорошо. У вас есть помощник, эмоционально слитый с вами, идеально пригнанный к вам угадчик и исполнитель ваших желаний... Примерно сто семьдесят лет назад, еще в двадцать втором веке, физики и биофи-

зики раскрыли физическую сущность некоторых таинственных явлений психики. Вот наглядный и тривиальный пример одного из этих явлений. С хозяином в пути случилось несчастье. Собака, оставшаяся дома, начинает выражать свое беспокойство. Она воеет, мечется, демонстрирует свою тоску, свое горе. Откуда она узнала, что в пути с хозяином случилась беда? Об этом еще не знают люди. Но она осведомлена. Какие-то неизвестные науке волны принесли ей известие. Физиологи пренебрегали такими явлениями до тех пор, пока смежные области науки не заинтересовались ими. И вот выяснилось, что живые близкие существа связаны особой связью. Была раскрыта сущность этого силового поля. Мир узнал нечто новое о том, что называют эмоциями. Не сразу пришла ученым и техника мысль наделить эмоциями вещи. Философы и поэты жаловались, что слишком механической становится цивилизация. Бездушие, ледяное поведение роботов, исполнявших физическую и утилитарно-интеллектуальную работу, не удовлетворяло наиболее чутких и тонких людей. И вот совсем недавно техники решили воспользоваться силовым полем, связывающим людей эмоциональной связью, для того чтобы создать вещи особого типа. На свете появились чувствующие предметы. С наивно философской точки зрения это алогизм, если не полный абсурд. Вещь, объект включил в себя, внедрил нечто присущее только субъекту. Будем рассуждать дальше. Значит, объект стал более субъективным? Уменьшился разрыв между моим «я» и вещью, отраженной моим сознанием? Не так ли? Эти вопросы дискуссионны. Ни о чем так сейчас не спорят философы, ученые, лирики, как о Мите и ему подобных. Пока их немного. Митя — это экспериментальный робот. Он в стадии испытания. Одобрит ли общество этот эксперимент? Это будет в скором времени решаться. Пока идут дискуссии. Но вернемся к Мите. Кто такой Митя? Или, вернее, что это такое? Во-первых, между «кто» и «что» нужно поставить тире. Митя где-то в промежутке между «кто» и «что». Он и то и другое. И в какой-то мере ни это и

ни то. Его чувства обострены. Он переживает не за себя, а за вас, только за вас, до остальных людей ему нет никакого дела. Малейшая ваша неудача, оплошность, ошибка огорчают его. В нем нет ничего от «эго», от личности. Он бесконечно добр. Но философы ожесточенно спорят, можно ли это назвать добротой. Вы устали? Давайте посидим у костра. Отдохнем. Я тоже устал.

15

Митя исполнял мои желания. Правда, он не в силах был выполнить мое самое сильное желание — ускорить срок моей встречи с Ольгой.

Пока об Ольге не было никаких сведений. Я очень страдал. И мой помощник-двойник, мой эмоциональный дублер, переживал со мной вместе. Он был воплощением отзывчивости, доброты, сердечности, но все эти добродетели и чувства были отъединены от разума, они имели чисто служебный характер. Страдал ли Митя «для себя»? Павел уверял меня, что он этого не умел. Да и само понятие «для себя» отсутствовало в программе этого автомата. Я все-таки решил мысленно называть Митю автоматом. Это мне облегчило общение с ним, помогало пользоваться его услугами, не чувствуя угрызений совести.

Как-то между ним и мною произошел любопытный разговор, записанный мною дословно.

Я. Что вы знаете о себе? Кто вы?

Митя. Я — Митя.

Я. Человек вы или вещь?

Митя. Не понимаю.

Я. Вы чувствуете?

Митя. Да.

Я. Думаете?

Митя. Да.

Я. О чем вы думаете?

Митя. О вас.

Я. Еще о ком?

Митя. Еще о вас. Только о вас. Больше я ни о чем не умею и не могу думать. Я думаю о том, о чем думаете вы.

Я. Откуда вы знаете, о чем я думаю?

Митя. Я ваш эмоциональный двойник.

Я. О чем я сейчас думаю?

Митя. Вы думаете сразу о многих вещах. И мне очень трудно. Сейчас вы думаете о том, что не хотите встретиться с Людмилой Сергеевной. Я тоже не хочу.

Я. А можете вы захотеть то, чего не хочу я?

Митя (смущенно). Не пробовал. Но могу попытаться.

Я. Сделайте попытку. Пожалуйста. Я вас прошу.

Митя. Боюсь, что мне будет очень трудно.

Я. Но все-таки попробуйте. Я вас очень прошу.

Митя (после продолжительного молчания). Я хочу подышать свежим воздухом.

Я. Но это не ваше, это мое желание. Я только что об этом подумал.

Митя (смущенно). А я думал, что это мое желание.

Я. Ну, значит, наши желания случайно совпали. Это бывает.

Митя. Я еще мало знаю о том, что бывает и чего не бывает. Я существую всего три месяца. А правда, что вам триста лет?

Я. Откуда ты это знаешь?

Митя. В мою программу входит ваш опыт. Но только теперешний опыт. То, что было до вашего пробуждения, я не знаю. И это мне не нужно. Прошлое. Далекое прошлое. А там я бессилён чем-либо вам помочь.

Я. Так ты умеешь думать? Я этого не ожидал. Мне сказали, что ты только чувствуешь...

Митя. Это правда. Я только чувствую. Но иногда я могу и мыслить. Очень редко. Когда что-нибудь не в исправности. Сейчас должен прийти техник, наблюдающий за мной.

Затем Митя вышел из комнаты, вышел бесшумно, как всегда. Я рассказал о своей беседе с Митей Павлу, как только он вернулся из института.

Павел задумался. Он долго ходил из угла в угол комнаты, потом сказал мне:

— Какие-то неполадки. Вещь находится в стадии эксперимента. Что-то не получилось... Но техники проверят. Это хорошо, что вы наблюдаете за ним и записываете свои наблюдения. Президиум Академии наук и Высший технический совет очень интересуются вашим непредубежденным мнением об этом экспериментальном роботе.

Я был польщен этими словами и, кажется, не сумел скрыть свое смущение.

— Вы мне льстите, дорогой Павел, — сказал я. — Кого может интересовать мое мнение о технической новинке? Я отстал больше чем на триста лет.

16

Я. Митя, о чем ты сейчас думаешь?

Митя. О том же, о чем думаете вы. О ней.

Я. Но ты же ничего не знаешь о ней, кроме того, что триста лет назад мы с ней расстались.

Митя. Мы? Мы расстались? Мы?

Я. Не мы, а я! Я расстался с ней. Тебя тогда не было и не могло быть! Кибернетика в те годы была молодой наукой. И многие надеялись, что машины научатся думать, но никто не предполагал, что они будут уметь чувствовать и переживать.

Митя. Я не знаю этого.

Я. Ты и не должен об этом знать. Да и зачем? Но я не могу понять, почему ты тоскуешь по женщине, которую ты ни разу не видел?

Митя. Я тоскую по ней только потому, что тоскуете вы. Я ваш двойник, эмоциональный придаток.

Я. Успокойся, Митя. И ради бога отвлекись. Думай о чем-нибудь другом. Кстати, если тебе не трудно, принеси, пожалуйста, книги.

Митя. Какие?

Я. Те, что доставлены были вчера. Они в соседней комнате.

Митя уходит за книгами.

Я наблюдаю за ним, записываю свои наблюдения. В свободное от этих занятий время я много читаю. Мне нужно заполнить промежуток в триста лет, раз-

деляющий настоящее и прошлое, узнать хотя бы схематично и вкратце о всех тех событиях в политической, экономической и культурной жизни человечества, которые случились за все это продолжительное время.

Я читаю с жадным, захватывающим интересом. Я волнуюсь и, конечно, переживаю. И все мои волнения и переживания сразу передаются беззащитному Мите, моему эмоциональному двойнику. Иногда мне кажется, что он не сможет перенести такую сильную нагрузку. Он слишком впечатлителен. Пожалуй, впечатлительнее меня. Конструкторы, создавшие его, были, по-видимому, слишком темпераментные и щедрые люди, они явно перестарались.

Сочетание крайней впечатлительности и нервности с обликом и сущностью вещи (внешне Митя — обычный робот, предмет, механизм, собранный из металлических и пластмассовых частей), это сочетание создает нечто такое, к чему я не могу привыкнуть. Эмоциональность, а значит и в какой-то мере духовность, как бы пробивается сквозь нечто холодно вещественное, безразлично предметное, чуждое и враждебное всякой субъективности, всякой духовности. Парадокс? Противоречие? Логическая загадка? Синтез того, что противится слиянию?

Я делаю попытку подробно развить эту мысль, готовясь к выступлению на сессии Академии наук, где будут обсуждаться эксперименты с роботами-новинками, подобными Мите, дискуссировать во всех аспектах: в философско-этическом, техническом, хозяйственном, бытовом. Об этом мне сообщил Павел, передав привет от президента академии и наилучшие пожелания от председателя Высшего технического совета Земли, Венеры, Марса и всех космических станций. Павел не забыл сказать мне о том, что президент и председатель Технического совета очень интересуются моим мнением и многого ждут от моего публичного выступления.

Я не был настолько наивен, чтобы поверить ему на все сто процентов. Я догадывался, что мудрые и опытные люди хотели отвлечь меня от тревожных

дум о судьбе Ольги и ее спутников (пока в солнечной системе о них не было никаких известий). Они хотели также помочь мне забыть о том, что я — организм и материал для изучения дискретных проблем жизни, и напомнить мне о том, что я человек. А человек не может жить, не творя и не действуя. Не может. И не должен. Я высоко оценил эту заботу о себе, выраженную таким осторожным и деликатным способом. И именно это обстоятельство заставляло меня тщательно готовиться к обсуждению.

Я боялся, что мои идеи могут показаться смешными и невежественными. Как-никак я отстал на несколько столетий, хотя и не по своей вине. Ведь люди всегда готовы простить все, кроме невежества и самоуверенности. Не быть слишком категоричным! Это я сказал себе в первый же день, когда начал готовиться.

Категоричным был профессор Чемоданов... Я попытался вспомнить этого человека, его лицо, походку, выражение лица и его снисходительную улыбку. Но странно, в этот раз я не мог восстановить его в памяти, как я ни старался. Чемоданов исчез в потоке времени. Мне удалось вспомнить только его шубу, висевшую отдельно в сторонке, и вахтершу, охранявшую ее.

Не быть слишком категоричным, не быть категоричным, как Чемоданов! Это разумно. Но не значит ли это, что я должен одобрить эксперимент, который внушил мне сомнения?

Вот я и готовился, чтобы дать ответ на этот вопрос.

Я, как уже упоминал об этом, много читал.

Три столетия! Как далеко ушло человечество вперед! Меня прежде всего поразило мастерство изложения. Учебники истории, книги философские и технические, сводки знаний, справочники, монографии были написаны прозрачно, ясно, кратко и выразительно. Мне невольно вспомнились пушкинские строчки из «Путешествия в Арзрум»: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были все те же, все на

том же месте. Это снежные вершины Кавказской цепи».

Энергией страстной мысли и предельной сжатостью фразы эти книги напоминали мне пушкинскую прозу. За каждой книгой, даже учебником, чувствовался автор умный, необыкновенно широко и всесторонне образованный человек, не навязывающий читателю свои мысли, а как бы размышлявший о предмете, его интересовавшем. Он, этот автор (каждый автор), не скрывал своей личной заинтересованности и проблематичности предмета от читателя, а как бы приглашал его вместе с собой принять участие в логическом разгадывании той или иной тайны природы.

Как и триста лет назад, все книги можно было разделить на два рода. Одни пытались ответить на вопрос, что такое окружающий нас мир, другие — на вопрос, не менее значительный и интересный, что такое человек.

Знания об окружающем нас мире за триста лет обогатились несравненно! Солнечную систему люди знали не хуже, чем в XX веке географы нашу казавшуюся тогда еще большой Землю.

Я был нетерпелив и, разумеется (читатель поймет меня), не мог заставить себя следовать очередности исторических событий и фактов. Я стремился заглянуть вперед, узнать самое сокровенное, загадочное и интересное.

Разгадала ли наука физическую сущность гравитации? Да, разгадала, а техника использовала. Узнали ли биохимики и биофизики самое главное о происхождении жизни и овладели ли тайной перехода неживой и косной материи в жизнь? Да, узнали и овладели. Нашли ли смелые исследователи на других мирах жизнь, подобную нашей, и открыли ли себе подобные и высокоразумные существа? Да, разумеется, нашли и открыли.

Но пока, как это ни удивительно, о самом человеке люди узнали за триста лет гораздо меньше, чем об окружающем мире. Физиологи и философы все еще спорили о том, о чем они спорили в двадцатом веке. Возникло множество проблем, вопросов,

которые ждали ответа. Поразительное развитие кибернетики, в результате которого разум, интеллект как бы отделился от личности и проявил самостоятельность, еще более осложнили эту важнейшую из проблем...

Я жил учась, переучиваясь и познавая. В студенческие годы я был знаком с одним молодым северянином, бывшим охотником эвенком, приехавшим из таежного стойбища в большой город и жадно вбравшим в себя знания. Я был похож на него. Я забыл обо всем, чувствуя в эти часы, как бился пульс вселенной. Иногда, захваченный необыкновенной мыслью или фактом, я вскакивал с места и, возбужденный, ходил из угла в угол своей комнаты.

Как бы завидовали мне мои современники, особенно ученые! И они знали великую радость познания, но они познавали прошлое и настоящее, и только мне, первому из людей, удалось познакомиться с будущим!

Я сел, раскрыл книгу, в которой шла речь об интересующей меня проблеме.

«Человек. Кто он? — задавал вопрос автор. Он спрашивал себя и историю, философию и науку. — Кто же он, человек, ставший хозяином солнечной системы, проникший в глубины Галактики? Чем он отличается от других существ?»

На минуту мне «я» как бы слилось с «я» автора этой книги. Спрашивал и он и я, мы спрашивали оба. «Человек! Кто он?»

«Человечество познавало природу, — писал автор, — моделируя ее процессы. Искусство моделирования достигло величайшего мастерства уже в двадцать первом веке... У себя в лабораториях ученые воссоздавали целые миры в миниатюре. Они научились моделировать даже историю, время. Благодаря точному воспроизведению физико-химических условий, существовавших на Земле накануне возникновения жизни, они проникли в ее тайну. Но легко ли было создать модель психических процессов, подобие человеческого мозга? Нет, не легко, но необходимо. Человеку нужно было взглянуть на себя со стороны,

оторваться от всего субъективного, личного, чтобы осуществить это моделирование... Был создан искусственный мозг. Мышление отделилось от человеческой личности, стало безличным, машинным... Помогло ли это человеку увидеть себя со стороны, понять то, что было непонятным и до некоторой степени загадочным? И да и нет. Мышление, отделившись от человека, оставалось ли человеческим и человеческим? Не произошла ли дегуманизация мышления? Философы спорили, ученые искали ответа. Не искусствоведы, а физиологи и кибернетики вдруг вспомнили о художнике XVI века Питере Брейгеле-старшем и о его странном видении мира и видении человека. Брейгель видел человека как бы со стороны, отделившись от человечества... В этом гениальном художнике было что-то от машинного, сверхличного и сверхиндивидуального мышления... Изображая человека, он не сочувствовал ему, а как бы только удивлялся его странному бытию, словно прибыл на Землю с другой планеты. Дегуманизированное, утилитарное, машинное мышление. Оно развивалось, из утилитарного оно становилось теоретическим. Думающие машины служили познанию. Правда, они думали для человека, а не для себя. Но они умели думать, мыслить... И уже появились легкомысленные теоретики, которые пытались поставить знак равенства между думающими машинами и людьми...»

Я невольно должен был оборвать чтение заинтересовавшей меня книги — вошел Павел Погодин. Он был чем-то взволнован.

— Что случилось, Павел? — спросил я. — Уж не заболел ли маленький Коля?

— Коля здоров, — ответил Павел, — но случилось большое несчастье с Митей. Разве вы не знаете?

— Митя — вещь. Что с ним могло случиться? Утром он был здесь. Но потом я забыл о нем, погрузившись в чтение.

— Митя — вещь? — сказал Павел. — Это большой вопрос! Вещи так не поступают. Митя пытался покончить с собой. Он бросился со скалы в Катунь. Его только что спасли. Но он бредит...

Я с детства испытывал острый интерес к необыкновенным и выдающимся людям. Я рано начал коллекционировать книги, которые повествовали о выдающихся личностях, прежде всего ученых, техниках, путешественниках, писателях, политических деятелях. Но вот рядом со мной работал выдающийся и, может быть, даже гениальный человек, и я не сумел оценить его так, как он этого заслуживал.

Профессор Обидин, в сущности, ничем не выделялся среди других сотрудников нашего научно-исследовательского института. Свою научно-исследовательскую работу одно время он совмещал с должностью председателя месткома. Кто мог думать, что этот скромный председатель месткома, тративший уйму времени на мелкие хозяйственно-бытовые вопросы, через триста лет займет место рядом с Ньютоном, Дарвином, Циолковским, Эйнштейном, Резерфордом, что его будут называть величайшим из биологов-экспериментаторов, когда-либо живших на Земле. Кто мог предполагать, что имя, труды и слава старшего научного сотрудника Обидина перешагнут через земные и солнечные границы, чтобы установить свой приоритет и на далеких обитаемых планетах Галактики.

Нельзя сказать, что в нашем институте вовсе не ценили талант Обидина. Ценить ценили, но по-своему.

— Посмотрим! — говорили наши скептики. — Может, и оправдаются некоторые его идеи. Но пока... Пока они все еще находятся в стадии ожиданий и обещаний.

Они говорили «обещаний», но Обидин никому ничего не обещал. И мне кажется, что это была самая большая его ошибка, если смотреть на дело практически. Наоборот, он спешил вселить во всех уверенность, что реализация его главной идеи лежит где-то далеко в будущем. Оказалось же, что она была совсем не за горами.

К Обидину относились хорошо и в президиуме

Академии наук, но все же, когда стал вопрос о выборе его в члены-корреспонденты, дело почему-то в последний момент затормозилось и прошел не Обидин, как многие предполагали, а неожиданно для всех, и даже, кажется, для самого себя, Чемоданов, только что опубликовавший учебник для вузов. Идеи Обидина кое-кому тогда еще казались сомнительными, а Чемоданов умел постоять за себя, да и учебник его как раз похвалили в прессе за обстоятельность изложения и отсутствие ошибок. Говорили, что репутации Обидина в глазах его коллег повредил один его давний эксперимент, не оправдавший себя при вторичной проверке.

Обидин, кажется, не очень был огорчен. Он был, как я уже упоминал, скромен. Очень скромен. Излишне скромен. Скромн во вред себе. Но скромн, разумеется, не во всем. И он был кое в чем не лишен тщеславия.

Об этом нужно рассказать, чтобы читатель имел полное представление о крайне своеобразном человеке.

Обидин тренировал клетки, приручал их к космическому холоду, к температурам, близким к абсолютному нулю. Но сам он любил тепло, любил уют, любил домашнюю обстановку. И при всем этом, как я впоследствии узнал, Обидин страшно боялся, чтобы про него, не дай бог, не подумали, что он узкий специалист, кабинетный или лабораторный затворник. Может быть, поэтому он ходил зимой на лыжах, героически борясь с одышкой и болью в пояснице. Может быть, поэтому он осенью купался в Неве, вопреки строжайшему запрещению врача, лечившего его от радикулита. Может быть, для этого он ходил скучать в филармонию и в Малый оперный театр. И не по этой ли самой причине он стал ухаживать за Лизой Галкиной, новой нашей лаборанткой?

Он тренировал живые клетки, приручая их к космическому холоду, но заодно он тренировал и себя. Вряд ли ему доставляла особое удовольствие ходьба на лыжах, когда болела спина и ревматические ноги. Вряд ли его радовало ухаживанье за Лизой. Но

однако же он шел на свиданье к ней, как всегда, свежевыбритый, пахнувший дорогими духами.

О чем он мог говорить с Лизой? О погоде? О новой кинокартине, которую видела Лиза, но не видел он? О нейлоновой кофточке, которую Лиза на днях купила в ДЛТ? Неужели он мог так низко ронять свое достоинство, чтобы выслушивать от Лизы ее суждения о сотрудниках и сотрудницах лаборатории, суждения не очень умные, не всегда справедливые и доброжелательные? И для чего? Чтобы сказать самому себе, что ему, Обидину, не чуждо ничто человеческое? А может быть, и в самом деле на старости лет он влюбился в эту румяную, полную женщину, не умевшую даже нарядить со вкусом свое крупное, тяжелое, колыхавшееся на ходу тело?

Интерес к Обидину как к ученому и выдающемуся человеку возрастал с каждым столетием. О нем было написано множество книг, в которых освещались и его личная жизнь и его научная деятельность. Опубликованы были его переписка и его дневник.

Дневник Обидина чуточку разочаровал меня. Он был слишком сух, в нем было много о деле и мало о себе. Упомянул Обидин в своем дневнике и обо мне. В одном месте было сказано: «нетерпеливый малый». Так прямо и написано: «нетерпеливый» и при этом выделено курсивом. А в чем, собственно, выражалось мое нетерпение? Об этом умалчивалось. В другом месте было сказано: «нетерпеливый, но любознательный». Спасибо и за это! Но как действительно понять это несправедливое и не слишком удачное выражение — «нетерпеливый»? Так было сказано про человека, который терпеливо пролежал триста лет, ожидая, когда наука свяжет две разорванные половины его жизни! Современники редко бывают справедливыми, а потомки — точными. Я нашел множество неточностей и немало грубых ошибок в книгах об Обидине. Даже в этой его биографии, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», было немало неточного, вымышленного и не

вполне соответствующего действительным фактам. Например; я не мог читать без усмешки те главы этой предназначенной для широкой публики книги, где рассказывалось об отношениях Обидина и лаборантки Лизы Галкиной. Эти отношения были для чего-то очень опозитизированы и романтизированы, и Лиза Галкина с этих страниц вставала не совсем похожей на себя. Занятиям Обидина спортом автор тоже придавал слишком большое значение, и, читая эти места книги, можно было подумать, что Всеволод Николаевич был выдающимся рекордсменом, чемпионом лыжного спорта, знаменитым альпинистом и человеком большой физической закалки, когда на самом деле он постоянно болел и часто прогуливался.

Несколько преувеличенной была оценка философской эрудиции Обидина. Всеволод Николаевич неплохо знал труды Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина, но с античной и средневековой философией был знаком не по первоисточникам, довольно поверхностно он был знаком и с современной ему буржуазной философией, которую он справедливо считал эпигонской, повторяющей мысли Шопенгауэра и Кьеркегора, либо французских и английских позитивистов. Знаток истории философии профессор Обидин не был, хотя сам мыслил глубоко и своеобразно. Откуда же взял этот автор, так же как и другие, сведения об увлечении Обидина живописью и особенно картинами Матисса, Шагала и Пикассо? Мне об этом, во всяком случае, было неизвестно, а я Обидина знал в продолжение многих лет.

Была и другая неточность, еще более важная. В одном труде говорилось, что Обидин был непосредственным учеником знаменитого русского ученого профессора П. И. Бахметьева, открывшего анабиоз у насекомых и млекопитающих, тогда как на самом деле Обидин стал заниматься проблемой анабиоза значительно позже и с Бахметьевым лично знаком не был.

Я выписал все неточности и ошибки, чтобы помочь авторам их исправить.

Бедный Митя! Он чуть не лишил себя жизни. Сейчас он лежит в больнице поселка Манжерок, что в трех минутах езды отсюда на машине быстрого движения, лежит под присмотром опытных физиологов, чутких врачей и техников, заботливых кибернетиков.

Как я узнал позже, Митя в своем несчастье был не одинок. Одновременно с ним вышли из строя Женя, Валя, Миша и Владик, экспериментальные «роботы-эмоционалы», как их называли иногда, желая упростить это новое и сложное явление, приспособить к разговорной бытовой речи. У них было и более строгое научное название, название, более соответствующее их странной сущности, которое я запомнил. Женя, Валя, Миша, Митя и Владик — одухотворенные, чувствующие, страдающие вещи, проходившие испытания сначала в лаборатории, а потом и в жизни. Сейчас судьбой этих вещей (моя рука неохотно пишет это слово «вещей» — выражение, в сущности, сомнительное и неточно отражающее сложный и загадочный феномен), судьбой вещей, или, точнее, существ, интересовалась вся солнечная система.

Мой потомок Павел Погодин аккуратно и своевременно сообщал мне о состоянии Митиногo здоровья.

— Сегодня ему лучше, — сказал он мне примерно через неделю после печального происшествия, — значительно лучше. Он уже не бредит и охотно принимает лекарство.

Павел принес с собой несколько книг.

— Вот почитайте, Павел Дмитриевич, этот роман и это исследование об искусстве. Мне очень хочется знать ваше мнение об этих книгах.

— Почему именно об этих?

Он пропустил мой вопрос мимо ушей. И вместо того чтобы ответить, как-то странно посмотрел на меня и усмехнулся.

Обе книги, которые он оставил мне, я обратил на

это внимание сразу, были изданы в разное время. На обложке и той и другой не значились имена авторов, а стояло только название. Должно быть, оба автора пожелали остаться неизвестными.

Я начал с романа. Он назывался «Труды и дни Василия Иванова». Название скорей говорило о любви к точности, чем об изобретательности автора. По-видимому, автор не гнался за оригинальностью, хотел быть ближе к жизни и своим несколько деловым и суховатым буднично-очерковым названием желал подчеркнуть это свое стремление смотреть на мир трезво, прозаично, а главное — обыденно.

Но как далеко от истины оказалось это мое поспешное и преждевременное суждение! Уже первые фразы захватили меня крайним своеобразием сюжета и оригинальностью стиля.

Я сделал шаг в предложенный моему воображению мир, и двери этого мира сразу же плотно закрылись за мной. Жалел ли я об этом? Искал ли выхода из этого воображаемого мира в тот, в котором я пребывал, пока не прочел это прозаичное и обыденное название? Ничуть. Я был захвачен повествованием. Мое «я» слилось с «я» героя книги Василия Иванова.

Кто же был этот Василий Иванов? Роман отвечал не сразу, не вдруг. Вас проводили сквозь личное и общественное бытие, сквозь жизнь, наполняя душу пространством и временем, приключениями и событиями. Вас переносили с Земли на Венеру и в окрестности Сатурна, на космические станции, вас заставляли испытать все физические и эмоциональные переживания, связанные с опасностями, скитаниями, ошибками и надеждами. Действие развивалось на довольно обширном пространстве. Из космоса вы попадали на Землю в жутковатую тишину океанских глубин, в тревожное безмолвие, где над вашей головой смыкались водные массы, как за несколько страниц до того вас окружали горные хребты, леса и поля.

Повествование поражало своим эпическим масштабом. Оно уносило вас и за пределы солнечной

системы в далекие миры, а иные из них были населены высокоразумными существами.

Эти страницы романа поражали воображение и чувства. Читатель уже видел мир не глазами человека, а взглядом сверхразумного существа, жителя далекой планеты. Это видение мира, безэмоциональное и странно непривычное, отчуждало все предметы и вещи. Эти бесстрастные главы сменялись главами, полными музыки, лиризма и тревоги. Затем на страницах возникали леса, реки, звон падающей воды, плеск, голос любимой девушки.

Прочитав роман, выйдя из этого удивительного мира причудливых образов, глубоких мыслей и чувств, охваченный волнением, я сказал:

— Да, такое глубокое и своеобразное произведение мог создать только Человек, человек с большой буквы. Оно полно истинной, земной человечности.

Потом, несколько дней спустя, я повторил эти слова на дискуссии в Академии наук, и в зале произошло движение. Председательствующий сказал мне спокойно и ласково:

— Вы ошибаетесь, роман написал не человек.

Наступила пауза. Слова председателя захватили меня врасплох. Мое сознание не в силах было проникнуть в их загадочный смысл.

— А кто же? Кто? Уж не думающая ли машина? — растерянно пробормотал я. — Не механический же робот!

— Не машина! Вы правы. И не человек. А высокоразумное существо, житель далекой планеты Тиомы, поселившийся у нас.

Мое сознание человека двадцатого столетия долго не могло свыкнуться с этим парадоксальным фактом. Роман, то есть нечто человеческое, выражающее самую сущность человека, — захватывающее и глубоко психологическое произведение — был создан не человеком, а существом иного мира, жителем другой далекой планеты.

В тот же день, когда я узнал, кто автор понравившегося мне романа, я узнал и о том, что он непременно хочет познакомиться и побеседовать со мной. Да, у него есть что мне сказать и о чем меня спросить. Если я не возражаю, спросили сообщившие мне это, встреча произойдет завтра, здесь же, в гостинице, где я остановился, прибыв на заседание Академии наук.

Ночью я почти не сомкнул глаз. Я был необычайно возбужден и с тревогой ждал встречи с Тиомцем. Тиомцем его называл Павел Погодин, по-видимому желая этим скромным, почти обыденным названием приобщить себя, а заодно и меня к чему-то выходящему за пределы человеческого и земного опыта.

Я думал о предстоящей встрече, и мне вспоминались строчки стихотворения одного рафинированного поэта, жившего в XX веке:

Что если Ариост и Тассо,
Обвораживающие нас, —
Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз.

«Несомненно, — думал я, — это высокоразумное существо с далекой планеты Тиома должно выглядеть странно, а может, даже и страшновато с точки зрения наших земных и привычных представлений. Что если этот урод вызовет физиологическую реакцию, которую я не сумею скрыть?» Как нарочно, куда-то отлучился Павел (кажется, ушел навестить своих приятелей), и не у кого было узнать хотя бы немного об этом загадочном существе. Гостиницу обслуживали роботы, отвечающие автоматически и быстро только на вопросы утилитарного характера. Бессонница томила меня, и, чтобы рассеяться, я снова раскрыл роман, написанный Тиомцем. «Между внутренним миром, — говорил я себе, — и внешностью автора этого романа должно быть единство. Существо с прекрасной душой не может быть физическим уродом, страшилищем, вызывающим физиологическое отвращение. Роман — ведь это отражение внутреннего мира того, кто его писал». Я снова поддался обаянию этих чудесных фраз, схватывающих

самую сущность бытия, передающих внутреннюю музыку жизни и красоту природы.

В этом повествовании было нечто свободное и освобождающее вас, дарящее вам всю вселенную, все радости и тревоги, все оттенки и краски безграничного времени и пространства, слившегося с пульсирующими словами-мгновениями в один ритм. Казалось, автор знал о жизни бесконечно много.

Кто же он, этот Тиомец? Как он выглядит? Час встречи с ним приближался. И мне снова вспомнились строчки стихотворения, написанного триста с лишним лет назад:

Чудовища с лазурным мозгом
И чешуей из влажных глаз.

Я уснул, уже когда начало светать. И мне приснилось это существо. Оно появилось рядом со мной вдруг, внезапно, сначала проскользнув в мое потревоженное сознание, а затем постепенно облекаясь и в пластическую форму. Сначала я услышал голос беззвучный, как это бывает во сне, слова, сказанные мне игриво и с каким-то непозволительно фамильярным оттенком:

— А-а, Па-аша! Здорово! Ну, как ты тут устроился? Неплохо, вижу, опустил свой якорь. Комфорт. И денежки набегают?

— Какие денежки?

— Какие? Или забыл? Командировочные. За триста-то годиков кое-что скопилось? Только не делай вида, что не интересуешься материальными благами. Не строй, знаешь, из себя святого. А то стошнит.

Он рассмеялся жидковатым смешком, словно хлопывая меня по плечу, и вдруг начал проявляться, как пластинка. Губы. Золотой зуб. Глаза, слегка прищуренные и знакомые. Где я видел этого субъекта? Да это же Володька Мазин. Мой бывший одноклассник. Кончив среднюю школу, Мазин как-то необычайно быстро превратился в толстого, одутловатого человека без возраста, без семьи, без обязанностей, без определенной профессии. Лихо отплясывал на вечерах и знал уйму анекдотов.

— Позволь, — спросил я, — как же ты?

— Не удивляйся.

— Но я ждал...

— Знаю, кого ты ждал. Но он, брат, занял у меня костюм и всю внешность. Потому что у него такая, с какой никак нельзя показаться.

— Но как же ты понал сюда? Ведь прошло...

— Ну, что особого! Триста лет прошло. Да и почему тебе можно, а мне нельзя? Познакомился с этим твоим... как его?.. Обидиним. Ну, а Обидин меня не обидел.

Он рассмеялся жидким смешком.

Я проснулся. В комнате было светло.

20

И вот он пришел ко мне. На этот раз действительно он, автор удивительного романа, существо с другой планеты, Тиомец, как называл его Павел Погодин, чтобы как-нибудь обозначить необозначимое и примирить необыденное и сверхобычное с привычным.

О его приходе в гостиницу мне доложил робот (коридорный или коридорная — у робота не было признаков пола: он, она и оно в одном лице):

— К вам пришел гость.

— Кто именно? — осведомился я.

И робот ответил неожиданно и с каким-то даже оттенком лукавства:

— Вы отлично знаете, кто к вам пришел.

Ощущение страха охватило меня, леденящее ощущение ужаса, ощущение, в полной мере знакомое только детям и первобытным людям, верящим в бытие сверхъестественных существ.

— Одну минутку, — сказал я роботу. — Где он? Как он выглядит?

Робот ответил механически и бесстрастно:

— Он в вестибюле. Беседует с приятелем.

Эти слова немножко успокоили меня. У чудовища не может быть приятеля.

Затем он появился, обычного вида молодой человек, почти юноша.

— Здравствуйте, — сказал он негромко, голосом, звучавшим чуточку устало и даже печально. — Я не помешал?

— Помилуйте!

— По-ми-луйте, — он повторил вырвавшееся у меня словечко. — Старинное выражение, несколько преувеличенное и, пожалуй, чересчур эмоциональное. Но оно мне нравится. Оно переносит меня даже не в двадцатый, а прямо в девятнадцатый век. По-ми-луй-те... Как будто речь идет о чем-то чрезвычайном. Нет, сейчас выражаются куда проще, обыденнее и точнее.

По-видимому, он пожелал сесть, и невидимый предмет овеществился, исполняя его желание. Появился стул. Я тоже сел на тот, который возник вместе с моим желанием на что-то опереться. Теперь мы сидели оба и разглядывали друг друга.

Красавец ли? Нет, не красавец. Это пошлое слово едва ли способно было выразить впечатление от того, кто сидел рядом со мной, рядом, вопреки законам времени и пространства. Он был высок, строен. Но и эти определения ничего не определяют. Он был похож на портрет, написанный художником итальянского Возрождения. За ним, хотя и не обозначенный, угадывался большой мир, бесконечность, вселенная. Она, эта бесконечность, была как фон. И ещё были глаза. Именно ещё. Они как бы принадлежали не только ему, но и чему-то, что стояло за ним, значительное и неразгаданное.

Затем, уже несколько минут спустя, я обратил внимание, что эти глаза менялись, сказочно, необыкновенно менялись. Бесконечное богатство мысли и чувства. Из них, из этих глаз, смотрел другой опыт, другое тысячелетие, другой мир.

— Что же вы молчите?

Эти слова произвольно вырвались у меня. Они, должно быть, понравились моему гостю и отчасти застали его врасплох. Он улыбнулся.

— Молчу? Разве?

Я. Вы уже не молчите.

Он. Вы поймали меня на слове. Кажется, так бы-ло принято выражаться в ваше время?

Я. А в ваше?

Он. В мое? Нет, о моем времени говорить трудно, если быть точным. Я сын двух времен: того, что оста-лось на моей планете, на далекой планете Тиома, и того, что началось здесь. Разумеется, началось толь-ко для меня. Для всех остальных, кроме новорожден-ных, оно не было началом.

Я. Я тоже сын двух эпох. Вернее, сын одной эпо-хи и гость другой.

Он. Гость? Нет, вы не только гость. Надеюсь, не только. Да и у вас нет возможности возвратиться в свое время, оно же время прошедшее, необратимое. И, значит, вы уже не гость.

Я. А вы?

Он. На этот вопрос ответить труднее. Мне было всего шестнадцать лет. Космолет, на котором я летел с родителями, потерпел аварию. Все погибли, кроме меня. Меня спасли люди. Сначала я попал на самую отдаленную от Земли космическую станцию. А затем сюда.

Я. А где же вы научились так хорошо говорить по-русски?

Он. Разумеется, здесь. А где же? Не на космиче-ской же станции. Там я пробыл недолго. Здесь и в космолете, довольно долго преодолевавшем все же немаленькое пространство и время, отделяющее Землю от этого аванпоста земной цивилизации. Космическая станция, заброшенная далеко за пределы солнечной системы, называлась совсем просто и по-деревенски: Телятниково. Один из строителей станции настоял, чтобы ее назвали так в честь поселка, в котором он родился. Телятниково... Это первое земное название, которое я узнал. Надеюсь, вы не обвините меня в сен-тиментальности?

Я. Обвию. Вы выглядите почти так же, как зем-ные люди. Признаться, я этого не ожидал. Я пытал-

ся представить себе вас. И мое воображение меня пугало, мое собственное и воображение научных фантастов, описывавших обитателей других планет.

Он. Я вижу, вы разочарованы. Вы ожидали увидеть свержоригинальное существо, может быть даже созданное не из белковых молекул, а из материала более прочного, более своеобразного и химеричного? Может быть, вы думали, что вместо крови во мне течет яд и вам придется надевать маску, чтобы сначала физически изолировать себя, а затем уже искать духовного контакта? А не думали ли вы о том, что, кстати, не приходило в голову даже фантастам, что физический контакт будет вполне возможен, но контакт духовный противопоказан, что он будет таить некую опасность и для вас и для меня?

Я. Нет, это не пришло мне в голову. Да к тому же наше духовное знакомство началось задолго до нашей встречи. Я ведь читал ваш роман.

Он. Значит, с этой стороны все обстояло нормально. И вас пугало не содержание, а, так сказать, форма. Употребим лучше научно-академическое словечко: «морфа». Его, кажется, любил употреблять автор «Фауста». Он ведь и создал на земле новую отрасль знания, назвав ее морфологией. Вот мы и коснемся этого вопроса... Уж не думали ли вы, что я покрыт чешуей, как мезозойский ящер, или похож на единорога? Или, может быть, воображение вам рисовало меня по рецепту древних греков таким кентавром? Нет, у природы не так уж много фантазии, когда речь идет об этой самой морфе или форме, в которую нужно облечь ум и сущность высокоразвитого существа. Да, мы немножко похожи на земных людей, хотя в близком и кровном родстве нас трудно заподозрить. Все же расстояние. Если угодно, немножко пофилософуем. Вы никуда не спешите?

Я. Куда же мне спешить после трехсотлетнего-то перерыва?

Он. Да, в этом отношении у нас с вами много общего. Вы преодолели время, я — расстояние. Расстояние и, разумеется, время тоже. О чем я го-

ворил? Да, о морфе. Высокоразумному существу не пристало быть уродом.

Я. Но ведь понятие красоты условно, относительно. Так учили в мое время.

Он. Условное, разумеется, но до какой степени. И у относительности есть границы. Мезозойского ящера трудно счесть красавцем с любой точки зрения. Но мы слишком много говорим о морфе. Можно подумать, что мы — морфологи и анатомы, нет, анатомия никогда не была моей страстью.

Я. И моей тоже.

Он. Ну вот видите, у нас с вами сходство не только морфологическое. Вы любите стихи?

Я. Когда-то любил.

Он. Недавно я слышал чудесные лирические стихи о любви. Грустные. Местами трагические. Но самое поразительное, их написала машина.

Я. Не может быть.

Он. В ваше время не могло. Сейчас возможно. Машина, пишущая лирические стихи! — Он рассмеялся. — Это камешек в ваш огород. Вы вчера произнесли довольно яркую речь против отделения человеческих чувств от человека. Яркую и наивную. Проблема сложнее, чем думаете вы и думали ваши современники, рассматривая первые кибернетические устройства. Триста лет — это не маленький срок для науки, особенно для такой науки...

Я. Но что может знать машина о любви?

Он. Отложим этот спор до тех пор, пока вы не познакомитесь со стихами и их довольно милым и сложно устроенным механическим автором.

Я. Расскажите о своей планете Тиома.

Он. Мне было всего шестнадцать лет, когда я ее покинул, но кое-что запомнилось. История нашей цивилизации не похожа на историю вашей. Борьба с природой у нас была иной, чем на Земле. Борьба... Пожалуй, лучше употребить другое, более подходящее слово. Не столько борьба, сколько содружество. Между тиомцами и окружающей средой возникло единство. Еще в периоде, соответствующем вашему неолиту, тиомцы обнаружили незаурядные биологи-

ческие способности. Ваш палеолитический человек приручил волка, превратив его в собаку. Позже были приручены дикие лошади, олени, буйволы. Тиомец же сделал домашними множество животных и растений... И это сказалось не только на характере его деятельности, но прежде всего на видении мира, на мировоззрении. Тиомец почти не знал страха перед миром, перед судьбой. Религиозные предрассудки очень недолго затемняли его сознание. Ведь религия, всякая религия — это не контакт, не единство с окружающей средой, а разлад, боязнь этого мира... Огромные биологические познания возникли еще на заре тиомской цивилизации. Биология, знание живой природы шло впереди всех других знаний. Отчасти это замедлило развитие техники и технических наук, физики и математики, но только отчасти. Наступило время, когда дальнейший прогресс биологических знаний потребовал развития техники, химии, физики и математики.

Я. Полная противоположность нашей. У нас биология всегда плелась в хвосте физики, математики и других наук. Исторический взгляд на мир живых форм возник лишь в середине девятнадцатого века, когда Дарвин создал теорию естественного отбора. Даже в мое время, когда уже началось завоевание космоса, биологи все-еще спорили о том — передаются или не передаются по наследству свойства, приобретенные индивидом.

Он (улыбаясь). Знаю. Читал. И знаю, когда ваша наука начала перестраивать наследственность на молекулярном уровне, управляя мутациями. И знаю, когда был, наконец, достигнут атомный уровень изучения живого и биологи узнали, в каком порядке расположены атомы в наследственном полимере. Со всем недавно. Но возвратимся на Тиому, о Земле мы еще поговорим.

Я. Извините, что я вас перебил. Дурная привычка. Да и молчал я долго, почти триста лет.

Он. Понимаю вас, хотя мне и не довелось так долго молчать, как вам. Всего несколько недель, пока я не научился понимать земную речь и выражать свои

мысли посредством сочетания гласных и согласных.

Я. А у вас на Тиоме? Разве у вас...

Он (перебивая меня и смеясь). Да и у нас тоже не обходится без слов. Но принцип их сочетания несколько иной. Язык — это звуко-смысловое отражение реальности. А значит, и отношение субъекта к объекту. Я уже говорил, что на Земле существует больший разрыв между человеком и природой, чем на Тиоме. Выдающиеся биологические способности тиомцев позволили им рано познать чрезвычайно важные закономерности... У нас также не было разрыва между художественным и научным видением мира. Любовь к природе и глубокие знания способствовали развитию эстетических чувств. Вам не надоела моя лекция? Если надоела, поговорим о чем-нибудь другом. Временами мне бывает очень грустно. Ностальгия. Тоска по родине. И она усиливается от сознания, что я никогда ее не увижу. Тиома слишком далеко от вашей солнечной системы, чтобы надеяться. А вам бывает грустно?

Я. Бывает.

Он. Часто?

Я. Да.

Он. Но у вас есть надежда. Вы увидите своих современников, когда возвратится на Землю космолет. Вы увидите свою жену.

Я. Я ее жду. Из-за этого я и подвергся опыту в лаборатории дискретных проблем. А вы женаты?

Он. Не женат. Та, которую я любил, осталась на Тиоме.

Я. Но вы же тогда были подростком, почти мальчиком...

Он (перебивая и волнуясь). Ну и что же? Разве подростки не влюбляются? Я все время думаю о ней. Ее звали Лелора. Почти земное слово. Это имя вам ничего не говорит. Чужое незнакомое сочетание звуков. Но я готов отдать все, чтобы увидеть ее хоть раз. И я никогда ее не увижу. Или увижу старухой, если к тому времени астронавигаторы сумеют преодолеть эти безумные пространства.

Я. Но вам же удалось преодолеть их однажды. Иначе вы бы не попали сюда, на Землю.

Он. Иногда мне не верится, что я их преодолел. Мне кажется, что Тиома — это сон, а я родился на Земле или на одной из космических ее станций. То, что я попал на Землю, это исключительный случай. Чудо. В эту часть Галактики не залетают наши корабли.

Я. Кто знает, может быть, вы вернетесь на Тиому. Чудо повторится.

Он. Я и не отчаиваюсь. Просто иногда бывает грустно. Вот и все.

Я. Это хорошо. Грусть делает нас более человеческими. Мне приятно узнать, что и на далекой Тиоме жители умеют не только радоваться, но и грустить. Не умеют грустить только одни машины.

Он (оживленно и почти весело). Только машины? Вот и я вас ловлю на слове. А Митя, Женя, Валя, Миша и Владик, о которых вы так горячо и страстно говорили на заседании Академии наук? Вы о них забыли? Мне очень хорошо запомнилась ваша речь и особенно заминка, которую вы сделали вначале, оговорившись и назвав Митю вещью и, по-видимому, усомнившись в этом. Да, это проблема не только для философов, но и для всей современной земной цивилизации — вещь ли Митя или не вещь? Если вещь — тогда все просто. А если не вещь? Как же быть тогда? В человеческой сущности заложены самые глубочайшие проблемы и прежде всего проблемы этические. Но вот люди создали робота еще более эмоционального, чем они сами. Один из спорящих сказал, что ученые сумели создать модель человеческой сущности. Неудачная, абсурдная, нелепая мысль. Сущность человека не может моделироваться. Но как быть с Митей, Женей, Валец, Мишей и Владиком? Для них этот вопрос имеет не только академический характер. И вы были правы, когда страстно говорили о том, что наука здесь перешла какую-то дозволенную грань и стала в противоречие с этикой. Одни ученые и философы поддержали вас, другие

возражали. Я с большим интересом следил за этой дискуссией.

Я. А существуют ли высокие формы механизации и автоматизации у вас на Тиоме? Доверена ли роботам интеллектуальная и эмоциональная сфера?

Он. И да и нет.

Я. Как это понять?

Он. Я уже говорил, что история тиомской цивилизации отличается от земной. Тиомцы — это прежде всего биологи, натуралисты, влюбленные в природу. Тиомец с детства начинает изучать и углубляться в жизнь растений и животных. Каждый взрослый тиомец проводит свой досуг в лесу, в поле, в саду, на берегу реки или озера. Бесперывное наблюдение над жизнью животных и растений, начавшееся с периода, соответствующего вашему палеолиту, превратили каждого тиомца в исследователя, в экспериментатора. Творческое преобразование природы началось очень рано, хотя ему мешали социальные условия. Постоянное единство с природой не позволило расцвести крайнему субъективизму, индивидуализму и тем уродливым формам идеализма, которые одно время процветали у вас на Земле. Ведь одно чрезвычайно модное в XX веке буржуазное направление в вашей земной философии, называемое экзистенциализмом, пришло к абсурдной идее противопоставить человека и все человеческое объективному миру. Экзистенциалисты утверждали, что объективация убивает личность, расчеловечивает индивида. Один из них сказал странные и страшные слова, что нет ни человечества, ни народа, а существуют только миллионы одиночек. Тиомец это не смог бы даже понять, настолько это ему было бы чуждо. Каждый тиомец как бы наполнен природой, в нем весь мир, он проникнут объектом, слит с ним. И связан единством со своими современниками. Кибернетика возникла на Тиоме рано, гораздо раньше, чем на Земле. Именно развитие кибернетики ускорило темп развития всех остальных наук. Ведь ни одна из естественных наук так не содействует единству субъекта и

объекта, общества и природы, как кибернетика, то есть интеллектуализация мертвой природы.

Я. Интеллектуализация мертвой природы? Вы не оговорились?

Он. Ничуть. Если хотите, очеловечение, одушевление. Вы возражаете?

Я. Я? Нет. Пока нет... А на вашей планете долго длится жизнь личности, индивида?

Он (улыбаясь). Вы хотите знать, возможно ли бессмертие? Возможно. Но не нужно.

Я. Кому не нужно? Личности? Обществу? Природе?

Он. Наши ученые нашли способ продления жизни, и каждый тиомец, если бы он пожелал, мог бы достичь того, что называют бессмертием. Но что такое бессмертие? Задавали ли вы себе этот вопрос?

Я. Нет, не задавал, хотя кому и интересоваться этим вопросом, как не мне... Бессмертие — это возможность победить время, дарованная личности наукой. Не так ли? Полная абсолютная победа над временем, над брэнностью.

Он. А кому нужна эта победа? И победа ли это, а не поражение ли?

Я. Не понимаю.

Он. Вдумайтесь и поймете. Смерть не может и не должна исчезнуть.

Я. Но человек всегда считал смерть злом и слепой необходимостью, победой косных сил...

Он. Бессмертие еще хуже смерти. Получив бессмертие, личность перестает быть личностью, она лишается конца, а значит, и начала. Личность связана с историей, со своим временем. А становясь вечной, она отрывается от мгновения, от истории, от общественного бытия. Наше общество нашло желание быть бессмертным неэтичным, противоречащим нравственной сущности тиомца. И отказалось от него. Отдвинуть свой конец — это одно, но лишить себя конца, приобщиться к бесконечности — это значит освободить себя от времени, противопоставить себя жизни, всему ее смыслу. Возникновение и смерть — нет, тиомец не захотел пожертвовать всем этим ради со-

мнительного и противоестественного блага личного бессмертия.

Я. Довольно сильные доводы. Они почти меня убедили.

Он. Почти? Значит, у вас все-таки остались сомнения?

Я. А разве у вас на Тиоме эта точка зрения одержала победу без борьбы? Разве все тиомцы думали одинаково?

Он. Разумеется, нет. Особенно защищали идею бессмертия те ученые, которые нашли способ ее реализации. Но в конце концов они согласились с доводами своих противников, и самым сильным и убедительным доводом был тот, что развремененный тиомец превратится в нечто вроде машины, лишится своей тиомской сущности, говоря на земном языке, расчеловечится.

Я. Нужно иметь много мужества, чтобы из философских побуждений отказаться от такого сильного соблазна.

Он. Мои однопланетцы предпочли быть смертными тиомцами, чем бессмертными машинами.

Он замолчал. Молчал и я. Мы смотрели друг на друга, и в эту минуту я думал о том, что, беседуя с тиомцем, я приобщаюсь к миру, о котором, к сожалению, не знал никто из моих современников. В шестидесятых годах XX века люди очень хотели знать, есть ли жизнь на других мирах, и как бы они были счастливы, если б могли слышать по радио нашу беседу с тиомцем или видеть на экране кино или телевизора нас, сидящих вот здесь, в номере гостиницы XXIII столетия. С каким страстным интересом они смотрели бы на тиомца.

Казалось, и я смотрел на него не только своими собственными глазами, но и глазами всех людей того столетия, когда человеческая наука только что начала осваивать космос и человечество с нетерпением ожидало встречи с высокоразумными существами, обитателями других миров.

Обитатель «других миров» сидел рядом так близко, что я мог коснуться его рукой. Зачем? Для чего?

Может, для того, чтобы проверить, не обманывают ли меня чувства? Нет, чувства не обманывали. Но рассудок был несколько разочарован тем, что мой любезный и милый гость, сумевший преодолеть почти безграничное пространство, сам по себе оказался в границах обычного, даже слишком обычного, и физически почти не отличался от молодых людей, родившихся на Земле. Я неожиданно употребил слово «почти», не найдя другого, сумевшего бы более точно передать даже не смысл, а оттенок того, что я пытался выразить. Это «почти» сказывалось скорее не в его облике, а в выражении лица. Лицо моего гостя выражало нечто особое, оно как бы раскрывало смысл того, что не в силах передать никакие слова. Глубокая и странная загадочная мысль глядела из его глаз. Я почему-то вспомнил Леонардо да Винчи. И он, словно угадав мою мысль, назвал имя великого художника и инженера итальянского Возрождения.

Я. Мой покойный отец написал о нем книгу.

Он. Знаю эту книгу. И высоко ценю ее.

Я. Отец высказывал странную мысль...

Он. Она мне не кажется странной. Леонардо был очень похож на тиомца. Я был бы готов допустить, что он тиомец, прилетевший на Землю.

Я. Мой отец тоже был готов допустить нечто подобное.

Он. Леонардо был и остается загадкой. И сейчас некоторые историки высказывают эту же мысль. Но нет фактов, чтобы подтвердить ее, за исключением, пожалуй, одного...

Я. Какого?

Он. Леонардо видел мир, как видят его тиомцы, сумевшие идеально пригнать окружающую их среду к себе, к своей жизни, к своим чувствам. На его картинах, а значит, так было и в его душе, слишком гармоничный мир.

Мы беседовали, и время спешило, торопилось, как и полагается времени. И наступила минута, когда Тиомец (я называю его Тиомцем, хотя у него было имя, довольно звучное имя: Бом) встал и, простив-

шись со мной, исчез. Именно исчез, а не ушел, словно растворился в воздухе. Еще секунду назад я слышал его голос и видел его лицо, и вот его уже нет. Он будто развеялся вместе со стулом, на котором только что сидел. В номере стало пусто, и я все сильнее и сильнее ощущал эту пустоту и тишину.

Затем появился робот и принес мне ужин.

Живя в необыкновенном мире, я постепенно знакомился с новыми нравами и обычаями. Где бы я ни появлялся: в сельской ли местности, на фабрике ли фотосинтеза, в научно-исследовательской лаборатории, в гостях у друзей (а их становилось все больше и больше), я везде ощущал захватывающий ритм гармоничного коммунистического бытия, видел новые, истинно человеческие отношения. Изменилось не только мышление, но и словарь. Из бытового разговорного языка исчезли слова, отражавшие эгоцентризм, цинизм мысли, грубость и пошлость чувства. Сердечность и мужество — эти черты были свойственны и детям, и юношам, и старикам. Каждая отдельная личность чувствовала свое постоянное единство, духовную слитность со всем огромным коллективом. Вот эта духовная слитность каждого гражданина с обществом и создавала ту особую атмосферу эпической красоты и величия, которая была ни с чем не сравнима. В каждом человеке — и в ребенке и во взрослом — отражалось все величие огромного коллектива, всего коммунистического человечества, превратившего Землю в центр творческой вечно не удовлетворенной мысли, мысли, рвущейся вперед, в бесконечность еще не освоенных миров.

Однажды историк Светлана Щеглова и писатель тиомец Бом спросили меня, как я понимал слово «счастье», живя еще в XX веке? Я, по-видимому, поспешил и ответил неудачно. Я сказал:

— Счастье — это удовлетворение всех желаний.

Тиомец Бом молча усмехнулся, а Светлана возразила:

— Ну нет. Счастье, по-моему, не в этом. По-настоящему счастлив только тот, кто никогда не бывает удовлетворенным. По-моему, личное счастье —

это реализация всех твоих способностей на благо всего коллектива. Ведь счастье — это не только итог, но и путь к цели. И если этот путь слишком легок, если он не требует никаких усилий, разве он может сделать человека по-настоящему счастливым? Самыми счастливыми людьми в нашем обществе считают тех, кто меньше всех щадил себя, прокладывая путь в будущее. Счастье не может быть очень спокойным.

И мы все долго спорили о том, что такое счастье.

21

Я уже рассказывал о том, что машина быстрого движения превращала пространство в абстракцию. Но и время она тоже лишала той длительности, которая связана с ожиданием и пребыванием в пути.

Вы, в сущности, не пребывали в пути, путь пребывал в вас, вы появлялись почти сразу.

Вот так, выйдя из гостиницы, я сразу оказался в институте истории, хотя этот институт был возле Феодосии в Крыму. Меня сопровождали Павел Погодин и историк, специализировавшийся на изучении второй половины XX века, Светлана Щеглова.

Еще в гостинице Светлана пыталась меня уверить, что история стала самой актуальной и любимой молодежью наукой, породившись с кибернетикой, вооружившись новейшими техническими достижениями, чтобы сделать человека хозяином времени. Хозяином пространства он давно уже стал.

Мой отец был историк, и я хорошо знал, как в мое время историки и археологи завидовали физикам, биологам и инженерам, которые изучали не что-то бывшее и исчезнувшее, а создавали новый мир, будущее, бесконечно более интересное, чем прошлое. Профессия историка казалась тогда многим чем-то созерцательным и книжным, далеким от жизни.

Я обратил внимание на огромное здание, стройное и изящное, как чертеж. Это был Институт памяти. Сквозь полупрозрачную, как облако, стену были

видны машины, вобравшие в свою память все прошлое человечества, не давая утратить ни один миг.

Машины трудились и днем и ночью. Они запоминали, ловя каждое мгновение, каждый новый факт, чтобы присоединить его к тем бесчисленным фактам и событиям, которые здесь хранились.

— Говоря на языке людей двадцатого века, — пояснила мне Светлана, — это исторический архив.

— А где же шкафы, в которых хранятся документы?

Светлана рассмеялась. Усмехнулся и Павел Погдин.

— Их убрали вместе с пылью еще два столетия тому назад. Здесь хранится утраченное бытие, как в живой человеческой памяти. Пыль ему не требуется. И картонные папки тоже.

— Механизированные историки, — попытался я состричь. — Металлические архивариусы.

— Я бы сказала по-другому, — ответила Светлана. — Очеловеченное, оживленное время. Одушевленный документ... Сейчас историки решают задачу необычайно сложную. Они хотят поставить человека в центр, в самый фокус времени, сняв разрыв между прошлым и настоящим. Развитие информационной техники, прогресс кибернетики отчасти делают это возможным и сейчас. Вы хотите знать какой-нибудь факт, опустившийся на самое дно прошедшего. Вам его подымут. Назовите. Тут рядом зал исторических и биографических справок.

Я несколько растерялся.

— Что бы вы хотели узнать, — спросила Светлана, — из того, что вас интересовало в прошлом?

Я задумался. И вдруг мне вспомнился профессор Чернявский. За что он так невзлюбил меня? Разве и это можно поднять со дна прошлого?

Я рассказал Светлане, как смог, о том, что меня интересовало.

— Пустяк. Мелочь, — сказал я. — Но эта мелочь мешала мне жить.

Светлана улыбнулась. Затем она зашла в справочную и передала мой заказ.

— Через три часа вы получите нужную справку, — сказала она, выходя из справочной. — А сейчас идемте обедать. Я проголодалась.

Три часа я провел в тревожном состоянии. И был, разумеется, рассеян. Я невпопад отвечал на вопросы Светланы и Павла. Я думал о Чернявском, словно он был где-то почти рядом.

И это было почти так. В тот день я встретился с ним, встретился, казалось бы, вопреки всем законам природы.

Вместо сухой архивной справки мне в Институте памяти предъявили нечто более живое и конкретное. В кабине, куда меня попросили войти, оказалось иное время. Я очутился в лаборатории генетики, да, в той самой лаборатории, куда я не решался входить, когда работал в институте. И хотя я очутился там, никто не замечал меня, все заняты были своим делом. Лаборантка Пастухова варила кашу из изюма для мушек дрозофил. Лаборант Карасик возился с термостатом, что-то налаживая. А Чернявский сидел за столиком в углу и писал статью. Он был отличный экспериментатор и неплохой лектор, но статьи он писал с трудом, мучительно и подолгу подыскивая нужное слово и не умея закончить фразу, поставить вовремя точку.

Минут через пять он встал с места и быстро-быстро стал ходить. Затем он махнул рукой и подошел к Пастуховой.

До моего слуха долетела странная фраза, смысл которой не сразу дошел до меня.

— А завтра его начнут замораживать. Бедненький. Невеселая все-таки штука.

Чернявский вздрогнул, выпрямился, и на его широком лице появилось знакомое мне выражение презрения и неприязни.

— Ну и что? Что вы хотите сказать?

Пастухова выждала несколько секунд, зевнула и спросила с самым невинным видом:

— А за что вы так не любите его, Георгий Семенович?

Чернявский не ответил.

— А как вы думаете, Георгий Семенович, действительно он через триста лет оживет?

— Оживет не оживет, вам-то какое дело? Занимайтесь лучше своей кашей.

Затем лаборатория с Чернявским исчезла. В поле моего зрения появилась машина. Перед ней возник экран. Машина что-то делала. И, только взглянув на экран, я понял, чем она занималась. Она составляла список научных работ. Но самое поразительное, у нее был мой почерк. И перечисляла она мои собственные работы, но в обратном порядке, не с начала, а с конца. У меня было около двадцати печатных работ... Но удивительно, машина писала все менее уверенно, словно что-то мешало ей вспомнить.

Я тоже старался вспомнить. И вдруг мне пришла на память статья об естествознании, написанная мной, еще когда я учился на философском факультете. Ее не было в списке, составленном машиной. Машина забыла о ней или, может быть, настолько была деликатной, что не хотела напоминать о ней. Так вот из-за чего сердился на меня Чернявский, не пожелавший простить мне эту статью, где речь шла о вещах, в которых я плохо разбирался?

Я вышел из кабины, смущенный и растерянный.

— Ну что, удалось вам получить справку? — окликнула меня Светлана Щеглова.

— Удалось, — ответил я без энтузиазма.

Как я уже упоминал, профессор Обидин, не уверенный в том, что вместе со мной в далекое будущее войдет и мое прошлое, записал на пленку магнитофона мои воспоминания. Кроме того, он использовал и техническую новинку — электронный аппарат с запоминающим устройством.

И им было предоставлено слово, им, этим устройствам и примитивным механизмам. На этот раз магнитофон и запоминающее устройство пытались приобщить к моим интимным переживаниям не только физиологов и биофизиков, но и все население сол-

печной системы, обитателей многочисленных космических станций, новоселов Марса и Венеры, самоотверженных людей, осваивающих новые миры.

Мой голос раздавался словно бы из глубины прошлого, не скрывая волнения, охватившего меня в дни, предшествовавшие эксперименту. Я не сумел тогда скрыть свое волнение, и потому интонация не совсем соответствовала тому, что я теперь говорил.

Обидин попросил меня быть спокойным и точным, будто можно действительно быть точным, когда вспоминаешь. Он даже не удержался и сказал мне, не скрывая своего недовольства:

— Павел Дмитриевич! Голубчик! Поймите раз навсегда. Ведь вы должны унести с собой в будущее не только собственную персону, но и свое прошлое. Да, всю свою жизнь со всеми ее событиями, оттенками и переживаниями.

— А зачем? Нужно будет, все вспомню.

— А если наступит амнезия, хотя бы частичная утеря памяти? Появитесь среди потомков. Спросят вас: кто вы, откуда? А вы ни бе, ни ме.

— Думаете, магнитофон поможет? Утратить память — значит утратить самого себя.

— Поменьше думайте о себе, а побольше о тех, среди которых вам придется провести остаток своей жизни. Терпеть не могу громкие слова, но, видно, без них не обойтись. Вы делегат, отправляемый нашими современниками в будущее. Отдаете себе отчет, кто вы? Поймите, наконец, свою ответственность.

Его, по-видимому, начало раздражать мое упрямство, упорное нежелание вспоминать по заказу. Но времени оставалось мало, был дорог каждый час.

Я рассказал о себе, стараясь вообразить, что рядом со мной сидит человек, которого страстно интересуется моя биография.

Рядом действительно сидел человек, техник, специалист по магнитофонной записи, и на его лице не отражалось ничего, кроме желания хорошо сделать свое дело.

Я рассказывал о себе, как если бы писал свою автобиографию при поступлении на работу. Я перечис-

лял адреса, по которым проживал, города, где бывал, родственников, учебные заведения, где когда-то учился.

Обидин перебил меня:

— Потомков не интересует ваш послушной список. Вы же сейчас делитесь своими воспоминаниями не с управхозом.

— Откуда вы знаете, что будет им интересно?

— Глубины больше, Павел Дмитриевич. Искренности. Рассказывайте о самом важном. Нужна ваша исповедь, а не справка для выдачи паспорта.

— Исповедь? Я ведь не Жан Жак Руссо.

— Знаю, что вы не Жан Жак!

Обидин сердился на меня. За что? Уж не за то ли, что я не умел сложить свое прошлое в чемодан, собираясь в дальний путь, в необыкновенную дорогу, и мог оказаться без багажа.

Я понимал не хуже Обидина, что мои воспоминания, записанные на магнитофонную ленту, будут своеобразным мостом, связующим две эпохи, и именно это-то обстоятельство и мешало мне собраться с мыслями. О чем и о ком я буду рассказывать? О себе? А чем я замечателен? И кому будет интересно слушать о том, что я переживал и видел?..

И вот теперь, спустя триста лет, люди всей солнечной системы слушали мой чуточку дрожащий голос, рассказывающий о бывшем научном сотруднике Института биофизических проблем, отважившемся нарушить закон, по которому текла жизнь многочисленных видов животного и растительного царства в течение миллионов лет.

Не я сам, а именно это обстоятельство делало значительным каждое слово, которое я произносил.

— В том году, — рассказывал мой голос, — я решил испытать свои силы и заодно лучше узнать жизнь, которую я знал плохо. Один из моих друзей, Саша Горбачев, кончил Горный институт и был назначен начальником геологической партии, отправляющейся на Север. Я попросил его, чтобы он взял меня коллектором. Горбачев ехал как раз в тот район Катангской тайги, где несколько лет назад по-

гиб его дядя. Об этой трагической истории писали в газетах. Гидрогеолог — дядя Горбачева, человек пожилой, нес несколько бутылей с водой, так называемую «пробу», и заблудился. Заблудился потому ли, что внезапно выпал снег, или по какой-то другой причине — это осталось неизвестным. Катангская тайга тянется на многие сотни километров. Самолеты искали старого гидрогеолога и не могли найти. Нашел его эвенк, перегонявший оленье стадо. Нашел мертвым. Но что было удивительно — рядом с мертвым гидрогеологом стояли стеклянные бутылки с водой. Он не бросил и не разбил ни одной.

Я впервые уезжал из дома на такой далекий срок. И старался держаться как все участники экспедиции — не думать о предстоящих трудностях и радоваться всем случайным радостям, выпадавшим на нашу долю. В глубине души я немножко побаивался тайги с ее безлюдными просторами. Ведь мне никогда прежде не приходилось отдаляться от больших дорог, даже когда я ходил собирать грибы где-нибудь поблизости от Солнечного или Репино. Заблудиться возле Репино не очень-то тяжелое испытание. Оно способно напугать разве только дошколенка, но потерять направление в Катангской тайге, где безмолвные, окутанные безразличной и однообразной марью лиственницы тянутся на сотни километров, повторяя себя до одурения, — это совсем другое дело! С особой остротой я это почувствовал, когда остался один и потерял направление. Мой спутник эвенк Василий Шадоуль, казалось, только что сейчас был рядом, но его скрыли лиственницы, и он не откликнулся на мой голос. И вот теперь я был один, один в тайге.

Один. Что это значит? Никогда до того я не представлял себе полного одиночества. С того дня, как я стал сознавать себя, и до сегодняшнего утра я всегда знал, что поблизости от меня кто-нибудь да есть. А сейчас... Сейчас не было никого. Одни лиственницы да небо, с которого падал мелкий дождь. Я шел. Ощущение огромного, безлюдного, необъятного пространства все сильнее и сильнее охватыва-

ло меня. Сначала мне казалось, что инстинкт и магнитная стрелка компаса выведут меня из этой чащи, но к концу дня я уже перестал доверять и своей интуиции, и этой колеблющейся стрелке, и солнцу, которое время от времени показывалось из-за туч.

— Шадо-уль! — кричал я.

Но никто не откликался.

— Шадо-уль!

Я звал эвенка. Я повторял это имя, хватаясь за это созвучие, как утопающий хватается за соломинку.

— Шадо-уль!

Но тайга не отвечала.

22

Я прислушался. Мой голос все еще рассказывал об этом таежном эпизоде. Рассказывал не совсем скромно, вдаваясь в излишние подробности и несколько преувеличивая трагизм положения.

Кому я рассказывал этот эпизод? Людям, познакомившимся с бесконечностью, познавшим космос. Иным из них доводилось не раз блуждать в бездонном и безграничном пространстве. Они, вероятно, улыбаются сейчас, слушая меня.

Я успокоил себя: ведь говорил не я, а только мой голос, записанный на пленку магнитофона, почти за триста лет до появления на свет всех этих бесстрашных людей, вооруженных иным опытом.

В послеобеденный час ко мне в гостиницу пришел гость — тиомец Бом. Глаза его смотрели на меня без всякой насмешки.

— Вы очень живо описали этот случай, — сказал он мне. — Впрочем, я знал заранее, что конец будет благоприятный и коварному пространству рано или поздно придется выпустить вас из своих лап.

Он улыбнулся.

— Не хотите ли прогуляться?

— В машине быстрого движения?

— Нет. Зачем? Просто пройтись пешком, как рекомендует медицина.

— Ну что ж, я готов.

Не парадоксально ли, что моим гидом на Земле оказался тиомец Бом, существо с другой планеты?

Мы прошли мимо робота-коридорной, а тиомец Бом спросил меня негромко, как полагается спрашивать о тяжело больном:

— Что слышно о Мите? Как его самочувствие?

— Митя чувствует себя отлично. Вчера вечером ко мне заходил Павел.

— Он-то, возможно, чувствует себя хорошо. Подлечился. Отдохнул. Укрепил свою нервную систему. Но как чувствуют себя конструкторы и физиологи, создавшие его? Академия наук и общество философов сказали категорическое «нет», «нет» очеловечению вещей, внедрению эмоциональной и психической сферы в косную материю.

— А как поступят с Митей, Женей, Валей, Мишей и Владиком?

— Поступят гуманно и разумно. А как бы вы поступили?

Мы вышли из вестибюля гостиницы на улицу. Дом напротив. Пешеход. А за стеной дома и за спиной пешехода вселенная. Это острое и освобождающее от всяких преград и границ ощущение я уже испытывал здесь не впервые. Сначала чувства протестовали, казалось мне, я шел не по улице большого города, а пребывал на космической станции. Чувства настаивали, что это космос, а рассудок и знание утверждали, что это всего-навсего улица, обычная улица обычного земного города. Я знал, что очень сложные оптические приборы меняли городской пейзаж. Они приближали к глазам пешехода космос и как бы переносили каждое городское здание за границы земного пространства. Пешеходу был словно придан искусственный глаз. Далекое становилось близким, а близкое отдалялось, перемещаясь в другую плоскость.

У меня захватило дух от ощущения безграничного простора. Как некстати прозвучали мои воспоминания о блужданиях в Катангской тайге. Здесь, рядом со мной, была не тайга, а казалось, весь мир с его бесчисленными галактиками. Мы шли с тиомцем

Бомом среди домов и звезд. Нет, рядом с нами были не фонари, а настоящие звезды, большие и крупные, как солнце, миллион солнц.

Минут через двадцать ходьбы мы свернули в переулок. Вселенная исчезла. Перед нашими глазами был лирический земной уголок с бульварами, с деревьями, с домами, построенными еще в XX и XIX веках. На бульваре мы увидели скамейку. Мы сели на нее.

Я знал, что сразу за углом переулка — вселенная. Но я не спешил вернуться туда, в мир больших пространств.

Бом сидел молча и о чем-то думал. О чем? Может быть, о далекой Тиоме?

Впереди был дом, очень похожий на тот, в котором жила Ольгина тетка — Клавдия Петровна. Чем больше глядел я на этот дом, тем сильнее меня охватывало беспокойное чувство. Мне уже казалось, что я сижу и жду Ольгу. Она зашла в этот дом к своей тетке Клавдии Петровне всего на пять минут и задержалась. От Клавдии Петровны скоро не уйдешь.

Все было таким же в этом переулке, как в мою эпоху. Дома, окна, двери, деревья и небо, главное — небо, обычное синее небо с медленно плывущими облаками. Я забыл даже о тиомце Боме, сидевшем рядом. Но Бом напомнил о себе.

— Мне, — сказал он, — больше нравится там, — и показал рукой туда, где за углом нас ожидало другое безграничное пространство, пространство, звавшее нас в бесконечность к звездам.

23

Тиомцу Бому, по-видимому, надоело сидеть на старинной скамейке и видеть одно и то же. Ему наскучил этот лирический старомодный уголок, этот заповедник, оставленный без изменений и напоминавший о далеком прошлом.

— Пойдемте, Павел Дмитриевич.

— А не лучше ли посидеть здесь, дорогой Бом? Мне здесь так все нравится.

Уж не боялся ли я улицы, уходящей в беспредельность? Я не хотел себе в этом признаться, но это было так. Я хотел отсрочить хоть на десять минут встречу с миром без горизонтов и границ.

На бульваре было тихо, пожалуй, еще тише, чем на безграничной улице. Машин не было видно. Быстрое движение происходило либо в небе, либо глубоко под землей.

— Вы, по-видимому, устали, — сказал тиомец Бом, — устали, хотя и не хотите в этом признаться. Это естественно. Слишком большая нагрузка для чувств. Я вспоминаю, когда я попал на Землю, я тоже испытывал то чрезмерное возбуждение, то безмерную усталость. Но я был молод, юн. Идемте! Идемте ко мне. У меня вы отдохнете.

— Далеко?

— Тут рядом.

— Тут рядом, в бесконечности?

Тиомец Бом рассмеялся.

— Так и должно быть. А как же иначе? Человек овладел временем и пространством. Его глаза отвыкли от всего неподвижного и малого, того, что окружало в течение многих тысячелетий. Окно моего дома выходит не на пустырь и не на двор, а прямо во вселенную, разве это так уж плохо?

— Я потерял все критерии. Я уже не знаю, что плохо и что хорошо. Привычка!

— Привычка — это то, что чуждо современному человеку. С детства он борется с привычками. Его бытие всегда обновляется и освежается. Привычка — это нечто вроде стоячей воды в болоте. Идемте.

Я буквально заставил себя встать со скамейки, так не хотелось покидать этот уголок.

Мы свернули за тот же самый угол, но увидели совсем другой пейзаж. Вместо вселенной за стеной того же самого дома я увидел неизвестно откуда взявшуюся гору с карабкающимися на нее соснами. Совсем как в Горном Алтае, падала вода со скалы. Гора была близко-близко, почти возле самых глаз, казалось, что, протянув руку, я достану до нее. Ря-

дом не было никакой дали. Все интимно приблизилось ко мне.

— Что случилось? — спросил я. — Каким образом изменилась улица? Ведь не прошло и часа, как мы по ней шли.

— А который час? — Бом взглянул на часы. — Ровно пять... Все очень просто, Павел Дмитриевич. В эти часы оптики производят смену программы. Вместо бесконечности они предлагают нашим чувствам что-нибудь близкое, естественное и земное. Прекрасная гора! И водопад прелестный. Я вижу это в первый раз.

Я почувствовал в голосе тиомца Бома волнение.

— Постоимте, Павел Дмитриевич. Чудесный край подвинули к нам. Как круто уходит ввысь гора! Обратите внимание на водопад. Все это напоминает мне Тиому. Тиома! Тиома — это ручьи, водопады, бие, звон, плеск, гром. Тиома — это деревья, карабкающиеся ввысь, к облакам, и озера. У вас на Земле один Байкал, только Байкал, да еще Телецкое озеро могут сравниться с тем, что у нас на Тиоме.

Я был доволен, что вместо бесконечности передо мной был кусок земной природы, гора с карабкающимися на нее деревьями и водопад. Правда, не слышно было шума падающей воды. Тишина.

Мы шли, и тиомец Бом на ходу рассказывал мне о Тиоме.

Тиома — это ветви и птицы, и птичьи голоса, и звон льдинок весной, когда ручьи выходят из берегов. Тиома — это берега и крылья и снова плеск и звон падающих вод. Тиома — это облака и горы с озерами на верхушке и лицо смеющегося ребенка. Тиома — это сад в облаках и лесные тропы, и птичьи гнезда, и следы прирученных зверей. Тиома — это весло в волне, и нос лодки, и прозрачная синь реки. Тиома... Мы шли, и я не подозревал, что его Тиома была всего в двух шагах.

Он раскрыл дверь, и я увидел рыб, плывущих рядом. Стекла, воды не было видно, и казалось, рыбы плыли в воздухе. Дом и двор походили на ботанический сад, куда впустили зверей. Изящный жи-

раф вытягивает шею, чтобы сорвать лист с дерева, словно ожил детский рисунок.

— Иначе не умею, — пробормотал смущенно Бом.

— Что не умеете?

— Не умею обходиться без растений и животных. Привычка.

Он помолчал.

— Пробовал. Не получается. Что-то вроде симбиоза. Не находите?

В квартире (как не подходило это допотопное словечко к тому, что я видел!) ничего не напоминало о быте. Вместо быта — бытие, жизнь в природе и с природой.

— Чтобы вам не было скучно, — сказал, любезно улыбаясь, тиомец Бом, — сейчас пригласим гостей. Вызовем их, потревожим ради такого события, разбудим, если спят. Виктор Купцов. Инженер. Мой приятель. Станция в космосе «Балашово». И Зоя Астрова. Южный полюс.

Тиомец Бом включил незнакомое мне оптическое устройство, и гости начали приближаться. Они уже были возле нас и одновременно пребывали где-то. Эта одновременность и разнопространственность (словечко, к странному смыслу которого я долго не мог привыкнуть) давали о себе знать моим растерявшимся чувствам. Несовпадение времени (психологического времени) и пространства (физического пространства).

Гости — Купцов и Астрова — внесли с собой и свои миры (он — космическую станцию, она — южный полюс), правда, в значительно уменьшенном масштабе. Я подумал, как бы удивились мои современники, узнав, что люди, собираясь в гости, берут с собой не только свое тело и свою душу, но и то, что служит им опорой, фоном, что окружает их со всех сторон.

Виктор Купцов пожал мне руку. Рукопожатие продолжалось недолго, но оно смутило меня.казалось, что рука протянулась откуда-то из космоса, презрев расстояние.

Зоя и Виктор сидели против нас одновременно вблизи и вдали. Игра пространства (да и времени тоже) доставляла огромное удовольствие моим чувствам. Дело было не только в остроте новизны, в ее необычной свежести, но и совсем в другом. В чем же именно? Боюсь, что я не смогу удовлетворительно ответить на этот вопрос. Казалось, я катился с горы в салазках, как в раннем детстве, и дорога убегала от меня, как во сне. «Тут» и «там» — два понятия, связанные и разделенные союзом «и», но сейчас они чудесно слились, как слова в песне.

Мы с Виктором Купцовым оказались коллегами, он тоже изучал дискретные проблемы жизни там у себя, на космической станции «Балашово».

— Ну как жизнь? Житуха? — спросил он меня.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Откуда у вас эти слова?

— Житуха-то? Запомнилось. Читал недавно исторический роман о людях двадцатого века...

— Быт, — сказал я.

— А что это такое — быт? А, да! Это вещи. Множество вещей. И люди, похожие на вещи, как у Гоголя. Чичиков. Собакевич. Коробочка. И тот самый, который потерял свой нос.

— Коробочка, да. И Собакевич. Быт без жизни. А у вас жизнь без быта. Собакевич бы забраковал.

— Забраковал? А что это значит?

Я стал объяснять... Не очень-то у меня это получалось.

Появился столик с закусками, по-видимому исполняя желание гостеприимного хозяина. Холодное мясо. Фрукты. Дичь. Вино.

Я подумал: «Как же гости будут есть, ведь их от закуски разделяет порядочное расстояние?»

Но гости отказались от ужина.

И столик исчез, развеществовался, растаял.

Мы оживленно беседовали. Правда, смещение пространства напоминало о себе моим растерявшимся чувствам. Иногда мне казалось, что я говорю, сидя на краю пропасти: рядом вакуум, нечто без дна. Но это ощущение сразу же исчезало, уступая место

другому, я бы сказал, более интимному. Ведь мы пребывали рядом, в одной комнате, не так ли? Какой вздор! Как будто комната способна была вселить космическую станцию и Южный полюс. Ощущение расстояния все же оставалось, не исчезало целиком. Оптическое устройство (как выяснилось позже — новинка), технически еще не доведенное до совершенства, не всегда могло слить близь и даль так, чтобы близь-даль были идеально пригнаны друг к другу. Во время оживленного разговора произошел небольшой казус: Зоя Астрова, только что рассказывавшая о своей дружбе с белым медвежонком (дрессировке она училась у Бома по методике, принятой на Тиоме), вдруг замолкла. На том месте, где только что сидела Зоя, приоткрылась зияющая пустота в пространстве, холодная и страшноватая, но только на одну-две секунды, потом мы снова увидели милое смеющееся Зоино лицо и услышали ее голос...

Тиомец Бом внезапно выключил свой аппарат-новинку, и Виктор с Зоей исчезли, даже не успев пожелать нам спокойной ночи.

— Он не совсем в порядке... — сказал тиомец Бом.

— Аппарат?

— Да. В прошлый раз я по рассеянности повернул «близь» и забыл про «даль». Это надо делать одновременно. Мой робот-техник — отсталое существо. Механический лентяй, тяжелодум с устаревшей программой. Разве можно его подпускать к такой вот новинке? Как выражались в вашу эпоху — «напортачит». Придется вызвать инженера.

Простившись с тиомцем, я вышел на улицу. Бом предложил проводить меня, но я решительно отказался. Зачем? Гостиница тут же, на этой улице. На этой же? Улица сразу напомнила мне о вселенной, как только закрылась за мной дверь. Я очутился один на один с бесконечностью. Я шел среди звезд и домов в просторе, не знавшем границ. Пространство со всех сторон охватило меня. В какой же стороне гостиница? Куда идти? Налево? Направо? Вперед? Рядом, совсем близко были звезды.

В шестидесятых годах XX века люди знали о бесконечности чрезвычайно мало. Они знали о бесконечности из учебника астрономии и редко думали о ней, как о чем-то практически реальном. Вокруг нас были дома, леса, поля, сады. И их масштаб вполне соответствовал привычному масштабу наших ощущений. Вы шли по улице, зная, что объем вашего мира заранее известен. Что бы вы сказали, если бы к вам на знакомой улице к самым глазам приблизилась неизвестность?

Я шел по улице, которая уносилась в бесконечность. Я все же был не один. По улице двигались пешеходы. Компания молодых людей обогнала меня. Один из них читал вслух стихи:

Глядя в будущий век так тревожно, ты, сердце, не бойся,
Ты умрешь, но любовь на земле никогда не умрет.
За своей Эвридикой, погибшей в космическом рейсе,
Огнекрылый Орфей отправляется в звездный полет.
Он в пластмассы одет, он в сверхтвердые сплавы закован,
И на счетных машинах его программирован путь.
Но любовь есть любовь, и подвластен он древним законам,
И от техники мудрой печаль не легчает ничуть.

24

Незадолго до того, как отправиться в свой продолжительный рейс, Ольга принесла книжку стихов Вадима Шефнера и прочла вслух вот эти строчки:

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной,
И в тоске и надежде идет по далекой планете
Песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной.

— Вот и тебе, мой Орфей, — говорила она, — может быть, придется заковать себя в сверхтвердые сплавы, когда ты отправишься на поиски своей Эвридики.

Она не знала и, разумеется, не догадывалась о том, что будет другое, более мощное средство, чтобы предохранить меня от брэнности и перенести туда, где до меня никто не бывал.

Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной...

Ольге очень нравился этот эпитет — «безгрешный». Он-то и давал ей ощущение той тишины, которую она вскоре должна была познать.

И вот она ушла в недосягаемую даль. Она продолжала удаляться и отдаляться от Земли, от своего времени, от своей семьи. Я не сразу осознал всю безмерность и тяжесть того, что случилось. На другой день в институте сотрудники ласково, и грустно, и растерянно смотрели на меня. И только Чемоданов, весь сияющий и торжественный, подошел меня поздравить.

— От души завидую,— сказал он, протягивая руку.— Да, да, завидую,— повторил он.

«Чему, собственно, завидовать,— подумал я,— тому ли, что я никогда уже не увижу свою любимую жену, хотя буду ждать ее в течение многих-многих лет?»

Я взглянул на Чемоданова, и странно, это меня чуточку успокоило. Он был такой здешний, такой реальный, такой земной. И он действительно искренне завидовал мне, моей известности, тому, что во всех частях мира ежедневно упоминали имя моей милой жены и заодно мое имя, имя человека, жертвовавшего своим счастьем на благо науки, родины и человечества... Но Чемоданов едва ли мог понять меня, он был неженат и, вероятно, щадя себя, никогда никого не любил слишком сильно. Но зато все другие сотрудники отлично понимали. Многие удивлялись, что я пришел на работу, не оставал дома. Дома было в тысячу раз тяжелее, дома, где каждый предмет напоминал мне об Ольге.

В лаборатории, казалось мне, я мог отвлечься от безрадостных дум. Я рассчитывал на это, когда вез в автобусе Колю в детский сад. Но все оказалось не так, как я думал. И в лаборатории я с не меньшей силой и остротой чувствовал, что случилось непоправимое, что дали времени и пространства разверзлись и уносят Ольгу в то удивительное трехсотлетие, которое возвратит ее и ее спутников на Зем-

лю, на Землю, где не будет ни меня, ни Коли, ни даже моих будущих внуков и правнуков.

Раздеваясь и отдавая пальто вахтерше, я увидел шубу Чемоданова, висевшую, как всегда, отдельно на особом крючке. Мой взгляд с какой-то даже надеждой уцепился за эту шубу, словно шуба своим предметным наличием поможет мне оторваться от тягостных дум и найти необходимое спокойствие.

Шуба Чемоданова пребывала в раздевалке как сколок какого-то особого сверхконкретного бытия. Не шуба, а словно сам Чемоданов пребывал здесь в углу, отрицая всем своим видом всякую бренность и относительность.

Вахтерша перехватила мой взгляд, устремленный на чемодановскую шубу, и истолковала его по-своему:

— Ценная вещь,— сказала она.— А материал какой! Никогда не сносится. Прочность!

«Прочность!» — это и было именно то самое слово, которое было мне нужно в этот момент.

Обидин сидел за столом и писал статью. Димин препарировал кролика. Лиза Галкина возилась с термостатом.

Я сел на свое место в углу у окна и стал рассеянно перелистывать книгу П. Ю. Шмидта «Анабиоз». Мой взгляд задержался вот на этом абзаце:

«Смерть — не простая остановка жизненных процессов, связанных с белковыми коллоидами, ферментами, гормонами, солями и другими действенными элементами живого организма. Смерть обуславливается разрушением жизненных механизмов с необратимыми изменениями живого вещества, переходящими в распад, разложение... Если не произошло таких нарушений, если механизм жизни цел и не затронут в основном своем строении, — возможна полная остановка жизни, не равноценная смерти, и возможно возвращение жизни при изменении условий в благоприятную сторону».

Волнение охватило меня, словно я впервые узнал, что можно победить время и даже самую смерть.

Прошло десять дней. Потом прошло еще десять дней. И месяц. И два месяца. А затем я перестал считать дни. Зачем? Уходящие дни, недели и месяцы, укорачивая срок разлуки, ни на одну минуту не приближали час встречи.

Я весь ушел в работу, проводя дни и вечера в лаборатории, и отлучался только для того, чтобы съездить в детский сад за Колей.

Понимая мое состояние и глубоко сочувствуя мне, Обидин настаивал, чтобы я съездил в научную командировку. Он думал, что поездка рассеет меня, и делал вид, что эта командировка очень нужна и даже где-то запланирована. Он много и часто говорил о зимней спячке животных, об этом удивительном феномене, связанном с дискретностью жизни, который я должен, по его мнению, изучить там, где позволяли условия, на месте. Не везти же сибирских грызунов сюда, в лабораторию. Здесь, в этой суеде, грызуны откажутся погрузить себя в то временное небытие, которое помогает им переносить физические невзгоды.

Я не хотел ехать, отказывался. Почему? Да потому, что, куда бы я ни уехал, я не мог уйти от самого себя и от сознания, что мне не дано выйти за пределы бытия, отмеренного на земле каждому индивиду.

Как все очень чуткие и отзывчивые натуры, Обидин умел угадывать чужие мысли. Однажды он спросил, обращаясь не то ко мне, не то к самому себе:

— Нужно ли бессмертие?

Я ответил вопросом:

— Зачем гадать, нужно ли, разве оно возможно?

Обидин улыбнулся своими тонкими умными губами.

— Уж кто-кто, а вы-то знаете не хуже меня, что принципиально оно возможно. И что...

— И что...— перебил я его,— запланирован опыт замедления жизни. Мгновение, остановись!

— Я спрашиваю не о том, возможно ли оно, а нужно ли? Не таит ли оно в себе философскую бессмыслицу? Не противоречит ли оно нравственной сущности человека?

— Ответить на ваш вопрос мог бы только тот, кто испытал это счастье или это несчастье на себе.

— Беда в том, что нам бы не представилась возможность его об этом спросить. Но шутка шуткой, а последние два года я очень много думаю об этом. Есть «за» и есть «против».

— Меня больше интересует «за».

— Меня тоже. Мне кажется, что, помимо всего прочего, смерть несет для личности интеллектуальную трагедию. Каждому хочется знать, что дальше? А смерть отбирает это «дальше» и не позволяет человеку задавать вопросов. Бессмертие нужно хотя бы для того, чтобы продолжать спрашивать. Нет, смерть необходимо убрать с дороги, которая ведет человека вперед.

— А если это не соответствует человеческой сущности?

— Так черт с ней, с этой сущностью! Что она — вечна и неизменна? С возможностью победы над временем и смертью изменится и наша сущность.

— Усталость? О ней вы забыли?

— Физическая усталость?

— Нет, духовная, нравственная усталость. Духовный интеллектуальный организм вовсе не приспособлен для очень длительной жизни.

— Приспособится.

Обидин часто возвращался к этой мысли. Он все время искал философское оправдание для своей дерзкой идеи. Он говорил мне и, разумеется, себе, в первую очередь себе:

— Мы вступили в эпоху, значение и истинный смысл которой мы еще не в состоянии полностью осознать. Выход в космос, завоевание наукой огромных пространств — все это столкнулось с одним сложным и трагическим противоречием. Продолжительность человеческой жизни не соответствует тем грандиозным задачам, которые поставили перед нами

современная наука и техника. Как сможет человечество выйти за пределы солнечной системы, если жизнь отдельного человека так непродолжительна? Дальнейший прогресс науки требует удлинения человеческой жизни.

— Это бесспорно,— сказал я,— но человек не машина, созданная только для преодоления физических препятствий, человек — это прежде всего духовное, интеллектуальное, моральное, то есть нравственное существо. Его духовный мир вряд ли приспособлен для вечного пребывания в мире. Извините, Всеволод Николаевич, но ваша идея похожа на поиски абсолюта. Освободите человека от смерти, и он превратится в бездушное существо.

— Не знаю,— ответил резко Обидин.— И никто не знает. Пока об этом можно только гадать.

26

Сотрудникам лаборатории все-таки удалось уговорить меня взять отпуск, для того чтобы отдохнуть.

Я попросил свою мать позаботиться о Коле, купил путевку в дом отдыха и уехал в Репино.

Целые дни я ходил на лыжах, а вечера проводил за шахматной доской. И лыжи и шахматы должны были помочь мне, как выразился мой приятель Саша Димин, «войти в колею».

Глядя на пешку или слона, я погружался в обдумывание своего хода с таким видом, словно этот ход был самой важной вещью на свете. Я хотел убедить себя в этом и заставить погрузиться без остатка в пробегавшее мгновение, как это делали все отдыхающие — и молодежь и старики пенсионеры. Но мгновение за мгновением пробегали мимо, не вовлекая мое существо в беззаботную радость существования. Меня выделяло и отделяло от всех других отдыхающих одно чрезвычайное и сверхобычное обстоятельство. Мне была дарована возможность преодолеть время. Я психологически подготавливал себя к опыту, который должен был произвести надо мной Обидин. Я должен был расстаться со своими совре-

менниками, чтобы через триста лет увидеть другой мир.

Я старался погрузиться в текущее мгновение, отвлечься от вечности и безграничности, знакомство с которыми было не за горами. Жизнь с ее радостями. Она была повсюду. Никто из отдыхающих не думал о времени. Зачем? Они жили в единстве с мимолетным, и никто из них не требовал, чтобы прекрасное мгновение остановилось. Но, как позже я узнал, пожелал остановить мгновение человек, от которого трудно было ожидать этого.

Я только что закончил одну партию в шахматы и уже расставлял на доске фигуры, чтобы начать другую, когда в гостиную ленивой походкой вошла сестра-хозяйка и сказала, что внизу, в вестибюле, меня ждет какой-то гражданин.

— Кто же именно? — спросил я. — Разве он себя не назвал?

— Назвал. Да я забыла фамилию. Какой-то профессор.

«Уж не Обидин ли явился сюда», — подумал я, но, спустившись в вестибюль, еще издали узнал чемодановскую шубу.

— Извините, Павел Дмитриевич, что нарушил ваш покой. Важное и срочное дело.

Я указал Чемоданову диван в углу, где можно было поговорить, никому не мешая. Но Чемоданов не сел на диван, а продолжал стоять.

— Может, прокатимся до Зеленогорска? Со мной машина. По дороге побеседуем.

Я согласился, чтобы убить время. Ведь, в сущности, в доме отдыха я только и занимался тем, что убивал время.

Мы доехали до Зеленогорска. Чемоданов остановил машину возле ресторана «Ривьера».

— Зайдем, — сказал он почему-то настороженным и доверительным шепотком. — Закусим. А за коньячком и поговорим. Тема разговора такая. Требуется подготовки.

В ресторане в этот час, кроме нас, не оказалось

никого, если не считать подвыпившего и задремавшего за столиком старика.

— Жизнь прожил, — покосился на него Чемоданов, — а с ее радостями расставаться не хочет. Что ж, это естественно. Я это понимаю. А вы?

— Я не разделяю вашего восторга.

— Ну, ну, — шутливо погрозил он пальцем. — Не разделяет, а сам собирается... — он не закончил фразу, многозначительно посмотрел на меня и налил коньяк в рюмки.

Мы чокнулись.

— Не будем уточнять, — Чемоданов усмехнулся. — Да и конкретизация этого предмета, о котором идет речь, дело не простое. Раньше бы сказали: ме-та-фи-зи-ческое. Выпьем лучше за жизнь и за ее радости. Да, именно за радости. А всякие отвлеченности оставим для вашего шефа Обидина. Он, конечно, гений. Бесспорно! Но что такое гений? Это человек себе на уме. Запомните этот афоризм.

— Запомню, — сказал я.

— Так вот. Не будем уточнять. Не надо. Да и слов нет в бедном человеческом языке. Как сказал поэт: «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои». Вот я и таю. «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..»

— У вас отличная память. Но я не понимаю...

— Ну! Ну! Не делайте вид. Не вчера же вы родились... Это вам обещано радоваться вновь и познать новую жизнь. Ну, ладно. Молчок. Не тема для разговора в ресторане. «Поймет ли он, чем ты живешь. Мысль изреченная есть ложь...»

Он еще налил коньяку. Выпил. И в его глазах появилось не свойственное ему выражение иронии.

— Фауст. Советский Фауст. — Он погрозил мне пальцем. — Но Фауст заплатил за это недешево по тем ценам. Душой. Душенькой. А вы собираетесь получить все бесплатно. Я всегда был о вас особого мнения. «Этот товарищ, — предсказывал я, — пойдет далеко».

— Только, пожалуйста, без пошлостей.

— Далеко пойдет. Уж, кажется, и некуда даль-

ше. Все знаю. Но таю. И как Обидину удалось получить разрешение на этот, не имеющий прецедентов опыт и как выбор пал на вас? Ничего себе командировочка! Не нравится это слово? Ну что ж, назовем это отпуском. И это выражение не устраивает? Так можно и никак не называть. Термин Обидина «временная смерть» неудачен. При чем тут смерть, когда речь идет о бессмертии?

— Может, все-таки переменим тему разговора?

— Охотно. О чем же говорить? Ходил вчера в театр. Видел пьеску из жизни ученых. Главный герой, профессор, все никак не может наладить отношения с женой и детьми. Семейный конфликт. А в лаборатории у себя занимается сущими пустяками. Ищет средство от чесотки. Приземленно очень. Быт. Как вы относитесь к быту?

— Никак.

— Это не ответ. Без быта мы все не более как схемы. Ваш Обидин этого не понимает, хоть и почти гений. А я, признаться, люблю быт. В квартире все удобства. Ванна. Газ. Мусоропровод. Телевизор. Но хожу мыться в баню. И знаете, немножко тоскую по коммунальной квартире. Теперь это редкость. Домов настроили. Исчезли бытовые конфликты. Хорошо! Отлично! Культурно! Но скучно. Вы об этом думали?

— Не думал.

— Зря.

— Что зря?

— Ничего. Пошутил. И хорошее на плохое менять не намерен. Зачем? Каждый ценит удобства. За что предлагаете выпить? Давайте выпьем за...

— За что?

Он не ответил и внезапно меня спросил:

— А что вы с собой возьмете туда?

— Куда?

— Ну в свое путешествие, в свой вояж, как выражались в прошлом веке. Не отправитесь же вы туда без багажа?

— А вы что бы взяли на моем месте? Свою знаменитую шубу?

— Хотя бы и шубу. Это вещь.

Он помолчал. Потом, приблизив ко мне свое лицо, вдруг спросил шепотком:

— Уступите?

— Что уступлю?

— Понимаете сами, о чем идет речь.

— Не понимаю.

— Не притворяйтесь. Так уступите или нет?

— Что?

— Время. Времечко.

— Ах, вот о чем вы просите. Время? А зачем оно вам?

— Ценю. Собственно, нет на Земле большей ценности, чем оно.

— Для кого как.

— Так уступите?

Он рассмеялся и погрозил мне пальцем.

— Я уже говорил с Обидиным. Он ни в какую. С его точки зрения я не тот человек, а вы тот. Моралисты! Ну, ладно. Пока довольно об этом. Хватит. Молчок. «Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свой...»

27

Я посмотрел сквозь стекло автобуса. Мелькнуло лицо школьника, возвращающегося из школы. Я задержал свой взгляд на этом детском смеющемся лице.

В автобус вошла старуха колхозница. И я долго-долго смотрел на нее, на ее худую суровую фигуру, на ее морщинистый рот, на ее огрубевшие от работы пальцы, которыми она неумело держала билет. Я смотрел на все, что было вокруг, с каким-то острым и незнакомым мне чувством. Я еще был здесь, в этом городе, среди своих современников, но уже все начало отдаляться, и от этого становилось еще прекраснее.

Я вышел из автобуса на углу Невского и Садовой. По тротуару текла толпа. Проходим не было до меня никакого дела. Никто из них не подозревал,

что среди них идет человек, которому суждено оторваться от бегущего мгновения и сделать необыкновенный прыжок через «ничто». Им не было никакого дела до меня. Но каждый из них был нужен мне, бесконечно нужен и дорог.

— Люди, остановитесь! Современники мои, — хотелось сказать мне, — задержитесь на минутку!

Но я этого не сказал. Да и кто бы решился это сказать, будучи на моем месте? Большие искренние чувства чуждаются громких и красивых фраз.

На скамейке в Михайловском саду сидела девушка. Может быть, она кого-нибудь ждала. Во всяком случае, не меня. Я сел рядом с ней. И заговорил. Я предложил ей пойти со мной в кино.

— На какую картину? — спросила она.

— На любую. На плохую. На хорошую. Мне хочется побыть вместе с вами.

Девушка улыбнулась. Это была довольно обычная девушка. И улыбалась она чуточку жеманно. Но в эти минуты она мне казалась остро, необыкновенно прекрасной.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Валя.

— А где вы работаете?

— Ну вот, целая анкета. Работаю на заводе «Светлана». Есть еще вопросы?

— Все, — сказал я. — Больше вопросов нет. А теперь просто поговорим.

— О чем?

— Не знаю. О земле. О вас. О сердце. Об этих кленах. Как здесь хорошо!

— Вы что, приезжий?

— Нет, здешний. Здесь родился и вырос.

— Наверно, куда-нибудь уезжаете? И надолго?

— Вы почти угадали.

— На целину?

— Дальше.

— За границу?

— Еще дальше.

— В космос, что ли, улетаете? Но что-то не похоже.

— Почему не похоже?

— Вид не тот. Наружность. — Она с любопытством посмотрела на меня. — Да и в очках. Очкарик. Зрение неподходящее. Летчики и космонавты в очках не ходят. А вы очкарик. — Она повторила — видно, ей понравилось это слово.

Мне оно тоже понравилось, и я тоже повторил:

— Очкарик. Это верно. А откуда вы знаете, что очкариков бракуют?

— Все это знают. А если очки разобьются?

— Это верно. Об этом я и не подумал. Им никак нельзя разбиваться. Хотите мороженого?

— А в кино?

— В кино как-нибудь в другой раз. Времени у меня в обрез.

— Когда же в другой? Вы уезжаете или передумали?

— Нет, не передумал. В другой раз уже не придется. Это верно.

Мы зашли в погребок на Невском у Садовой, и я заказал две порции мороженого.

— Так куда же вы едете, очкарик? Секрет?

— Нет, не секрет. Я, собственно, не еду, но это все равно.

— Какой-то вы непонятный. И грустный, будто что-то потеряли. Паспорт? Билет? Деньги?

— А вам приходилось терять?

— Сколько раз.

Я посмотрел на девушку. Теперь она казалась мне еще прекраснее. Она что-то рассказывала, но я не слушал и смотрел на нее не отрываясь.

— Что вы так смотрите?

Она вся зарделась.

— Мне хочется насмотреться. Вот уже несколько дней я только и занимаюсь тем, что смотрю на людей, на вещи, на дома, на улицы, чтобы запомнить.

— А зачем?

— Сам не знаю, для чего. Когда ложишься спать, ведь ничего не запоминаешь, знаешь, что утром проснешься и все будет рядом с тобою — друзья, привычные вещи, весь твой мир. Но этот сон бу-

дет слишком продолжительным — не ночь, а несколько сот лет.

Девушка с тревогой посмотрела на меня: что с ним, бредит он, что ли? По-видимому, ей было жаль меня.

— Вы случайно не больны? Давно бюллетените?

— Нет, совершенно здоров.

— А почему такое говорите?

— А, видите ли, я артист. Должен исполнять роль в одном научно-фантастическом фильме. Вот я и приучаю себя к чувствам, которые никому и никогда не довелось испытать.

Девушка еще раз посмотрела на меня, но уже без тревоги. Все стало на свое место. Я — артист. Артист и должен вести себя не так, как ведут другие люди. Теперь ей не казалось странным, что я смотрел на нее, словно впервые видел девичье лицо.

— И все-таки вы странный, — сказала Валя.

— Возможно, — ответил я. — Но странным меня делает роль. Я ведь должен изображать существо, прилетевшее на Землю с другой планеты. Существо это видит все здесь впервые, по-настоящему впервые, словно только что родилось на свет.

— Понимаю, — говорит Валя. — Это когда в первый раз я смотрела телевизор. Как кино, только помельче и похуже.

Нет, девушка не понимала меня. Она жила на земле, только на земле.

Мы вышли из погребка.

— Мне домой надо, — сказала Валя. — Подруга должна прийти на примерку. Я ей шью платье.

— Разве вы портниха?

— Нет. Но научилась. Шью неплохо.

Она зевнула. Зевнула откровенно. По-видимому, ей стало скучно со мной.

— Разрешите мне вас проводить?

— Мне на Выборгскую.

— Ну что ж. Чем дальше, тем лучше. Хочется побыть с вами.

— Странный. Очень странный вы. А мы еще увидимся?

— Нет. Не увидимся.

— Значит, вы действительно куда-то уезжаете? И надолго?

Я промолчал.

Мы прошли весь Литейный, перешли мост и на улице Лебедева остановились.

— Не уходите, — сказал я. — Пойдите.

— Я не уйду, — сказала Валя.

Минут десять мы стояли рядом. Должно быть, девушка что-то разглядела во мне, то, чего не видела раньше.

— Нет, вы не артист.

— А кто?

— Не знаю. Может, и в самом деле летчик или какой испытатель.

— А откуда вы догадались?

— Артисты такими не бывают.

Я взглянул на ручные часы. Мне нельзя было больше задерживаться.

— Прощай, Валя, — сказал я девушке. — Прощай:

Я крепко поцеловал ее в губы. Было слышно, как стучало ее сердце. Затем я круто повернулся и быстро пошел от нее.

— Очкарик! — тихо произнесла она мне вслед.

Я не оглянулся и прибавил шаг.

— Очкарик! — звала она, чтобы я вернулся.

Я шел быстро-быстро.

— Очкарик!

И мне казалось, что голос девушки донесся откуда-то издалека, пробившись сквозь бездонное расстояние, уже разделившее нас, разделившее навсегда.

Навсегда!

Всю выразительную силу этого слова, весь его бесконечно глубокий и трагический смысл мог почувствовать только человек, которому, как мне,

удалось познать две эпохи и соединить их своей собственной жизнью.

— Очкарик!

Сколько раз я пробуждался ночью или на рассвете, когда все спали (кроме бессонных роботов), слыша девичий голос, звавший меня. Он звал меня оттуда и к себе туда, и так, словно можно было повернуть какой-нибудь рычаг и вернуться в свой утраченный век.

— Оч-ка-ри-ик!

Но рычага не существовало.

Сколько раз она, наверное, вспоминала меня и искала в уличной толпе, надеясь встретить. Но я больше не встретился с ней. Ведь время необратимо.

И все же девичий голос звал меня сквозь сон, сквозь стены и сквозь столетия, звал настойчиво и протяжно. И в эти тревожные часы я не мог сидеть в гостинице, меня тянуло туда, где много людей.

Гостиница со всеми своими техническими новинками была, в сущности, архаическим учреждением. Ею пользовались люди старомодных вкусов. Да и кто на Земле нуждался в гостинице, кроме жителей космических станций и новоселов с Марса и Венеры и других планет солнечной системы? Ведь для всех, живших на Земле, слово «расстояние» утеряло всякий реальный смысл из-за бешеной скорости передвижения.

С новоселами Венеры и Марса, с жителями космических станций, прибывших на Землю по каким-нибудь делам, я встречался в вестибюле или в ресторане, учреждении тоже архаичном и существовавшем скорее ради традиции, чем для удовлетворения насущных и прозаических потребностей. Каждый мог поест в своем номере, пользуясь услугами автоматов, но людей, проживших по нескольку лет в космосе в безлюдных вакуумах, среди холодных бездонных пространств, тянуло в веселую шумную компанию, где можно послушать музыку, потанцевать, ощущая милую сутолоку и радуясь легким, лишенным заботы минутам. Меня тоже тянуло в ресторан, в суету и в шум. Вокруг были люди, но

большей частью молодые и сильные, веселые и мужественные. Казалось, они принимали меня за одного из своих, и мне это было приятно.

— Надолго? — спросил меня один из этих здоровенных парней.

— Как вам сказать... — замялся я.

— А когда возвращаетесь?

— Туда, откуда я прибыл, нельзя возвратиться.

Он рассмеялся, приняв это за шутку.

— Ну, ну. Не думаю, чтобы это было абсолютно невозможно. Раз вы попали сюда, значит найдутся средства доставить вас обратно. Инженеры позаботятся. Знакомьтесь, — он показал взглядом на молодую красивую женщину. — Это моя жена Маргарита Рей. Физик-оптик. Я тоже оптик, но не теоретик, а инженер. А другая моя специальность — пограничник.

— Разве границы космоса охраняют?

— Да. Но только от дураков и трусов. Пограничник... Разве вы впервые слышите это слово? Я осваивал границы мирового пространства, расширяющиеся границы возможного. Да, я вам забыл сказать, как меня зовут... Вилли Рей. — Он крепко пожал мне руку. И мы сели за столик в углу.

По-видимому, ему очень хотелось рассказать о своих приключениях и о своей жизни в космосе, где он провел около десяти лет, обзаведясь там семьей (дети — два мальчика-близнеца — гостят у бабушки в Южной Африке).

Я охотно пошел навстречу его желанию и с большим удовольствием слушал его рассказы. Он рассказывал разные истории, и смешные и ужасные. И я должен признаться, я верил далеко не всему, что он мне рассказывал. Правда, я еще в юности читал о том, что люди далекого будущего разучатся лгать и будут говорить только одну правду. Но я чуточку сомневался даже тогда, хотя и понимал, что ложь может быть разной. А он так безобидно преувеличивал, этот инженер-оптик и осваиватель границ необжитого мирового пространства, этот Вилли Рей. По его словам, он прожил в вакууме на искус-

ственном космическом острове около трех лет этим Робинзоном Крузо, окруженным, правда, роботами и не знавшим ни в чем нужды, кроме желания перекинуться словом не с кибернетическим устройством, а с живым человеком. И вдруг на этом острове, заброшенном в пустоту, в безлюдье, в бесконечность, появилось нечто живое и конкретное. Из пустоты молодой голос сказал ему:

— Здорово, Рей. Ну как поживаешь, приятель?

— Где ты? — крикнул Рей. — Я тебя не вижу.

Кто ты?

— Кто я? Я — это ты, Рей. Да, я — это ты!

— Ты не можешь быть мною! Это невозможно! Индивид неповторим! Но почему, так хорошо слыша тебя, я не вижу ни твоего лица, ни твоей фигуры?

— Ты не должен видеть меня, Рей. Еще время не пришло. Но тебе скучно, Вилли, в этой пустоте. И я пришел. Я, то есть ты, ты пришел к себе.

— Ты бредишь, брежу я или бредим мы оба?

— Называй меня Вилли, как ты называешь себя. Я был тобой пятнадцать лет назад. Твое тело возобновилось, все твои клетки. Ведь каждый человек химически возобновляется в течение восьмидесяти дней. Но вот теперь произошло преломление пространства и времени, физический эффект, открытый Вайнером. Ты не слышал об этом? Ты не мог о нем слышать. Вайнер открыл его в прошлом году. И известие об этом еще не дошло до тебя. Я — это ты, но ты не такой, как сейчас, а ты прежний. Вот потому ты и не должен меня видеть. Хватит с тебя, Вилли, что ты слышишь меня. Узнаешь свой голос? Вилли, а помнишь, как мы с тобой мечтали попасть в космос и создать в пустоте нечто такое, на что могут опереться человеческие чувства? Я знаю, что ты совершил много подвигов, отодвигая неосвоенную границу пространства, что ты спас поселок в районе Сатурна и спас корабль с детьми и снискал уважение переселенцев, создавая оптические иллюзии. Но сам-то ты загрустил и стал бояться пространства. Не пугайся меня. Я обусловлен строгими физическими законами и опираюсь на эффект Вайнера и на новое представ-

ление о времени и пространстве, созданное Казимиром Раевским.

— Раевским? Впервые слышу...

— Да, Казимиром Раевским. Новым Эйнштейном. Известие об его открытии еще не дошло до тебя. Но скоро ты о нем узнаешь... Ты о многом узнаешь, Вилли. Три года — не маленький срок. Три года! Да еще двенадцать. Давненько мы расстались с тобой, но я недоволен тобою, Вилли. Ты разучился мечтать, познав и освоив так много...

Затем он исчез.

Впоследствии врачи мне сказали, что я заболел новой, малоизученной болезнью — пространственно-временным синдромом, космическо-психическим недомоганием. В клетках мозга, ведающих памятью, происходит процесс, в результате которого индивид начинает блуждать во времени. Все это так. Синдром. Медики умеют находить названия для наших бед и несчастий, но эффект Вайнера действительно существовал, и новый Эйнштейн — Казимир Раевский — выступил со смелой концепцией пространства и времени, меняющей все наши представления об этих двух физических категориях. Известие об этом пришло на мой островок через месяц после того, как исчез мой двойник.

Организатором этого вечера (назовем его условно бал-маскарад) был сам Вайнер, физик, открывший знаменитый эффект, подтверждавший новую физическую теорию, созданную Казимиром Раевским.

Меня привел на этот вечер инженер Вилли Рей, долго живший на границе исследуемого наукой пространства.

— У меня нет ни подходящего костюма, ни маски, — сказал я Рею накануне.

— Костюма? Маски? — рассмеялся Рей. — Зачем? Дело этим все равно не ограничилось бы. На пороге этого дома вы оставите свою внешность. Вам выдадут другую, более соответствующую характеру вечера.

Шутник! Забавник! Любитель парадоксов, при-

чудливых поступков и слов. Жизнь на границе осваиваемого пространства приучила его мыслить слишком неожиданно и смело.

Я принял его слова за очередную шутку.

— Да, кстати, — спросил он меня, — вы разобрались в физической концепции Казимира Раевского, поняли суть эффекта Вайнера?

— Попытался. Но мои познания в физике, математике и математической логике остановились, как часы, которые забыли завести еще триста лет тому назад. Я человек второй половины двадцатого века. Теория относительности. Квантовая механика. Гипотеза Фридмана о расширяющейся вселенной. Попытка Вернера Гейзенберга создать теорию единого поля... Вот на чем остановились мои знания.

— Понимаю, — сказал Рей. — Но от попытки Гейзенберга до физической концепции Раевского— Вайнера три века стремительного развития естественных наук. Боюсь, что я не сумею разъяснить вам сущность новой теории. Пока в ней разбираются всего пять или шесть физиков и математиков.

— Настолько она сложна?

— Наоборот, настолько она проста. И в этом ее недоступность. Она требует от человека принципиально иного мышления. Нужно похоронить старые логические навыки, чтобы понять новую теорию. Новое представление о пространстве и времени почти снимает различие между близким и далеким; в вульгарном смысле этого слова пространство преломляется, как преломляется луч, опровергаются все прежние представления о плоскости, о кривизне, о внешнем и внутреннем. Эта теория дает человеку метод освоения бесконечности. Правда, в этой теории есть и дефекты. Расплывчато сформулирован принцип преломления... Но Большой кибернетический мозг на Луне подтверждает все расчеты Раевского и Вайнера. Сейчас сотни тысяч математиков и физиков переучиваются и пересматривают свои взгляды. Это болезненный процесс. Несколько ученых наотрез отказались, заявив, что логика им дороже истины... Упрямы, которые не хотят отказаться от рутины.

Рей зашел за мной в гостиницу. Он только что проводил жену, улетевшую на Луну в район, где работает Большой кибернетический мозг. Там был создан центр для теоретиков...

— Идемте, — торопил он меня. — Мне нельзя запаздывать. Я ведь иду не веселиться, а работать.

Машина быстрого движения доставила нас в город науки возле Томска, где жили и работали два великих физика — Раевский и Вайнер.

Войдя в зал, я почувствовал легкое недомогание, сменившееся бодростью.

Вилли Рей сказал мне тихо:

— Взгляните в зеркало.

Я взглянул — и не поверил своим глазам. Из зеркала глядел на меня юный бог в костюме эпохи Возрождения и с лицом молодого Леонардо.

— Что со мной? — спросил я Рея.

— Эффект...

— Вайнера? — перебил я.

— Нет, мой. Эффект Рея. Оптическое переодевание. В космосе мне не раз приходилось использовать этот эффект, когда возникала нужда в иллюзиях, своего рода театр, не больше. В этом зале стоит устройство, созданное по моему проекту. В основу положены теоретические работы моей жены. Вы думали о Леонардо, когда шли сюда? Не так ли? Ваши мысли стали вашей формой. Вас одели в вашу собственную мечту.

— Но почему же не меняетесь вы сами?

— Я? Еще чего захотели! Я на работе. И я не из тех, кто целиком полагается на роботов-техников. В космосе однажды они меня здорово подвели.

Вилли Рей ушел, оставив меня в зале. Я чувствовал себя все бодрее и бодрее.

Невидимый певец запел. Казалось, он пел только для меня, обращаясь ко мне:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед!
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Навстречу мне шла шумная компания.

Оглянись, оглянись,
Посмотри скорей...

Этот голос пел внутри меня.

— Посмотри, оглянись...

Ко мне подошла женщина с величественным лицом.

— Здравствуйте, великий художник.

— Я великий всего на три часа. А вы?

— Я не пожелала меняться. Я осталась сама собой. Рей в ужасе. На меня не действует его устройство. Он говорит, что я мало пластична. Ах, этот Рей! Он дал вам в долг внешность великого итальянского художника? Но это же только маска. И вы самозванец.

Я постарался отделаться от этой не слишком тактичной дамы.

Почему она упрекает меня, а вот не этого человека, занявшего лицо у Эмиля Золя? Или вот этого гражданина с подбородком и насмешливыми глазами Вольтера? Им можно, а мне нельзя? Да и, кроме того, это получилось произвольно.

Промелькнул человек с лицом Обидина. Видно, кто-то занял у него свою внешность. Я окликнул его:

— Всеволод Николаевич!

Но он посмотрел на меня, словно вместо меня было пустое место.

Затем я остановился возле площадки. Танцевали две пары. Они были окутаны тихой мечтательной музыкой и светом, как в сказке.

И снова запел голос:

Оглянись, оглянись,
Посмотри вперед.
Здесь она, здесь она,
Что тебя зовет.

Я оглянулся и чуть не вскрикнул от изумления. Рядом со мной стояла она, Валя, та самая девушка, с которой я простился на улице Лебедева триста лет назад.

— Очкарик! — сказала она, словно не веря себе. Она что-то хотела сказать, как вдруг хлынула толпа масок и оттеснила ее.

— Очкари-ик! — крикнула она.

Я попытался прорваться сквозь толпу к ней и не мог. Я всю ночь искал ее в огромном зале, всю ночь, пока не кончился карнавал, но так и не нашел.

Мне было ужасно грустно. Мне так хотелось вернуться домой, не в гостиницу и не в домик Павла, а по-настоящему домой, в свое время, но это было невозможно даже по физическому закону Раевского — Вайнера. Мое время стало временем прошлого.

Кибернетика-экспериментатора, у которого я гостил, звали Демьян Петрович. Это он и его помощники создали Митю, Женю, Валю, Мишу и Владика.

Машина быстрого движения доставила нас в Забайкалье, в старинный сибирский городок Баргузин, где когда-то жил в ссылке декабрист Михаил Кюхельбекер.

Демьян Петрович, по рождению сибиряк, был влюблен в свой край и в его историю. В кабинете его висела репродукция знаменитой картины Сурикова «Взятие снежного городка». Но прежде всего нужно сказать, что это за репродукция и действительно висела ли она. Нет, она не висела, а была как бы вплетена в ткань самого бытия.

Новая небывалая техника воспроизведения картин. Эта техника давала возможность видеть картину в целом и отдельно каждую деталь.

Вот паренек, подпоясанный красным кушаком, поднявший руку с хворостиной. Вот девушка, похожая на снегурочку. Казалось, сам Суриков был тут же с нами. Он и его удивительное мастерство.

Город Баргузин был красив и ярок. Высокие горы, а перед ними дома, легкие и живые среди сосен и кедров, разноцветные дома, пребывающие тут, рядом с вами, и одновременно уносившиеся вдаль, как в песне или лирическом стихотворении.

Экспериментальная лаборатория стояла в лесу на берегу быстрой горной речки Банной. Старинное название напоминало о банях, к которым был, по-видимому, равнодушен Демьян Петрович, как ко всякой старине.

За ужином нам рассказывала народные русские сказки невидимая старушка ленивым и протяжным голосом няни.

— Автомат? — спросил я. — Искусственная память, вобравшая в себя эти разноцветные яркие живые слова?

— Нет, это не искусственный соловей китайского императора, — ответил Демьян Петрович. — Это голос забайкальской сказительницы Алены Ивановны Колмаковой, записанный двести восемьдесят лет назад. Я слишком люблю фольклор, чтобы слушать искусственного соловья.

Меня удивили эти слова. Ведь говорил их кибернетик, знаменитый конструктор мыслительных и даже чувствующих машин.

— Как же увязать, — спросил я, — эти ваши слова с вашей специальностью? Слушая вас, можно подумать, что не вы создали Митю, Женю и Владика.

— Не отпираюсь. Я. Я создал их и несу на себе всю ответственность. Но, создавая Митю, Женю и Владика, я как раз боролся с односторонностью кибернетики. Соловей китайского императора из андерсеновской сказки был бесчувственным, как все эти думающие машины. Я сделал попытку создать машину чувствующую, переживающую, не предполагая, как далеко заведет меня моя попытка. Еще в молодости, занимаясь кибернетикой, я понял, что эта наука близка к искусству. Ведь она моделирует человеческий мозг, воспроизводит память, из всех технических и естественных наук она ближе всего к человеку, к его сущности. Как раз в те годы шло освоение Венеры. На ней поселили группу думающих машин, сообщавших нам все необходимые сведения. Эти сведения были безличны, абстрактны. Машины мыслили формулами. Вот тогда-то мне и пришла в голову идея создать эмоционального робота, робота не

математика и не техника, а художника. Эта идея уже была подготовлена развитием физиологии и биофизики. Ученые уже умели найти объяснение так называемым таинственным явлениям психики. Была разгадана физическая природа эмоционального поля, связывающего людей невидимой, но тем не менее прочной связью. После шести лет непрерывных поисков и экспериментов мне и моим помощникам удалось создать первого робота-эмоционала Васю. Вася не только мыслил, но и чувствовал. У него была тонкая, восприимчивая душа лирического поэта. И вот Вася был отправлен на Венеру вместе с безэмоциональными роботами-приборами. И случилось то, что должно было случиться... Вася заболел ностальгией. Он стал тосковать по коллективу, создавшему его. Какие глубокие и грустные письма посылал он мне, описывая чувства, которые испытывал... Его пришлось вернуть на Землю. Вскоре он заболел и умер.

— И после всего этого вы все-таки продолжали работать в том же направлении?

— Продолжал. И создал Митю, Женю, Валу, Мишу и Владика.

— А что же вы будете делать сейчас, когда Академия наук и общество философов сочли, что ваши эксперименты пришли в противоречие с этикой, с нравственной природой человека?

Демьян Петрович словно не слышал моего вопроса. Ответил он не сразу и, вероятно, не столько мне, сколько самому себе.

— Не знаю! Не знаю! И не знаю! Этой идеей, идеей создания эмоциональной сферы, я жил много лет.

Из Баргузина, с берегов прозрачного Байкала я попал на новую, только что построенную космическую станцию. Меня пригласили туда строители (физики-термоядерники и астрономы-инженеры), создавшие в этой части солнечной системы небольшую искусственную звезду из плазмы.

Я с удовольствием принял их приглашение. Дело

было, разумеется, не в тщеславии, не в желании быть в центре внимания людей, все еще не привыкших ко мне и смотревших на меня, как на своего рода феномен. Нет, причины, заставившие меня лететь из Баргузина на строительство искусственной звезды в космос, были связаны с искренним желанием занять самого себя, увидеть новое и отвлечься от дум. Ведь я уже ждал возвращения фотонного корабля с Ольгой и ее спутниками. Каких-нибудь семь-восемь месяцев оставалось до этой встречи, и надо было найти средство, как сделать короче и незаметнее этот срок.

Известие пришло, когда я сидел вместе с Демьяном Петровичем в старинной просмоленной и пахнущей соленым омулем лодке и смотрел в зеленые воды Байкала.

Мой спутник включил квант-приемник, и мы услышали голос диктора с космической станции «Балашово»:

— Внимание! Только что получена квант-телеграмма. Фотонный корабль, отправившийся в экспедицию триста лет назад, сообщил о своих координатах. Затем связь была прервана, но ее постараются восстановить.

Мы стали грести к берегу, но старинная лодка двигалась поистине с черепашьей медлительностью. Я спешил попасть на берег, словно это могло сократить срок и приблизить меня к Ольге.

Связь с фотонным кораблем, замедлявшим свое движение, удалось восстановить. Через полгода он должен появиться...

Я лихорадочно считал дни и часы. И, разумеется, был рад каждой возможности отвлечься. Пришло приглашение с космической станции. Я его принял. Я его принял, потому что не знал, что меня там ждет. А меня ждала неожиданность, испытание. Парадокс времени и причудливые законы генетики задумали сыграть со мной нестроумную и жестокую шутку и заставить меня пережить несколько тревожных и двусмысленных минут.

Провожавшие предупреждали меня, что на косми-

ческой станции, очень возможно, мне доведется встретиться со своими потомками. Я не удивился этому. Мой сын Коля оставил четырех детей, а дети его детей, мои внуки, в свою очередь, тоже имели потомство. И вот случилось нечто такое, к чему не подготовлено было мое возбужденное сознание. Кого же, вы думаете, я увидел среди строителей искусственной звезды, пришедших на космический вокзал меня встретить? Жену свою Ольгу. Она стояла, как будто ничего не произошло с того дня, как мы с ней расстались. На лице ее играла спокойная улыбка.

Как? Почему? Уж не прилетел ли фотонный корабль раньше срока?

— Ольга! — крикнул я, нет, не я, а все мое существо, рванувшееся к ней. — Оля!

Но она стояла, словно не узнавая меня.

— Ольга!

Она подошла и сказала:

— Я не Ольга. Вы ошиблись. Я — Наташа. А вы... — она замялась, подыскивая нужное слово, и, по-видимому, не сумела найти его. — Мой предок. Нет, не то. Дедушка. Можно вас так называть? — Она улыбнулась. — Извините. Вы так молодо выглядите, почти как мой ровесник.

Она отрицала, что она была Ольга. Категорически отрицала. Но мои чувства пока еще не могли, не хотели признать этот холодный, бессердечный, объективный факт. Как же могла Ольга передать свои глаза, свой рот, свой нос, свои брови, свои руки и свои ноги кому-то, появившемуся почти через триста лет? И логика тоже не хотела согласиться.

Девушка стояла тут рядом. Я смотрел на нее, рассматривая дорогие долгожданные черты. И все-таки это была Ольга.

Но если это Ольга, то зачем же она стала бы выдавать себя за Наташу?

Генетика. Законы наследственности. Нуклеиновые кислоты с их удивительной «памятью» и умением передавать информацию для химических реакций в убегающем времени. Так, значит, нуклеиновым кислотам обязан я этому обману, этому маскарарду плоти?

Я стоял разочарованный, обиженный, почти возмущенный.

«Где же неповторимая индивидуальность, — думал я, — о которой столько распространялись философы и лирические поэты? Неужели индивидуальность может повториться, если этого «пожелают» нуклеиновые кислоты?»

— Дедушка, — сказала Наташа милым и бесконечно знакомым мне голосом Ольги. — Все-таки дедушка. Разрешите мне так называть вас, хотя вы выглядите совсем молодо. Дедушка, идите, вас ждут строители новой звезды, нового солнца. Я вас должна познакомить со своими друзьями.

30

Я привожу почти без изменения этот диалог, записанный роботом-секретарем. Этого автоматического секретаря подарили мне как дорогую и, в сущности, не очень-то нужную игрушку физики-термоядерники и астрономы-инженеры.

Ни одна живая стенографистка не смогла бы так попевать за убегающей мыслью, за капризным словом, как этот бесстрастный и тихий секретарь.

Наташа. Вы утомились, дедушка? Столько людей спрашивало вас. Столько новых лиц, новых впечатлений. Устали?

Я. Дедушка! Ты называешь так меня, чтобы не произносить это страшноватое и парадоксальное слово «предок»? Да?

Наташа (смущенно). Нет. Я называю вас дедушкой потому... потому...

Я. Не будем вдаваться в тонкости этого сложного и пока еще не разрешенного жизнью вопроса. Оставим это тем, кто любит словесные тонкости и оттенки. Так ты говоришь, что у тебя две профессии?

Наташа. Две. И обе нравятся мне. Я работаю техником в ремонтной мастерской, ремонтирую автоматы и роботы, но, кроме того, я занимаюсь философией и психологией, изучаю, как действует космическая среда на внутренний мир человека.

Я. В ремонтной мастерской? Ну что ж. Даже Спиноза и тот шлифовал линзы. Это ему не помешало стать великим философом.

Наташа. Спиноза? Да, вы не могли быть знакомы лично. Вы жили гораздо позже...

Я. Жил? А разве я не живу, не продолжаю жить? Сколько тебе лет, Наташа?

Наташа. Тридцать два.

Я. Для философа ты, пожалуй, очень молода. Ну, а как влияет космическая среда на человеческую душу?

Наташа. Не знаю.

Я (удивленно). А кто же знает? Ведь ты же занимаешься этой проблемой.

Наташа. Именно потому я и не знаю.

Я. Ты шутишь, конечно?

Наташа. Нет, не шучу. Вся сложность этой проблемы открывается только тому, кто ею занимается. Ведь возник совершенно новый аспект. Все философы, начиная с античности, не умели отделить человека от той среды, в которой он жил. Человек жил на Земле, даже если его уподобляли богу. Но вот Земля отделилась от наших чувств и привычек. Казалось, человек познал необходимость и обрел свободу. Но ведь он встретился с другой необходимостью, с другим детерминизмом. Вы слушаете меня, дед?

Я. Дед? Спасибо тебе за это. Это слово согревает меня, оно роднит меня с твоим миром, с твоими друзьями, с тобой.

Наташа. Правда, вы не в том возрасте, чтобы называться дедом. Вам удалось сделать прыжок через время. Вы жили в эпоху, когда над людьми еще довели привычки. Мы же свободны от власти всякой рутинны.

Я (растерянно). Да, да. Свободны.

Наташа. Что вы так смотрите на меня? О чем вы сейчас думаете?

Я. О тебе. И о том в тебе, что не твое, что принадлежит не тебе.

Наташа (с интересом). Вы нашли, дедушка, что я повторяю чужие мысли?

Я. Чужие мысли? Нет, не чужие мысли ты повторяешь.

Наташа. А что?

Я. Ты повторяешь чужое лицо, чужие руки, чужие глаза. Я поймал сейчас тебя на том, что ты сделала чужой жест, характерный жест, который перенес меня в прошлое.

Наташа. Повторяю? Нет, это не повторение.

Я. Если это не повторение, то что же это?

Наташа. И, кроме того, повторяю не я, это повторяет природа.

Я. Природа? Да, это она. Биологи сказали бы, она да еще нуклеиновые кислоты.

Наташа (почти весело). И с чего им это вздумалось. Я ведь их не просила. И до встречи с вами, дедушка, я воображала, что я неповторима. От вас я узнала, что я похожа на свою пра-пра-пра-прабабушку. Возможно, что нас будут путать с ней, когда она вернется на Землю из своего рейса. Я бы этого не хотела.

Я. Лучше поговорим о чем-нибудь другом.

Наташа. О чем? Вам понравились мои друзья?

Я. Да.

Наташа. Они создают звезду, новое солнце из плазмы. В ваше время, дедушка, люди еще этого не умели.

Я. Они были еще только людьми. А вы стали почти богами.

Наташа. Вы не правы, дедушка. Они не стали богами, а остались людьми. Ничто человеческое не чуждо им. Они любят, страдают, ревнуют, ошибаются.

Я. И, наверно, не любят признавать свои ошибки?

Наташа. Они люди, а не думающие машины. Они создают новую звезду, новое солнце...

Я. Они. И вместе с ними ты.

Наташа. Я ремонтирую роботов. И, кроме того, я пишу гносеологическую статью.

Я. Ты скучаешь по Земле?

Наташа. По рекам, по озерам. Их, как вы, наверно, уже заметили, здесь нет. Нет. И не может быть. Для них здесь нет места. Им негде течь.

Я. А вода? Откуда же ее берут? Неужели доставляют с Земли?

Наташа. Разумеется, нет. Ее создают здесь из водорода и кислорода. Но я не люблю эту воду. Это не настоящая живая вода, а H_2O .

Я (смеясь). Но я же пил сегодня утром не формулу, а отличный кофе.

Наташа. В кофе это менее заметно. В формулу прибавляют кофеин и сгущенное молоко. Но ради новой звезды, которую создают из плазмы, я готова всю жизнь пить эту неживую воду. А ведь на Земле я ежедневно купалась в горной реке.

Я. Мне непонятно. Научились создавать звезды и не научились готовить воду?

Наташа. Вода самое странное и капризное вещество. Формула H_2O это еще не вся истина, а только ее часть. Я не биофизик, чтобы разъяснить вам все тонкости, смущающие специалистов. Вода прихотливо меняет свою молекулярную структуру. Мы научились создавать новые звезды, но еще не знаем, как создать ту воду, которая звенит в горном ручье, быструю воду, где плавают форели. Потому мы и не боги, дедушка. Мы еще не все умеем.

Я. Научитесь.

Наташа. Конечно, научимся. Земная вода отличается от космической. К формуле H_2O Земля добавляет еще что-то. И это «еще что-то» и есть самое важное и незаменимое. Иногда, дедушка, мне снится лесной ручей. Я слышу, как звенит вода, прозрачная, чуть тронутая утренней синью вода. И в эти минуты мне хочется домой на Землю, в земные леса и поля...

Я. Вы создаете искусственную звезду, новое, дополнительное солнце и вернетесь на Землю, в земные леса, где звенят ручьи и свистят иволги. Но мне, увы, уже никогда не удастся вернуться туда, откуда я прибыл к своим современникам.

Наташа. Наш мир прекрасен. Можно ли, живя в нем, скучать по прошлому?

Я. Оно ведь не было прошлым. Оно стало для

меня прошлым вдруг, внезапно. В гот день, когда я подвергся дискретизации (дискретно — от слова «прерывно»). Профессору Обидину очень нравился этот термин, это странное и сложное словечко. Когда меня подвергли эксперименту, вокруг, за стенами лаборатории, шумела жизнь. И вот толчок, и она оказалась позади. Я еще и сейчас полностью не могу осознать всего, что со мной случилось. Со всей остротой я, наверное, почувствую это, когда вернется Ольга и ее спутники. Я любил своих современников, свою эпоху. И только теперь понял всю силу привязанности человека к своему времени.

Наташа. Я это понимаю. Я понимаю, что человек и время неразрывны.

Я. И разрыв противоречит естеству?

Наташа. Естеству? Но человек все время меняет среду и себя. Мы, строящие новое солнце, вышли за пределы земной биосферы. И что ж! В этом нет ничего такого, что бы не соответствовало человеческой сущности, человеческой природе, нравственному началу.

Я. Значит, ты считаешь это естественным?

Наташа. Я как раз об этом пишу статью. Я считаю, что в космическую эру меняется сущность человека.

Я. А единство его с временем и пространством?

Наташа. Оно становится другим. Раньше человек подчинялся времени и пространству. Сейчас он подчинил их себе.

Я. Но ты же все-таки скучаешь по лесному ручью, по свисту иволги, по запаху хвои. Тебе противно пить вместо живой воды H_2O , синтезированную на ваших космических водозаводах. И, значит, ты несчастлива.

Наташа. Дедушка, вы не поняли меня. Совершенно не поняли. Я люблю Землю и тоскую по ней, но я побеждаю свою тоску, я борюсь с собой и побеждаю себя, чтобы вместе со своими друзьями строить новое солнце. И в этой победе над собой, над своей слабостью и рождается настоящее счастье.

Я снова на Земле.

Мой друг тиомец Бом идет рядом. И тут же мой потомок и тезка Павел Погодин и Демьян Петрович, создатель Мити, Жени, Вали, Миши и Владика. Они пришли встретить меня.

И вот, наконец, все разошлись, и мы остались вдвоем с Бомом в номере гостиницы. Мне дорого было это разумное существо, этот человек (если не человек, то кто же?) с другой планеты. Я успел привыкнуть к нему, а он ко мне.

Тиомец Бом расспрашивал меня о космической станции. У него была жажда знаний писателя, помноженная на любознательность жителя Тиомы, где знание ценилось еще выше, чем на Земле.

Я рассказал Бому обо всем, что видел на космической станции у строителей искусственной звезды, я рассказал о Наташе, в чьем облике и даже характере повторились черты моей Ольги. Тиомца Бома это заинтересовало.

— Сходство? И большое, поразительное сходство? Это я могу понять. Но повторение... Нет, время и природа не повторяют и не повторяются. Вы просто очень давно не видели жену, и расстояние помешало вам заметить различие. Вы видели только сходство, и ваши обостренные чувства преувеличивали его. Я в этом уверен.

— Я попытался тоже разуверить себя. Но сходство велико. И от этого я очень страдал. В этом есть что-то обидное. Эти нуклеиновые кислоты. Сознание, что их «памяти» и цепи случайностей я обязан этим маскарадом, меня буквально оскорбляло.

— Оскорбляло? На этот раз я не понимаю вас, мой друг. Что же тут оскорбительного? Я считаю самым удивительным в природе эту «память» нуклеиновых кислот, их способность пронести сквозь время нечто связывающее индивиды в единство рода. Но мы немножко ушли в сторону. Вы говорили о том сильном впечатлении, которое произвело на вас строительство искусственной звезды. И когда вы го-

ворили об этом, я вспомнил своего отца. Он посадил дерево в космосе. И дождался, когда дерево расцвело. И на ветку весной сел соловей, привезенный с Тиомы...

Он сделал паузу.

— Свист соловья, увидевшего новое, созданное людьми, солнце. Вот я о чем подумал, когда вы рассказывали о плазме, о термоядерных реакциях и о гигантских магнитных полях, о девушках и юношах, воздвигающих в вакууме, в пустоте, в ничто нечто живое и прекрасное. Я подумал о дереве и поющем соловье.

— Разве на Тиоме тоже есть соловьи?

— Не соловьи, а другие маленькие птицы, у которых в горле целый мир. Свист, цоканье, чудо звуков. Каких только птиц нет на Тиоме. Вы не очень устали, Павел Дмитриевич?

— Нисколько.

— Тогда отправимся в лес. В самый густой лес на Земле. Туда, где поют соловьи и свистят иволги.

Космическое общество имени К. Э. Циолковского избрало меня своим почетным членом. Я был очень польщен этим и вместе с тем несколько смущен. Ведь, в сущности, у меня не было никаких особых заслуг перед наукой. А в Космическом обществе состояли членами крупнейшие ученые, инженеры, астронавигаторы, астрономы, астрофизики и астробиологи.

Председатель общества академик Катаев прислал мне оптико-звуковое экстрписьмо — новинку. Робот принес его мне в номер. Я вскрыл конверт, отнюдь не подозревая, что вместе с письмом увижу и того, кто его писал. Да, в узком весьма изящном конверте нашлось место не только для десятка любезных фраз, но и для самого их автора. Я распознал это не сразу. Сначала возникли фразы, а затем на листе, похожем на экран в миниатюре, появилось изображение академика Катаева, председателя общества. Изображе-

ние? Нет, пожалуй, не только и не просто изображение. Передо мной был сам Катаев, своей собственной персоной, по-видимому, несколько не пострадавший от пребывания в узком изящном конверте.

Катаев улыбнулся мне, поклонился и не спеша начал разговор:

«Дорогой Павел Дмитриевич!

Сообщаю Вам, что наше общество имени К. Э. Циолковского на пленарном заседании от 2 июня сего года единогласно избрало Вас почетным членом...

Сообразуясь с задачами, стоящими перед наукой, изучающей космос, а следовательно пространство и время, мы шлем привет Вам, человеку, чьим существованием была положена живая связь между двумя эпохами — прошлым и настоящим (будущим)...»

Слушая эти слова, звучащие чуточку торжественно и, пожалуй, даже риторично (типичные слова и выражения официального письма), я думал о том, что уважаемый академик, председатель Космического общества, мог бы со мной разговаривать и не прибегая к риторике, если учесть то, что вместе с письмом он прислал мне и самого себя. Он был здесь, рядом, а разговаривал так, словно нас разделяло порядочное расстояние и словно свои мысли он вверял посреднику листу (чуть не сказал: бумаге), листу письма, забыв о том, что среди этих фраз появится он самолично, улыбающийся так близко, ближе и нельзя. Затем я вспомнил, что оптико-звуковое экстрисьмо было новинкой и в поведении уважаемого академика не скрывается ничего двусмысленного. Просто он, пожилой, рассеянный человек, еще не освоил как следует новинку и, возможно, даже забыл о том, что вместо марки он наклеил самого себя, дав возможность своему незнакомому корреспонденту познакомиться не только со своим несколько старомодным эпистолярным стилем, но и с тем, что бесконечно конкретнее и живее всяких фраз и слов.

Не без растерянности я спрятал в конверт это письмо с таким чувством, что не прячу ли я туда и самого академика Катаева?

Через два дня после того я встретился с Катае-

вым, и уже не таким причудливым образом, а просто и почти обыкновенно в одной из гостиных Дома Космического общества. Академик Катаев был простой, скромный и очень симпатичный человек. Догадался я об этом не сразу. Мешало первое впечатление, когда этот человек, находясь рядом, на листе письма, разговаривал со мной языком официального документа.

Я ему сказал об этом. Он рассмеялся.

— Новинка. Еще не привык. Я большой любитель старинного эпистолярного жанра. А какой же тут эпистолярный жанр, когда вы сами в наличии? Да, надо излагать мысли проще.

Мы долго и оживленно беседовали. Потом Катаев взглянул на часы.

— Идемте в зал заседаний, послушаем доклад о мировоззрении Циолковского. Я познакомлю вас с докладчиком.

В большом зале уже собрались почти все члены Космического общества. Я едва успевал пожимать протянутые руки.

— Астронавигатор Винцент-Хозе-Мария-Хуан Карпов, — познакомил меня Катаев с седым высоким человеком. — Проложил трассу за пределы солнечной системы. Знакомьтесь.

— Астрогеолог Альфред Ланц. Открыл залежи урана на Венере.

— Астросадовод и космоботаник Васильева. Создала фруктовый сад на космической станции в окрестностях Марса.

— Астрофилолог и космолингвист Алексей Дрин, — сказал Катаев, показав мне на молодого человека с грустным и задумчивым выражением лица.

— Астрофилолог? Разве такое возможно?

— А как же. Не только возможно, но и необходимо. Дрин изучает диалекты, возникшие у переселенцев и старожилос космических станций. А также вопрос, как влияет изменение среды на язык.

— Астроневропатолог и физиолог Аронсон.

— Специалист в области изучения космической энтомологии Валерий Поэтов.

— Вахрамеева. Знакомьтесь. Исследование вопроса «Лирика и космос». Старший научный сотрудник Института литературы солнечной системы.

— Художник-пейзажист Матисс-Тициан-Модильяни Коломейцев. Космические пейзажи. Большой знаток живописи Ван-Гога и Сапрыгина-младшего, зачинателя космической живописи.

— Луи-Степан Севастьянов. Астромикробиолог. Уполномоченный нашего общества на Луне.

— Архипов. Межпланетный пропагандист и лектор.

— Гримильтис. Жан-Жак-Пьер. Крупный специалист в области изучения и применения гравитационных сил.

— Судьбин. Эстетика и астрофизика.

— Платон Петров. Генетика и нуклеиновые кислоты.

— Ламлай. Автор памятников Вернадскому и Циолковскому на Марсе.

— Цапкина.

Катаев на этот раз ограничился только тем, что назвал фамилию, не перечисляя заслуг названной им особы. По-видимому, эти заслуги не нуждались в перечислении и сами говорили за себя. В голосе академика слышались нотки почтительного уважения.

Я хотел рассмотреть Цапкину, но она не совсем вежливо отвернулась.

Наконец Катаев подвел меня к докладчику.

— Константин Балашов. Философ и инженер. Строитель космической станции «Балашово».

Я едва успел обменяться двумя-тремя фразами с оказавшимся рядом со мной жизнерадостным Матиссом-Тицианом-Модильяни Коломейцевым. Началось заседание общества.

— Ван-Гог, — успел все же сказать мне жизнерадостный Матисс-Тициан-Модильяни Коломейцев, — был первый в мире художник, который фоном для своих портретов брал бесконечность, космическую среду. Он писал, словно живя среди звезд...

Балашов уже стоял на трибуне.

Я с интересом смотрел на философа, построившего самую большую космическую станцию солнечной системы. Он говорил спокойно, медленно, словно размышляя вслух:

— Вот уже в течение многих лет я пытаюсь мысленно восстановить далекое время. Я стараюсь представить себе во всей живой конкретности образ человека, прожившего большую часть жизни в захолустном городке царской России, в центре провинциального и конечного и увидевшего из окна своего домика бесконечность. Меня интересует биография Циолковского, обыденные факты его сверхобыденной жизни, но еще больше меня привлекает мышление этого необыкновенного человека, его способ видеть мир. Мы делим время на три отрезка: прошедшее, настоящее, будущее. Это деление возникло давно, когда человек впервые почувствовал, как бьется пульс бытия и как скользит мгновение, которому не прикажешь: остановись! Для Циолковского время делилось иначе: сначала будущее, потом будущее и будущее сейчас. Он держал пульс бытия в своей чуткой руке, и мгновение не скользило мимо его дома и мимо его сердца, он умел, когда нужно, задержать его и слить с вечностью. Он как бы жил в будущем и оттуда смотрел на настоящее. «Почти вся энергия солнца, — огорчался он, — пропадает в наше время для человечества»... Энергия солнца! А рядом жили люди, которые про солнце знали только то, что «оно всходит и заходит». По ночам он вычислял. Он мечтал о том, как мгновение, закованное в металл, мгновение, внутри которого расположились завоеватели пространств, понесет человеческую радость, человеческие знания и человеческую дерзость и человеческую грусть за пределы земной биосферы в бесконечность. Он жил в своем времени, но одновременно пребывал и среди нас. Он занимал свои идеи у тех, кто еще не родился. И родившиеся позже узнавали свои мысли и свои мечты, читая труды этого слившего себя с будущим человека. В Циолковском, в этом рано оглохшем скромном провинциальном учителе, мне откры-

лась истинная сущность человека, переступившего порог вселенной и доказавшего, что Земля это только человеческая колыбель.

Я не буду своими словами пересказывать весь доклад о мировоззрении Циолковского. Да это и трудно сделать...

Во время короткой паузы, которую сделал докладчик, я оглянулся. Позади сидела Цапкина. Но мне не удалось разглядеть ее лицо. Она отвернулась. Почему? Случайно или не случайно? Она делала это уже второй раз, словно не желая, чтобы я видел ее лицо.

Теперь я уже без прежнего внимания слушал инженера и философа Балашова. Я невольно думал о Цапкиной. Из всех присутствующих в зале членов общества я ничего не знал только о ней. Кто она? Что у нее за специальность? Почему, когда академик Катаев назвал ее, в интонации его голоса и в выражении его лица появилось почтительное уважение?

Я выждал десять минут и снова оглянулся. И она, словно бы следя за мной, успела так быстро отвернуться, что я снова увидел только ее спину.

После того как кончился доклад и был объявлен перерыв, я спросил любезного и жизнерадостного Матисса-Тициана-Модильяни Коломейцева:

— Вы знакомы с Цапкиной?

На лице космического пейзажиста появилась загадочная и чуточку растерянная улыбка.

— Знаком ли? Как вам сказать? И да и нет, — он замялся.

— Что вы знаете о ней?

Я сам почувствовал, что вопрос был поставлен слишком прямо и неделикатно.

— Знаю, что все. Не больше. Гений терпения. Та, что умеет ждать. Нечто античное. Древнегреческое. Я бы сказал, представительница вечности, если бы это слово не звучало пошло и не отдавало метафизикой. Простите, меня зовут... — Он показал рукой

в тот конец зала, где стояла группа членов общества. Он явно не хотел отвечать на мои вопросы.

Я начал бороться с самим собой, с своим любопытством. Я не решался больше спрашивать о Цапкиной и смотреть на нее...

33

Я боролся с собой, но любопытство оказалось сильнее. Придя к себе в гостиницу, я подошел к роботу-справочнику и повторил тот же вопрос, который только что задавал Матиссу-Тициану Коломейцеву. Робот сказал своим грустившим задумчивым голосом рафинированного интеллигента:

— Простите. На такие вопросы я не отвечаю.

— Почему?

— Потому что они не предусмотрены программой.

Мне понравилась суховатая и деловая прямота автомата, так откровенно сославшегося на программу и не скрывавшего от меня свои, в сущности, ограниченные возможности. Казалось бы, мне следовало забыть об этой загадочной даме, почему-то не пожелавшей показать мне свое лицо, и заняться своими собственными делами. Что мне до этой Цапкиной, — говорил я себе. Но тщетно! Имя «Цапкина» цепко схватило мое сознание. Как я ни старался отвлечься, мысли все время возвращались к ней. Я думал о ней до ужина и после ужина, я думал о Цапкиной вечером, читая новую повесть тиомца Бома, и ночью, ворочаясь на мягкой, удобной постели.

Почему же она отвернулась от меня так демонстративно? Кто она? И что имел в виду Матисс Коломейцев, называя ее гением терпеливости и представительницей вечности? Впрочем, возможно, что он, отдавая дань своей жизнерадостной натуре, сказал это в шутку, желая невинно посмеяться над моей старомодной наивностью и легковерием. Все же, несмотря на веселую легкость мыслей, он обладал иным опытом, чем я, опытом, обогащенным тремя веками, протекшими мимо меня.

Представительница вечности! Нет, вечность выбирает своими представителями не бранные существа из плоти и крови, а из чего-то более прочного, способного противостоять двусмысленной игре среды и ее физико-химических сил.

Цапкина... Казалось мне, пока я не выясню, кто она и почему она не желает показать мне свое лицо, я не смогу заниматься ничем, более достойным человека, кое-что повидавшего на своем веку.

И следующий день тоже прошел в тщетных попытках получить ответ на вопрос, который (я был в этом уверен) имел какое-то отношение к моей личной судьбе. Но кого бы я ни спрашивал об этой таинственной женщине, все отвечали смутными намеками, словно всякая ясная и живая конкретность были чужды особе, не желавшей показать свое лицо. Все — не только люди, но и роботы — растерянно бормотали что-то о вечности.

Наконец я не выдержал и попросил робота, обслуживающего мой номер, принести мне из библиотеки энциклопедический справочник за этот год на букву «Ц».

Сознаюсь, не без волнения я раскрыл толстый том и прочел следующее:

«Цапкина Нина Григорьевна. Родилась в конце позапрошлого столетия в городе Верхнеангарске в семье знаменитого эндокринолога и хирурга доктора Г. В. Цапкина. Отец Нины Григорьевны в продолжение многих лет занимался проблемой продления жизни за счет обновления деятельности гормонов и уже было достиг поразительных результатов. Исследовательские работы, имеющие кардинальное значение для развития медицины, были прерваны внезапной смертью экспериментатора. Нина Григорьевна унаследовала от своего великого отца необходимую выдержку, упорство, терпение, хладнокровие и точность. С основания Вокзала дальних космических экспедиций в начале прошлого века работает старшим диспетчером. По удачному выражению поэта Умберто Ливнева: «Та, что умеет ждать».

Глядя в будущий век, так тревожно ты, сердце, не бойся:
Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет.

Эти стихи земного поэта, жившего в XX веке, читал мне вслух тиомец Бом, тоже лирик и поэт.

Это он разбудил меня ночью, чтобы сообщить мне невероятную и прекрасную весть. Космолет с моей Ольгой и ее спутниками приближается к космической станции «Великие ожидания», он довел до минимума свою скорость и скоро должен быть здесь. Бом произнес слово «здесь», вложив в него едва заметным усилением голоса, интонацией какой-то особый смысл.

— Здесь, — повторил он.

— Что значит — здесь? — спросил я.

— Здесь — это значит на Земле.

И я только сейчас, в это мгновение почувствовал всю полноту, весь удивительный земной смысл слова «здесь».

— Да, здесь. Только здесь и нигде в другом месте солнечной системы. Здесь.

Тиомец Бом играл своим звучным красивым голосом, повторяя слово «здесь». Он произносил его так, словно впервые за все существование вселенной звуки слились, обозначив только что родившийся смысл слова «здесь».

И, сойдя на планете неведомой, странной и дивной,
Неземным бездорожьем, с мечтою земною своей,
Он шагает в Аид, передатчик включив портативный,
И зовет Эвридику и песни слагает о ней.

Бом посмотрел на меня и улыбнулся.

— Одевайтесь. Брейтесь. Я сейчас свяжусь с Цапкиной.

— С Ниной Григорьевной?

Бом еще раз посмотрел на меня. Казалось, выражение его лица вдруг изменилось. Но только на одно мгновение.

— Нет никакой Нины Григорьевны. Есть Цапкина. Только Цапкина. Не забывайте, что ей почти двести лет. И не демонстрируйте, пожалуйста, свое ин-

тимное отношение к вечности. Вам этот фамильярный тон чужд...

— Почему же? вспомните хотя бы о том, что я еще старше Цапкиной.

— Вы?.. Вы другое дело. Не буду сейчас объяснять. Нет времени. Свяжусь с Цапкиной. И если пора, мы поедem на Вокзал далеких экспедиций.

Через несколько минут мы сидели в машине быстрого движения. И теперь, когда до встречи с Ольгой после разлуки, продолжавшейся три столетия, осталось меньше часа, меня охватило нетерпение. Скорость машины быстрого движения, буквально пожиравшей пространство, казалась мне замедленной. «Скорей! Скорей!» — мысленно торопил я время.

— Вокзал далеких экспедиций, — сказал голос автомата-водителя.

Мы с Бомом вышли из машины.

Я ожидал увидеть здание и зал для ожидания и забыл о том, что люди не могли сидеть здесь и ждать десятилетия. Само слово «ожидание» здесь приобрело другой, новый, особый смысл. Я услышал бие-ние водяных струй. Шумел водопад. Неслась речка Звенел ручей. Шум воды успокаивал. Я догадался, что непрерывный бег водяных масс снимал противоречия между мигom и вечностью; освежая и возобновляя каждую пробежавшую секунду.

— Смотрите, — сказал Бом. — Это она.

— Кто?

— Цапкина.

Возле гремящих, звенящих, поющих вод стояла статуя в античном духе, вылитая из неизвестного мне металла. Я увидел суровое и прекрасное лицо строгой девушки. Оно словно излучало тихую и торжественную мелодию, слившуюся с шумом вод.

Затем случилось необыкновенное, лицо статуи ожило. И от этого оно стало еще более прекрасным.

— Да, это она, — сказал тихо тиомец Бом. — Она приветствует вас... Корабль подходит к Земле.

Я вздрогнул и рванулся вперед. И мне казалось, вместе со мной навстречу кораблю рванулась Земля.

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

I

— Хороший сегодня будет день! — сказал вслух Вадим.

Он стоял перед распахнутой стеной, похлопывая себя по голым плечам, и глядел в сад. Ночью шел дождь, трава была мокрая, кусты были мокрые и крыша соседнего коттеджа тоже была мокрая. Небо было серое, а на тропинке блестели лужи. Вадим подтянул трусы, спрыгнул в траву и побежал по тропинке. Глубоко, с шумом вдыхая сырой утренний воздух, он бежал мимо отсыревших шезлонгов, мимо мокрых ящиков и тюков, мимо соседского палисадника, где, выставив напоказ внутренности, красовался полуразобранный «колибри», через мокрые, пышно разросшиеся кусты, между стволами мокрых сосен; не останавливаясь, прыгнул в озерцо, выбрался на противоположный берег, поросший осокой, а оттуда, разгоряченный, очень довольный собой, все наращивая темп, помчался обратно, перепрыгивая через огромные спокойные лужи, распугивая маленьких серых лягушек, прямо к лужайке перед антоновым коттеджем, где стоял «Корабль».

«Корабль» был совсем молодой, ему не исполнилось и двух лет. Черные матовые его бока были абсолютно сухи и едва заметно колыхались, а острая вершина была сильно наклонена и направлена в ту точку серого неба, где за тучами находилось солнце:

«Корабль» по привычке набирал энергию. Высокая трава вокруг «Корабля» была покрыта инеем, поникла и пожелтела. Впрочем, это был приличный, тихого нрава звездолет типа «турист». Рейсовый рабочий звездолет за ночь выморозил бы весь лес на десять километров вокруг.

Вадим, оскальзываясь на поворотах, обежал «Корабль» и направился домой. Пока он, стеная от наслаждения, растирался мохнатым полотенцем, из дачи напротив вышел сосед дядя Саша со скальпелем в руке. Вадим помахал ему полотенцем. Соседу было полтора года лет, и он день-деньской возился со своим вертолетом, но все было втуне — «колибри» летал неохотно. Сосед задумчиво поглядел на Вадима.

— У тебя нет запасных биоэлементов? — спросил он.

— Что — сгорели?

— Не знаю. У них ненормальная характеристика.

— Можно связаться с Антоном, дядя Саша, — предложил Вадим. — Он сейчас в городе. Пусть привезет вам парочку.

Сосед подошел к вертолету и стукнул его скальпелем по носу.

— Что же ты не летаешь, дурачок? — сказал он сердито.

Вадим принялся одеваться.

— Биоэлементы... — ворчал дядя Саша, запуская скальпель во внутренности «колибри». — Кому это надо? Живые механизмы... Полуживые механизмы... Почти неживые механизмы... Ни монтажа, ни электроники... Одни нервы! Простите, но я не хирург. — Вертолет дернулся. — Тихо ты, животное! Стой смирно! — Он извлек скальпель и повернулся к Вадиму. — Это негуманно наконец! — объявил он. — Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб! Может быть, я слишком старомоден? Мне ее жалко, ты понимаешь?

— Мне тоже, — пробормотал Вадим, натягивая рубашку.

— Что?

— Я говорю: может быть, вам помочь?

Дядя Саша некоторое время переводил взгляд с вертолета на скальпель и обратно.

— Нет, — сказал он решительно. — Я не желаю применяться к обстоятельствам. Он у меня будет летать.

Вадим сел завтракать. Он включил стереовизор и положил перед собой «Новейшие приемы выслеживания тахоргов». Книга была старинная, бумажная, читанная-перечитанная еще дедом Вадима. На обложке был изображен пейзаж планеты-заповедника Пандоры с двумя чудовищами на первом плане.

Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциализма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю.

— Эмоциализм! — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. — Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически. Поедем лучше с нами! А оно пусть остается на Земле. Оно наверняка умрет к нашему возвращению — можешь быть уверена.

— Эмоциализм как направление обещает многое, — невозмутимо говорила дикторша. — Потому что только он сейчас дает по-настоящему глубокую перспективу существенного уменьшения энтропии эмоциональной информации в искусстве. Потому что только он сейчас...

Вадим встал и с бутербродом в руке подошел к распахнутой стене.

— Дядя Саша, — позвал он. — Вам ничего не слышится в слове «эмоциализм»?

Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолетом. «Колибри» трясся, как дерево под ветром.

— Что? — сказал дядя Саша, не оборачиваясь.

— Слово «эмоциализм», — повторил Вадим. — Я уверен, что в нем слышится похоронный звон, видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов.

— Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим, — сказал старик со вздохом. — А слово действительно скверное.

— Совершенно безграмотное, — подтвердил Вадим, жуя. — Я рад, что вы это тоже чувствуете... Послушайте, а где ваш скальпель?

— Я уронил его внутрь, — сказал дядя Саша.

Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолет.

— Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша? — сказал он. — Вы замкнули скальпелем дигестальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезет вам другой скальпель.

— А этот?

Вадим с грустной улыбкой махнул рукой.

— Смотрите, — сказал он, показывая остаток бутерброда. — Видите? — он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил.

— Ну? — с интересом спросил дядя Саша.

— Такова в наглядных образах судьба вашего инструмента.

Дядя Саша посмотрел на вертолет. Вертолет перестал вибрировать.

— Все, — сказал Вадим. — Нет больше вашего скальпеля. Зато «колибри» у вас теперь заряжен. Часов на тридцать непрерывного хода.

Сосед пошел вокруг вертолета, бесцельно трогая его за разные части. Вадим засмеялся и вернулся к столу. Он доедал второй бутерброд и допивал второй стакан простокваши, когда щелкнул замок информатора и тихий спокойный голос сказал:

— Вызовов и посещений не было. Антон, уходя в город, желает доброго утра и предлагает немедленно после завтрака начать отрешение от всего земного. В институт поступило девять новых задач...

— Не надо подробностей, — попросил Вадим.

— ...Задача номер девятнадцать пока не решена. Пэл Минчин доказала теорему о существовании полиномиальной операции над Ку-полем структур Симоняна. Адрес: Ричмонд, семнадцать-семнадцать-семь. Все.

Информатор шелкнул, помолчал и добавил поучающе:

— Завидовать дурно. Завидовать дурно.

— Балбес! — сказал Вадим. — Я совершенно не завидую. Я радуюсь! Молодчина, Пэл! — он задумался, глядя в сад. — Нет, — сказал он. — Сейчас все это долой. Надо отрешаться от земного.

Он швырнул грязную посуду в мусоропровод и вскричал:

— На тахоргов! Украсим кабинет Пэл Минчин — Ричмонд, семнадцать-семнадцать-семь — черепом тахорга!

И он спел:

Пусть тахорги в страхе воют,
Издавая визг и писк!
Ведь на них идет войною
Структуральнейший лингвист!

— Теперь так, — сказал Вадим. — Где радиопон? — он набрал номер. — Антон? Как дела?

— Стою в очереди, — ответил Антон.

— Что ты говоришь? И все на Пандору?

— Многие. И кто-то распространяет слух, что охота на тахоргов скоро будет запрещена.

— Но мы-то успеем?

Антон некоторое время молчал.

— Успеем, — сказал он.

— А девушки там рядом есть?

— Как не быть...

— А они тоже успеют?

— Сейчас спрошу... Они говорят, что успеют.

— Передавай им привет от знакомого структурального лингвиста шести футов росту, с благородной осанкой... Слушай, Антон, что я хотел тебе сказать? Да! Привези, пожалуйста, дяде Саше скальпель. И пару «БЭ-6». И заодно «БЭ-7».

— И заодно новый вертолет, — сказал Антон. — Что этот старец сделал со своим скальпелем?

— Ну как ты думаешь — что можно сделать со скальпелем?

— Не знаю, — сказал Антон, подумав. — Скальпель — это вещь на века. Как Баальбекская платформа.

— Он уронил его в желудок своему «колибри».

В радиодфоне захихикало несколько голосов. Очередь развлекалась.

— Ладно уж, — сказал Антон. — Жди, я скоро буду. Будь моим суперкарго и начинай погрузку.

Вадим сунул радиодфон в карман и прикинул через три комнаты расстояние до выхода.

— Дух ног слаб, — процитировал он, — рук мощь зла!

Он встал на руки и живо побежал к выходу. На крыльце он сделал сальто и с криком «У-ух!» упал на четвереньки в траву перед крыльцом. Поднявшись и почистив руки, он произнес с выражением:

На войне и на дуэли
Получает первый приз —
Символ счастья и веселья —
Структуральнейший лингвист.

Затем он неторопливо отправился на аллею, где были свалены тюки и ящики. Груза было довольно много. Надо было везти с собой оружие, боеприпасы, запас пищи, одежду — отдельно для охоты и отдельно, чтобы посетить знаменитое кафе «Охотник» на плоской вершине Эверины, где между столиками вольно гуляет пряный ветер, а под обрывом на трехсотметровой глубине громоздятся подобно грозовым тучам непроходимые черные заросли; где исполосованные колючками охотники с хохотом осушают пузатые фляги «Крови тахорга» и вывихивают себе плечи в тщетных попытках показать, какой череп они могли бы добыть, если бы знали, с какой стороны у карабина приклад; где в темно-зеленых сумерках пары скользят на усталых ногах в «Светлом ритме», а над хребтом Смелых поднимаются в беззвездное небо зыбкие сплюсненные луны.

Вадим присел на корточки спиной к самому тяжелому ящику, приладился и рывком поднял ящик на плечи. В ящике было оружие — три автоматических карабина с прицелами для стрельбы в тумане и шесть сотен патронов в плоских пластмассовых обоймах. Пружина при каждом шаге, Вадим понес

ящик через сад к «Кораблю». Он зашел со стороны приемника и пнул ногой в борт. Мембрана, затягивавшая овальный люк, лопнула, и Вадим свалил ящик в темноту, из которой пахнуло холодом.

Вадим пошел обратно, обрывая на ходу с кустов громадные ягоды какого-то гибрида. И каждый куст сбрасывал на него заряд холодного крупного дождя.

Надо взять не меньше пяти тахоргов, думал он. Один череп для Пэл Минчин Ричмондской. Пусть знает, что я хороший парень. Один череп маме. Мама череп не возьмет, она человек серьезный, и тогда я подарю этот череп первой девушке, которая пройдет мимо меня на углу Невского и Садовой после десяти утра. Третьим черепом я брошу в Самсона, чтобы умирить его скепсис: он странно вел себя у Нели, когда я рассказывал ей о последнем походе на Пандору. Четвертый череп — Нели, чтобы она верила мне, а не Самсону. А пятый череп я повешу над стереовизором. Он с наслаждением представил себе, как отлично будет выглядеть хорошенькая дикторша под оскаленным черепом чудовища.

Он перенес на «Корабль» четыре больших ящика с живым мясом, восемь ящиков с овощами и фруктами, два мягких тюка с одеждой и еще один большой ящик с подарками для старожилков и с корявой надписью: «Шкатулка для Пандоры».

Где-то за тучами солнце поднималось все выше и выше, становилось жарко. Все вокруг высыхало. Лягушки попрятались в траву. В пустых коттеджах с шелестом распахивались стены. Дядя Саша повесил гамак и разлегся возле своего «колибри» с газетой. Вадим кончил перетаскивать груз и пристроился к кусту крыжовника.

— Итак, вы улетаете, — сказал дядя Саша.

— Угу.

— На Пандору улетаете?

— Ага.

— Вот тут пишут, что заповедник собираются закрыть. На несколько лет.

— Ничего, дядя Саша, — сказал Вадим. — Успеем.

Дядя Саша помолчал и сказал негромко:

— Мне здесь очень скучно будет одному.

Вадим перестал жевать.

— Так мы же вернемся, дядя Саша! Через месяц.

— Все равно. Я на этот месяц вернусь в город. Что я здесь один буду делать в пяти коттеджах? — он посмотрел на вертолет. — С этим дурачком. Полуживым.

В небе послышалось негромкое фырканье.

— Вон еще один летит, — сказал дядя Саша.

Вадим задрал голову. Невысоко над поселком медленно выписывал восьмерку ярко-красный «рамфоринх». На тощем брюхе четко выделялся белый номер.

— Так-то я тоже могу, — сказал дядя Саша. — А вот вы, голубчик, спикируйте винтом, и чтобы не боком и не в пруд, а рядом...

«Рамфоринх» улетел. На бетонной дорожке за садом послышалось сопение машины.

— В нашем поселке становится оживленно, — сказал дядя Саша. — Движение, как на Невском.

— Это Антон! — Вадим вскочил и побежал к «Кораблю».

Антон загонял машину в гараж. Выйдя из гаража, он рассеянно сказал:

— Все в порядке, Димка. Штурманскую книгу я зарегистрировал, «добро» получил...

— Но? — спросил пронизательный Вадим.

— Что — но?

— Я отчетливо слышу в твоей речи «но».

Антон сказал неохотно:

— Я заезжал к Галке. Она не поедет.

— Из-за меня?

— Нет... — Антон помолчал. — Из-за меня.

— М-да, — глубокомысленно сказал Вадим.

Антон спросил:

— А как у нас с погрузкой, суперкарго?

— Все в порядке, шкип. Можно стартовать.

— А как у нас в доме? Прибрано ли?

— В чьем доме?

— Например, в моем?

— Нет, шкип. Виноват, шкип. Я только что кончил грузить, шкип.

Низко над крышами снова пролетел красный «рамфоринх». Антон поглядел.

— Что за притча? — удивился он. — Опять ЦЩ-268. По-моему, я стал объектом пристального внимания. Этот красный «рамфоринх» с бортовым номером ЦЩ-268 гонится за мной с Дворцовой площади.

— Не замешана ли здесь женщина? — осведомился Вадим.

— Не думаю. Никогда еще женщины не гонялись за мной.

— Они могли бы и начать... — сказал Вадим, но тут его осенила новая мысль. — А может быть, это член тайного общества покровителей тахоргов?

«Рамфоринх» снова пролетел над головами и вдруг затих.

— Э, да это к дяде Саше, — сказал Вадим. — Пойдет на запасные органы. Бедный «рамфоринх»! Кстати, ты привез?

— Привез, — сказал Антон, глядя мимо него. — Нет, структуральный суперкарго. Это не к дяде Саше...

Из-за кустов появился высокий костлявый человек в широкой белой блузе и белых брюках. У него было очень смуглое худое лицо с мохнатыми бровями и большие коричневые уши. В руке он держал объемистый портфель.

— Он, — сказал Антон.

— Кто?

— Человек в белом. Он все время бродил около очереди. И смотрел всем в глаза.

— Сейчас я ему объясню, что такое тахорги, — проговорил Вадим, — и он поймет.

Человек в белом подошел вплотную и внимательно осмотрел обоих охотников.

— Вы знаете, что тахорги нападают на людей и иногда серьезно калечат их? — сказал Вадим. — Наносят им серьезные увечья.

— Вот как? — сказал человек в белом. — Тахор-

ги? В первый раз слышу. Впрочем, это не по моей части. Я пришел к вам с просьбой. Здравствуйте, — он коснулся двумя пальцами виска.

— Здравствуйте, — сказал Антон. — Вы ко мне?

Незнакомец бросил портфель под ноги и вытер со лба пот. В портфеле что-то глухобрякнуло. Это было огромное, битком набитое местоположение, сильно потертое, с огромным количеством ремней и медных застежек. Портфель по-японски — «кабан», — подумал Вадим. Японцы правы.

Незнакомец медленно проговорил:

— Да. Я к вам, — он зажмурился и снова с силой провел ладонью по лицу. — Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно к вам. Совершенно случайно к вам... Мог к кому-нибудь другому...

— Нам необыкновенно повезло, — весело сказал Вадим. — Просто удивительно, как нам сегодня везет.

Незнакомец поглядел на него без улыбки.

— Капитан вы? — спросил он.

— Я капитан потенциально, — ответил Вадим. — А кинетически я суперкарга и старший специалист по тахоргам.. Если угодно, зверовед-аматёр...

Вадима понесло, он уже не мог удержаться. Он должен был во что бы то ни стало вызвать на лице незнакомца улыбку, хотя бы вежливую.

— Кроме того, я второй пилот-аматёр, — говорил он. — Это на тот случай, если у капитана вдруг случится отложение солей или колено горничной...

Незнакомец молча слушал. Антон сказал негромко:

— Очень смешно.

Наступила тишина.

— Как я понял, вы летите на Пандору, — сказал незнакомец. Он смотрел на Антона.

— Да, мы идем на Пандору, — Антон покосился на портфель. — Вы хотите что-нибудь переслать с нами?

— Нет, — сказал незнакомец. — Пересылать мне нечего. У меня совсем другое... У меня есть к вам предложение. Ведь вы едете развлекаться?

— Да, — сказал Антон.

— Если опасную охоту можно считать развлечением, — значительно добавил Вадим.

— Это славный отдых, — сказал Антон. — Турперелет и охота.

— Турперелет... — медленно, словно удивляясь, проговорил незнакомец. — Туристы... Послушайте, молодые люди, вы совсем не похожи на туристов. Вы молодые, здоровые ребята-открыватели... Зачем это вам — обжитые планеты, электрифицированные джунгли, автоматы с газировкой в пустынях? Да что говорить! Почему вам не взять неизвестную планету?

Ребята переглянулись.

— Какую именно планету? — спросил Антон.

— Не все ли равно? Любую. На которой человека еще не было... — незнакомец вдруг широко раскрыл глаза. — Или таких уже нет?

Он не шутил. Это было совершенно очевидно, и ребята снова переглянулись.

— Почему же? — сказал Антон. — Таких планет сколько угодно. Но мы всю зиму собирались поохотиться на Пандоре.

— Лично я, — подхватил Вадим, — уже раздарил знакомым черепа своих неубитых тахоргов.

— И потом — что мы будем делать на новой планете? — мягко сказал Антон. — Мы не научная экспедиция, мы не специалисты. Вот Вадим лингвист, я звездолетчик, пилот... Мы не сумеем даже составить первичного описания... Впрочем, может быть, у вас есть какая-нибудь идея?

Незнакомец сдвинул мохнатые брови.

— Нет у меня никаких идей, — резко сказал он. — Просто мне нужно на неизвестную планету. И вопрос стоит так: можете вы мне помочь или нет?

Вадим стал застегивать и расстегивать «молнию» на куртке. Тон незнакомца его покоробил: это был не тот тон, к которому Вадим привык. И тем не менее положение было тяжелое. Человеку, который едет развлекаться, трудно спорить с человеком, которому нужно ехать по делу. Аргументов у Вадима не было, и поэтому он совсем было решил придрать-

ся к манерам, но тут случилось странное происшествие.

За деревьями залаяла собака. Это был дяди-Сашин эрдель Трофим, дряхлый глупый пес с признаками аристократического вырождения и необыкновенно густым голосом. Залаял он скорее всего потому, что на нос ему села оса и он не знал, что с ней делать, но лицо незнакомца вдруг страшно исказилось. Он пригнулся и прыгнул далеко в сторону. Вадим даже не понял, что произошло. Прыгнув, незнакомец выпрямился и нарочито медленными шагами вернулся на место. На лбу у него блестела испарина. Вадим оглянулся на Антона. Лицо Антона было задумчиво-спокойным.

— Ну что ж, — сказал он рассудительно. — Во второй окрестности много желтых карликов с приличными планетами земного типа. Давайте слетаем. Возьмем хотя бы ЕН 7031. Туда уже собирались лететь, да отложили. Показалось неинтересно. Добровольцы не любят желтых карликов — им подавай гиганта, лучше — кратного... Устроит вас ЕН 7031?

— Да, вполне, — сказал незнакомец. Он уже пришел в себя. — Если только это действительно необитаемая планета.

— Это не планета, — вежливо поправил Антон. — Это звезда. Солнце. Но там есть и планеты. По всей видимости, необитаемые. А как вас зовут?

— Меня зовут Саул, — сказал незнакомец и впервые улыбнулся. — Саул Репнин. Я историк. Двадцатый век. Но я постараюсь быть полезным. Я умею готовить, водить наземные машины, шить, чинить обувь, стрелять, — он помолчал. — И, кроме того, я знаю, как все это делалось раньше. И еще я знаю несколько языков — польский, словацкий, немецкий, немного французский и английский...

— Жалко, что вы не умеете водить звездолет, — вздохнул Вадим.

— Да, жалко, — сказал Саул. — Но это ничего — звездолет умеете водить вы.

— Не вздыхай, Димка, — сказал Антон. — Пора и тебе посмотреть на странные пейзажи безыменных

планет. Танцевать в кафе можно и на Земле. Покажи себя там, где нет девушек, дыхатель...

— Я вздыхаю от восторга, — отозвался Вадим. — В конце концов что такое тахорги? Громоздкие и всем известные животные...

Саул любезно осведомился:

— Надеюсь, я не вырвал согласие силой? Надеюсь, ваше согласие является в достаточной степени добровольным и свободным?

— А как же, — сказал Вадим. — Ведь что такое свобода? Осознанная необходимость. А все остальное — нюансы.

— Пассажир Саул Репнин, — сказал Антон. — Старт в двенадцать ноль-ноль. Ваша каюта третья, если вы не захотите занять каюту четвертую, пятую, шестую или седьмую. Пойдемте, я вам покажу.

Саул нагнулся за портфелем, и у него из-за пазухи выскользнул и тяжело шлепнулся на траву большой черный предмет. Антон поднял брови. Вадим пригляделся и тоже поднял брови. Это был скорчер — тяжелый длинноствольный пистолет-дезинтегратор, стреляющий миллионвольтными разрядами. Такие предметы Вадим видел только в кино. На всей Планете было не больше сотни экземпляров этого страшного оружия, и оно выдавалось только капитанам сверхдальних десантных звездолетов.

— Какой я неуклюжий, — пробормотал Саул, подобрал скорчер и сунул его под мышку. Затем он поднял портфель и объявил: — Я готов.

Некоторое время Антон смотрел на него, словно собираясь спросить о чем-то. Затем он сказал:

— Пойдемте, Саул. А ты, Вадим, приberi дома и отнеси старику инструмент. Он в багажнике. Я имею в виду, конечно, инструмент.

— Слушаю, шкип, — сказал Вадим и пошел в гараж.

«Трудно быть оптимистом, — размышлял он. — Ведь что есть оптимист? Помнится, в каком-то старинном вокабулярии сказано, что оптимист — суть человек, полный оптимизма. Там же, статьей выше, сказано, что оптимизм — суть бодрое, жизнерадост-

ное мироощущение, при котором человек верит в будущее, в успех. Хорошо быть лингвистом — сразу все становится на свои места. Остается только совместить бодрое, а равно и жизнерадостное мироощущение с пребыванием на борту тяжеловооруженного лунатика...»

Он забрал из багажника скальпель и биоэлементы и направился к дяде Саше. Старик сидел на корточках под красным «рамфоринхом».

— Дядя Саша, — сказал Вадим. — Вот вам новый скальпель и...

— Не надо, — сказал дядя Саша. Он вылез из-под «рамфоринха». — Спасибо. Мне подарили вот это, — он похлопал «рамфоринха» по полированному боку. — Говорят, он очень живуч, а?

— Подарили?

— Да, один молодой человек, весь в белом.

— Ах, вот как, — сказал Вадим. — Значит, он был уверен, что улетит с нами. Или, может быть, он намеревался прорваться в «Корабль» с боем?

— Что? — спросил дядя Саша.

— Дядя Саша, — сказал Вадим. — Вы знаете, что такое скорчер?

— Скорчер? Да, знаю, конечно. Это микроразрядное устройство на ткацких автоматах. Правда, теперь их нет, но помню, лет семьдесят назад... А что, этот человек в белом — тоже старый ткач?

— Может быть, он и ткач тоже, но скорчер у него, дядя Саша, не микроразрядный.

Вадим задумчиво пошел к своему коттеджу. Дома он бросил постельное белье в мусоропровод, переключил хозяйственную автоматику на режим отсутствия и, выйдя на крыльцо, написал карандашом на двери: «Уехал в отпуск. Прошу не занимать». Затем он отправился к Антону. Прибирая Антонов коттедж, он продолжал размышлять. В конце концов не все потеряно. Тахорги, надо признаться, уже основательно приелись. Пандора, если говорить честно, это всего-навсего очень модный курорт. Можно только удивляться, как я там высидел три сезона. Какой стыд, — подумал он вдруг с энтузиазмом. Ведь было

время, когда я хвастался ожерельем из зубов тахорга и разводил несусветную пандориану! Швырять в Самсона черепом тахорга — какая банальность! Самсон достоин большего, и Самсон будет увековечен. Неизвестная планета — это неизвестная планета. По неизвестной планете бродят неизвестные звери. Они, бедняги, еще не знают, как их зовут. А я уже знаю. Там я добуду первого в истории «самсона непарноногого перепончатоухого» или, скажем, «самсона неполнозубого гребенчатозадаго»... Запустить в Самсона черепом самсона — такого еще не было.

Когда он вернулся на лужайку, «Корабль» был готов к старту. Верхушка его больше не следила за солнцем, иней на траве вокруг исчез.

Вадим удобно устроился в люке, свесив ногу. Он смотрел на Антонов коттедж с распахнутой стеной, на зеленые кроны сосен, на низкие облака, в которых то появлялись, то исчезали голубые проталины. Да, друг Самсон, непарноногий брат мой, мстительно подумал он. Может быть, ты и не плох против какого-нибудь библейского льва, но где тебе тягаться со структуральным лингвистом... Но что забавно: мне бы и в голову не пришло тащиться отдыхать на неизвестную планету, если бы не этот старик в белом. До чего же мы косный народ, даже лучшие из структуральных лингвистов! Вечно нас тянет на обжитые планеты...

На лужайку вышел эрдель Трофим. Он помигал на Вадима добрыми слезящимися глазами, зевнул, сел и принялся чесать задней ногой у себя за ухом. Жизнь была прекрасна и многообразна. Вот Трофим, подумал Вадим. Стар, глуп, добр, но — смотри-те-ка! — может еще напугать... А может быть, все лунатики боятся собачьего лая? — Вадим уставился на Трофима. — А почему я, собственно, решил, что Саул Репнин — лунатик или как это там называлось?.. Зачем такое искусственное предположение? Проще предположить, что историк Саул никакой не историк, а просто соглядатай какой-нибудь гуманоидной расы у нас на планете. Как Бенни Дуров на Тагоре... Это было бы славно — целый месяц неиз-

вестных планет и таинственных незнакомцев... И как все отлично объясняется! Самостоятельно с Земли он выбраться не может, собак он боится, а на неизвестную планету ему нужно, чтобы за ним туда прислали корабль — на нейтральную, так сказать, почву. Вернется он к себе и расскажет: так, мол, и так, люди они хорошие, полны оптимизма, и завяжутся у нас с ними нормальные гуманоидные отношения...

Вадим спохватился и крикнул в коридор:

— Антон, я на борту!

— Наконец-то, — откликнулся Антон. — Я было решил, что ты дезертировал.

Из-за деревьев, безобразно крутя хвостом, появился тощий красный «рамфоринх» и, неестественно завывая, начал описывать вокруг «Корабля» круг почета. Дядя Саша, откинув дверцу, махал чем-то белым. Вадим помахал в ответ.

— Старт! — предупредил Антон.

«Корабль» пошевелился и, мягко подпрыгнув — Вадим успел оттолкнуться от земли ногой, — стал подниматься в небо.

— Димка! — крикнул Антон. — Закрой-ка люк! Сквозняк.

Вадим в последний раз помахал дяде Саше, поднялся и зарастил люк.

II

Антон передал управление на киберштурман и, сложив руки на животе, задумчиво глядел на обзорный экран. «Корабль» шел на север по меридиану. Вокруг было густо-фиолетовое небо стратосферы, а глубоко внизу белела мутная пелена облаков. Пелена эта казалась гладкой и ровной, и только кое-где угадывались провалы исполинских воронок над макропогодными станциями — синоптики, пролив над Северной Европой дождь, загоняли облака в ловушки.

Антон размышлял над странностями человеческими. Он вспоминал странных людей, с которыми встречался. Яков Осиновский, капитан «Геркулеса», терпеть не мог лысых. Он их просто презирал. «А вы ме-

ня не убеждайте, — говорил он. — Вы мне лучше покажите лысого, чтобы он был настоящим человеком». Наверное, с лысыми у него были связаны какие-то нехорошие ассоциации, и он никогда никому не говорил какие. Он не переменялся даже после того, как начисто облысел сам во время сарандакской катастрофы. Он только восклицал с заметной горечью: «Единственный! Заметьте — единственный среди них!»

Вальтер Шмидт с базы «Гаттерия» так же странно относился к врачам. «Врачи... — цедил он с неприличным презрением. — Знахарями они были, знахарями и останутся. Раньше была пыльная паутина и гнилая змеиная кровь, а теперь психодинамическое поле, о котором никто ничего не знает. Кому какое дело до того, что у меня внутри? Головоногие живут по тысяче лет безо всяких врачей и до сих пор благополучно остаются владыками глубин...»

Волкова звали Дредноут, и он был этим очень доволен: Дредноут Адамович Волков. Канэко никогда не ел горячего. Ралф Пинетти верил в левитацию и упорно тренировался... Историк Саул Репнин боится собак и не хочет жить с людьми. Я не удивлюсь, если окажется, что он не хочет жить с людьми именно потому, что боится собак. Странно, правда? Но он от этого не станет хуже.

Странности... Нет никаких странностей. Есть просто неровности. Внешние свидетельства непостижимой тектонической деятельности в глубинах человеческой природы, где разум насмерть бьется с предрассудками, где будущее насмерть бьется с прошлым. А нам обязательно хочется, чтобы все вокруг были гладкие, такие, какими мы их выдумываем в меру нашей жиденькой фантазии... чтобы можно было описать их в элементарных функциях детских представлений: добрый дядя, жадный дядя, скучный дядя. Страшный дядя. Дурак.

А вот Саулу несколько не странно, что он боится собак. И Канэко не кажется странным, что он не терпит ничего горячего. Так же, как и Вадиму никогда в голову не придет, что его дурацкие стишки

кое-кому кажутся не забавными, а странными. Галке, например.

Возьмем теперь меня. Вот я собрался было на Пандору. Если бы об этом узнал, скажем, капитан Малышев, он бы с изумлением на меня посмотрел и сказал: «Если ты собираешься отдыхать, то лучшего места, чем Земля, тебе не найти. А если ты решил поработать, то возьми черную систему ЕН 8742, которая стоит на очереди в плане, или возьми гиганта ЕН 6124 — им почему-то интересуются специалисты на Тагоре». И Малышев был бы прав. И чтобы Малышев меня понял и перестал смотреть с изумлением, пришлось бы сказать, что я соскучился по Димке и что Димка хочет стрелять тахоргов.

Антон усмехнулся. Зачем так сложно? Просто теперь все летают на Пандору, и однажды Галка сказала мне, что слетала бы туда. Так организуются в наше время перелеты. И так легко меняются планы. А мог бы я признаться Малышеву, что все дело в Галке? Почему человек никак не научится жить просто? Откуда-то из бездонных патриархальных глубин все время ползут тщеславие, самолюбие, уязвленная гордость. И почему-то всегда есть что скрывать. И всегда есть чего стесняться.

Антон посмотрел на букетик гвоздики, лежащий перед экраном. «Эх, Галка», — подумал он. Он подышал на пульт и написал пальцем на исчезающем матовом круге: «Эх, ты, Галка». Буквы быстро растаяли, он даже не успел поставить восклицательный знак. Тогда он еще раз подышал на пульт и поставил восклицательный знак отдельно. Потом он снова откинулся в кресле и в сто первый раз попытался логически решить задачу: «Я люблю девушку, девушка меня не любит, но относится хорошо. Что делать?»

Что, собственно, изменилось бы, если бы она меня полюбила? Можно было бы обнимать ее и целовать. Можно было бы быть все время вместе с ней. Я бы гордился. Все, кажется. Глупо, но все. Просто исполнилось бы еще одно желание. Как все это убого выглядит, когда рассуждаешь логически. А по-другому рассуждать я не умею. Пустой я человек, ци-

ник. Он увидел Галку, как она говорит, — немного через плечо, и глаза у нее прикрыты ресницами... Почему все устроено так глупо: можно спасти человека от любой неважной беды — от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от настоящей беды — от любви — ему никто и ничем не может помочь... Всегда найдется тысяча советчиков, и каждый будет советовать сам себе. Да и потерпевший-то, дурак, сам не хочет, чтобы ему помогали, вот что дико.

— Позвольте, однако же, куда вы? — громко спросил Саул.

— В рубку, — ответил Вадим.

— Подождите! Ведь мы, по существу, еще не познакомились...

Дверь в рубку была открыта. Антон все время краем уха слышал, как в кают-компании бубнят что-то о тахоргах, о зарослях и о теории исторических последовательностей. Теперь он стал слушать внимательней.

— Ведь вас, кажется, зовут Вадим? — сказал Саул.

— Как правило, — серьезно ответил Вадим. — Но иногда меня зовут Структуральнейшим, иногда Летающим Быком, а в специальных случаях — Димочкой.

— Стало быть, Вадим... И сколько же вам лет?

— Двадцать два локально-земных.

— Локально... Ну да, разумеется... Как вы сказали? Локально-земных?

— Два. В старых звездных я не участвовал.

— Совершенно верно. Я так и думал. А отец ваш, извините, кем будет?

— Кем будет? Наверное, так и останется мелиоратором.

— Э-э... Понимаю, понимаю... Я это, собственно, и имел в виду.

Наступила пауза.

— Очень изящный стол, — стесненно сказал Саул. Снова пауза.

— Стол хороший. Прочный.

— А мамаша ваша?

— Мамаша? Она у меня... это... станционный смотритель. Работает на мезоядерной станции.

Было слышно, как Саул нервно забарабанил по столу пальцами.

— Не надо так, Вадим, — попросил он. — Вы не должны обращать на это внимания... Конечно, я странно говорю, и это, вероятно, смешно немножко... Здесь, видите ли, вот какое дело... Мой образ жизни... Мой, так сказать, модус вивенди... Я узкий специалист. Весь в двадцатом веке. Как говорилось когда-то, книжный червь. Вечно в музеях, вечно со старыми книгами...

— Влияние обстановки.

— Да-да, вот именно. Я редко бываю на людях, а теперь вот пришлось. Вы знаете профессора Арнаутова?

— Нет.

— Очень крупный специалист. Мой идейный противник. Он попросил меня проверить некоторые аспекты его новой теории. Ведь я не мог не согласиться, правда? Вот так мне и пришлось... покинуть пенаты. Вот... Но что это мы все обо мне да обо мне!.. Вы, кажется, структуральный лингвист?

— Да.

— Интересная работа?

— А разве бывает неинтересная работа?

— Да, конечно... И чем же вы занимаетесь?

— Я занимаюсь структурным анализом. Но учтите, Саул, я отрешился от земного. Давайте я расскажу вам еще что-нибудь про тахоргов.

— Да нет, благодарю вас, про тахоргов не надо. Лучше расскажите, как вы работаете.

— Саул, я же сказал, что отрешился.

— Ну как же это так — отрешился? Что ж, вы теперь совсем не думаете о работе?

— Наоборот. Все время думаю. Я всегда думаю о той работе, которой занят в данный момент. Сейчас я суперкарго и второй пилот — это на тот случай, если у Антона вдруг случится отложение солей.

Впрочем, об этом я, кажется, уже... Так вот, мне сейчас очень хочется пойти и немножко поводить «Корабль».

— Да вы еще успеете поводить! И потом я прошу рассказать не о сущности вашей работы, а о внешней форме, так сказать... Вот вы приходите на работу. Обычные трудовые будни...

— Хорошо. Будни. Я ложусь на вычислитель и думаю.

— Ну-ну... Пойдите — на вычислитель? Ну да, понимаю. Вы лингвист и вы ложитесь на... И что же дальше?

— Час думаю. Другой думаю. Третий думаю...

— И наконец?..

— Пять часов думаю, ничего у меня не получается. Тогда я слезаю с вычислителя и ухожу.

— Куда?!

— Например, в зоопарк.

— В зоопарк? Отчего же в зоопарк?

— Так. Люблю зверей.

— А как же работа?

— Что ж работа... Прихожу на другой день и опять начинаю думать.

— И опять думаете пять часов и уходите в зоопарк?

— Нет. Обычно ночью мне в голову приходят какие-нибудь идеи, и на другой день я только додумываю. А потом сгорает вычислитель.

— Так. И вы уходите в зоопарк?

— При чем здесь зоопарк? Мы начинаем чинить вычислитель. Чиним до утра.

— Ну, а потом?

— А потом кончаются будни и начинается сплошной праздник. У всех глаза на лоб, и у всех одно на уме: вот сейчас все застынет, и начинай думать сначала.

— Ну, ладно. Это будни. Однако же нельзя все время работать...

— Нельзя, — сказал Вадим с сожалением. — Я, например, не могу. В конце концов заходишь в туник, и приходится развлекаться.

— Как?

— Как придется. Например, гоняю на буерах. Вы любите гонять на буерах?

— Э-э... Мне как-то не приходилось.

— Что же вы, Саул! Я вас обязательно покатаю. Какой у вас индекс здоровья?

— Индекс здоровья? Я вполне здоров. А над чем вы теперь работаете?

— Над свертками разобщенных структур.

— А зачем это нужно?

— Что значит — зачем?

— Ну, кому от этого будет польза?

— Каждому, кто этим заинтересуется. Вот сейчас проектируют универсальный транслятор. Универсальный транслятор должен уметь свертывать разобщенные структуры.

— Скажите, Вадим, а здесь, на «Корабле», можно послушать музыку?

— Конечно. Что бы вы хотели? Хотите «Трели» Шеера? Под эту музыку изумительно ведется «Корабль».

— А Бах?

— О, Бах! По-моему, у нас есть и Бах. Слушайте, Саул, а ведь с вами, наверное, слушать музыку будет очень приятно.

— Почему?

— Не знаю. Всегда приятно слушать музыку с человеком, который хорошо ее знает. Мендельсона вы любите?

— Вы знаете Мендельсона?

— Саул! Мендельсон — это лучший из старых! Я надеюсь, вы любите Мендельсона. Правда, его плохо слушать в «Корабле». Вы меня понимаете?

— Пожалуй... Я слушаю Мендельсона в своем уютном кабинете...

Разговорились наконец, подумал Антон. Он взглянул на часы. «Корабль» входил в стартовую зону над Северным полюсом. На экране в фиолетовой глубине возникли темные точки звездолетов, ожидающих старта. Антон крикнул в дверь:

— Простите, что прерываю. Скоро старт. Димка,

покажи Саулу, как пользоваться безинерционной камерой.

Антон послал на контрольную станцию запрос о программе предстоящего перелета и через тридцать минут, в течение которых «Корабль» плавал в стратосфере вместе с двумя десятками других больших и малых звездолетов, получил программу на переход, семь вариантов программы обратного пути и разрешение на выход в Подпространство. Тогда он попросил пассажиров укрыться в камерах, вошел в камеру сам, произвел переключку и дал «Кораблю» команду на старт.

Как всегда, Антона сильно затошнило. Через все тело прошла раскаленная волна, лицо и спина покрылись холодным потом. Антон осоловелым взглядом следил, как красная стрелка рывками прыгает по шкале, отмечая стремительно меняющуюся кривизну пространства. Двести риманов... четыреста... восемьсот... тысяча шестьсот риманов на секунду... Пространство вокруг «Корабля» скручивалось все туже. Антон знал, как это выглядит со стороны. Четкий черный конус «Корабля» становится зыбким, медленно тает и вдруг исчезает совсем, а на его месте вспыхивает на солнце огромное облако твердого воздуха. Температура на сто километров вокруг резко падает на пятьдесят градусов... Три тысячи риманов. Огненная стрелка остановилась. Эпсилон-дериринация закончилась, и «Корабль» перешел в состояние Подпространства. С точки зрения земного наблюдателя он был сейчас «размазан» на протяжении всех полутораста парсеков от Солнца до ЕН 7031. Теперь предстоял обратный переход.

При выходе из Подпространства всегда существует опасность оказаться слишком близко к какой-нибудь тяготеющей массе, а может быть, даже и внутри нее. Правда, опасность эта является чисто теоретической. Вероятность ее гораздо меньше вероятности угодить точно в печную трубу Эрмитажа, вывалившись над Ленинградом из стратоплана. Во всяком случае, ни то, ни другое событие ни разу не имело место за всю историю человечества. Корабль

Антон благополучно выскочил в нормальное пространство на расстоянии двух астрономических единиц от желтого карлика ЕН 7031.

Антон отдышался, вытер пот со лба и вышел из камеры. В рубке все было в порядке. Он прошелся вдоль пульта, скользнул взглядом по обзорному экрану, затем выключил автоматику перехода. На пульте перед экраном по-прежнему лежал букетик гвоздики. Антон остановился. «Жалко», — пробормотал он. Он коснулся букетика пальцем, и цветы рассыпались в зеленоватую пыль. «Бедняги, — подумал Антон. — Не выдержали. Да и кто выдержит?» Он вспомнил о пассажирах и спустился в кают-компанию.

Зал кают-компания был круглый, сюда выходили двери всех восьми кают и люк в нижний этаж, где были кладовые, кухня-синтезатор, душ и прочее. Антон оглядел стол, кресла, поправил крышку мусоропровода и направился в каюту Вадима. Там он отодвинул заслонку камеры, и Вадим вывалился на него. Он был белый и мокрый, как мышь.

— Плохо? — участливо спросил Антон.

Вадим трудным голосом пропел:

Воет ветер дальних странствий,
Раздается жуткий свист —
Это вышел в Подпространство
Структуральнейший лингвист.

Впрочем, он сейчас же откинул диван и сел.

— Вот почему я не стал звездолетчиком, — сказал он немного хрипло и прилег.

— Каждый раз ты это говоришь, — сказал Антон. Вадим промолчал. — Пойду освобожу Саула, — сказал Антон.

— Ты слышал нашу беседу? — спросил Вадим, не открывая глаз.

— Да.

— Интересный человек, а?

— Не знаю, — сказал Антон. — По-моему, он человек в беде.

— Еще бы. Другого бы ты на «Корабль» не взял. Стоит нам собраться куда-нибудь вдвоем, как ты начинаешь альтруировать. Постой, не уходи...

Антон остановился в дверях.

— Ты несешь болезненную чепуху, — сказал он, — а Саулу там сейчас, наверное, плохо. Это трудно представить, но он, я думаю, еще более хилый межпланетник, чем ты.

Вадим неожиданно вскричал трагическим шепотом:

— Слепец! О слепец!.. Нет, не уходи — мне тоже плохо... Неужели ты еще не понимаешь, кто он?!

— Что ты имеешь в виду?

Вадим, наконец, сел.

— Он же ничего не смыслит в лингвистике, — сказал он. — Надеюсь, это ты заметил?

— А что ты понимаешь в истории?

— Ты мне еще скажи, что он книжный червь. Мы все знаем одного такого червя. Его зовут Бенни Дуров. Поговори о нем с тагорянами.

Антон нехотя улыбнулся.

— Ладно, — сказал он. — Только ты все-таки воздерживайся. Я-то тебя переношу в любых дозах, а вот на свежего человека ты иногда производишь совершенно удручающее впечатление. Поменьше жеребьячьего оптимизма и побольше такта.

— Слушаю, шкип, — серьезно сказал Вадим. — Есть, шкип.

Антон вышел. Огибая стол, он опять улыбнулся: с Вадимом не соскучишься. В каюте номер три он прежде всего откинул диван и только тогда откатил заслонку, готовясь подхватить падающее тело. Вместо этого из камеры повалил синий дым. Антон отпрянул.

— Что, разве уже? — раздался из клубов дыма голос Саула.

Антон взгляделся. Саул сидел на своем портфеле, поставленном на попу, и курил длинную черную трубку. Вид у него был рассеянный и благодушный.

— Вас не тошнит? — спросил Антон, попятился и сел на диван.

— Отнюдь нет. Что, можно выходить?

— Прошу вас, — сказал Антон.

Саул поднялся, взял портфель и, наклонясь, вышел из камеры.

— Мы почти на месте, — сказал Антон. — Остается только выбрать планету и решить, где высадиться.

Саул сел рядом с ним.

— Мы далеко от Земли? — спросил он.

— Полтораста парсеков. Почти на пределе для нашего «Корабля».

Вадим заорал из своей каюты:

— Саул! Требуйте землеподобную планету! В скафандре вам не понравится, а кислородная маска — это еще туда-сюда...

Антон всгас и плотно прикрыл дверь.

— Мне все равно какую планету, — тихо сказал Саул. — Но, конечно, лучше такую, где можно дышать, — он вдруг усмехнулся. — Это очень важно, чтобы можно было дышать. — Антон внимательно смотрел на него. — Но самое важное — чтобы там никого не было...

— Вот что, Саул, — сказал Антон. — Планету мы вам найдем. Это пустяки. У нас на борту есть жилой купол на шесть человек, есть глайдер, есть запас пищи для инициирования цикла, есть хорошая радиостанция. Мы поможем вам устроиться и сейчас же уйдем. Хорошо?

Саул сидел, опустив голову.

— Да, — сказал он хрипло. — Так будет лучше всего. Наверное.

— Ну, вот и хорошо, — Антон толкнул дверь. — Я пойду в рубку, а вы... Если захотите, тоже приходите в рубку.

В рубке Антон включил бортовой каталог и просмотрел сведения о системе ЕН 7031. Сведения были неинтересные. Вокруг желтого карлика крутились четыре планеты и два пояса астероидов. Пожалуй, больше всего подходила вторая планета: она была землеподобна и находилась на расстоянии полутора астрономических единиц от своего солнца. Антон подал эфемериду на киберштурман.

Из кают-компания доносились голоса.

- Как вы перенесли переход, Саул?
- Какой переход? Я не заметил никакого перехода.
- Я так и думал.
- Что?
- Что вы не заметите. Хотите душ?
- Нет. Нам долго еще?
- Наверное, нет. Чувствуете? — «Корабль» шевельнулся, и пол поплыл из-под ног. — Это он ложится на курс. Пойдемте в рубку, а?
- А мы не помешаем?
- Конечно, нет. Мы же туристы. Вот в десантном или рейсовом звездолете нас бы не пустили... За чем вы носите с собой портфель?
- Он мне дорог...
- Тогда не ставьте его на крышку мусоропровода.

Антон внимательно рассматривал изображение планеты на обзорном экране. Планета была голубая, как Земля, покрытая белой пеленой облаков, но очертания материков были незнакомые — один большой материк тянулся вдоль экватора, другой, поменьше, тяготел к полюсу.

— Вот ваша планета, Саул, — сказал Антон и взял листок, выпавший из вывода антенны-анализатора. — Прекрасная планета. Сжатия нет. Сутки — двадцать восемь часов, масса — один и одна десятая. Вредных газов тоже нет. Кислорода много. Маловато углекислоты, но пусть это вас не беспокоит.

Он поглядел на Саула. Саул смотрел на свою планету с каким-то странным выражением. Мохнатые брови его поднялись дугами, и Антону показалось даже, что он может заплакать. Антон был тронут.

— Товарищи! — сказал вдруг Вадим. — Давайте назовем эту планету Саулой.

— Нарекается Саулой! — сказал Антон.

Он пригнул к себе раструб бортового дневника и продиктовал:

— Юлианский день двадцать пять сорок два девятьсот шестьдесят семь. Вторая планета системы

ЕН 7031 нарекается Саулой, по имени члена экипажа историка Саула Репнина.

Все это не имело ровно никакого значения. Планеты нарекались по названиям кораблей и городов, по именам любимых литературных героев, названиями приборов и просто громкими звукосочетаниями. А у кого не хватало фантазии, тот брал какую-нибудь книгу, открывал на какой-нибудь странице, выбирал какое-нибудь слово и как-нибудь его переделывал. И тогда получалось что-нибудь вроде Смеховины, Падраки или Бровии.

Но Саул был растроган необычайно. Он бормотал «спасибо, спасибо, друзья» и жал Вадиму руку. Это было очень трогательно.

А между тем планета росла. Когда на экране остался только материк, растопырившийся вдоль экватора, Антон спросил:

— Так где же мы будем высаживаться, Саул?

Саул ткнул пальцем почти в центр материка. Антону показалось, что он сделал это, зажмурившись.

— Това-арищи, — протянул Вадим. — Давайте поближе к побережью.

Было ясно, что ему хочется искупаться. Искупаться в океане Саулы, в волнах, которые не омывали еще ни одного землянина, которые не омывали, может быть, вообще ни одно разумное существо.

— Н-ну... К побережью так к побережью, — неуверенно сказал Саул. Он посмотрел на Антона. — Для моих целей, — он кашлянул, — выбор места не является существенным.

— Чудесно! — сказал Вадим. Он проворно уселся в кресло рядом с Антоном. — Хватит! — заявил он. — Капитана разбил паралич, и он в дурном состоянии отнесен в каюту. Широкоплечий и статный второй пилот взял управление на себя. — Он положил пальцы на контакты биоуправления, и «Корабль» сейчас же повалился в пропасть. Материк на экране стал тошнотворно поворачиваться. Вадим провозгласил:

Все от ужаса рыдает
И дрожит как банный лист!

Кораблем повелевает
Структуральнейший лингвист.

Саул с шумом уронил портфель и вцепился Антону в плечо.

— Димка, скажи хоть, куда ты целишься, — попросил Антон.

— Туда, — смутно ответил Вадим. — Где синие волны ласкают песок.

Корабль завалило на правый борт.

— Легче, легче, — сказал Антон. — Меньше эмоций. В материк не попадешь.

— Авось попаду.

— Тормоза! Ты же видишь — заносит!

— Я все вижу.

— Ох и грохнет он нас сейчас, — сказал Антон в пространство.

— Небось, небось, — приговаривал Вадим.

Экран помутнел. «Корабль» вошел в атмосферу. Вспыхнула и пропала радуга на тучах твердого воздуха. Замелькали белые и черные пятна.

— Обдуй, — посоветовал Антон.

— Знаю...

— Ох и валит тебя и кривит!

Вадим быстро сказал:

— Перехватишь управление — я тебе не друг.

— Вы, Вадим, и в самом деле не промахнитесь, — сказал Саул осторожно.

Карусель на экране прекратилась. Быстро надвинулось белое поле, потом экран потемнел и погас. Корабль вздрогнул.

— Вот и все, — сказал Вадим. Он потянулся, хрустнув пальцами.

— Что все? — спросил Саул. — Сломали?

— Сели, — сказал Антон. — Добро пожаловать на Саулу.

— Однако же вы лихой пилот, — сказал Саул Вадиму.

— Весьма лихой, — согласился Антон. — Знаешь, на сколько ты промахнулся, Димка? Километров на двести. Но экран выключить успел, молодец.

— Привычка, — небрежно сказал Вадим.

Антон всгал.

— Между прочим, что такое «банный лист»? — спросил он.

Вадим тоже встал.

— Это, Тошка, вопрос темный. Есть такая архаическая идиома: «дрожать как банный лист». Банный лист — это такая жаровня, — он стал показывать руками. — Ее устанавливали в подах курных бань, и, когда поддавали пару, то есть обдавали жаровню водой, раскаленный лист начинал вибрировать.

Саул неожиданно захохотал. Он смеялся густо и с наслаждением, вытирая слезы ладонью и топая башмаками. Никто ничего не понимал, и через минуту смеялись уже все.

— Забавный обычай, верно? — сказал Вадим, кашляя от смеха.

— Правда, Саул, отчего вы смеетесь? — спросил Антон.

— Ох, — сказал Саул. — Я так рад, что прибыл на свою планету...

Вадим перестал смеяться.

— В конце концов я не славяновед, — сказал он с достоинством. — Моя специальность — структурный анализ.

— Ну ладно, — сказал Антон, — пойдете наружу.

Все пошли из рубки. Вадим, придерживая Саула под локоть, говорил:

— Это не мой вывод. Это наиболее распространенная гипотеза.

— Неважно, неважно, — быстро отвечал Саул. Он стал серьезным. — Эта ваша гипотеза настолько далека от истины, что я не мог удержаться. Если я вас задел — простите...

— А вы как считаете? — спрашивал Вадим.

Саул раздраженно сказал:

— Нет такого выражения: «дрожать как банный лист». Есть выражения: «дрожать как осиновый лист» и «липнуть как банный лист».

— Но липнуть как лист. — это примитивная метафора. Она восходит к липким листьям липы. Как мо-

жет липнуть банный лист? Это же не лист растения. Чего ради листья каких-то растений попадут в баню? Это смешно!

Антон вскрыл мембрану люка. Крепкий морозный воздух хлынул в «Корабль». Саул оттолкнул Вадима и крикнул:

— Подождите! Пропустите меня, пожалуйста!

Антон, уже перенесший ногу через порог, остановился. Саул, держа над головой скорчер, протиснулся вперед.

— Хотите ступить первым? — спросил Антон, улыбаясь.

— Да, — пробормотал Саул. — Лучше я.

Он пролез в узкий люк и остановился, загораживая дорогу. Антон, лезший следом, боднул его головой.

— Вперед, Саул, — сказал он.

Саул был как каменный. Сзади Вадим нетерпеливо постучал Антона по согнутой спине.

— Дайте же пройти, Саул, — попросил Антон.

Саул, наконец, посторонился, и Антон выбрался наружу. Вокруг был снег. И сверху падал снег большими ленивыми хлопьями. «Корабль» стоял среди однообразных круглых холмов, едва заметных на белой равнине. Под ногами из снега торчала короткая бледно-зеленая травка и много мелких голубых и красных цветов. А в десяти шагах от люка, припорошенный снегом, лежал человек.

III

Вадим вылез из «Корабля» последним и сейчас же обратился к Саулу:

— Проще всего было бы проверить это по старинным словарям Даля и Ушакова. Но на борту...

Тут он заметил, что Саул его не слушает. Саул держал скорчер наизготовку — стволom на согнутом локте, — и лицо у него было обеспокоенное. Глаза его бегали. Вадим быстро огляделся и тоже увидел человека.

— Вот тебе на, — растерянно сказал он.

Антон подошел к лежащему, а Саул остался на месте. Неужели я сбил его «Кораблем» при посадке? — с ужасом подумал Вадим. Внутри у него все сжалось от этой мысли. Он бросился вслед за Антоном и тоже наклонился над телом. Он только взглянул, затем сейчас же выпрямился и стал смотреть в сторону. Вокруг тянулись унылые холмы, заснеженные и одинаковые, небо было затянуто низкими облаками, а на горизонте угадывались бледные очертания горного хребта. «Какая печальная планета», — подумал он.

И поля и горы —
Снег тихонько все украл...
Сразу стало пусто.

Антон опустил на колени и осторожно потрогал руку лежащего. Рука была узкая, белая, с тонкими фарфоровыми пальцами, длинные ногти отливали золотом.

— Ну? — сказал Вадим и глотнул.

Антон поднялся и тщательно стер снег с голых колен.

— Замерз. Несколько дней назад. И он очень истощен.

— Безнадежно?

Антон кивнул.

— Это уже камень.

— Камень... — повторил Вадим. — Как же так? Смотри, он совсем мальчишка... — он заставил себя смотреть на лицо мертвого. — Смотри, он похож на Валерку! Помнишь Валерку?

Антон положил ему руку на плечо.

— Да, похож.

— Я так испугался. Я думал, что сбил его при посадке.

— Нет, он лежит уже несколько дней. Он упал от слабости и замерз.

— Слушай, Антон, а почему он в рубашке?

— Не знаю. Пойдем на «Корабль».

Вадим не двинулся.

— Я не понимаю. Значит, мы не первые?

Он огляделся, ища взглядом Саула. Саула не было.

— Антон, может быть, ты ошибся? Может быть, еще можно что-нибудь сделать?

— Пойдем, пойдем, Димка.

— А как же... он?

— Откуда я знаю? Пойдем.

Они увидели Саула. Саул медленно спускался по склону холма, скользя по сыроватому снегу. Они стояли и ждали, пока он не подошел. Лицо у него было грустное, на щеках таяли большие снежинки. Колени были в снегу. Он подошел, вынул изо рта погасшую трубку и сказал:

— Плохо дело, молодые люди. Там еще четверо. — Он посмотрел на мертвого. — Тоже раздеты. Что вы намерены предпринять?

— Идемте в «Корабль», — сказал Антон, — там все тщательно обдумаем.

В кают-компании они сели в кресла и некоторое время молчали. Вадима бил озноб. И почему-то очень хотелось говорить.

— Ну и планета, — сказал он, напрягая челюсти. — Никогда о таком не слышал. Ничего не понять. Что? Откуда? Почему? Ведь говорили, что никто здесь раньше не бывал. И главное — мальчик. Мальчик-то как сюда попал? — Он замолчал и закрыл глаза, стараясь прогнать видение припорошенного снегом лица.

Антон поднялся и стал ходить вокруг стола, опустив голову. Саул набил трубку.

— Разрешите мне закурить, — попросил он.

— Да, пожалуйста, — сказал Антон рассеянно. Он остановился. — Сейчас мы сделаем вот что; — решительно заговорил он. — У нас есть глайдер. Возьмем продовольствие и одежду и проведем спиральный поиск вокруг «Корабля». На холмах могут оставаться живые.

В голосе его звучали твердые, незнакомые Вадиму нотки. Вадим с любопытством поглядел на него, и Антон заметил его взгляд.

— Видите ли, товарищи, — сказал он мягче, —

турпохода у нас не вышло. Обстоятельства, по-моему, чрезвычайные. Мне, наверное, придется приказывать, а вам придется подчиняться, — он поглядел на Саула и виновато развел руками. — Вы видите, Саул, ничего не поделаешь...

— Да, — сказал Саул. — Да. Конечно. Я готов, капитан. Приказывайте.

— А ты что, уже все понял? — спросил Вадим.

— Потом поговорим, — сказал Антон. — Сначала надо вырастить глайдер. Пойдем, Вадим.

Саул положил трубку и тоже поднялся, поправляя на плече ремень скорчера.

— Спасибо, Саул, мы сами справимся, — сказал Антон.

— Я хотел бы с вами, — сказал Саул. — Я вам не помешаю, капитан.

Они вынесли Яйцо и уложили его на вершине холма поодаль. Снег пошел гуще, снежинки щекотали щеки, и Вадим раздраженно размазывал их по лицу. Дул ветер, и было холодно стоять и смотреть, как Антон неторопливо и аккуратно укрепляет активаторы на гладкой поверхности механозародыша. Ветер обжигал голые руки и ноги, и Вадим вдруг подумал, что, может быть, где-то за холмами бредут сейчас, проваливаясь в сугробы, босые люди в длинных серых рубахах.

Антон выпрямился и подышал на покрасневшие руки.

— Кажется, так, — сказал он. — Проверь, Дима.

Вадим осмотрел расположение активаторов. Все было в порядке. Они пошли обратно к «Кораблю». Саул шел следом — он все время держался у них за спиной. «Корабль» уже набирал энергию, он черной горой возвышался на белом, изогнутая верхушка его следила за невидимой ЕН 7031. По дороге Вадим сорвал несколько цветков и пожалел их — какие они жалкие и бледные.

И живых и мертвых —
Снег тихонько все украл...
Сразу стало пусто.

Снег валил все сильнее и сильнее, и, когда они подошли к «Кораблю», Саул сказал:

— Скоро все заметет. Неплохо бы произвести вскрытие.

— Зачем? — сказал Антон. — Он безнадежно мертв.

— Вот именно. Надо бы выяснить, почему они умерли.

— Они замерзли, — сказал Антон. — И не нужно нам никакого вскрытия.

— Мне казалось... — начал Саул, но тут же замолчал и полез в люк.

В кают-компании Антон сказал:

— Поймите, я не настоящий врач. Мне... не хочется.

— Я понимаю, — сказал Саул.

— Вадим, — сказал Антон, — упакуй продовольствие. Все наличные запасы. Саул, вы говорили, что умеете шить. Надо подогнать костюмы. А я соберу медикаменты.

Комбинезоны были безразмерные, но разница в росте между Саулом и Антоном была слишком велика. Комбинезон для Антона надо было сжимать, а для Саула — растягивать. И сразу же выяснилось, что шить Саул не умеет. Он растерянно вертел в руках ультразвуковую насадку, мял и разглаживал костюмы и смущенно поглядывал на Антона. По-видимому, историки, сидя в своих уютных кабинетах, понятия не имели о таких простых вещах. Вероятно, их главным образом интересовало, как это делалось раньше. Вадиму пришлось отобрать у Саула насадку и показать, как это делается сейчас. К его изумлению, историк оказался понятлив, и через несколько минут каждый уже занимался своим делом.

Саул сказал, не поднимая головы от работы:

— Почему вы думаете, капитан, что остались еще живые?

— Я не думаю, — ответил Антон. — Я надеюсь.

Вадим кончил укладывать мешок, застегнул его и присел к столу.

— А те остальные четверо тоже молодые? — спросил он.

— Да, — сказал Саул. — Совсем мальчишки. Почти подростки. Гораздо моложе вас.

— Лет пять назад, — проговорил Вадим, — мы с ребятами хотели взять корабль и слетать на Тагору. Нам, конечно, не дали... Может быть, этим повезло?

— Непонятно, — сказал Антон. — Корабль может получить только пилот со стажем. А какой у этих стаж... Мальчишки! Вообще все непонятно. Золоченые ногти. Какие-то дикие рубахи на голое тело... и, главное, как они попали сюда?

— Очень просто, — сказал Вадим. — Кто-нибудь собирался лететь, оставил звездолет перед домом, они ночью забрались и стартовали. Играли в Румату-Искателя. А здесь вылезли и заблудились. Ударил мороз. Вот и все.

— То, что ты говоришь, — холодно сказал Антон, — совершенно невозможно. Если бы даже все было так, то я бы об этом знал. Они погибли несколько дней назад. На Земле был бы объявлен глобальный поиск.

— А если они здесь с кем-нибудь из старших?

Антон помолчал.

— Тогда поищем старших, — сказал он наконец.

— Меня смущает одно, — сказал Вадим. — Эти невообразимые рубахи...

— Это не рубахи, — сказал Саул неожиданно.

Ребята повернулись к нему.

— Это мешки. С дырками для головы и рук. Грубые джутовые мешки. Теперь таких не бывает, — он невесело усмехнулся. — Понимаете, Вадим, мальчикам было бы легче раздобыть скорчер или бати-сферу, чем один такой вот мешок. Это было очень, очень давно. И мне очень не нравится, что они голые и что вместо одежды на них мешки.

Вадим почувствовал, что у него перестало биться сердце. Станным и жутким показалось ему это — джутовые мешки, которые были очень, очень давно. Это было ощущение не опасного, а именно жуткого.

Как будто на твоих глазах человек вдруг стал стареть, стареть, стареть и превратился в дряхлого морщинистого старика. Он встряхнулся, и ощущение пропало. Саул развернул комбинезон, поднял его на вытянутых руках и осмотрел.

— И поэтому я не согласен с вами, — продолжал ок. — Я думаю, это местные жители. И... не знаю, поймете ли вы меня... Во времена джутовых мешков происходили странные вещи. Мне представляется, что этих юношей раздели до нитки. И бросили здесь, в пустыне. Примерьте, Антон.

Антон взял комбинезон.

— Значит, по-вашему, на Сауле существует своя цивилизация? — недоверчиво спросил он. — И здесь времена джутовых мешков?

— Ну, откуда я могу это знать, капитан? Я говорю только то, что вижу. Я вижу джутовые мешки, я знаю, что джутовых мешков на Земле в наше время нет. Значит, это не земляне. Может быть, это ограбленные. А может быть, это паломники. Фанатики. Шли на поклонение святым мощам, шли, по обету одетые в мешковину, сбились с дороги, попали в метель... Не знаю.

До Вадима все это плохо доходило. Все эти слова — «паломник», «мощи», «обет» — они были знакомы ему, это было что-то, связанное с религиозной обрядностью, но они не имели для него никакого реального содержания. Мельком он подумал с уважением, что Саул, по-видимому, настоящий специалист. Но не это поразило его.

— Позвольте, — сказал он. — Значит, цивилизация? Вот так так... Отправились на прогулку и между делом открыли цивилизацию! Не верю, — заявил он.

— Между делом, — сказал Антон задумчиво. — Между делом ли? ЕН 7031 значит в плане исследований...

— Да, ты говорил об этом. Экспедиция не состоялась.

— Экспедиция не состоялась. А между тем ЕН 7031 находится в списке звезд, лежащих на гипотетическом пути Странников,

— Никогда не слышал о таком списке, — сказал Вадим.

— Такой список есть. Список Горбовского-Бадера. Так что шансы найти цивилизацию были, Вадим. И может быть, Саул прав, это местные мальчишки. А вот какое они имеют отношение к Странникам — это уже другой вопрос...

Вадим сидел, поставив локти на стол и обхватив голову руками. Вот так цивилизация! Хорошо, думал он, пусть это жертвы грабителей. Но это же чушь: здоровые шестнадцатилетние мальчишки дали себя раздеть без сопротивления и покорно замерзли. Но не фанатики же они! Он представил себе фанатика. Это был изможденный плешивый старик с безумными глазами, с огромной ржавой цепью через плечо. Нет, подумал он. Какие это фанатики!. Может быть, это сами Странники? Да. В джутовых мешках. Он вспомнил циклопические сооружения, оставленные Странниками на Владиславе, и его охватила тоска. Такая тоска наваливалась на него каждый раз, когда он брался за непосильную задачу.

— Антон, — сказал он. — Как там глайдер?

Антон взглянул на часы.

— Пора, — сказал он. — Пойдемте. Одевайтесь и берите по мешку.

— Позвольте однако же уточнить, — сказал Саул. — Что мы будем искать?

Вадиму показалось, что Антон колеблется.

— Мы будем искать терпящих бедствие.

Саул застегнул комбинезон.

— А если, по счастью, здесь больше никто не терпит бедствие? Я имею в виду вариант с грабителями.

— При этом варианте я бы не стал стесняться, — пробормотал Вадим.

— При любом другом варианте, — отдельно сказал Антон, — прошу не делать ни одного движения без моего приказа.

Он пошел к двери.

— Вы не берете оружия? — спросил Саул.

— Нам не понадобится оружие, — ответил Антон.

— Хватит здесь мертвецов, — сказал Вадим.

Они вышли из «Корабля» и сразу провалились в глубокий снег. Глайдер был еле виден за белой завесой. Это был глайдер-антиграв «кузнечик», надежная шестиместная машина, очень популярная у десантников и следопытов. Он стоял на краю громадной ямы-проталины, откуда поднимался густой пар, и гладкие борта его были еще теплыми, а в кабине было даже жарко.

Они свалили мешки в багажник и забрались в машину под гладкий прозрачный фонарь.

— Ах, досада, — сказал Антон неожиданно. — Димка, прости, пожалуйста. Ведь тебе для перевода, наверное, понадобится анализатор.

— Для какого перевода? — спросил Саул.

Вадим потер подбородок.

— Анализатор не анализатор, — сказал он медленно, — а без мнемокристаллов на первый случай не обойтись. Придется кому-то сходить в «Корабль».

— Эх, — сказал Антон и полез из глайдера. — Сколько тебе их нужно?

— Одной пары будет достаточно. Только бери с присосками, чтобы не держать в руках.

Антон побежал по снегу к «Кораблю».

— О чем здесь шла речь? — осведомился Саул.

— Надо же будет как-то общаться с людьми, если мы их найдем, — ответил Вадим.

Он включил двигатель, мягко поднял глайдер и снова опустил.

— И вы об этом так, — Саул пошевелил пальцами, — легко говорите?

Вадим посмотрел на него с удивлением.

— А как я должен говорить?

— Ну да, естественно, — сказал Саул.

«Вот странный человек, — подумал Вадим. — Неужели он действительно всю жизнь просидел в своем кабинете, слушая Мендельсона?»

— Саул, — сказал он. — После работ Сугимото общение с гуманоидами — задача чисто техническая. Вы что, не помните, как Сугимото договорился с та-

горцами? Это же была большая победа, об этом много писали и говорили...

— Ну как же, — с энтузиазмом произнес Саул. — Как такое забудешь! Но я думал почему-то, что... э-э... на это способен только Сугимото.

— Нет, — сказал Вадим пренебрежительно. — Это может сделать любой структуральный лингвист.

Вернулся Антон, сунул Вадиму коробку с кристаллами и забрался на свое место.

— Вперед, — сказал он. Он посмотрел на Саула. — Что тут у вас произошло?

— А в чем дело?

— Мне показалось... Ну, это неважно. Вперед.

— Слушай, — сказал Вадим, глядя на еле заметный снежный холмик возле «Корабля». — Нехорошо оставлять их так. Может, сначала похороним?

— Нет, — сказал Антон. — Честно говоря, даже на это мы не имеем права.

Вадим понял. Это не наши мертвые, и не нам хоронить их по нашим законам. Он взялся за рукоятку руля и включил двигатель. Глайдер плавно взмыл над сугробами и кинулся в белую мглу.

Вадим сидел, привычно ссутулившись, и только чуть шевелил руль, проверяя устойчивость. Навстречу мчался снег. Вадим видел только белую тысячехвостую звезду, центр которой медленно плавал перед его глазами. Он включил поисковые локаторы.

— Что это за экраны? — спросил позади Саул.

Вадим объяснил:

— Во-первых, я ничего не вижу, а во-вторых, их могло засыпать снегом.

— Спасибо, — сказал Саул. — Я понял.

Глайдер выскочил из метели. Он несся над заснеженной холмистой равниной. Вадим медленно наращивал скорость, и двигатель густо свистел, и бешено неслись под днищем округлые вершины холмов. Небо было совершенно белое, невысоко над горизонтом справа светилось слепящее пятно — ЕН 7031, а на севере отчетливо проступили очертания скалистых гор. Слепящее пятно медленно смещалось вправо и назад: глайдер шел по десятики-

лометровой дуге вокруг «Корабля». И впереди, и справа, и слева были только холмы, холмы, холмы. Антон вдруг сказал:

— Глядите, стадо!

Вадим затормозил и развернулся. Глайдер повис неподвижно. В ложбине между холмами быстро двигалась кучка каких-то животных. Это были некрупные четвероногие, похожие на безрогих оленей, и они, выбиваясь из сил, прыгали, проваливаясь в снег, закидывая назад длинные черноносые головы. Тонкие ноги их застревали в сугробах, и они падали, барахтались, поднимая тучи снежной пыли, и снова вскакивали, и снова бежали, изгибаясь при каждом прыжке. За ними оставалась борозда взрытого снега. А по этой борозде, низко пригнув длинные вытянутые шеи, мчались на голых голенастых ногах громадные, похожие на страусов птицы. Только клювы у этих птиц были не как у страусов — мощные, горбатые, с загнутым вниз страшным острием.

Вадим спикировал и пошел вдоль ложбины. Стадо пробежало под глайдером, даже не заметив его, а птицы — их было три — разом остановились, присели на согнутых ногах и, задрав головы, страшно разинули клювы. Какая охота, мельком подумал Вадим, какая могла бы быть охота! Он снова поднял глайдер и перевел его в джамп-режим. Совсем близко, едва не царапнув по спектролиту фонаря, щелкнули чудовищные клювы и сразу исчезли. Теперь глайдер мчался двухкилометровыми прыжками, взлетая к низкому небу, и каждый раз равнина словно распаивалась внизу, и было видно, что на десятки километров вокруг тянется бескрайняя снежная пустыня.

— Плохо дело, — пробормотал Саул.

— Почему?

— Птицы...

Ну и цивилизация, подумал Вадим. Не могли организовать поиск. Дали мальчишкам уйти голыми, безоружными. Здесь, наверное, и шагу нельзя пройти без оружия. А ведь смелые, наверное, были ребяташки...

Глайдер замкнул десятикилометровый виток и начал второй, в двадцать километров. И сейчас же Антон сказал:

— Вот они откуда, наверное... Тридцать градусов вправо по курсу!

На краю равнины под серо-синей массой хребта виднелись какие-то смутные, правильной формы темные пятна.

— Похоже на большой населенный пункт, — сказал Саул. — Здесь нет бинокля?

Спектролит фонаря рассеивал дымку, и Вадим, нагнувшись к окулярам, различил очертания зданий, зубчатых стен и куполов.

— Город, — сказал он. — Что будем делать?

— Город? — спросил Саул. — Любопытно. И сколько до него?

— Километров пятнадцать.

— Так. Значит, до «Корабля» от города километров тридцать... При известной выдержке это можно пройти даже босиком.

Вадима передернуло.

— В жизни не стал бы пробовать, — пробормотал он.

Глайдер, чуть подрагивая под порывами ветра, висел в двух десятках метров над землей. До чего же здесь все нелепо устроено, думал Вадим. Где поисковые партии? Где глайдеры и вертолеты с добровольцами? Люди замерзли рядом с городом, и здесь на десятки километров вокруг ни одной живой души, кроме этих птичек. А птичкам здесь как раз совершенно нечего делать. Надо было их выбить еще сто лет назад и не устраивать под боком заповедника хищников. И чего медлит Антон? Почему бы нам не явиться в город и не наставить обитателей на путь истинный? Честное слово, формальностями первого контакта можно для такого случая пренебречь. Он поглядел на Антона.

Антон медлил. Он сидел, выпрямившись, сильно прищурив глаза и сжав губы. Такое лицо у него было, когда он решал в уме навигационную задачу.

— Итак, шкип? — сказал Вадим.

Лицо Антона приняло обычное выражение.

— Честно говоря, — проговорил он, — нам следует сейчас вернуться на «Корабль». Но... Вперед. Остановишься на окраине. Держись повыше.

Глайдер преодолел расстояние до города в три прыжка, и уже в конце второго Вадим понял, что это не город. Во всяком случае, он сразу понял, почему здесь никто не беспокоится о судьбе пропавших мальчиков.

— Здесь произошел ужасный взрыв, — пробормотал за спиной Саул.

Глайдер повис над краем исполинской воронки, похожей на жерло действующего вулкана. Воронка шириной в полкилометра была до краев наполнена тяжелым шевелящимся дымом. Дым был сизый, и он лениво слоился и покачивался и был, вероятно, намного тяжелее воздуха, потому что ни одной струйки не поднималось над воронкой. Со стороны казалось, что это не дым, а жидкость. К краям воронки лепились засыпанные снегом развалины. Из сугробов торчали обглоданные остатки разноцветных стен, покосившиеся башни, скрученные металлические конструкции, проломленные купола.

Вадим ошеломленно глядел вниз. Саул бормотал невнятно:

— Ну, это нам знакомо... Бомбежка... Взорвались склады... И совсем недавно — дым еще не рассеялся, что-то там горит...

Вадим помотал головой:

— В таком городе жить нельзя. Люди разбежались кто куда, конечно. Удивительно, что мы нашли только пятерых.

— Остальные там, — сказал Саул, глядя в воронку.

— Это не цивилизация, а безобразие, — проворчал Вадим. — Что за подлое легкомыслие? Кто же ставит такие опыты в городе? Нужно быть последним...

Антон сказал негромко.

— А вон там идут машины...

С севера к воронке подходила узкая, едва замет-

ная отсюда лента дороги. По ней густо и неторопливо ползли темные точки. Ага, подумал Вадим, значит, еще не все потеряно. Он повернул глайдер, пересек воронку, и они увидели превосходное шоссе, уходящее прямо в дым, а на шоссе — бесконечную колонну машин. Машины занимали все полотно шоссе. Они плотным строем шли с севера, только с севера, плоские зеленые машины, похожие на пассажирские атомокары, но без ветрового стекла; маленькие бело-синие машины, тащившие за собой длинный хвост пустых открытых платформ; оранжевые машины, похожие на полевые синтезаторы; огромные черные башни на гусеницах и маленькие машины с широкими раскинутыми крыльями — все они неодолимо, ряд за рядом, в полном порядке катились по шоссе, с отчетливой точностью сохраняя интервалы и дистанции, и ряд за рядом скрывались в сизом дыму воронки.

— Это всего лишь автоматы, — сказал Вадим.

— Да, — сказал Антон.

— Значит, их кто-то посылает. Скорее всего, на восстановительные работы. И мы найдем людей на другом конце шоссе... — Вадим запнулся. — Послушайте, Саул, — сказал он, — а были такие машины в эпоху джутовых мешков?

Саул не отвечал. Как замороженный он глядел вниз, и на лице его были восхищение и благоговение. Он поднял на Вадима вытаращенные глаза. Мохнатые брови его торчали дыбом.

— Какая техника! — проговорил он. — Какое гомерическое шествие! Какие грандиозные масштабы! Им конца нет!

Вадим удивился и тоже посмотрел вниз.

— А что такого? — спросил он. — А! Масштабы? Да, масштабы безобразные. На восстановление города хватило бы десятка киберов.

Он снова посмотрел на Саула. Саул быстро замигал.

— А мне вот нравится, — сказал он. — Это же очень красиво. Разве вы не видите, что это красиво?

— Вадим, — сказал Антон, — давай вдоль шоссе. Разбираться так разбираться.

Вадим пустил глайдер. Поток машин внизу слился в пеструю полосу.

— Вот теперь красиво, — сказал Вадим. — Но вы мне не ответили, Саул. Совмещаются джутовые мешки с этой техникой?

— А почему же нет? Из разрушенных городов люди убегали и вовсе без ничего. Дались вам эти джутовые мешки! Джутовые мешки существовали несколько веков. Дешевая удобная вещь. Дрова носить, например.

— Какие дрова?

— Деревянные. Баню топить.

Вадим вспомнил про банный лист и замолчал, глядя вперед. Ни конца шоссе, ни конца колонне машин видно не было. По обе стороны шоссе уходила к горизонту нетронутая заснеженная равнина. Вадим прибавил скорость. Какое-то бессмысленное предприятие, размышлял он. Уходят в дым как в пропасть. Он прикинул возможные размеры воронки и количество падающих в нее машин. Получалась нелепость. Впрочем, я не инженер. Рядовой гуманоид с Тагоры — они там все инженеры — решил бы, что это шоссе — просто довольно большой конвейер, несущий детали какой-то средних размеров машины, которую собирают под землей. А вот простой буколический леонидянин был бы убежден, что это стада животных, перегоняемых с пастбища на бойню.

— Антон, — позвал он. — Представляешь леонидян на нашем месте?

Антон ответил:

— Глупый леонидянин вообразил бы, что все ясно. А умный сказал бы, что информации недостаточно.

Да, информации недостаточно. Все машины идут на юг, и ни одна не возвращается. Если они действительно идут на восстановление города, то они восстанавливают его из самих себя. А почему бы, собственно, и нет?

— Вы знаете, — сказал вдруг Саул, — мне даже

как-то страшно. Сколько мы уже прошли? Километров сорок? А они все идут и идут.

— Лучше бы они пустили эту технику, чтобы искать разбежавшихся, — сказал Вадим.

— Ну, это вы зря, — возразил Саул. — В такой каше не до отдельных людей.

— Как это так — не до людей? Для кого же они город восстанавливают? Тем мальчикам город уже не нужен...

Саул пренебрежительно махнул рукой.

— Во время взрыва погибло, наверное, тысяч десять таких мальчиков. Жалко, конечно, да не до них.

Вадим взбеленился. Глайдер рыскнул в сторону.

— Вы, Саул, извините меня, но ваш уютный кабинет и занятия историей повлияли на вас странно. Вы рассуждаете, как я не знаю кто. Вы еще нам тут скажете, что цель оправдывает средства.

— А что же, — согласился Саул хладнокровно, — бывает, что и оправдывает.

Вадим сдержался. Кабинетный реликт, подумал он. А вот оставь его без штанов в снегу, и он будет страшно обижен, почему вся техника Планеты не спешит к нему на помощь. Тут Вадим увидел проселок и резко затормозил.

Проселок уходил от шоссе на восток, петляя между холмами.

— Это первая дорога в сторону, — сообщил Вадим. — Будем сворачивать?

— Да не стоит, — сказал Саул. — Ну, что там может быть интересного?

Антон колебался. Ну что он все время мямлит, с раздражением подумал Вадим. Словно подменили человека.

— Так как же? — сказал он. — Я за то, чтобы идти дальше по шоссе.

— Я тоже, — сказал Саул. — Вернуться мы всегда успеем. Ведь правда, Вадим?

— Хорошо, лети прямо, — нерешительно сказал Антон. — Лети прямо. Хотя... имейте в виду... Ладно, лети прямо.

Вадим снова погнал глайдер вдоль шоссе.

— Что с тобой сегодня, Тошка? — осведомился он. — Ты мямлишь, как витязь на распутье: пойдешь направо — глайдер потеряешь, пойдешь налево — голову потеряешь...

— Вперед, вперед смотри, — ответил Антон спокойно.

Вадим пожал плечами и стал демонстративно смотреть вперед. Через пять минут он увидел впереди серое пятно.

— Опять яма с дымом, — сказал он.

Это была точно такая же воронка. Края ее были запорошены снегом, в ней тяжело колыхался все тот же сизый дым, и из дыма непрерывным потоком поднимались машины.

— Нечто подобное я ожидал увидеть, — сказал Антон.

— Но здесь же нет людей, — растерянно сказал Вадим. — Мы опять ничего не узнаем.

Странная мысль поразила его. Он взглянул на компас и нагнулся к окулярам. Развалин по краям воронки не было. Это была другая воронка.

— Потрясающе, — сказал Саул. — Выходят из дыма и уходят в дым.

— Давайте поворачивать, — нетерпеливо сказал Вадим. Он уставился на Антона. На лице Антона была опять та же отвратительная нерешительность.

— Виноват, — сказал Саул. — Пройти мимо такого удивительного феномена!..

— Да какой там феномен! — вскричал Вадим. — Что вы всё восхищаетесь? Какой-то бездарный инженер перебрасывает машины через Подпространство... Нашел место для нуль-транспортировки! Развалил город, бесталанный дурак... Ну, что ты все размышляешь, Антон?

— Шумно у нас что-то стало, — сказал Антон, глядя в сторону.

— Ну, а в чем дело? Тебя что — интересуют местные производственные процессы?

— Да нет... — вяло сказал Антон. — Какое мне до них дело?

Вадим повернулся вместе с креслом кругом, упер

руки в колени и принялся рассматривать по очереди Антона и Саула. У Антона был такой вид, словно он засыпает. Он даже руки сложил на животе и сцепил пальцы. А Саул смотрел на Вадима с выражением какого-то удивленного восхищения и умиления. Рот у него был полуоткрыт.

— В чем дело? — сказал Вадим. — Чего вы оба нанюхались?

Саул встрепенулся.

— Да, конечно! — воскликнул он. — Как я сразу не подумал! Все понятно: имеем две дыры на расстоянии восьмидесяти километров. Из одной дыры выходят машины, проходят по превосходной автострате и безо всякого видимого эффекта уходят в другую дыру. Из другой дыры они по подземному ходу возвращаются в первую...

Вадим тяжело вздохнул.

— Они не возвращаются в первую, — сказал он. — Это нуль-транспортировка, понимаете? (После каждого слова Саул истово кивал.) Элементарная нуль-транспортировка. Кто-то использует это место, чтобы перегонять технику на большие расстояния кратчайшим путем. Может быть, на тысячи километров. Может быть, на тысячи парсеков. Неужели не понятно?

— Да нет, почему же, все понятно! — воскликнул Саул. Вид у него был несколько обалделый. — Чего тут не понять? Типичная нуль-транспортировка...

— Ну да, — сказал Вадим. — И нет нам до нее никакого дела. Людей надо искать!

— Хорошо, — сказал Антон. — Будем искать людей. Поворачивай на проселок.

Вадим развернул глайдер и погнал его по шоссе обратно.

— Антон, ты что — плохо себя чувствуешь? — спросил он, помолчав.

— Чувствую я себя неважно, — сказал Антон. — Потом не забудь подтвердить это, если тебя спросят...

— Кто спросит?

— Спросят, — сказал Антон. — Будут такие... интересующиеся...

Вадим не стал спрашивать — было ясно, что это бессмысленно. Он посмотрел на машины внизу, затем на спидометр.

— Прimitивные автоматы, — пробормотал он. — Постоянная скорость, постоянные интервалы... Стоило из-за них сворачивать пространство...

Показался проселок.

— Как лететь? — спросил Вадим. — Над проселком или срезать?

— Над проселком, — ответил Антон. — И слустись пониже.

Вадим с удовольствием опустился почти к самой земле и пошел точно над дорогой — он очень любил быструю езду с крутыми поворотами. Сбоку, прыгая на неровностях, неслась по снегу округлая тень глайдера.

— Ну вот, опять птицы, — сказал Саул сердито.

Впереди у самой дороги топталось несколько давешних голенастых чудовищ. Они разгребали когтистыми лапами сугробы и шарили в разрыхленном снегу. Когда глайдер приблизился, они разом присели на лапы, закинули шеи и распахнули черные клювы. С клювов свисали какие-то лохмотья.

— Что за мерзкие твари, — сказал Саул с отвращением. Он перегнулся на сиденье и поглядел назад. — Что они там выкапывают?

Вадим вдруг понял, что они там выкапывают, но это было так страшно, что он не поверил.

— Вы не видели тахоргов, Саул, — сказал он с принужденной веселостью. — По сравнению с тахоргами это желтоносые цыплята. Надо будет подстрелить одну, Антон, а?

— Можно, — сказал Антон.

Саул сел прямо.

— Мне не нравится, что они там что-то выкапывают, — сказал он мрачно.

Никто не ответил. Так в молчании они летели еще минут десять. Снег на проселке был какого-то скверного навозного цвета. На нем виднелись следы не то гусениц, не то колес, а справа и слева по снежной целине местами тянулись цепочки человеческих сле-

дов. Круглые холмы по сторонам были пусты. Кое-где из сугробов торчали чахлые прутьики да черные кривые корни, похожие на скрюченные руки.

— Еще одна, — сказал Саул.

На вершине холма стояла птица. Заметив глайдер, она стремительно ринулась наперерез. Она мчалась, высоко задирая ноги, растопырив маленькие крылья, вытянув жилистую шею и пригнув клюв к самому снегу. Маленький горящий глаз был устремлен на глайдер.

— Не успеет! — с сожалением проговорил Вадим.

Но птица успела. «Тэ-эк!», — крикнул Вадим с удовольствием. Глайдер содрогнулся. В воздухе мелькнула растопыренная когтистая лапа. Антон и Саул сейчас же обернулись.

— Еще катится! — сообщил Саул. — На редкость мерзкое животное... Ух, ты! — изумленно воскликнул он.

Вадим сейчас же включил экран заднего вида. Взъерошенная птица была уже на ногах и, прихрамывая, мчалась следом за глайдером. Вид у нее был остервенелый. Скоро она отстала и скрылась за поворотом.

— Если мы встретим людей, — сказал Вадим, — я им предложу истребить эту мерзость на всей равнине. Раз у них у самих руки не доходят... Как ты полагаешь, Тошка?

— Там видно будет, — сказал Антон.

IV

Холмы стали ниже, и вдруг впереди открылся высокий снежный вал. Антон сразу заметил крошечные черные фигурки, копошившиеся на его гребне. Ну, начинается, подумал он и сказал:

— Останови.

— Зачем? — возразил Вадим. — Ты что, не видишь — там люди!

— Останови, говорят тебе!

— Ну вот, — недовольно сказал Вадим, но повиновался.

Сейчас он повернется и посмотрит на меня с неодобрением, подумал Антон. До чего же мне трудно...

Ему было трудно. Шанс столкнуться с неизвестной цивилизацией был чрезвычайно мал, но реален, и каждый звездолетчик знал инструкцию Комиссии по контактам, запрещающую самостоятельные контакты с неизвестными цивилизациями. Теперь глупо отступить, думал он. Надо было покинуть Саулу сразу же, едва мы увидели трупы. Надо было... Только никто бы этого не сделал. И все же существует инструкция. И составлена она как раз на такой вот случай — когда у тебя в экипаже один так и горит от жажды деятельности, а другой вообще непонятно чего хочет. А самого тебя раздирают противоречия. Ведь почти наверняка где-то поблизости тысячи людей терпят бедствие. Во-он те самые человечки, которые бессмысленно бродят по гребню... И Димка смотрит с неодобрением... И Саул смотрит с совершенно неуместным любопытством. Историк со скорчером. Кстати, не забыть о скорчере... И инструкция, очень толковая и простая инструкция: «...никаких самостоятельных контактов с аборигенами...» Очень просто: вышел, осмотрелся, заметил признаки живой цивилизации и... «необходимо немедленно покинуть планету, тщательно уничтожив все следы своего пребывания». А у меня там огромная яма из-под глайдера, а рядом с ямой — пять трупов...

— Ну, в чем дело? — спросил Вадим. — Приступ меланхолии?

Разумеется, структуральные лингвисты и историки понятия не имеют об инструкции. Объяснить им — наверняка воспримут как личное оскорбление: «Мы не дети! Сами знаем, что хорошо, а что плохо!»

Тут Антон обнаружил, что глайдер медленно ползет по направлению к валу. И он решился.

— Поднимайся на гребень, — сказал он. — Сядь подальше от людей. И вот что, товарищи. Я вас очень прошу. Не устраивайте вы там братства цивилизаций.

— Мы не дети, — с достоинством сказал Вадим, увеличивая скорость.

Глайдер рывком вылетел на гребень вала. Вадим

откинул фонарь, высунулся и изумленно свистнул. Внизу за валом открылся гигантский котлован, и там было полно людей и машин. Но Антон не смотрел вниз.

Он с ужасом и жалостью смотрел на сгорбленного, синего от стужи человека в рваном джутовом мешке, который медленно, с трудом переставляя ноги, шел прямо на глайдер. Лицо его казалось пестрым от коросты, голые руки и ноги были покрыты цыпками, слипшиеся грязные волосы торчали во все стороны. Человек скользнул по глайдеру равнодушным взглядом и, обогнув его, пошел дальше по гребню. Оступаясь, он жалобно и привычно постанывал. Это же не человек, подумал Антон, это же только похоже на человека...

— Господи боже мой! — хрипло воскликнул Саул. — Что же там делается!

Тогда Антон посмотрел вниз. На дне котлована на грязном растоптанном снегу среди десятков разнообразных машин копошились, сидели и даже лежали, бродили и перебегали люди, босые люди в длинных серых рубахах. Вокруг на границе цельного снега люди стояли неровными изломанными шеренгами. Их было много — сотни, а может быть, и тысячи. Они стояли понуро, глядя себе под ноги. Кое-где в шеренгах были видны лежащие, и на них никто не обращал внимания.

Машин в котловане было несколько десятков. Некоторые из них зарылись в землю, другие были скрыты под снегом, но Антон сразу увидел, что это такие же машины, как и те, что двигались по шоссе. Несколько машин судорожно дергались, разбрызгивая комья грязи и снега, безо всякого порядка и видимой цели.

Антон вдруг сообразил, что в котловане несоответственно тихо. Тысячи людей находились там, а слышно было только приглушенное ворчание механизмов да изредка пронзительные жалобные выкрики.

И кашель. Время от времени кто-то где-то начинал хрипло надсадно кашлять, задыхаясь и сипя, так что начинало першить в горле. Этот кашель немед-

ленно подхватывали десятки глоток, и через несколько секунд котлован наполнялся трескучими сухими звуками. На некоторое время движение людей останавливалось, затем раздавались жалобные выкрики, резкие, как выстрелы, щелчки, и кашель прекращался..

Антону было двадцать шесть лет, он давно уже работал звездолетчиком и повидал многое. Ему приходилось видеть, как становятся калеками, как теряют друзей, как теряют веру в себя, как умирают, он сам терял друзей и сам умирал один на один с равнодушной тишиной, но здесь было что-то совсем другое. Здесь было темное горе, тоска и совершенная безысходность, здесь ощущалось равнодушное отчаяние, когда никто ни на что не надеется, когда падающий знает, что его не поднимут, когда впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой. Не может быть, подумал он. Просто очень большая беда. Просто я никогда еще не видел такого.

— Никогда мы не сможем им помочь, — пробормотал Вадим. — Тысячи людей, и у них ничего нет...

Антон пришел в себя. Два десятка грузовых звездолетов, подумал он. Одежда. Пять тысяч комплектов. Еда, десяток полевых синтезаторов. Госпиталь, штук шестьдесят домов. Или мало? Может быть, здесь не все? И может быть, не только здесь?..

Хорош бы я был, если бы приказал с шоссе вернуться на «Корабль», подумал он с удовлетворением.

Они стояли молча, не выходя из глайдера. Было непонятно, чем заняты люди на дне котлована. Они возились с машинами. Наверное, машины были их надеждой. Может быть, они хотели исправить их или использовать, чтобы выбраться из снежной пустыни.

Вадим сел и включил двигатель.

— Стой, — сказал Антон. — Ты куда?

— На Землю, — ответил Вадим. — Нам не справиться.

— Выключи двигатель. Начинаются нервы.

— При чем здесь нервы? Нашими семью хлебами ты их не накормишь.

Антон поднял мешок с медикаментами и перебро-

сил через борт. Потом он поднял мешок с продовольствием.

— Возьмите, — сказал он Саулу. — Вадим, приготовь свой транслятор. Будешь переводить.

— Зачем это? — сказал Вадим. — Зачем так усложнять? Мы только потеряем время, а здесь умирают каждую минуту, наверное.

Антон перебросил через борт мешок с продовольствием.

— Узнаем, сколько их. Узнаем, что им нужно. Узнаем все. С чем ты собираешься возвращаться на Землю?

Вадим, не говоря ни слова, спрыгнул в снег и взял на плечо мешок с медикаментами. Антон выжидательно посмотрел на Саула. Саул вынул изо рта трубку.

— Все это правильно, — проговорил он. — Но не берите еду.

— Почему? Самых слабых мы накормим сразу же.

— Не делайте глупостей. Они увидят еду. Они увидят одежду. Они вас растопчут вместе с вашими мешками.

— Это не для всех, — вразумляюще сказал Антон. — Мы объясним, что это для самых слабых.

Несколько секунд Саул с выражением странного сожаления глядел на него. Затем он спросил:

— Вы знаете, что такое толпа?

— Берите мешок, — тихо сказал Антон. — Что такое толпа, вы мне расскажете потом.

Саул со вздохом взвалил мешок на плечо и нагнулся за скорчером, валявшимся на сиденье.

— Нет, эту штуку вы оставьте, — попросил Антон.

— Нет, это я возьму, — возразил Саул. Он с сопением продел голову в ремень скорчера.

— Я вас прошу, Саул. Вы боитесь и можете выстрелить.

— Конечно, боюсь. Я боюсь за вас.

— Я понимаю, что не за себя, — сказал Антон терпеливо.

Саул, оскалившись, полез через борт.

— Саул Репнин, — железным голосом сказал Антон. — Дайте сюда оружие!

Саул сел на борт.

— Вы не умеете стрелять, — заявил он.

— Умею, — сказал Антон, глядя ему в глаза.

И каждый раз так, с досадой подумал он. Каждый раз в самый важный момент объявляется кто-нибудь с нервами. И приходится урезонивать, вместо того чтобы заниматься делом.

Саул отдал скорчер. Антон сунул оружие за пазуху и прыгнул в снег рядом с Вадимом. Вадим с мешком на плече стоял, наклонив голову, и, поправляя на виске мнемокристалл, с любопытством следил за действиями шкипа.

— Так я возьму третий мешок, — сказал Саул как ни в чем не бывало.

— Да, пожалуйста, — сказал Антон вежливо.

Они стали спускаться в котлован.

— В случае чего, — сказал Саул, — стреляйте в воздух. Все сразу разбегутся.

Антон не ответил. Он думал, как действовать дальше.

— Вадим, — окликнул он. — Ты сумеешь с ними договориться?

— Как-нибудь. Главное — ты. Будь ты настоящим врачом, я бы ни о чем не беспокоился.

Да, подумал Антон, если бы я был настоящим врачом... Конечно, они гуманоиды. И анатомия их, наверное, не очень отличается от нашей. Но вот физиология... Он вспомнил, какие ужасные последствия вызвало применение простого йода гуманоидами на Тагоре.

— Хорошо было бы разобраться в машинах, — озабоченно сказал Вадим. — Мы бы вывезли их отсюда. Может быть, им больше ничего и не нужно. Только почему им никто не помогает? Что за нелепая планета!.. Не удивлюсь, если у них взорвались сразу все города...

Они уже прошли половину склона, когда Саул попросил:

— Подождите минуточку.

Все остановились.

— Что случилось? — спросил Антон. — Устали?

— Нет, — сказал Саул. — Я никогда не устаю. —

Он пристально всматривался во что-то внизу. — Видите такую уродливую машину с краю? Во-он ту, самую ближнюю. На крыле — человек в сером...

— Вижу, — неуверенно сказал Антон.

— Ну-ка, ну-ка... У вас глаза помоложе...

Антон напряг зрение.

— Сидит человек, — сказал он и вдруг замолчал. — Странно... — пробормотал он.

— Там сидит человек в меховой одежде, — объявил Вадим. — Вот что я вижу. Закутан в меха до глаз.

— Ничего не понимаю, — сказал Антон. — Может быть, это больной?

— Может быть, — сказал Саул. — А вон еще двое больных. Я давно на них смотрю. Далеко только очень...

На противоположной стороне вала на фоне белесого неба четко выделялись две черные мохнатые фигурки. Они стояли совершенно неподвижно, широко расставив ноги, держа в отставленной руке длинные тонкие шесты.

— Что это у них? — спросил Вадим. — Антенны?

— Антенны ли? — проговорил Саул, вглядываясь. — Кажется, я знаю, что это за антенны...

Резкий крик огласил котлован. Антон вздрогнул. Оглушительно взревел какой-то двигатель, раздался многоголосый жалобный вопль, и они увидели, как громоздкая, похожая на глубоководный танк машина со скрежетом закрутилась на месте и вдруг поползла, все увеличивая скорость и опрокидывая другие механизмы, прямо на шеренгу людей. Из ее недр выкарабкивались и кубарем скатывались в истоптанный снег человеческие фигурки. Шеренга не шелохнулась. Антон закрыл руками рот, чтобы не вскрикнуть. Сквозь грохот и рев прозвучал высокий жалобный голос, и тогда шеренга вдруг сомкнулась в плотную толпу и двинулась навстречу танку. Антон не

выдержал — он закрыл глаза. Ему казалось, что сквозь рев двигателя слышится жуткий мокрый хруст.

— Боже мой, — непонятно бормотал над ухом Саул. — Ох, боже мой...

Антон заставил себя открыть глаза. На месте танка громоздилась огромная шевелящаяся куча, которая медленно двигалась, все больше и больше кренясь набок. За ней на снегу расплывалась широкая ярко-красная полоса. Вокруг этой груды тел была пустота, только четверо людей в шубах неторопливо шли в этой пустоте, не отставая ни на шаг от облепленного людьми танка.

Антон машинально поглядел на людей с шестами. Они стояли там же, в прежней позе, совершенно неподвижные, только один из них вдруг медленным движением переложил шест в другую руку и снова застыл. Кажется, они даже не глядели вниз.

Рев двигателя смолк. Танк был повален на бок, и люди медленно сползали с него, отходя в сторону. Тогда Вадим, не говоря ни слова, швырнул свой мешок вниз и гигантскими прыжками кинулся вслед за ним. Антон тоже побежал вниз. Сквозь шум в ушах он слышал, как спешивший по пятам Саул выкрикивает задыхаясь: «Ах, мерзавцы!.. Ах, подлецы!..»

Когда Антон добежал до танка, люди в мешковине уже снова строились в шеренгу, а люди в шубах ходили среди них и кричали жалобными стонущими голосами. Вадим, волоча за собой мешок, вымазанный в грязи и крови, ползал на четвереньках среди разбросанных под танком тел и был, по-видимому, в отчаянии. Он поднял к Антону бледное лицо и проговорил:

— Здесь одни мертвые... Здесь все уже умерли...

Антон осмотрелся. Задыхающиеся, мокрые от пота и тающего снега, едва прикрытые серой рваной мешковиной, люди глядели на него мутными неподвижными глазами. И люди в шубах, сбившись поодаль в кучку, тоже глядели на него. На секунду ему показалось, что перед ним — старинное натуралистическое панно: все они были неподвижны и смотрели на него сотнями пар неподвижных глаз.

Он взял себя в руки. Те, кого искал Вадим, стояли в шеренге — высокий костлявый старик с ободраным влажно-красным лицом; юноша, прижимающий к груди неестественно вывернутую руку; совершенно голый человек с серым лицом, вцепившийся себе в живот растопыренными пальцами с золотыми ногтями; человек с закрытыми глазами, поджавший одну ногу, из которой толчками била черная кровь... Все живые стояли в шеренгах.

— Спокойно, — сказал Антон вслух. Он нагнулся, раскрыл мешок с медикаментами и достал банку с коллоидом. Отвинчивая на ходу крышку, он направился к человеку с раздавленной ногой. Вадим с охапкой тампопластыря шел за ним по пятам.

...Скверная рана... Разворочены мускулы, кровь почти уже не идет. Почему он не сядет?.. Почему его никто не поддержит?.. Коллоид... Теперь пластырь... Клади ровнее, Вадим, не выдавливай коллоид... Почему так тихо? Вот это уже хуже — разорван живот... Он уже мертв. Как же он стоит?.. Вывернута рука — пустяк... Держи крепче, Вадим! Крепче! Почему он не кричит? Почему никто не кричит? А вон там уже кто-то упал... Да поднимите же вы его, вы там, здоровые!..

Кто-то тронул его за плечо, и он резко повернулся. Перед ним стоял человек в шубе. У него было румяное грязноватое лицо, скошенные вниз глаза, на кончике короткого носа висела мутная капля. Ладони в меховых рукавицах были сложены перед грудью.

— Здравствуйте, здравствуйте... — сказал Антон. — Потом... Вадим, разберись с ним.

Человек в шубе покачал головой и быстро заговорил, и сейчас же рядом заговорил Вадим с очень похожей интонацией. Человек в шубе замолчал, с изумлением поглядел на Вадима, затем снова на Антона и попятился. Антон досадливым движением поправил за пазухой тяжелый скорчер и повернулся к раненому. Раненый стоял, закрыв лицо руками. И все люди справа и слева от Антона стояли, закрыв лица руками, кроме того, мертвого, с серым лицом, который по-прежнему держался за живот.

— Ничего, ничего, — сказал Антон ласково. — Опустите руки, не бойтесь. Все будет хорошо...

Но в ту же минуту высокий жалобный голос что-то прокричал, и все люди в мешковине разом повернулись направо. Люди в шубах трусцой побежали вдоль шеренги. Снова прокричал жалобный голос, и колонна двинулась.

— Стойте! — крикнул Антон. — Не сходите с ума!

Никто даже не обернулся. Колонна проходила, и все, кто проходил возле Антона, закрывали лица руками. Только человек с распоротым животом остался стоять, потом кто-то задел его, и он мягко свалился в снег. Колонна ушла.

Антон растерянно провел мокрой ладонью по глазам и огляделся. Он увидел громадный поваленный танк, длинного черного Саула рядом, Вадима, дико глядевшего вслед колонне, да несколько десятков тел на растоптанном снегу. И стало совсем уже тихо, слышались только редкие жалобные выкрики в отдалении.

— Почему? — спросил Вадим. — Чего они испугались?

— Они испугались нас, — сказал Антон. — А скорее всего они испугались нашей медицины...

— Я догоню и постараюсь объяснить...

— Ни в коем случае. Это надо делать очень деликатно. Как ваше мнение, Саул?

Саул, повернувшись спиной к ветру, раскуривал трубку.

— Мое мнение... — проговорил он. — Мне здесь очень не нравится...

— Да, — подхватил Вадим. — Какое-то ужасное, болезненное неблагополучие...

— Почему обязательно неблагополучие? — сказал Саул. — Вот как, по-вашему, кто эти подлецы в шубах?

— Почему обязательно подлецы?

— А кто они, по-вашему?

Вадим молчал.

— Здоровенные упитанные парни в шубах, — сказал Саул со странным выражением. — Они при-

казывают людям кидаться под танк. Они не работают, а только смотрят, как работают. Они фигурно торчат на валу с пиками наготове. Кто они, по-вашему, эти парни?

Вадим молчал.

— Вот подумайте, — сказал Саул. — Здесь есть о чем подумать...

Антон сказал, глядя на небо:

— Смеркается. Давайте осмотрим машину, раз уж мы здесь. Все равно этим придется заняться рано или поздно...

— Пойдемте, — сказал Саул.

Антон аккуратно закрыл мешок с медикаментами, и они пошли к танку. Вадим не двинулся. Он угрюмо смотрел на склон, по которому медленно полз черный пунктир — хвост уходящей через вал колонны.

Овальный панцирь танка был раскрыт. Корпус машины разгораживала перепончатая стенка. Антон включил фонарик, и они стали осматривать гофрированные борта кабины, матовые сочленения двигателя, какие-то кривые зеркала на коленчатых шестах, похожих на бамбук, и дно кабины — чашевидное, покрытое множеством маленьких отверстий, похожее на гигантскую шумовку.

— Да-а, — протянул Саул. — Любопытная машина. Где же управление?

— Возможно, это кибер, — рассеянно сказал Антон. — Впрочем, нет, вряд ли... Слишком много пустого места...

Он забрался в двигатель. Это был довольно примитивный квазиживой механизм с высокочастотным питанием.

— Мощная машина, — с уважением сказал Саул. — Только вот как она управляется?

Они снова вернулись к кабине.

— Дырочки какие-то, — бормотал Саул. — Где же здесь руль?

Антон попробовал просунуть в одно из отверстий указательный палец. Палец не влезал. Тогда Антон сунул мизинец. Он ощутил короткий болезненный

укол, и в то же мгновение в двигателе что-то с рычанием провернулось.

— Ну вот и все ясно, — сказал Антон, рассматривая мизинец.

— Что ясно?

— Мы не сможем управлять этой машиной... И они тоже не смогут.

— А кто сможет?

— Боюсь утверждать наверняка, но, по-видимому, это из хозяйства Странников. Видите?.. Это машина не для гуманоидов.

— Что вы говорите? — пробормотал Саул.

Некоторое время они молча стояли перед кабиной, пытаясь представить себе существо, которое чувствовало себя в этой шумовке так же удобно, как они сами в водительских креслах перед пультами и экранами.

— Я почему-то так и думал, — объявил Саул. — Слишком это парадоксально: джутовые мешки и нуль-транспортировка...

— Вадим, — позвал Антон.

— Что? — мрачно донеслось сверху. Вадим стоял на танке.

— Слышал?

— Слышал. Тем хуже для них... — Вадим тяжело спрыгнул в снег. — Пора возвращаться, — сказал он. — Темнеет...

Они взвалили на плечи мешки и стали подниматься на вал.

Какая каша, думал Антон. Машины, оставленные не гуманоидами. Гуманоиды, потерявшие человеческий облик, отчаянно пытающиеся разобраться в этих машинах. Ведь они, несомненно, пытаются в них разобраться. Наверное, для них это единственное спасение... И у них, конечно, ничего не выходит... И еще какие-то странные люди в шубах...

— Саул, — сказал он. — Что такое пики?

— Копья, — ответил Саул, кряхтя.

— Копья...

— Длинный деревянный шест, — раздраженно сказал Саул. — На конце — острый железный нако-

нечник, часто зазубренный. Используется для протыкания насквозь ближнего своего, — Саул помолчал, тяжело дыша. — Может быть, вам заодно объяснить, что такое меч?

— Знаем мы, что такое меч, — сказал Вадим, не оборачиваясь. Он лез первым.

— Так вот, у каждого из этих бандитов в шубах висел за спиной меч, — сказал Саул. — Слушайте, молодые люди, давайте передохнем...

Они уселись на мешки.

— Вы много курите, — сказал Антон, — Это очень вредно.

— Курить — здоровью вредить, — отозвался Саул.

Стало совсем темно. Котлован внизу наполнился сумеречными тенями. Небо очистилось от туч, появились звезды. Слева таяло зеленоватое сияние заката. У Антона замерзли уши, и он с содроганием подумал о несчастных, бредущих сейчас босиком по скрипучему снегу. А куда они бредут? Может быть, здесь поблизости есть какое-нибудь убежище?.. А ведь еще только вчера мы сидели с Димкой на крыльце, было тепло, изумительным запахом несло из сада, кричали цикады, и дядя Саша звал нас из своего коттеджа отведать самодельного морса... Почему это Саул настроен против людей в мехах?

Саул со вздохом поднялся и сказал:

— Пошли.

Они ввалились в глайдер, задвинули фонарь, и Вадим сразу же на полную мощность включил отопление. Антон расстегнул куртку, вытащил теплый скорчер и бросил его на сиденье рядом с Саулом. Саул сердито дышал в пригоршню. На мохнатых бровях его таял иней.

— Итак, Вадим, — сказал он, — что вы надумали?

Вадим сел в водительское кресло.

— Думать будем потом, — заявил он. — Сейчас надо действовать. Люди нуждаются в помощи и...

— Почему вы, собственно, решили, что люди нуждаются в помощи?

— Вы, надеюсь, не шутите? — спросил Вадим.

— Мне не до шуток, — сказал Саул. — Я удивляюсь, почему вы хотите попытаться понять, что здесь происходит. Почему вы все время твердите одно и то же: «нуждаются в помощи, нуждаются в помощи»?

— А как по-вашему? Не нуждаются?

Саул вскочил, стукнулся головой о фонарь и снова сел. Несколько секунд он молчал.

— Я снова обращаю ваше внимание, — сказал он наконец, — на то необычайно важное обстоятельство, что там, в котловане, вовсе не все люди нуждаются в одежде и прочем. Что там, в котловане, мы видели людей здоровых, сытых, вооруженных. И для этих людей положение дел не представляется таким уж безнадежным, как для вас. Вы хотите помочь страждущим. Это великолепно. Возлюби, так сказать, дальнего. Но не кажется ли вам, что этим самым вы вступите в конфликт с некоторым установившимся порядком? — Он замолчал; пристально глядя на Антона.

— Не кажется, — сказал Вадим. — Я не хочу думать о людях хуже, чем о самом себе. У меня нет никаких оснований считать себя лучше других. Да, там, в котловане, есть неравенство. И меховые шубы выглядят дико. Но я совершенно уверен, что всему этому есть вполне человеческое объяснение. И помощь землян никогда не будет вредной. — Он перевел дух. — А что касается пик и мечей, то кто-то ведь должен охранять потерпевших. Надеюсь, вы не забыли приютных птичек на равнине?

Антон задумчиво покивал. Как это было на «Цветке», подумал он. Мы две недели сидели на половинном кислородном пайке и ничего не ели и не пили. Инженеры чинили синтезаторы, и мы отдали им все, что у нас было. И вид у нас в конце второй недели был, наверное, немногим лучше, чем у этих людей...

Саул нагнул голову и с тоской хрустнул пальцами.

— Плоскость, плоскость... — пробормотал он. — Все в одной плоскости, как всегда. Как тысячи лет назад.

Ребята молча ждали.

— Вы славные люди, — тихо сказал Саул. — Но сейчас я не знаю, плакать или радоваться, глядя на вас. Вы не замечаете того, что совершенно очевидно для меня. И я не могу вас винить за это. Но послушайте одну маленькую притчу. В незапамятные времена какие-то пришельцы—возможно, это были ваши Странники — забыли на Земле такой автоматический прибор. Он состоял из двух частей: из робота-автомата и из аппарата для управления этим роботом на расстоянии. Причем управлять роботом можно было при помощи мысли. Эти вещи провалялись в Аравии несколько тысячелетий. А потом аппарат для управления нашел арабский мальчик по имени Аладдин. Историю Аладдина вы, наверное, знаете. Мальчишка принял аппарат за лампу. Он тер ее, и со страшным грохотом прибежал неведомо откуда черный и, может быть, даже огнедышащий робот. Он улавливал несложные мысли, в которые были оформлены несложные желания Аладдина, и он разрушал города и строил дворцы. Вы представляете себе — нищий, грязный, невежественный арабский мальчишка. Его мир — это мир ифритов и волшебников, и робот для него — это, конечно, джинн, раб аппарата, похожего на лампу. Если бы кто-нибудь попытался втолковать ему, что джинн — дело рук человеческих, мальчишка сражался бы до последнего издыхания, отстаивая свой мир, стремясь остаться в плоскости своих представлений. И вы поступаете так же. Отстаиваете целостность своего мировоззрения, стремитесь отстоять достоинство разума. И никак не хотите понять, что здесь мы имеем дело не с катастрофой, не с каким-то стихийным или техническим бедствием, а с определенным порядком вещей. С системой, молодые люди. И это так естественно. Всего два с половиной века назад половина человечества была уверена, что черного кобеля не отмоешь добела и что человек как зверем был, так зверем и останется, и было достаточно оснований думать именно так. — Он хрустнул зубами. — Не хочу, чтобы вы вмешивались в это дело. Вас здесь убьют. Вам нуж-

но вернуться на Землю и забыть обо всем этом. — Он посмотрел на Антона. — А я останусь здесь.

— Зачем? — спросил Антон.

— Мне нужно, — медленно сказал Саул. — Я сделал одну глупость. За глупости платят.

Антон лихорадочно думал: что сказать этому странному человеку?

— Вы, конечно, можете остаться, — сказал он наконец. — Но дело уже не в вас. Не только в вас. Мы тоже останемся. И давайте-ка пока держаться вместе.

— Вас убьют, — безнадежно сказал Саул. — Ведь вы же не умеете стрелять в людей.

Вадим хлопнул себя по коленям и сказал прочувствованно:

— Мы же вас понимаем, Саул! Но в вас говорит историк, и вы тоже не можете выйти из плоскости своих представлений. Никто нас не убьет. Давайте попроще. Не нужны нам никакие остроумные осложнения. Мы люди и давайте действовать как люди.

— Давайте, — устало сказал Саул. — И давайте поедим. Неизвестно, что будет дальше.

Антону не хотелось есть, но еще меньше ему хотелось спорить. И Саул был, наверное, прав, и Вадим был прав, и как всегда была права Комиссия по контактам, и вообще сейчас больше всего нужна была информация.

Вадим неохотно ковырял ложкой в банке с консервами. Саул ел с громадным аппетитом, невнятно приговаривая:

— Ешьте, ешьте. Основа каждого мероприятия — сытый желудок.

Антон обдумывал план действий. Стихийное бедствие или социальное бедствие — все равно это бедствие. И вмешательство неизбежно. Только не следует оголтело, без оглядки кидаться домой, на Землю, с воплем: «Помогите!»—или так же оголтело вламываться в гущу событий, размахивая одиноким мешком с продовольствием... Саула жалко, но Саула пока придется отставить. Так что прежде всего — информация... Антон сказал:

— Сейчас мы полетим по следам колонны. Думаю, что поблизости у них есть поселок.

Саул убежденно покивал.

— Найдем кого-нибудь посмышленей; — продолжал Антон, — и ты, Димка, у него все узнаешь. А там видно будет.

— Возьмем «языка», — заявил Саул, облизывая ложку, — правильно.

Несколько секунд Антон пытался понять: при чем здесь язык? Потом он вспомнил из какой-то книжки: «Идите, лейтенант, и без «языка» не возвращайтесь». Он покачал головой.

— Да нет, Саул, при чем тут «язык»? Все должно быть тихо, мирно. Но на всякий случай вы держитесь лучше позади. Оставайтесь в глайдере. Вы никогда не были в опасных ситуациях, и я просто боюсь, что вы растеряетесь.

Несколько секунд Саул смотрел на него запавшими глазами.

— Да, конечно, — медленно сказал он. — Книжный, так сказать, червь.

Была уже ночь, когда глайдер снялся с места, перепрыгнул через котлован и помчался вдоль утоптанной дороги, ведущей на восток. Над равниной поднималась маленькая яркая луна, а на западе над хребтом висел багровый узкий серп. Дорога свернула, огибая высокий холм, и они увидели несколько рядов занесенных снегом хижин.

— Здесь, — сказал Антон, — Снижайся, Вадим.

V

Вадим посадил глайдер на первой же улице. Он откинул фонарь, и в кабину ворвался гадкий запах — вонь испражнений на морозе, тоскливый запах большой беды. По сторонам улицы стояли покосившиеся обшарпанные лачуги без окон, в лунном свете серебрились шапки чистого снега на плоских крышах и отвратительно чернели сугробы у входов. Улица была пуста, и можно было подумать, что поселок покинут, но тишина была полна хрипами, вздохами и заглушенным треском сухого кашля.

Вадим медленно повел глайдер вдоль улицы. Вонючий мороз обжигал лицо. Ни на улице, ни в темных боковых проулках не было видно ни души.

— Измотались, — сказал Вадим. — Спят. Придется будить, — Он снова остановил глайдер. — Вы здесь подождите, а я схожу посмотрю.

— Ну, хорошо, пойдем, — сказал Антон.

— Незачем вдвоем ходить, — возразил Вадим, выскакивая на дорогу. — Я только посмотрю и сейчас же вернусь. Если здесь ничего не получится, поедем дальше.

Антон сказал:

— Саул, посидите здесь. Мы сейчас вернемся.

— Не поднимайте шума, — предупредил Саул.

Вадим нерешительно остановился перед узкой загаженной тропинкой, ведущей к двери ближайшей лачуги. Страшно и гадко было идти туда. Он оглянулся. Антон уже стоял рядом.

— Ну, что ты? — сказал он. — Вперед.

Вадим решительно шагнул на тропинку, поскользнулся и чуть не упал. Его затошнило, и он зашагал, подняв голову, чтобы не видеть тропинки. Дверь с визгливым скрипом открылась ему навстречу, и из нее выпал совершенно голый, длинный, как палка, человек. Он повалился на обледенелый сугроб и мертво стукнулся о стену хижины. Вадим нагнулся над ним. Это был мертвец, уже давно закоченевший. «Сколько же их я увидел за сегодняшний день», — подумал Вадим. В хижине кашляли, и вдруг высокий скрипучий голос затянул песню. Это было похоже на вой. Голос выводил одни только тоскливые рулады без слов. А может быть, это был просто плач.

Вадим снова оглянулся. На дороге чернела округлая глыба глайдера, из нее неподвижно торчал черный силуэт Саула. Жутко блестел под яркой луной снег на пустынной улице. И протяжно плакал и жаловался высокий голос за дверью. Антон тихонько толкнул Вадима в бок.

— Что, страшно? — спросил он вполголоса. Лицо у него было белое, словно замерзшее.

Вадим не ответил. Он распахнул дверь и включил

фонарик. Скверный, душный воздух ударил ему в нос, и он задохнулся. Круг света упал на сырой земляной пол, покрытый бледной вытоптанной травой. Вадим увидел десятки скорченных тел, прижавшихся друг к другу, сплетение тощих голых ног с огромными ступнями, высохшие лица, искаженные резкими тенями, раскрытые черные рты — люди спали прямо на земле и друг на друге. Казалось, они лежат штабелями в несколько рядов, и они дрожали во сне. А вой тянулся без передышки, не прекращаясь, и Вадим не сразу заметил певца, а потом поймал его в круг света. Человек, обхватив острые колени, сидел на спинах спящих. Он глядел на свет фонарика остекленевшими глазами и пел, вытягивая растрескавшиеся губы.

— Товарищ, — сказал Вадим. — Послушай меня. Погоди петь. Скажи что-нибудь.

Человек не шевелился. Казалось, он не видит света и не слышит голоса.

— Товарищ, — повторил Вадим. — Послушай.

Певец вдруг закончил песню сиплым выкриком, повалился навзничь и замер. Он сразу же смешался со спящими, и Вадим уже не смог бы найти его. Он судорожно глотнул, сделал шаг вперед и похлопал кого-то по голой ноге. Нога была ледяная, мертвая. Вадим дотронулся до другой ноги. И эта нога тоже была ледяная, мертвая. Тогда он повернулся и, пошатнувшись, налетел на что-то широкое и теплое.

— Тихо, — сказал голос Антона.

Вадим мотнул головой, приходя в себя. Он совсем забыл про Антона.

— Не могу, — пробормотал он. — Это безнадежно.

Антон взял его за локоть и повел к выходу. Морозный воздух показался Вадиму чистым и сладким.

— Не могу, — повторил он. — Здесь не найти живых. Они все окоченевшие. Мертвые. — Он отстранился от Антона и осторожно пошел по тропинке к дороге. Саул по-прежнему неподвижно торчал из глайдера. Вадим заметил, что фонарик еще горит, выключил его, сунул в карман и полез в глайдер.

Саул молча смотрел на него. Подошел Антон, облокотился на борт и тоже стал смотреть на Вадима. Вадим уткнулся лицом в дугу руля и сказал сквозь зубы: — Это не люди. Люди не могут так. — Он вдруг поднял голову. — Это киберы! Люди только те, которые в шубах! А это киберы, безобразно похожие на людей!

Саул глубоко вздохнул.

— Вряд ли, Вадим, — сказал он. — Это люди, безобразно похожие на киберов.

Антон перелез через борт и сел на свое место.

— Ну-ка, возьмем себя в руки, — сказал он. — Не будем терять времени. Нужен «язык». — Он хлопнул Вадима по плечу. — Действуйте, лейтенант, и без «языка» не возвращайтесь.

Саул не то всхлипнул, не то рассмеялся.

— Хотите, я пойду в хижину и возьму любого на выбор? — предложил он. — Только, по-моему, нам не это нужно.

— Тогда они днем работают, а на ночь умирают, — упрямо сказал Вадим. — Какая уродливая затея!

— Правильно, — сказал Саул. — Затея уродливая, и надо взять одного из затейников. В шубах.

Вадим смотрел вдоль улицы.

— Оптимизм, — сказал он, — суть бодрое, жизне-радостное мироощущение, при котором человек...

В лунном свете он вдруг увидел, как вдали, пересекая улицу, цепочкой прошло несколько серых теней в рубашках.

— Смотрите, — сказал он.

Люди брели и брели через улицу, их было человек двадцать, а за ними прошли двое в мехах с длинными шестами.

— На ловца и зверь бежит, — зловеще сказал Саул. — Всего и дела-то — догнать и взять...

— Вы думаете, этих? — нерешительно сказал Антон.

— А вы собираетесь обшаривать лачугу за лачугой? Затейники в лачугах не живут, уверяю вас. Поехали, а то еще потеряем...

Вадим вздохнул и тронул глайдер. Он медленно ехал вдоль улицы. И пытался представить себе, как они берут испуганного, ничего не понимающего человека под руки, тащат его к глайдеру и впихивают в кабину, а он жалобно кричит и отбивается. Попробовали бы меня так, подумал он. Я бы все разнес... Он прислушался. Саул говорил:

— Не беспокойтесь. Я знаю, как это делается. У меня он не будет отбиваться.

— Вы меня неправильно поняли, — терпеливо сказал Антон. — Ни о каком насилии не может быть и речи.

— Слушайте, предоставьте вы это мне. Вы ведь только все испортите. Ткнут вас копьём, и начнется такая кровавая кутерьма...

«Ай да кабинетный ученый», — подумал удивленно Вадим. Антон сказал:

— Вот что, Саул. Вы мне не нравитесь. Сидите в машине и ничего не смейте предпринимать.

— О господи, — вздохнул Саул и замолчал.

Вадим вывернул на поперечную улицу, и они увидели вдали приятного вида двухэтажный домик, возле которого толпились люди, освещенные красным огнем факелов. Сбившись в кучку, стояли люди в мешковине, а вокруг них сновали люди в шубах. Вадим поехал совсем медленно, прижимая глайдер к тевой стороне улицы. Он представления не имел, с чего начинать и что делать. Антон, судя по всему, тоже. Во всяком случае, он молчал.

— Вот здесь живут затейники, — сказал Саул. — Видите, какой уютный теплый домик? А где-нибудь поблизости и уборная есть. Самое милое дело — брать «языка» возле уборной. Кстати, вы заметили, что здесь нет ни одной женщины?

Дверь домика раскрылась, оттуда вышли двое и остановились на крыльце. Раздался протяжный жалобный крик. Кучка людей в мешковине пришла в движение, построилась в ряды и вдруг двинулась прямо навстречу глайдеру. Около крыльца закричали в несколько голосов. Вадим поспешно затормозил и посадил глайдер.

Он глядел во все глаза и ничего не понимал. Над ухом тяжело дышал Антон. Люди в мешковине приблизились и быстрым шагом прошли мимо. Вадим ахнул. Два десятка босых людей были впряжены в неуклюжие тяжелые сани, в которых развалился закрытый по пояс шкурами человек в шубе и в меховой конической шапке. В руках он вертикально держал длинное копьё с устрашающе зазубренным наконечником. Лица запряженных людей выражали радость, и они громко ликующе вскрикивали. Вадим оглянулся на Саула. Саул провожал глазами странную упряжку, и рот его был широко раскрыт.

— Хватит с меня загадок, — сказал вдруг Антон. — Поезжай прямо к дому.

Вадим рванул руль на себя, и домик стремительно бросился навстречу глайдеру. Люди в шубах, стоявшие у крыльца, несколько секунд смотрели на приближающуюся машину, а затем с удивительной быстротой рассыпались полукругом и выставили вперед копыя. На крыльце запрыгал, что-то жалобно выкрикивая, круглый мохнатый великан. Он размахивал над головой широким блестящим лезвием. Вадим посадил глайдер перед копиями и вылез из кабины. Люди в шубах пятились, теснее прижимаясь друг к другу. Острия копий были направлены Вадиму прямо в грудь.

— Мир! — сказал Вадим и поднял руки.

Люди в шубах попятились еще немного. От них валил пар и несло козлом. Под капюшонами блестели испуганно вытаращенные глаза и ощеренные зубы. Толстый человек на крыльце разразился длинной речью. Он был невероятно толст и огромен. У него была гигантская трясущаяся физиономия. Физиономия блестела от пота. Он приседал и снова выпрямлялся и даже становился на цыпочки, тыкал мечом то себе под ноги, то в небо и визжал неестественно высоким жалобным женским голосом. Вадим слушал, склонив голову. Мнемокристаллы на его висках фиксировали незнакомые слова и интонации, анализировали их и уже давали первые, еще неопределенные варианты перевода. Речь шла о какой-то угрозе,

о чем-то громадном и сильном, о жестоких наказаниях... Толстяк вдруг замолчал, вытер потное лицо рукавом и, надсаживаясь, провизжал что-то короткое и резкое. В голосе его было страдание. Люди с копьями сейчас же нагнулись и очень медленно двинулись на Вадима.

— Ну всё ясно, — сказал Саул. — Начнем?

Он положил ствол скорчера на борт.

— Прекратите, Саул, — сказал Антон. — Вадим, в кабину!

— Ну, что вы раздумываете? — сказал Саул со злобой. — Это же дрянь, эсэсовцы! Жабы!

Люди в шубах все надвигались короткими медленными шажками. Когда широкие блестящие лезвия уперлись в грудь Вадима, он отступил и, повернувшись спиной, полез в глайдер.

— Типичный корнеизолирующий язык, — сообщил он, усаживаясь. — Очень ограниченный словарный запас, судя по всему. Мира они не хотят, это ясно.

— Давайте хоть страху нагоним, — попросил Саул. — Дать разок в воздух, чтобы они штаны потеряли!

Антон захлопнул фонарь. Люди в шубах вернулись к крыльцу и подняли копьё. Все они смотрели на глайдер. На необъятной физиономии толстяка бродила презрительная ухмылка.

— Эх, вы, — сказал Саул. — Нужен вам «язык» или нет? Давайте возьмем этого жирного! Это же живой рапортфюрер!

— Да поймите же, — с отчаянием сказал Антон. — Они не хотят с нами договариваться! И это их право! Ну, что мы можем сделать?

— Нужен вам «язык» или нет? — повторил Саул. — Преимущество внезапности мы уже потеряли. Здесь без боя не обойтись. Но есть еще этот гад, который уехал на упряжке.

Ох и лексика же у него, с уважением подумал Вадим. Настоящий двадцатый век. Какой великолепный специалист! Он посмотрел на Антона. Антон был бледен и растерян. Никогда Вадим еще не видел его таким.

— Одно из двух, — продолжал Саул. — Или мы

хотим узнать, что здесь делается, или мы летим на Землю, и пусть сюда пришлют людей порешительнее. А нам надо решать поскорее, пока против нас только копыа...

Мешкаем, подумал Вадим. Все время мешкаем. А в хижинах умирают.

— Тошка, — сказал он. — Давай догоним упряжку. Там только один с копьем, там будет проще. Отберем у него копые и пригласим на «Корабль».

— Ухмыляются, жабы, — проговорил Саул, глядя через спектролит.

Он выразительно погрозил кулаком толстяку на крыльце. Тот тряхнул щеками и не менее выразительно помахал мечом.

— Видали? — сказал Саул с веселым бешенством. — Как мы друг друга понимаем, а?

— Попробую еще раз, — сказал Антон и распахнул фонарь. Толстяк вскрикнул. Один из копейщиков широко развернулся, сдвигая рукав шубы к плечу, и с натугой метнул тяжелое копые. Железный наконечник с визгом полоснул по спектролиту. Саул даже присел.

— Ну, семь-восемь... — сказал он непонятно, но чрезвычайно энергично. Антон успел поймать его за руку. Глаза у Антона были как черные щелки.

— Понятно, — сказал он зловеще и задохнулся. — Вадим, разворачивайся!

Вадим повернул глайдер.

— За упряжкой, — приказал Антон и откинулся на спинку кресла. — Здесь мы ничего не узнаем, — проворчал он. — Какая-то непроходимая тупость.

— Дать разок в воздух, — пренебрежительно сказал Саул, — и бери их голыми руками.

Антон молчал. Глайдер пронесся по пустынной улице и через несколько минут вылетел в поле.

— Я скажу вам только одно, — проговорил вдруг Антон. — Всем нам потом будет очень стыдно.

— А что делать? — спросил Вадим. — Люди-то умирают!

— Если бы я знал, что делать, — сказал Антон. — Комиссии и не снились такие обстоятельства.

«Какой комиссии?» — хотел спросить Вадим, но тут Саул произнес:

— Да перестаньте вы стесняться. Раз вы хотите делать добро, пусть оно будет активно. Добро должно быть более активно, чем зло, иначе все остановится.

— Добро, добро, — проворчал Антон. — Кому хочется быть услужливым дураком?

— Это уж точно, — сказал Саул. — Зато у вас совесть будет спокойна.

Они нагнали упряжку километрах в пяти от поселка. Люди бежали по целине, спотыкаясь и увязая в снегу, а человек в шубе, нахохлившийся в санях, то и дело лениво тыкал копьём отстающих.

— Я снижаюсь, — сказал Вадим.

— Сядь перед упряжкой, — приказал Антон, — и поговори с ним. Саул, дайте сюда скорчер. И сидите в машине, это не гад, а человек.

— Ладно, — сказал Саул. — Вот вам скорчер. А если он возьмет и Вадима копьём? Вместо разговоров...

Вадим сказал:

— Копье я у него отберу. Постромки надо будет перерезать, а еду и одежду раздать этим беднякам.

— Правильно, — сказал Антон.

Глайдер рухнул в снег прямо перед упряжкой, и люди-лошади остановились как вкопанные. Вадим выскочил наружу. Люди в мешковине стояли, закрыв лица руками. Они тяжело, с всхлипом, дышали. Пробегая мимо них, Вадим весело крикнул:

— Все, друзья! Сейчас пойдете домой!

Он направился к саням, на ходу примериваясь, как лучше отбить копьё. Человек в шубе стоял на коленях и с изумлением и страхом смотрел на него. Копье он держал наперевес.

— Пойдемте, — предложил Вадим и схватился за древко.

Человек в шубе сейчас же выпустил копьё и выхватил откуда-то меч. Он был уже на ногах.

— Ну-ну, не надо, — сказал Вадим, отбрасывая копьё.

Человек в шубе вдруг заорал, протяжно и жалоб-

но. Вадим взял его за руку, держащую меч, и потянул за собой. Ему было очень неловко. Человек в шубе рванулся. Вадим ухватил его крепче.

— Ну, что вы, в самом деле, все будет хорошо. Все будет в порядке, — убеждающе говорил он, разжимая потный кулак с мечом. Меч упал в снег. Вадим обнял человека в шубе за плечи и повел к глайдеру. Он бормотал какие-то ласковые слова, стараясь придать голосу местные интонации. Тут раздался предупредительный крик Саула, и он почувствовал, что его валят с ног. Чьи-то ладони схватили его за лицо, кто-то повис на шее, несколько рук вцепились в его ноги — слабые, дрожащие руки.

— Что вы, с ума посходили? — заорал Саул обиженно. — Антон, держи их!

Человек в шубе снова сильно рванулся. Вадиму накинута на голову какое-то вонючее тряпье, и он ничего не видел. Он едва стоял в куче копошащихся тел, изо всех сил прижимая к себе человека в шубе. Потом он почувствовал острый удар в бок и боль. Он выпустил «языка», двинул плечами и, освободившись, сорвал с лица вонючий мешок. Он увидел барахтающихся в снегу людей и Антона, который пробирался к нему, шагая через тела. Он повернулся. Голый человек с мечом стоял перед ним по колено в снегу.

— За что? — сказал Вадим.

Человек ударил наотмашь, но меч в руке у него повернулся и упал на плечо Вадима плашмя. Вадим толкнул человека в грудь. Тот упал в снег и замер. Вадим поднял меч и, размахнувшись, забросил его далеко в сторону. Он чувствовал, как по бедру ползет что-то горячее и мокрое. Он огляделся.

Люди в снегу лежали неподвижно как мертвые. Человека в шубе среди них не было.

— Ты жив? — крикнул Антон, задыхаясь.

— Вполне, — сказал Вадим. — А где «язык»?

Он увидел Саула. Саул, широко шагая, шел к ним, волоча за шиворот человека в шубе.

— Вздумал удрать, — объявил он. — Но каковы людишки!

— Пойдемте отсюда, — сказал Антон.

Они пошли к глайдеру, осторожно ступая среди неподвижных тел. Саул рывком поднял человека в шубе на ноги и повел, толкая его рукой между лопаток.

— Иди, подлец, — приговаривал он. — Иди, жирная морда. Воняет от него ужасно, — сообщил он.— Год, наверное, не мылся.

Когда они подошли к глайдеру, Антон взял «языка» за меховое плечо и показал в кабину. Тот отчаянно закрутил головой, так что у него свалилась шапка. Потом он сел в снег.

— Цацкаться тут с тобой! — заорал Саул.

Он поднял «языка» за шубу и перевалил через борт. «Язык» с шумом упал на дно кабины и затих.

— Фу, — сказал Антон, — ну и работа.

Он взял два мешка, стоявшие возле глайдера, и потащил их к упряжке. Он распаковал мешки, достал всю одежду и разложил на снегу. То же самое он сделал с продуктами. Люди казались мертвыми и только тихонько поджимали ноги, когда Антон проходил мимо.

Вадим стоял, устало прислонившись к теплому борту машины, и смотрел на взрытый снег, на опрокинутые сани, на тела, скорчившиеся под лунным светом. Он слышал, как Антон грустно сказал:

— Комиссия по контактам, где ты?

Вадим потрогал бок. Кровь еще шла. Он почувствовал дурноту и слабость и забрался в кабину. Все было не так, все получилось нехорошо. Пленник лежал ничком, закрыв голову руками. Судя по всему, он ждал смерти, а может быть, и пыток. Над ним, не сводя с него глаз, сидел свирепый Саул. Подошел Антон и тоже влез в кабину.

— Что же ты? — спросил он.

Вадим с трудом проговорил:

— Ты знаешь Тошка, меня ранили. Я сейчас ничего не могу.

Антон секунду смотрел на него.

— А ну-ка, раздевайся, — потребовал он.

— Эх, — с досадой крикнул Саул.

Вадим стащил куртку. Его мутило, и в глазах бы-

ло темно. Он увидел сосредоточенное лицо Антона и лицо Саула, сморщенное от жалости. Потом он почувствовал прохладные пальцы у себя на боку.

— Ножом, — сказал Саул. Голос его доносился словно из-за стены. — Как вы все это неумело. Я бы его одной рукой взял.

— Это не он, — пробормотал Вадим. — Это мечом... один голый...

— Голый? — сказал Саул. — Ну, товарищи, этого даже я не понимаю.

Антон что-то ответил, но тут перед глазами Вадима поплыли круги и звездочки, и он потерял сознание.

VI

— Смотрите, Антон, — заговорил Саул. — Антон! Он в обмороке, вы видите?

— Он спит, — сказал Антон. Он внимательно осматривал рану. Рана была рубленая и довольно глубокая. Удар пришелся под ребро, и меч расслоил мышцы. Антон облегченно вздохнул. Саул глядел через его плечо, встревоженно сопя.

— Плохо? — спросил он шепотом.

— Нет, вздор, — сказал Антон. — Через час все будет в порядке. — Он отстранил Саула. — Только вы сядьте, пожалуйста.

Саул откинулся в кресле и злобно уставился на неподвижного «языка». Антон неторопливо расстегнул мешок, вытащил банку с коллоидом и густо залил рану. Оранжевое желе сразу стало розовым, подернулось розовыми стрелочками — как пенка на молоке. Вот кровь, подумал Антон. Здоровенный парень Димка! Он посмотрел на лицо Вадима. Оно было немного бледнее обычного, но такое же спокойное и умиротворенное, как всегда, когда он спал. И дышал он, как всегда, носом — глубоко, бесшумно и просторно. Антон положил пальцы по сторонам раны и закрыл глаза.

Простейшие приемы психирургии входили в подготовку звездолетчика. Практически каждый пилот умел вскрыть и срastить живую ткань, используя пси-

ходинамический резонанс. Это требовало большого напряжения и сосредоточенности. В стационарных условиях применялись нейрогенераторы, а в поле приходилось делать это по-знахарски, и каждый раз Антон жалел знахарей.

Словно сквозь сон, Антон слышал, как позади тяжело вздыхает и ворочается Саул и бормочет, всхлипывая, пленник. От пленника в кабине стоял неприятный кислый дух.

Антон открыл глаза. Рана затянулась, выдавив коллоид, — теперь это был просто розовый шрам. Пожалуй, хватит, подумал Антон. Иначе не смогу вести глайдер. Он был весь мокрый.

— Ну вот и все, — сказал он, переводя дыхание.

Саул приподнялся и посмотрел на рану.

— Черт знает что, — проворчал он. — Как вы это делаете?

Антон огляделся и вздрогнул. Снаружи к фонарю прильнули страшные лица, тощие, с ввалившимися щеками, оскаленные. В этом была какая-то древняя исконная жуть: словно мертвецы заглядывали в твой дом. У Антона мороз пошел по коже. Саул сдвинул мохнатые брови и погрозил пальцем. По спектролиту бесшумно застучали костлявые кулаки.

— Домой идите! Домой! — громко сказал Саул.

Антон стал одевать Вадима.

— Сейчас полетим, — сказал он.

— Вы их всех поубиваете.

Антон покачал головой и перебрался на место водителя. Глайдер дрогнул и начал медленно подниматься. Лица за фонарем пропали. Длинная костлявая рука с обломанными ногтями скользнула по спектролиту и тоже пропала.

Развернув глайдер на пеленг «Корабля», Антон дал полный ход. Он спешил — была уже полночь.

— Что они в нем нашли? — пробормотал Саул. — Эсэсовец, животное, я сам видел, как он колот их пикой — подгонял.

Антон промолчал.

— О господи! — сказал Саул. — Сколько на нем всякой гадости. Так и ползают...

— Что ползает?

— Что-то вроде вшей. Надо сначала его вымыть и все продезинфицировать...

Вот и еще одно дело, подумал Антон. Саул, словно угадав его мысли, добавил:

— Ничего, я сам этим займусь. Только бы он не издох с непривычки.

Антон вел глайдер на максимальной скорости, держась в ста метрах над землей. Маленькая яркая луна стояла почти в зените, красный серп давно зашел, а навстречу из-за белого горизонта поднималась третья луна, розовая и сплюснутая. Вадим пошевелился, громко зевнул и, пробормотав: «Ты меня залечил?», — снова заснул.

— Что он делает? — спросил Антон. Он так устал, что ему не хотелось оборачиваться.

— Кто?

— «Язык».

— Лежит. Воняет. Давненько не слышал этого запаха...

Давненько, подумал Антон. Я вообще никогда не слышал. И не хотел бы... Саул прав: зря мы связались в эту историю. Саул умница. Это действительно система. Культура рабовладения. Рабы и господа. Правда, я думал, что верные рабы встречаются только в плохих книжках... Верный раб — какая это гадость! Ну ладно — дело сделано, отступить поздно и глупо. По крайней мере мы все узнаем наверняка. Да и не в этом суть... Если бы даже я сразу понял, что здесь происходит, все равно я не смог бы повернуться спиной... К котловану, где машины давят людей... к загаженному поселку... Интересно, потерпит ли Мировой Совет существование планеты с рабовладельческим строем? Он вдруг ощутил всю громадность проблемы. Никогда еще не было такой альтернативы: вмешиваться или не вмешиваться в судьбу чужой планеты? Жители Леониды и Тагоры слишком далеки от людей. Психология леонидян — до сих пор загадка, и никто не скажет, какой там общественный строй... А гуманоиды Тагоры хотят от природы так мало, что вообще непонятно, как они доросли до

создания своей техники... Но здесь, на Сауле, совсем другое дело. Нигде больше общественные отношения не принимают такой уродливой и в то же время, по видимому, такой необходимой формы... Родной брат человечества — очень юный, очень незрелый и очень жестокий... И вдобавок ко всему — эти дурацкие машины пришельцев...

Далеко впереди на голубой равнине показалась маленькая черная точка. Вот и «Корабль», подумал Антон. А возле, под снегом — мертвые. Как странно, всего день прошел, а я уже привык. Точно всю жизнь ходил среди голых мертвецов в снегу. Легко привыкает человек. Психическая аккомодация. Странно. Может быть, дело в том, что они все-таки чужие. Может быть, на Земле я сошел бы от всего этого с ума. Нет, просто я отупел...

Снижая скорость, он сделал круг над «Кораблем». Корабль выглядел ободряюще — знакомый черный конус над голубыми холмами. И две резкие тени от него: короткая черная и длинная розоватая. Глайдер опустился перед входом. Снег смерзся вокруг «Корабля» в сплошное ледяное поле. Антон похлопал Вадима по колену.

— Ну что, что? — сонно спросил Вадим.

— Подъем.

— А ну тебя...

— Вставай, Димка. Пойдем на «Корабль».

— Сейчас, — сказал Вадим и зачмокал. — Еще минуточку...

— Пощекотать его? — деловито предложил Саул.

Вадим сразу открыл глаза и поднялся.

— Ага, это «Корабль»... Понимаю.

Они вылезли на твердый скользкий снег. От морозного воздуха захватило дух. Было слышно, как Вадим застучал зубами. Саул придерживал «языка» за шиворот. Что думает сейчас этот бедняга, подумал Антон.

— Вы поднимайтесь, — сказал Саул, — а я его прямо в душевую.

Они вошли в «Корабль», зарастили люк, и Антон, подталкивая Вадима, стал подниматься в кают-

компанию. Вадим, постукивая зубами, дремал. Внизу страшно заорал пленник. Вадим встрепенулся.

— Чего они там? — тревожно спросил он.

— Мыть повели, — объяснил Антон. — Он весь в паразитах.

Послышался голос Саула:

— Добром иди, небось не сдохнешь...

Дверь душевой хлопнула. Они вошли в кают-компанию и разом повалились в кресла.

— Милый добрый «Корабль», — сказал Вадим. — Как хорошо, как чисто...

Антон лежал с закрытыми глазами.

— Болит? — спросил он.

— Чешется...

— Значит, все хорошо... Слушай, что тебе нужно для работы?

— Вычислитель, — сказал Вадим. — Половина памяти. Оба анализатора. Побольше кофе и какой-нибудь вкусной еды для «языка». Через два часа он будет сидеть здесь за столом и беседовать с тобой о смысле жизни.

Снизу опять донесся вопль, возня и шлепанье босых ног.

— Куда? — взревел Саул. — На место... Дай сюда!

— Здорово он его моет, — сказал Вадим с уважением. — Наверное, мыло в глаз попало... А вот интонации у Саула не те. Весь этот рев бедняга «язык» воспринимает как умоляющий лепет. Тон приказа вот, — Вадим, вытянув шею, жалобно и нестерпимо завизжал.

— Котенку наступили на голову, — сказал Антон.

— Вот-вот!

— Ну ладно, рубку ты займешь... Я все принесу. Вадим внимательно поглядел на него.

— А ведь ты, милый, выжат, как лимон, — сказал он.

— Есть немножко... Рана у тебя не очень серьезная, но я измотался. Знаешь, как это изматывает?

— Ложись спать, я справлюсь один. А Саул все принесет.

— Ладно, — сказал Антон. — Это моя забота. Иди, — он махнул рукой. — Готовься.

Вадим поднялся.

— Советую все-таки поспать, — он пошел в рубку и вдруг остановился. — А взяли они одежду?

Сначала Антон не понял, а потом сказал:

— Честно говоря, не знаю... Не помню. Но они нами очень недовольны.

— Ох и каша, ну и каша! — сказал Вадим. — Ничего не понимаю. За что он меня ткнул мечом?

Он покачал головой и пошел в рубку. Антон сейчас же задремал. Ему приснилось, что он пошел на кухню, сварил очень много кофе, принес кофейник и консервы в рубку, а Вадим был занят и огрызнулся, и тогда он пошел в свою каюту, сел за стол, чтобы подобрать программу обратного перелета, но ему очень хотелось спать и все время попадались старые программы его прежних рейсов. Потом его разбудил Саул.

— Вот, — сказал Саул.

Перед Антоном стоял стройный светлолицый парень в трусах и тетраканэтиленовой куртке, черноглазый и испуганный.

— Хорош? — спросил Саул насмешливо.

Антон засмеялся.

— Красивая раса, — сказал он. — Здравствуй, младший брат.

Младший брат смотрел на него круглыми от страха глазами. «Ну до чего славный парнишка», — подумал Антон.

— А вот это было у него под шубой, — сказал Саул и положил на стол твердый пакет.

Пленник сделал движение к пакету.

— Н-но, — грозно сказал Саул. — Опять? Я тебя!

Пленник съежился. По-видимому, интонации Саула он уже усвоил хорошо. Антон взял пакет, осмотрел его и вскрыл. В конверте из отлично обработанной кожи лежал замысловато сложенный лист бумаги, какой-то чертеж и несколько кусков окровавленного тампопластыря.

— Понимаете? — сказал Саул. — Это они ободрали с раненых.

Антон вспомнил изуродованных людей в шеренге и стиснул зубы.

— Это, наверное, донесение, — сказал он, помолчав. — О нашем появлении. Вадим! — позвал он.

Пленник вдруг заговорил. Он говорил быстро, ударяя себя ладонями по груди, на лице его были ужас и отчаяние, и это странно не вязалось с резкими и даже как будто насмешливыми интонациями его голоса. В зал спустился Вадим и остановился позади пленника, прислушиваясь. Пленник замолчал и закрыл лицо руками.

— Посмотри-ка, Вадим, — сказал Антон, протягивая листок.

— О! — сказал Вадим. — Письмо! Это же просто прелесть! Вдвое меньше работы!

Он взял пленника за рукав и повел в рубку, на ходу рассматривая листок. Пленник покорно плелся за ним. Саул внимательно изучал чертеж.

— Я не специалист, — сказал он, — но, по-моему, это точное изображение внутренности того танка. Помните, в котловане?

Он перебросил чертеж Антону. Чертеж был сделан синей краской, очень аккуратно, но на бумаге было много следов грязных пальцев. Это был план кабины шумовки — по-видимому, очень точный план. Некоторые отверстия были отмечены грубо намалеванными крестиками, некоторые просто зачеркнуты. Антон зевнул и потер глаза. Ну вот, вяло подумал он. Отличные чертежи делают рабовладельцы.

— Слушайте, капитан, — сказал Саул, — идите спать. Все равно, пока наш лингвист не кончит, вы никому здесь не нужны.

— Вы думаете?

— Уверен.

Голос Вадима из рубки потребовал:

— Кофе и банку варенья.

— Сейчас, — крикнул Саул, — Идите, идите, Антон, — сказал он.

— Никуда я не пойду, — сказал Антон. — Я — здесь.

Он закрыл глаза и перестал сопротивляться. Он спал беспокойно, часто просыпался и открывал глаза. Он видел, как на цыпочках проходил Саул — в одной руке у него была пустая банка, в другой кофейник. В следующий раз Саул прошел в рубку с заставленным подносом, и в кают-компани пахло томатом. Потом Саул очутился за столом. Он задумчиво сосал пустую трубку и внимательно разглядывал Антона. Сверху из рубки доносились монотонные голоса. «Су-у... Му-у... Бу-у...» — говорил Вадим, и механический голос повторял: «Су-у... Му-у... Бу-у... Работать — ка-ро-су-у... Рабочий — ка-ро-бу-у... Стать рабочим — ка-ро-му-у...» Сон наплывал и уплывал снова. Голос Вадима непонятно вещал: «Блистающий... великий и могучий утес... идай-хикари... тика-удо...», и визгливый голос пленника поправлял: «Тико-о... удо-о...» Вадим кричал: «Саул! Кофе!» — «Третий кофейник!» — недовольно бормотал Саул.

Потом Антон проснулся и почувствовал, что больше не хочет спать. Саула в зале не было. Изрядно осипший голос Вадима старательно выговаривал наверху: «Соринака-бу... торунака-бу... сапонури-су...» Пленник что-то басовито ворковал в ответ. Антон взглянул на часы. Было три часа утра местного времени. Ай да структуральнейший, подумал Антон с уважением. Его вдруг охватило нетерпение. Надо было кончать.

— Димка! — крикнул он. — Как дела?

— Проснулся? — сипло отозвался Вадим. — Мы тебя ждем. Сейчас спускаемся.

Из каюты высунулась голова Саула.

— Уже? — осведомился он. Из приоткрытой двери валил дым.

— Входите, Саул, — сказал Антон. — Сейчас начнем.

Саул сел в кресло и бросил на стол чертеж. Из рубки спустился пленник, его покачивало. Щеки у него были вымазаны вареньем. Не обращая ни на кого внимания, он остановился и стал смотреть вверх с вы-

ражением собачьей почтительности в глазах. Сверху уже спускался Вадим, держа в обнимку большой блестящий ящик — приставку-анализатор. Он подошел к столу, поставил анализатор и рухнул в кресло. На лице у него было ликование.

— Я гений! — сообщил он сипло. — Я ум-ни-ца! Великий и могучий утес! Хикари-тико-удо!

При этих словах пленник перестал облизывать пальцы и сложил почтительно руки перед грудью.

— А? — вскричал Вадим, простирая к нему руку. Потом он заявил:

Есть на всякий, есть на случай
В «Корабле» специалист —
Ваш великий и могучий
Структуральный лингвист.

Антон с удовольствием посмотрел на него. На висках у Вадима торчали желтые рожки мнемокристаллов. У пленника тоже торчали желтые рожки мнемокристаллов. Было в них обоих что-то от добродушных молодых бесов. Впрочем, пленник был больше похож на теленка. Саул тоже улыбался, посасывая трубку.

— Предупреждаю, — заявил Вадим, — абстрактных вопросов ему задавать не надо. Дубина редкостная. Образование — два класса. — Он встал и роздал Антону и Саулу по паре мнемокристаллов. — Мыслит он исключительно конкретно. — Он повернулся к пленнику: — Ринга хоси-му?

«Хочешь варенья?» — понял Антон.

«Язык» заискивающе улынулся и опять сложил руки перед грудью.

— Вот видите? — сказал Вадим. — Он опять хочет варенья. Но он подождет. Давайте приступать.

Антон замялся. Он вдруг обнаружил, что не имеет ни малейшего понятия о том, как это делается. Вадим и Саул выжидательно смотрели на него. Пленник тоскливо переступал с ноги на ногу.

— Как вас зовут? — спросил Антон очень мягко. Ему не нравилось, что пленник до сих пор чувствует себя неуверенно и, несомненно, испытывает страх.

Пленник посмотрел на него с недоумением.

— Хайра, — ответил он и перестал переминаясь.
«Из рода холмов», — понял Антон.

— Очень приятно, — сказал он. — Меня зовут Антон.

Недоумение на физиономии Хайры возросло.

— Скажите, пожалуйста, Хайра, кем вы работаете?

— Я не работаю. Я воин.

— Видите ли, — сказал Антон, — вы, наверное, оскорблены насилием, которое мы были вынуждены применить по отношению к вам. Но вы не должны обижаться. Право, у нас не было иного выхода.

Пленник упер руку в бок, отвесил нижнюю губу и стал смотреть мимо Антона. Саул гулко кашлянул и принялся барабанить пальцами по столу.

— Вы не должны бояться, — продолжал Антон. — Мы не сделаем вам ничего дурного.

На лице пленника явственно проступила надменность. Он осмотрелся, отошел на два шага в сторону и сел на пол боком к Антону, скрестив ноги. Осваивается, подумал Антон. Это хорошо. Вадим, развалившись в кресле, взирал на все это с удовлетворением. Саул перестал барабанить пальцами и начал постукивать по столу трубкой.

— Мы только хотим задать вам несколько вопросов, — с подъемом продолжал Антон, — потому что нам совершенно необходимо знать, что здесь происходит.

— Варенья, — неприятным голосом произнес Хайра. — И быстро.

Вадим захохотал от удовольствия.

— Such a little pig! ¹ — сказал он.

Антон покраснел и оглянулся на Саула. Саул медленно поднимался. Лицо у него было неподвижное и скучающее.

— Почему не несут варенья? — осведомился Хайра в пространство. — И пусть все молчат, пока я буду спрашивать. И пусть принесут варенья и одеяла, потому что мне жестко сидеть.

¹ Каков поросенок!

Воцарилось молчание. Вадим перестал улыбаться и с сомнением посмотрел на анализатор.

— Do you think, — растерянно спросил Антон, — we should better bring him some jam? ¹

Саул, не отвечая, медленно приблизился к пленнику. Пленник сидел с каменным лицом. Саул повернулся к Антону.

— You have taken a wrong way, boys ², — проговорил он. — It won't pay with SS-men ³. — Его рука мягко опустилась на шею Хайры. На лице Хайры мелькнуло беспокойство. — He is a pitekanthropus, that's what he is, — нежно сказал Саул. — He mistakes your soft handling for a kind of weakness ⁴.

— Саул, Саул, — сказал Антон встревоженно.

— Speak only English ⁵, — быстро предупредил Саул.

— Где варенье? — неуверенно спросил пленник.

Саул мощным рывком поднял его на ноги. На каменном лице Хайры проступило смятение. Саул медленно пошел вокруг него, оглядывая его с головы до ног. Ну и зрелище, подумал Антон с невольным страхом и отвращением. У Саула был очень непривлекательный вид. Зато Хайра снова сложил на груди руки и заискивающе улыбался. Саул неторопливо вернулся к своему креслу и сел. Хайра смотрел теперь только на него. В кают-компании стояла мертвая тишина.

Саул стал набивать трубку, время от времени поглядывая на Хайру исподлобья.

— Now I interrogate ⁶, — сказал он, — and you don't interfere. If you choose to talk to me, speak English ⁷.

¹ Как вы думаете, может быть, действительно принести ему варенье?

² Вы избрали неправильный путь, мальчики.

³ С эсэсовцами это не годится.

⁴ Это же питекантроп. Мягкое обращение он принимает за слабость.

⁵ Говорите только по-английски.

⁶ Я сейчас буду вести допрос.

⁷ А вы не мешайте. Если захотите что-нибудь сказать мне, говорите по-английски.

— Agreed ¹, — сказал Вадим и что-то переключил в анализаторе. Антон кивнул.

— What did you do to that box? ² — подозрительно спросил Саул.

— Took measures, — ответил Вадим. — We don't need him to learn English as well, do we? ³.

— О'кэй, — сказал Саул. Он раскурил трубку. Хайра с ужасом смотрел на него, отклоняясь от клубов дыма.

— Имя? — хмуро спросил Саул.

Пленник вздрогнул и согнулся.

— Хайра.

— Должность?

— Носитель копья. Стражник.

— Кто начальник?

— Кадайра. («Из рода вихрей», — понял Антон.)

— Должность начальника?

— Носитель отличного меча. Начальник охраны.

— Сколько стражников в лагере?

— Два десятка.

— Сколько людей в хижинах?

— В хижинах нет людей.

Антон и Вадим переглянулись. Саул бесстрастно продолжал:

— Кто живет в хижинах?

— Преступники.

— А преступники не люди?

На лице Хайры изобразилось искреннее недоумение. Вместо ответа он нерешительно улыбнулся.

— Ладно. Сколько преступников в лагере?

— Очень много. Никто не считает.

— Кто прислал сюда преступников?

Пленник говорил долго и вдохновенно, но Антон услышал только:

— Их прислал Великий и могучий утес, сверкаю-

¹ Ясно.

² Что вы сделали с этим ящиком?

³ Принял меры. Ведь нам не нужно, чтобы он научился заодно и английскому?

ший бой, с ногой на небе, живущий, пока не исчезнут машины.

— Ого, — сказал Саул, — они знают слово «машины»...

— Нет, — отозвался Вадим, — это я знаю слово «машины». Имеются в виду машины в котловане и на шоссе. А Великий и так далее — это, вероятно, местный царь.

Пленник слушал этот диалог с выражением тупого отчаяния.

— Ну ладно, — сказал Саул. — Продолжим. В чем вина преступников?

Пленный оживился и снова принялся говорить долго и много, и снова Антон понял далеко не все.

— Есть преступники, желавшие сменить утес... Есть преступники, бравшие чужие вещи... Есть преступники, убивавшие людей... Есть преступники, желавшие странного...

— Понятно. Кто прислал сюда стражников?

— Великий и могучий утес с ногой на земле.

— Зачем?

Пленник молчал.

— Я спрашиваю, что здесь делает стража?

Пленник молчал. Он даже закрыл глаза. Саул свирепо засопел.

— Так! Что здесь делают преступники?

Пленник, не открывая глаз, замотал головой.

— Говори! — рявкнул Саул так, что Антон вздрогнул. Комиссия по контактам, горестно подумал он, где ты?

Пленник жалобно сказал:

— Меня убьют, если я расскажу.

— Тебя убьют, если ты не расскажешь, — пообещал Саул. Он достал из кармана перочинный нож и раскрыл его. Пленник затрепетал.

— Саул! — сказал Антон. — Stop it ¹.

Саул стал чистить ножом трубку.

— Stop what? ² — осведомился он.

¹ Прекратите.

² Что прекратить?

— Преступники заставляют машины двигаться, — едва слышно произнес Хайра. — Стражники смотрят.

— На что смотрят?

— Как машины двигаются.

Саул взял чертеж и сунул пленнику под нос.

— Рассказывай все, — сказал он.

Хайра рассказывал долго и сбивчиво, Саул подгонял и подправлял его. Дело, по-видимому, сводилось к тому, что местные власти пытались овладеть способом управления машинами. Методы при этом использовались чисто варварские. Преступников заставляли тыкать пальцами в отверстия, кнопки, клавиши, запускать руки в двигатели и смотрели, что при этом происходит. Чаще всего не происходило ничего. Часто машины взрывались. Реже они начинали двигаться, давя и калеча всех вокруг. И совсем редко удавалось заставить машины двигаться упорядоченно. В процессе работы стражники садились подальше от испытываемой машины, а преступники бегали от них к машине и обратно, сообщая, в какую дыру или в какую кнопку будет сунут палец. Все это тщательно заносилось на чертежи.

— Кто делает чертежи?

— Не знаю.

— Верю. Кто привозит чертежи?

— Большие начальники на птицах.

— Имеются в виду наши знакомые птички, — пояснил Вадим. — Наверное, здесь их приручают.

— Кому нужны машины?

— Великому и могучему утесу, сверкающему бою, с ногой на небе, живущему, пока не исчезнут машины.

— Что он делает с машинами?

— Кто?

— Утес.

На лице пленника изобразилось смятение.

— Это же должность, Саул, — сказал Вадим. — Говорите полностью.

— Хорошо. Что делает с машинами Великий и могучий утес, с ногой на небе... или на земле?.. Тьфу, черт, не помню... живущий, пока... это...

— Пока не исчезнут машины, — подсказал Вадим.

— Бессмыслица какая-то, — сказал сердито Саул. — При чем здесь машины?

— Это титулование, — пояснил Вадим. — Символ вечности.

— Слушайте, Вадим. Спросите его, что он делает с машинами.

— Кто?

— Да утес же, черт бы его побрал.

— Говорите просто, — сказал Вадим. — Великий и могучий утес.

Саул отдулся и положил трубку на стол.

— Итак, что делает с машинами Великий и могучий утес?

— Никто не знает, что делает Великий и могучий утес, — с достоинством сказал пленник.

Антон не выдержал и засмеялся. Вадим хохотал, держась за подлокотники. Пленник глядел на них со страхом.

— Откуда привозят чертежи?

— Из-за гор.

— Что за горами?

— Мир.

— Сколько в мире людей?

— Очень много. Сосчитать невозможно.

— Кто привозит машины?

— Преступники.

— Откуда?

— С твердой дороги. Там очень много машин. — Пленник подумал и добавил: — Сосчитать нельзя.

— Кто делает машины?

Хайра удивленно улыбнулся.

— Машины никто не делает. Машины есть.

— Откуда они взялись?

Хайра произнес речь. Он тер лицо, гладил себя по бокам и поглядывал на потолок. Он закатывал глаза и временами даже принимался петь. Получалось приблизительно следующее.

Давным-давно, когда еще никто не родился, с красной луны упали большие ящики. В ящиках была вода. Жирная и липкая, как варенье. И она бы-

ла темно-красная, как варенье. Сначала вода сделала город. Потом она сделала в земле две дыры и наполнила эти дыры дымом смерти. Потом вода стала твердой дорогой между дырами, а из дыма родились машины. С тех пор один дым рождает машины, другой дым глотает машины, и так всегда будет.

— Ну, это мы и без тебя знаем, — сказал Саул, — А если преступники не захотят двигать машины?

— Их убивают.

— Кто?

— Стражники.

— И ты убивал?

— Я убил троих, — гордо сказал Хайра.

Антон закрыл глаза. Мальчишка, подумал он. Славный симпатичный мальчишка. И он говорит об этом с гордостью...

— Как же ты их убивал? — спросил Саул.

— Одного я убил мечом. Я доказывал начальнику, что могу разрубить тело одним ударом. Теперь он знает, что я это могу. Другого я убил кулаком. А третьего я приказал сбросить мне на копье.

— Кому приказал?

— Другим преступникам.

Некоторое время Саул молчал.

— Скучно, — сказал пленник. — Служба гордая, но скучная. Нет женщины. Нет умных бесед. Скучно, — повторил он и вздохнул.

— Почему преступники не бегут?

— Они бегут. Пусть. На равнине снег и птицы. В горах стража. Умные не бегут. Все хотят жить.

— Почему у некоторых золотые ногти?

Пленник сказал шепотом:

— Это были люди большого богатства. Но они хотели странного, а некоторые даже пытались сменить Утес. Они отвратительны, как падаль, — сказал он громко. — Великий и могучий утес, сверкающий бой присылает их сюда со всеми родными. Кроме женщин, — добавил он с сожалением.

— Вы знаете, — сказал Саул, — я испытываю огромное желание повесить сначала его, а потом всех остальных носителей мечей и копий на этой равнине.

Но это, к сожалению, бесполезно. — Он снова набил трубку. — У меня больше нет вопросов. Спрашивайте вы, если хотите.

— Нас нельзя вешать, — быстро сказал побледневший Хайра. — Великий и могучий утес, с ногой на небе жестоко накажет вас.

— Плевать я хотел на твоего Великого и могучего, — сказал Саул, раскуривая трубку. Пальцы его дрожали. — Будете еще спрашивать или нет?

Антон помотал головой. Никогда в жизни он не испытывал такого отвращения. Вадим подошел к Хайре и сорвал с его висков мнемокристаллы.

— Что будем делать? — спросил он.

— Таков человек, — задумчиво проговорил Саул. — На пути к вам он должен пройти через все это и многое другое. Как долго он еще остается скотом, после того как поднимается на задние лапы и берет в руки орудия труда. Этим еще можно извинить, они понятия не имеют о свободе, равенстве и братстве. Впрочем, это им еще предстоит. Они еще будут спасать цивилизацию газовыми камерами. Им еще предстоит стать мещанами и поставить свой мир на край гибели. И все-таки я доволен. В мире этом царит средневековье, это совершенно очевидно. Все это титулование, пышные разглагольствования, золотые ногти, невежество... Но уже теперь здесь есть люди, которые желают странного. Как это прекрасно — человек, который желает странного! И этого человека, конечно, боятся. Этому человеку тоже предстоит долгий путь. Его будут жечь на кострах, распинать, сажать за решетку, потом за колючую проволоку... Да. — Он помолчал. — А какова затея! — воскликнул он. — Овладеть машинами, не имея никакого понятия о машинах! Представляете? Какой это был дерзкий ум! Сейчас-то его, конечно, посадили бы в лагерь. Сейчас это все рутина, что-то вроде обряда в честь могучих предков... Сейчас, наверное, никто и не знает и знать не хочет, для чего все это нужно. Разве что как повод для создания лагеря смерти. А когда-то это была идея...

Он замолчал и стал усиленно сипеть трубкой. Антон сказал:

— Ну, зачем же так мрачно, Саул. Им вовсе не обязательно проходить через газовые камеры и прочее. Ведь мы уже здесь.

— Мы! — Саул усмехнулся. — Что мы можем сделать? Вот нас здесь трое, и все мы хотим творить добро активно. И что же мы можем? Да, конечно, мы можем пойти к Великому утесу этакими парламентариями разума и попросить его, чтобы он отказался от рабовладения и дал народу свободу. Нас возьмут за штаны и бросят в котлован. Можно натянуть белые хламиды и прямо в народ. Вы, Антон, будете Христос, Вадим будет апостолом Павлом, а я, конечно, Фомой. И мы станем проповедовать социализм и даже, может быть, сотворим несколько чудес. Что-нибудь вроде нуль-транспортировки. Местные фарисеи посадят нас на кол, а люди, которых мы хотели спасти, будут с гиком кидать в нас калом... — Он поднялся и прошелся вокруг стола. — Правда, у нас есть скорчер. Мы можем, например, перебить стражу, построить голых в колонну и прорваться через горы, сжечь сюзеренов и вассалов вместе с их замками и пышными титулами, и тогда города фарисеев превратятся в головушки, а нас поднимут на копья или скорее всего зарежут из-за угла, а в стране воцарится хаос, из которого вынырнут какие-нибудь саддукеи. Вот что мы можем.

Он сел. Антон и Вадим улыбались.

— Нас не трое, — сказал Антон. — Нас, дорогой Саул, двадцать миллиардов. Наверное, раз в двадцать больше, чем на этой планете.

— Ну и что? — сказал Саул. — Вы понимаете, что вы хотите сделать? Вы хотите нарушить законы общественного развития! Хотите изменить естественный ход истории! А знаете вы, что такое история? Это само человечество! И нельзя переломить хребет истории и не переломить хребет человечеству.

— Никто не собирается ломать хребты, — возразил Вадим. — Были времена, когда целые племена и государства по ходу истории перескакивали прямо из

феодализма в социализм. И никакие хребты не ломались. Вы что, боитесь войны? Войны не будет. Два миллиона добровольцев, красивый благоустроенный город, ворота настежь, просим! Вот вам врачи, вот вам учителя, вот вам инженеры, ученые, артисты... Хотите, как у нас? Конечно! И мы этого хотим! Кучка вонючих феодалов против коммунистической колонии — тьфу! Конечно, это случится не сразу. Придется поработать, лет пять потребуется...

— Пять! — сказал Саул, поднимая руки к потолку. — А пятьсот пятьдесят пять не хотите? Тоже мне просветители! Народники-передвижники! Это же планета, понимаете? Не племя, не народ, даже не страна — планета! Целая планета невежества, трясины! Артисты! Ученые! А что вы будете делать, когда придется стрелять? А вам придется стрелять, Вадим, когда вашу подругу-учительницу распнут грязные монахи... И вам придется стрелять, Антон, когда вашего друга-врача забудут насмерть палками молодчики в ржавых касках! И тогда вы озвереее и из колонистов превратитесь в колонизаторов...

— Пессимизм, — сказал Вадим, — суть мрачное мироощущение, при котором человек во всем склонен видеть дурное, неприятное.

Саул несколько секунд дико глядел на него.

— Вы не шутите, — сказал он наконец. — Это не шутки. Коммунизм — это прежде всего идея! И идея не простая. Ее выстрадали кровью! Ее не преподашь за пять лет на наглядных примерах. Вы обрушите изобилие на потомственного раба, на природного эгоиста. И знаете, что у вас получится? Либо ваша колония превратится в няньку при разжиревших бездельниках, у которых не будет ни малейшего стимула к деятельности, либо здесь найдется энергичный мерзавец, который с помощью ваших же глайдеров, скорчеров и всяких других средств вышибет вас вон с этой планеты, а все изобилие подгребет себе под седалище, и история все-таки двинется своим естественным путем.

Саул рывком откинул крышку мусоропровода и принялся яростно выбивать туда свою трубку.

— Нет, голубчики. Коммунизм надо выстрадать. За коммунизм надо драться вот с ним, — он ткнул трубкой в сторону Хайры, — с обыкновенным простаком-парнем. Драться, когда он с копьём, драться, когда он с мушкетом, драться, когда он со «шмайссером» и в каске с рожками. И это еще не все. Вот когда он бросит «шмайссер», упадет брюхом в грязь и будет ползать перед вами — вот когда начнется настоящая борьба! Не за кусок хлеба, а за коммунизм! Вы его из этой грязи поднимете, отмоете его...

Саул замолчал и откинулся в кресле.

Вадим задумчиво чесал затылок.

Антон сказал:

— Вам виднее, Саул, вы историк. Конечно, все это будет очень трудно. Вадим тут нес, как всегда, легкомысленную чушь. Мы вдвоем с Вадимом или втроем с вами никогда не решим эту задачу — даже теоретически. Но мы все знаем одно: не было еще такого случая, чтобы человечество поставило перед собой задачу и не смогло ее решить.

Саул что-то неразборчиво проворчал.

— Как это будет делаться конкретно... — Антон пожал плечами. — Что ж, если придется стрелять, вспомним, как это делалось, и будем стрелять. Только, по-моему, обойдется без стрельбы. Пригласим, например, этих желающих странного на Землю. Начнем с них. Они, наверное, захотят уехать отсюда...

Саул быстро вскинул и снова опустил глаза.

— Нет, — сказал он. — Только не так. Настоящий человек уехать не захочет. А не настоящий... — он снова поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Антону. — А не настоящему на Земле делать нечего. Кому он нужен — дезертир в коммунизм?

Почему-то все замолчали. И почему-то Антону стало нестерпимо жалко Саула и страшно за него. У Саула, несомненно, была беда. И очень непростая беда, такая же, наверное, необычная, как он сам, как его слова и поступки.

Вадим с деланным оживлением вскричал:

— А вот, кстати... Мы же забыли! За что меня пырнули мечом эти угнетенные? Надо выяснить!

Он подбежал к Хайре, у которого ноги подламывались от усталости и плохих предчувствий, и снова прикрепил к его вискам рожки мнемокристаллов.

— Слушай-ка, питекантроп, — сказал он. — Почему преступники, которые везли тебя, напали на нас? Они что, тебя очень любят?

Хайра ответил:

— По велению Великого и могучего утеса, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, преступники заточаются здесь до тех пор, пока не исчезнут машины...

— То есть навсегда, — пояснил Вадим.

— ...но если преступник сделает, чтобы машина двигалась, он получает милость и возвращается за горы. Те, которые везли меня, шли домой. Они были почти уже люди. На заставе я должен был отпустить их и пересечь на птиц. Но они не сумели сохранить меня, хотя и хотели, потому что хотели жить. А теперь их заколют. — Он нервно зевнул и добавил: — Если солнце уже взошло, то их уже закололи.

Антон вскочил, опрокинув кресло.

— О господи, — сказал Саул и выронил трубку.

VII

Носителя копья из рода холмов посадили между Саулом и Антоном. Он снова был закутан в свою шубу, от которой теперь пахло дезинсектаем, и сидел смиренно, беспокойно шевеля коротким носом: прихихивался. Было пять часов утра, занималась бледная ледяная заря. И было очень холодно.

Вадим молча вел глайдер на максимальной скорости и думал только одно: «Успеем или не успеем?» Хоть бы эти бедняги не решились сразу возвращаться в поселок. Но он понимал, что больше им деваться некуда. Это был их единственный шанс на спасение — попытаться смягчить начальника стражи рассказом о том, как они героически защищали его посланника. Эта грубая скотина прикончит их сразу же, с горечью подумал Вадим. Если мы не успеем. Он представил себе, как они поставят Хайру перед тол-

стым носителем отличного меча, и он, Вадим, скажет: «Кайра-мэ сорината-му каро-сика!» — «Вот ваш человек!» — и визгливо-жалобно завопит: «Татимата-пэ кори-су!» — «Не смей убивать этих свободных!» Он все время твердил в уме эти фразы, и в конце концов они потеряли для него всякий смысл. Все это не так просто. Может быть, придется вести длинный разговор. А вряд ли носитель меча согласится добровольно прикрепить к своей невытой начальственной голове мнемокристаллы. Вадим покосился на блестящий ящик анализатора. Придется его скрутить. Не зря же я тащил эти двадцать четыре килограмма от кают-компании до глайдера.

Антон спросил:

— А что было в послании?

Вадим достал из кармана смятый листок и, не оборачиваясь, протянул через плечо.

— Я немного подредактировал, — сказал он. — Перевод карандашом между строчек.

Антон взял листок и стал читать вполголоса.

— «Лучезарному колесу в золотых мехах, носителю грозной стрелы, слуге под самым седалищем Великого и могучего утеса, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, к ступне повергает это донесение ничтожный стражник из рода вихрей, носитель отличного меча. Доношу первое: большая машина «воин-купол» пришла в движение от пальца в отверстии пятом и от пальца в отверстии сорок седьмом, и движение было неодолимое, быстрое и прямое. Доношу второе: явились на небывалой машине трое, не знающие речи, не носящие оружия, не понимающие установление и желающие странного. Не зная их сущности, пребываю в ожидании высоких приказаний. Доношу третье: уголь кончается, а топить мертвецами по вашему милостивому слову мы за невежеством и недоумием не умеем. При сем прилагаю: первое — чертеж большой машины «воин-купол» и второе — образцы материй, приклеенные неизвестными людьми к ранам преступников». Да, здесь ничего нового, — сказал Антон.

— Феодализм чистой воды, — произнес

Саул. — Не особенно церемоньтесь с ними, не то как раз сядете на копыя.

Да, церемониться неохота, подумал Вадим. И, конечно, не из-за копий. Пленник вдруг заерзал на месте и грубым низким басом заискивающе попросил:

— Ринга...

— Сэнту! — визгливо крикнул Вадим.

Пленник замер.

— Опять варенья просит, — сказал Вадим.

— Потерпит, — сказал Саул. — «Жрать и пить, морду бить...»

— Ничего, — сказал Вадим. — Он у нас еще захочет странного.

— Вадим, — попросил Антон, — дай-ка пару кристаллов. Я хочу поговорить с ним.

— В кармашке справа, — сказал Вадим, не обращаясь.

— Слушай, Хайра, — сказал Антон. — Если мы тебя вернем в поселок, отпустит твой начальник освобожденных, которые защищали тебя?

— Да, — быстро сказал Хайра. — А вы меня вернете в поселок?

— Конечно, вернем, — сказал Антон. — Не убивать же тебя.

Вадим посмотрел через плечо. Хайра приосанился.

— Начальник строг, — произнес он. — Начальник, может быть, не отпустит их и пошлет обратно в котлован. Но вы можете надеяться на милость. Возможно, он даже отпустит вас, если вы дадите ему ценные подарки. У вас есть ценные подарки?

— Есть, — рассеянно сказал Антон. — У нас все есть.

— Что он говорит? — проворчал Саул. — Вадим, где мои кристаллы? А, вот они...

— Может быть, действительно придется выкупить их, — проговорил Антон задумчиво. — Не устраивать же драку... Мне этого совсем не хочется.

Хайра заговорил снова, и голос его был тверд и визглив.

— А мне вы дадите вот эту куртку, — он ткнул

пальцем в куртку Саула. — И этот ящик, — он показал на анализатор. — И все варенье. Все равно у вас все отберут перед тем, как отправить в хижины. Вы правильно решили — не устраивать драку. Наши копыя остры и зазубрены, и при обратном движении они извлекают из врага внутренности. И еще я возьму вот эту обувь. И вот эту тоже. Ибо все между землей и небом принадлежит Великому и могучему... И это я тоже возьму.

Хайра замолчал озабоченно. Вадим, развлекаясь от души, оглянулся. Антон сосредоточенно смотрел в окно — видимо, он не слушал. Хайра сидел на полу, скрестив ноги, и осматривал его ботинки. Саул смотрел на Хайру, придерживая у виска один из кристаллов. На лице его было бешенство. Поймав взгляд Вадима, он нехорошо улыбнулся. Хайра наставительно сказал:

— Когда вас будут раздевать, не забудьте сказать, что это, — он показал пальцем, — это и это — мое. Я первый.

— Молчать, — тихо сказал Саул.

— Молчи сам, — с достоинством сказал Хайра. — Или мы забудем тебя насмерть палками.

— Саул, — сказал Антон. — Перестаньте. Что вы как ребенок...

— Да, он не умен, — сказал Хайра. — Но куртка его хороша.

А ведь он действительно уверен, что мы в его власти, подумал Вадим. Он уже видит это — как нас раздевают и сталкивают в котлован, и мы спим на земляном полу, покрытом нечистотами, и всегда молчим, а он гонит нас босых по снегу, колет копьем, бьет по лицу, чтобы не отставали. А вокруг люди, которые думают только о себе, которые мечтают только о том, чтобы попасть пальцем именно в ту дырку, которая приведет машину в движение, и тогда их, радостных и ликующих, запрягут в сани и погонят по снегу навстречу свободе, босиком, через заснеженные холмы, под седалище Великого и могучего... У Вадима круги пошли перед глазами от боли — так крепко он закусил губу. Я бы им устроил праздничек,

подумал он с ненавистью. Это было странное чувство — ненависть. От него холодело внутри и напрягались все мускулы. Он никогда раньше не испытывал ненависти к людям. Он услышал, как Саул страшно сопит у него за спиной. Хайра мурлыкал песенку.

Внизу показался грязный котлован. На дне его в беспорядке сгрудились машины, нелепые и дикие орудия унижения и смерти. Эх вы, пришельцы, подумал Вадим. Впрочем, что с вас взять! Вы ведь даже не гуманоиды. Вода с неба... Варенье...

Он снизился и, тормозя, пошел вдоль улицы прямо к домику охраны. Хайра, узнав родные места, разразился радостными воплями, которые не брал даже мощный анализатор.

Перед домиком было полно народу. В зеленоватом свете зари мерцал снег. На снегу, сбившись в кучку, жалкие, голые, стояли, опустив головы, два десятка бывших освобожденных. Вокруг них, опираясь на копыя, расставив ноги, стояли стражники в шубах. На крыльце возвышался носитель отличного меча. Отличный меч он держал перед собой и, повернув оттопыренное ухо к мечу, водил по острию большим пальцем. Потом он заметил снижающийся глайдер и замер, раскрыв черную пасть.

Вадим посадил глайдер прямо перед крыльцом. Он распахнул фонарь и крикнул:

— Кайра-мэ сорината-му! Татимата-нэ кори-су!

Он выбрался из-за руля, сгреб носителя копыя из рода холмов в охапку и поставил его на ступеньки крыльца. Начальник опустил меч и с отчетливым хрустом захлопнул рот. Хайра согнулся и мелкими шажками проворно подбежал к нему.

— Почему ты еще не убит? — изумленно спросил начальник.

Хайра, сложив руки перед грудью, быстро и бабовито заворковал:

— Случилось, что должно было случиться! Я рассказал им о величии и мощи Великого и могучего утеса, сверкающего боя, с одной ногой на небе, живущего, пока не исчезнут машины, и они в страхе пустили воду. Они накормили меня вкусной пищей и

говорили со мной, как покорные. И они явились сюда, чтобы склониться перед тобой.

Копейщики почтительно сплотились у крыльца. Только два десятка голых стояли на месте, покорно ожидая своей участи. Начальник важно и медлительно вложил меч в ножны. Он больше не смотрел на глайдер. Он принялся равнодушно и неторопливо расспрашивать Хайру.

— Где они живут?

— У них большой дом на равнине. Очень теплый.

— Где они взяли эту машину?

— Не знаю. Наверное, на дороге.

— Ты должен был сказать им, что все небо и вся земля принадлежат Великому и могучему утесу.

— Я сказал им. Но их обувь, и одна куртка, и блестящий ящик принадлежат мне. Не забудь этого потом, светлый и сильный.

— Ты дурак, — сказал начальник презрительно. — Все принадлежит Великому и могучему утесу. А ты получишь то, что тебе достанется. Где послание?

— Они отобрали, — разочарованно сказал Хайра.

— Ты дурак еще раз. Это будет стоить тебе кожи. Хайра увял. Начальник посмотрел куда-то в пространство между Вадимом и Антоном и произнес:

— Пусть они покажут свою обувь.

Саул зарычал и полез к борту.

— Тихо, тихо, — сказал Антон.

Начальник меланхолически высморкался на крыльцо.

— А какую еду ел ты? — спросил он.

— Варенье. Это не совсем варенье, но оно сладкое и радует язык.

Начальник слегка оживился.

— А у них много этого варенья?

— Очень много! — с энтузиазмом вскричал Хайра. — Но не приказывай бить меня.

— Я решил, — сказал начальник. — Пусть они отправляются домой и принесут к моим ногам все варенье. И всю другую еду. У них нет угля?

Хайра вопросительно посмотрел на Антона. Антон резко сказал:

— Потребуй у него свободы этим преступникам!

— Что он говорит? — спросил начальник.

— Он просит, чтобы ты не убивал этих преступников.

— А как ты понимаешь его речь?

Хайра указал обеими руками на рожки мнемокристаллов у себя на висках.

— Если приставить это к голове, то ты слышишь чужую речь, а понимаешь ее как свою.

— Дай сюда, — потребовал начальник. — Это тоже принадлежит Великому и могучему утесу.

Он отобрал у Хайры мнемокристаллы и после нескольких неудачных попыток пристроил их у себя на лбу. Антон сейчас же сказал:

— Немедленно отпусти этих людей, заслуживших свободу.

Начальник с удивлением посмотрел на него.

— Ты не можешь говорить так, — сказал он. — Я прощаю тебя потому, что ты низкий и не знаешь слов. Ступай. И принеси также письмо и чертеж. — Он повернулся к копейщикам, которые почтительно ему внимали, и заорал: — Ну что вы тут стали, труполюбы? Нечего вам обнюхивать их штаны! Штаны всех людей, кто разговаривает со мной, воняют одинаково. За работу! Гоните эту падаль в котлован. Гей! Гей!

Копейщики загоготали и трусцой побежали по улице, гоня перед собой бывших освобожденных. Начальник дружелюбно хлопнул Хайру по уху и приказал ему убираться. Хайра, шатнувшись от удара, юркнул в дверь. Оставшись один, начальник посмотрел на небо, посмотрел на хижины, протяжно, с прискуливанием зевнул, посмотрел на глайдер, лениво отхаркался и, глядя в сторону, сказал скучающим голосом:

— Делайте, как я указал. Возвращайтесь в свой дом, принесите мне сюда все варенье и всю другую еду и идите в котлован, если хотите жить.

Вадим смотрел на эту громадную грязную фигуру и испытывал странную слабость во всех членах. У него было такое ощущение, как будто он во сне

пытается взобраться на скользкую отвесную стену. Антон пробормотал рядом:

— Смотри, Димка, смотри хорошенько. Это тебе не мальчишка Хайра.

— Не могу, — странным бесцветным голосом сказал Саул. — Я его сейчас удавлю.

— Ни в коем случае, — сказал Антон.

Начальник гаркнул в открытую дверь:

— Зажарь мне мяса, Хайра, труполоуб! И согрей ложе! Я сегодня весел. — Потом он встал к глайдеру боком и, глядя на горы, заговорил, подняв грязный указательный палец: — Сейчас вы еще неразумны и окаменели от страха. Но вам надлежит знать, что впредь, разговаривая со мной, вы должны согнуться в пояснице и прижать ладони к груди. И не смотреть на меня, потому что вы низкие и взор ваш нечист. Сегодня я вас прощаю, а завтра прикажу избить дровками копий. И еще вы должны помнить, что самая высокая добродетель состоит в повиновении и молчании. — Он сунул указательный палец в пасть и стал копать в зубах. Речь его стала невнятной. — Когда вы вернетесь сюда с вареньем, письмом и чертежом, вы разденетесь и оставите все на крыльце. Я не выйду к вам. Потом пойдите в хижины и обдерите там рубахи с мертвецов. Две рубахи брать нельзя. — Он вдруг заржал. — А то вы вспотеете на работе. Можете взять рубахи и с живых, но только с тех, у кого золотые ногти..

В полуоткрытую дверь просунулся Хайра.

— Все готово, светлый и сильный, — сказал он.

Начальник продолжал:

— Ваша судьба будет легка. Великому и могучему утесу нужны люди, умеющие двигать машины. Ибо будет же, наконец, война за земли, которые ему принадлежат! И тогда Великий и могучий утес, — он поднял указательный палец, — сверкающий бой, с ногой на небе и с ногой на земле, живущий, пока не исчезнут машины..

— Гад! — оглушительно рявкнул Саул. Над ухом Вадима тускло блеснул вороненый ствол скорчера.

— Не надо! — крикнул Антон.

Саул оттолкнул Вадима и схватился за руль.

— Не надо? — закричал он. — А что же надо? Терпеть и ждать, пока не исчезнут машины? Хорошо!

Страшный рывок повалил Вадима между сидений. Не закрывая фонаря, Саул бросил глайдер в воздух. Раздался треск, над кабиной пролетело расщепленное бревно. Ледяной ветер завыл в ушах, глайдер круто накренился, и Вадим успел увидеть, что начальник стоит на четвереньках на крыльце, задрав необъятный зад, а крыша дома, вертясь и разваливаясь, падает на середину улицы. Вадим попытался закрыть фонарь. Фонарь не закрывался.

— Саул! — крикнул Вадим. — Сбросьте скорость!

Саул не ответил. Он гнал глайдер над улицей, по которой уже двигались цепочки заключенных, прямо к котловану. Он скрючился, скрывая лицо за маленьким козырьком. Скорчер лежал у него на коленях. Глайдер шел неровными толчками, встречный ветер стремился перевернуть его.

Вадим все пытался одной рукой закрыть фонарь. Другой он придерживал упавший ему на колени ящик анализатора. Саул говорил сквозь зубы:

— Мерзавцы... подлецы... мучители... Машины вам? Будут вам машины!.. Земли воевать? Будут вам земли!..

Вадиму, наконец, удалось вскарабкаться на сиденье, и он огляделся. Глайдер мчался прямо на котлован. Антон, вцепившись в подлокотники, щурясь от ветра, молча смотрел в спину Саула.

— Варенье тебе? — рычал Саул. — Я тебе покажу варенье!.. Сладкую еду... труполобы...

Глайдер взлетел над котлованом. Саул замолчал и, перегнувшись через борт, выпалил из скорчера прямо вниз. Вадим отшатнулся. Ослепительное лиловое пламя выбросилось из котлована, громовой удар рванул уши, и все осталось позади.

Вадим, напрягаясь так, что все у него внутри захрустело, захлопнул, наконец, фонарь. Стало тихо.

— Я им внушу другие понятия о вечности, — сказал Саул и замолчал.

— А может быть, не надо? — робко предложил

Вадим. Он еще не понимал, чего хочет Саул. Ну, что с них взять, думал он. Тупые, невежественные люди. Разве на них можно сердиться по-серьезному?

Глайдер с ревом несся над верхушками холмов, разбрасывая тучи снежной пыли. Саул был очень важным водителем, он подавал на двигатель слишком много энергии, и двигатель работал наполовину вхолостую. Зато за глайдером тянулась плотная стена изморози. Несколько птиц кинулось наперерез и сейчас же пропало в снежном вихре. А позади, над искрящейся мутью, поднимался в небо дымный столб.

— Одно жалко, одно... — снова заговорил Саул. — Как жаль, что нельзя уничтожить одним махом всю тупость и жестокость, не уничтожив при этом человека... Ну, одну-то глупость в этой безмерно глупой стране!..

— Вы летите к шоссе? — спокойно спросил Антон.

— Да. И не пытайтесь остановить меня.

— И не подумаю, — сказал Антон. — Только будьте осторожны.

Теперь Вадим понял и уставился на скорчер. Кажется, начинается такое, подумал он, чего я никогда в жизни не смогу описать... и не смогу понять.

На шоссе все было по-прежнему. Как и вчера, как и сто лет назад, бесшумно, ровными рядами шли машины. Из дыма выходили и уходили в дым. И так могло бы быть вечно. Но вот Саул посадил глайдер в двадцати метрах от полотна, откинул фонарь и положил ствол скорчера на борт.

— Я не терплю ничего вечного, — неожиданно спокойно сказал он и выстрелил.

Первый удар пришелся по громадной черепахообразной машине. Панцирь вспыхнул и разлетелся, как яичная скорлупа, а платформа на одной гусенице завертелась на месте, сшибая и опрокидывая идущие за нею маленькие зеленые кары.

— Нельзя изменить законы истории... — сказал Саул.

С громом запылала огромная черная башня на колесах, а другая такая же башня опрокинулась и загорела часть шоссе.

— ...но можно исправить некоторые исторические ошибки, — продолжал Саул, целясь.

Лиловая молния миллионовольтного разряда лопнула под днищем оранжевой машины, похожей на полевой синтезатор, и она, распадаясь на части, взлетела высоко в воздух.

— ...эти ошибки даже должно исправлять, — приговаривал Саул, непрерывно стреляя. — Феодализм... и без того достаточно... грязен.

Потом он замолчал. Справа росла гряда раскаленных обломков, а слева шоссе опустело — впервые, вероятно, за тысячи лет, — там пробегали только отдельные машины, случайно прорвавшиеся через огненную завесу. Потом пылающая гора распалась с шипением и треском, поднялся высокий столб искр и пепла, и сквозь облака дыма на шоссе хлынули новые ряды машин. Саул зарычал и снова припал к скорчеру. Снова загрелись разряды, запылала, взрываясь, машины, и снова начала расти гряда раскаленных обломков. Черные тяжелые клубы, прорезаемые фонтанами искр, повисли в небе. Из дыма мохнатыми хлопьями падал пепел, и снег вокруг почернел и дымился. У шоссе обнажилась земля.

Вадим сидел, упираясь ногами в ящик анализатора, вздрагивая и шурясь при каждой вспышке. Потом он привык и перестал шуриться. Снова и снова вырастала на шоссе пылающая гора, снова и снова она рассыпалась, разбрасывая горящие обломки, шумно вздыхая волнами нестерпимого жара, а машины все шли и шли неодолимым потоком, равнодушные ко всему этому уничтожению, и не было им конца.

— Наверное, хватит, Саул! — попросил Антон.

Это бесполезно, подумал Вадим. Саул перестал стрелять — кончились заряды — и уронил голову на руки. Горячее дуло скорчера задралось в небо. Вадим поглядел на покрытые копотью голову и руки Саула и ощутил огромную усталость. Не понимаю, подумал он. Все зря. Бедный Саул. Бедный Саул.

— История, — хрипло сказал Саул, не поднимая головы. — Ничего нельзя остановить.

Он выпрямился и посмотрел на ребят.

— Сердце не вытерпело, — сказал он. — Простите меня. Сердце не вытерпело. Я просто не смог. Надо было хоть что-нибудь сделать.

Они сидели и долго глядели на шоссе. Машины ряд за рядом катились своим путем, сталкивая обломки на обочины, сметая пепел, и скоро все стало по-прежнему, только поперек шоссе медленно остывало багровое пятно, чернел испачканный снег вокруг и долго не рассеивалась над головой дымная пелена, сквозь которую, вздрагивая, глядел красный искаженный диск — желтый карлик ЕН 7031.

Саул закрыл глаза и сказал непонятно:

— Это как печи... Если разрушить только печи — построят новые, и все.

Где-то неподалеку раздались знакомые до отвращения жалобные крики. Вадим неохотно повернул голову. На проселке возле шоссе стояла толпа измученных людей в мешковине, и стражники в шубах и с копьями суетились вокруг. Что им здесь надо? — равнодушно подумал Вадим. Стражники древками пик выгнали из толпы какого-то несчастного. Дрожа и оглядываясь, он прошел по черному снегу и вышел на шоссе. Громадная блестящая башня мягко катилась на него. Несчастный с отчаянием посмотрел на стражников. Те проорали что-то про руки. Преступник закрыл глаза и раскинул руки крестом. Машина сшибла его и покатила дальше. Саул поднялся. Скорчер, глухо стукнув, упал на дно кабины.

— Хочу набить им морду, — сказал Саул. Пальцы у него сгибались и разгибались.

Антон поймал его за куртку.

— Честное слово, Саул, — сказал он, — это тоже бесполезно.

— Знаю. — Саул сел. — Вы думаете, я не знаю? Ну, почему я ничего не могу сделать? Почему я ни там, ни здесь ничего не могу сделать?

Стражники вытолкнули на дорогу другого заключенного. Первый так и остался лежать, плоский, как пустой мешок. Второй раскинул руки и встал на пути красной платформы с кубическим ящиком. Платформа снизила скорость и остановилась перед ним

в двух шагах. Стражники закричали. Заключенный поднял руки и, пятась, стал сходить с шоссе. Красная машина, как привязанная, ползла за ним. Она съехала на проселок и тяжело закачалась на колдобинах. Заключенный все пятился и пятился, уводя ее от шоссе к котловану. А по шоссе все шли, шли и шли машины.

— Чепуху я сделал, — горестно сказал Саул. — Ругайте меня. Но все равно начинать здесь нужно с чего-нибудь подобного. Вы сюда вернетесь, я знаю. Так помните, что начинать нужно всегда с того, что сеет сомнение... Ну, что же вы меня не ругаете?

Вадим только судорожно вздохнул, а Антон сказал ласково:

— За что же, Саул? Вы не сделали ничего плохого. Вы сделали только странное.

VIII

— Димка, — сказал Антон, — пойди посмотри, как там Саул.

Вадим поднялся и вышел из рубки. Он спустился в кают-компанию и заглянул к Саулу. На него пахнуло застоявшимся табачным дымом. Саул лежал на диване в той же позе, в которой они уложили его после перехода: вытянув ноги с огромными ступнями; закинувшись, выставив щетинистый кадык. Вадим присел рядом и потрогал его лоб. Лоб горел. Саул несвязно забормотал:

— Сухари... сухари нужны... Что вы ко мне с ножницами?... В портняжной ножницы... не маникюрные же... Я вас о сухарях спрашиваю... а вы мне ножницы... — Он вдруг сильно вздрогнул и прохрипел: — Цум бефаль, господин блоковый... Никак нет, бьем вшей...

Вадим погладил его по бессильной руке. На Саула было тяжело смотреть. Всегда тяжело видеть сильного, уверенного человека в таком беспомощном состоянии. Саул медленно открыл глаза.

— А... — проговорил он, — Вадим... Димочка... Ты ничего не думай... На допрос всегда противно смотреть... Ты не думай обо мне плохо... Я вернусь...

Это была просто слабость... А теперь я отдохнул немножко и вернулся...

Глаза его снова стали закатываться. Вадим с жалостью глядел на него.

— Опять горим... — забормотал Саул. — Как дрова горим. Степанов горит! Да в рошу же, в рошу!..

Вадим вздохнул и поднялся. Он оглядел каюту. Беспорядок здесь был страшный. На полу валялся, вывернув внутренности, нелепый портфель. Содержимое было разбросано — странные серые картонные чехлы, набитые бумагой, украшенные стилизованным изображением какой-то птицы с раскинутыми крыльями. Один из чехлов раскрылся, и бумаги рассыпались по всей каюте. На столике тоже лежали бумаги. Вадим хотел было прибрать, но заметил, что Саул заснул. Тогда он на цыпочках вышел и прикрыл за собой дверь.

Антон сидел за пультом, положив пальцы на контакты, и задумчиво глядел на обзорный экран. По экрану медленно проползали вершины сосен, далекие сияющие этажи домов, красные огоньки энергоприемников.

— Плохо ему, — сказал Вадим. — Бредит. Сейчас, правда, заснул.

Он присел на подлокотник и уставился на стену, разрисованную изображениями человеческих фигурок и предметов.

— Вот стену я напрасно испачкал, — проговорил он. — Надо было у Саула попросить бумаги. У него, оказывается, полный портфель бумаги. Между прочим, Хайра до икоты испугался, когда я стал рисовать...

— Ты знаешь, Димка, — сказал Антон задумчиво, — Саул, конечно, человек странный. Но чтобы у взрослого дяди не было прививки биоблокады... — он покачал головой.

— Ты хоть представляешь, чем он болен?

— Я тебе уже говорил — не представляю. Заразился чем-нибудь от Хайры...

Вадим представил себе, чем можно заразиться от Хайры, поморщился и сполз в кресло.

— Мне Саул нравится, — объявил он. — Он чу-
дак с точкой зрения. И он восхитительно загадочен.
Никогда в жизни я не слышал такого загадочного
брета.

— А сколько раз ты вообще слышал бред?

— Это несущественно. Я читал. Между прочим, он
сказал, что его бегство с Земли было просто сла-
бостью. Теперь, говорит, я отдохнул немного и вер-
нусь. Я рад за него, Тошка.

— Это он тебе в бреду говорил?

— Нет. У него было прояснение. — Вадим посмот-
рел на экран. «Корабль» плыл над Хибинами. — Как
ты думаешь, сколько времени прошло?

— Тысяча лет, — сказал Антон.

Вадим усмехнулся.

— На редкость содержательный отпуск. Здорово
мы там, верно? — блаженно улыбаясь, он стал вспо-
минать героические эпизоды; репетируя завтрашнее
выступление перед Нели и Самсоном. Самсон зачах-
нет безо всяких черепов: я покажу ему шрам.

— Жаль, — сказал он вслух.

— Что?

— Жаль, что он ударил меня в бок. Надо было по
лицу. Представляешь? Шрам от левого виска и через
глаз до подбородка!

Антон посмотрел на него.

— Знаешь, Димка, — сказал он, — я к тебе, ка-
жется, никогда не привыкну.

— А ты не беспокойся, Антон. Ты тоже был ни-
чего. Мямлил, правда. Я расскажу Галке, что ты здо-
рово командуешь.

Антон скривился.

— Нет уж, ты лучше ничего не рассказывай. —
Он помолчал. — Здорово мямлил?

— По-моему, да.

— Понимаешь, ничего не мог с собой поделатъ.
Никогда мне еще не приходилось так туго. Всякое
бывало, но вот такой ситуации, Димка, когда нужно
что-то делать и абсолютно ничего нельзя сделать,
когда вот так нужно что-то улучшить и знаешь, что
сделать можно только хуже... Мямлил, конечно.

Вадим рассматривал Хибины.

— А командовал ты всё-таки хорошо. Любопытно было видеть тебя в таком амплуа... Послушай, а Хайра-то лежит сейчас на своих вонючих шкурах и думает: какие были ботинки, ни у кого таких нет! Антон, дружище, а ты не можешь побыстрее?

— Не могу. Здесь нельзя быстрее.

— Мало ли чего нельзя... Давай я поведу.

— Нет уж, — сказал Антон. — И так вся эта эскапада будет стоять мне пилотского права.

— А что ты сделал?

— Да уж сделал... Уверяю тебя, второй раз на Саулу я полечу уже не классным звездолетчиком, а плохим врачом-энтузиастом.

Вадим удивился. А что мы сделали? Делали все, что могли, и все, что должны были делать. Как же иначе? Нас было-то всего трое. Будь нас человек двадцать, мы бы просто разоружили охрану, и конец делу. Во всяком случае, ругать нас не за что. Нехорошо, правда, получилось с теми ребятами, которые везли Хайру. Но откуда нам было знать? Да нет, что там говорить, разведку мы провели отлично. С честью. Теперь надо засучить рукава и собирать ребят. Сначала — комитет. Ну, я, Антон, несомненно. Саула я уломаю. Без Саула нельзя: нужен скептик. И человек он боевой и решительный, весь в двадцатом веке. Потом Самсон. Отличный инженер, при всей его ядовитости. Нели, артистка, пусть пленяет. Гриша Барабанов необходим: во-первых, он сам учитель, во-вторых, он знает бездну других учителей, судя по всему, людей настоящих... Врач! Врач нужен... Не может быть, чтобы в бездне учителей не нашлось ни одного врача. И охотников нужно. Вот что нужно так нужно. Выбить клювастых птичек-самсончиков. Вадим хихикнул. А потом мы всем комитетом выступим перед Землей, бросим клич...

У Вадима сладостно замерло сердце, когда он представил себе весь размах этой новой ослепительной затеи. Эскадры рейсовых Д-звездолетов, битком набитых удалыми добровольцами, синтезаторами, медикаментами... целые тонны эмбриомеханических

яиц, из которых в полчаса вырастут дома, глайдеры, синоптические установки... и двадцать тысяч, тридцать тысяч, сто тысяч новых знакомств!

— Весь космофлот в разгоне, — сказал Антон.

— Что?

— Я говорю, весь космофлот в разгоне. Я прикинул: для начала нужно по крайней мере десяток рейсовых «призраков», а их всего пятьдесят четыре, и все сейчас у ЕН 117 для броска за Слепое Пятно.

— Построим новые, — решил Вадим.

Антон покосился на него.

— Опять у тебя в голове сверкающая каша... Ты, Димка, имей в виду, что на Саулу тебя скорее всего больше не пустят.

— Как это так — не пустят?

— Очень просто. Там нужны не двадцатилетние рубаки, а профессионалы в самом серьезном смысле слова. Я вот представить себе не могу, чтобы столько настоящих профессионалов можно было оторвать от Планеты. И это еще полбеды.

— Ну-ну, — поощрил Вадим. — А вторая половина?

— А вторая половина, голубчик ты мой... — Антон вздохнул: — Существует уже два века такая незаметная организация — Комиссия по контактам. И что для нее характерно: во-первых, без ее разрешения ни один звездолетчик не сядет в кресло пилота, а во-вторых, в ее составе нет ни одного рубаки, а люди все, как на подбор, серьезные, умные и видящие последствия.

Антон говорил серьезно, но Вадим все-таки спросил его:

— Ты что, серьезно?

— Совершенно серьезно. — Антон пробежал пальцами по контактам и сказал: — Дать тебе, что ли, снизиться в утешение... Нет, не дам. Хватит с меня мертвецов.

«Корабль» мягко и бесшумно опустился на поляне почти на том же месте, откуда взлетел тридцать девять часов назад. Антон выключил двигатель и немного посидел, ласково глядя рукой пульт.

— Значит, так, — сказал он. — Сначала — Саул.

Вадим, надувшись, смотрел перед собой. Антон включил бортовой радиодинамик и настроился на волну скорой помощи.

— Пункт одиннадцать-одиннадцать, — сказал спокойный женский голос.

— Требуется врач-эпидемиолог, — попросил Антон. — Заболел человек, вернувшийся с новой планеты земного типа.

Некоторое время приемник молчал. Затем голос удивленно переспросил:

— Простите, как вы сказали?

— Видите ли, — объяснил Антон, — у него не была привита биоблокада.

— Странно. Хорошо... Ваш пеленг?

— Даю.

— Благодарю, приняла. Ждите через десять минут.

Антон поглядел на Вадима.

— Не дуйся, структуральнейший, обойдется. Пойдем к Саулу.

Вадим медленно выбрался из кресла. Они сошли в зал и сразу увидели, что дверь в каюту Саула открыта. Саула в каюте не было. Не было и его портфеля и бумаг, а на столике лежал скорчер.

— Где же он? — спросил Антон.

Вадим бросился к выходу. Люк был вскрыт, снаружи стояла теплая звездная ночь. Громко кричали цикады.

— Саул! — позвал Вадим.

Никто не отозвался. Вадим в растерянности сделал несколько шагов по мягкой траве. «Куда же он ушел, большой?» — подумал он и снова крикнул:

— Саул!

И снова никто не отозвался. Налетел теплый ветерок и нежно погладил Вадима по лицу.

— Димка, — негромко позвал Антон, — пооди сюда...

Вадим вернулся к освещенному люку. Антон протянул ему листок бумаги.

— Саул оставил записку, — сказал он. — Положил под скорчер.

Это был обрывок грубой серой бумаги, захватанный грязными пальцами. Вадим прочел:

«Дорогие мальчики! Простите меня за обман. Я не историк. Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы возвращайтесь на Саулу и делайте свое дело, а я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма. Иду. Прощайте. Ваш С. Репнин».

— Слушай, он совсем больной, — сказал Вадим растерянно. — Бежим его искать!

— Посмотри на обороте, — сказал Антон.

Вадим перевернул листок. На обороте большими корявыми буквами было написано:

*«Господину рапортфюреру обер-
шарфюреру СС господину Вирту
от блокфризер шестого блока заклю-
ченного № 658617*

Донесение.

Настоящим доношу, что по собранным мною наблюдениям заключенный № 819360 не является уголовным по кличке «Саул», а есть бывший бронетанковый командир Красной Армии Савел Петрович Репнин, взятый в плен немецкой армией еще под Ржевом в бессознательном состоянии. Указанный № 819360 есть скрытый коммунист и, безусловно, вредный для порядка человек. Он мною уличен, что готовит побег и участвует в той группе, про которую я Вам доносил в донесении от июля сего 1943. И еще настоящим доношу, что они готовятся...»

На этом текст обрывался. Вадим уставился на Антона.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я тоже, — тихо сказал Антон.

Яркий свет упал на поляну. Над «Кораблем» медленно снижался санитарный «Огонек».

— Объясняйся с врачом, — сказал Антон с неоп-

ределенной усмешкой, — а я пойду и свяжусь с Советом.

— Что же я ему объясню? — пробормотал Вадим, глядя на клочок бумаги.

Заключенный № 819360 лежал ничком, уткнувшись лицом в липкую грязь, у обочины шоссе. Правая рука его еще цеплялась за рукоятку «шмайссера».

— Кажется, готов, — с сожалением сказал Эрнст Брандт. Он был еще бледен. — Мой бог, стекла так и брызнули мне в лицо...

— Этот мерзавец подстерегал нас, — сказал оберштурмфюрер Дейбель.

Они оглянулись на шоссе. Поперек шоссе стоял размалеванный камуфляжной краской вездеход. Ветровое стекло его было разбито, с переднего сиденья, зацепившись шинелью, свисал убитый водитель. Двое солдат волокли под мышки раненого. Раненый громко вскрикивал.

— Это, наверное, один из тех, что убили Рудольфа, — сказал Эрнст. Он уперся сапогом в плечо трупа и перевернул его на спину.

— Крайцхагельдоннерветтернохайнмаль, — сказал он. — Это же портфель Рудольфа!

Дейбель, перекосив жирное лицо, нагнулся, оттопырив необъятный зад. Дряблые щеки его затряслись.

— Да, это его портфель, — пробормотал он. — Бедный Рудольф! Вырваться из-под Москвы и погибнуть от пули вшивого заключенного...

Он выпрямился и посмотрел на Эрнста. У Эрнста Брандта было румяное глупое лицо и блестящие черные глаза. Дейбель отвернулся.

— Возьми портфель, — буркнул он и горестно уставился вдаль, где над лесом торчали толстые трубы лагерных печей, из которых валил отвратительный жирный дым.

А заключенный № 819360 широко открытыми мертвыми глазами глядел в низкое серое небо.

ПОДВИГ

1

Все началось совершенно неожиданно. Олла пришла очень взволнованная, с фототелеграммой в руках.

— Я немедленно возвращаюсь в Москву. Плазмин отправляется через сорок минут. Через час мне нужно встретиться с Корио.

Я удивился. Наш отпуск только начался, а что касается Корио, то он сам должен был прибыть на берег моря со дня на день.

— Что такое стряслось? — спросил я сестру.

— А вот послушай. «Любимая Олла, мне очень нужно с тобой повидаться. В моем распоряжении только сутки. Сегодня в двадцать два часа решается моя судьба. Корио».

— Это звучит, как в старых приключенческих романах, — сказал я.

Корио — мой друг и возлюбленный Оллы. Я знаю его много лет как очень умного и уравновешенного человека. Его работы по микроструктуре энергетических полей сделали его имя известным среди ученых всей планеты. Год назад Корио получил Почетную грамоту Народов Земли второй степени и звание Ученого первого класса. Это совпало с его замечательной победой в чемпионате по игре в шахматы на стоклеточной доске.

В скупых строках фототелеграммы я уловил нотки скрытой тревоги. Олла чувствовала тревогу значительно острее, чем я. Она торопливо начала складывать свои вещи в пакет.

— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких на то оснований. Если с ним все благополучно, я сегодня же вернусь, — сказала Олла. — Если же нет...

— Что ты, милая! — воскликнул я, беря сестру за руки. — Что может с ним случиться? Болезнь? Опасность? Ну, что еще там? Я себе просто не представляю, что в наше время может случиться с человеком. Был бы он космонавтом или ракетчиком-испытателем... Он ведь физик-теоретик.

— Корио не пошлет такую телеграмму без всяких оснований, — повторила Олла упорно. — До свидания, милый Авро!

Она подошла ко мне и поцеловала меня в лоб.

— До свидания. От меня пожми руку Корио. И еще — позвони мне вечером. Было бы хорошо, если бы у видеотелефона с тобой был и Корио.

Олла улыбнулась и покинула комнату. С террасы я помахал ей рукой. Через несколько минут от Южной станции, прямо через горы умчался монорельсовый электровоз. В нем Олла отправилась на аэродром.

После обеда я не пошел отдыхать в эрарий, а спустился на набережную посмотреть на море. Набережная была пустынна, только несколько любителей морского прибое сидели с полузакрытыми глазами и слушали, как о бетонные стены разбиваются волны. Над морем висела сероватая дымка, сквозь которую солнце казалось оранжевым. Было очень жарко и влажно. У гранитного спуска к воде я посмотрел на гигантские термометр и гигрометр. Двадцать девять по Цельсию и восемьдесят процентов влажности. Если бы не одежда из гидрофобного материала, люди чувствовали бы себя погруженными в теплую ванну.

Я долго стоял у двух колонн из стекла, которые одновременно являлись измерительными приборами и украшением лестницы к морю. Архитектору, соз-

давшему этот ансамбль, удалось соединить воедино целесообразность и красоту.

— Если так будет продолжаться, я отсюда уеду, — услышал я голос сзади.

— А, старый ворчун Онкс! Что тебе здесь не нравится?

Это был мой друг, Онкс Филитов. Ему никогда ничего не нравится. Его специальность — ворчать и во всем выискивать недостатки. Недаром он член критического совета Центрального промышленного управления.

— Мне не нравится вот это. — Он показал пальцем на измерительные приборы.

— А по-моему, недурно. Архитектор, безусловно, малый с фантазией.

— Я о другом. Мне не нравятся показания приборов. Не знаю, как ты, а я жару переношу неважно. Особенно когда воздух больше чем наполовину состоит из водяных паров.

Я рассмеялся.

— Ну, тогда тебе нужно ехать отдыхать на север, например в Гренландию.

Онкс поморщился. Не говоря ни слова, он протянул мне бюллетень Института погоды.

— Вот, читай про Гренландию...

Я прочитал:

«Пятое января. Восточное побережье Гренландии — +10...»

— Чудесно! Скоро там зацветут магнолии!

— Не знаю, зацветут ли. Только на памяти человечества такого еще не бывало.

Продолжая что-то бормотать, Онкс побрел вдоль набережной, то и дело вытирая платком потную шею.

В пять часов я сдал в электронный профилакторий данные о своем самочувствии — кровяное давление, газообмен, температура, электрокардиография и так далее — и, вместо того чтобы смотреть в телевизионном театре спортивную передачу из Нью-Йорка, возвратился в свою комнату и уселся у видеотелефона. Олла была в Москве уже шесть часов и должна была вот-вот сообщить мне все о Корио.

Глядя на матовый экран прибора, я почему-то волновался.

Так я просидел до ужина, не дождавшись вызова из Москвы.

В столовой ко мне подошла Анна Шахтаева, мой лечащий врач.

— У вас немного повысилось кровяное давление и частит сердце. Примите вот это, — она протянула мне таблетку. — Ложась спать, не забудьте включить кондиционер.

Я посмотрел на нее с удивлением.

— Ничего страшного, — сказала она, улыбаясь. — Это почти у всех. Из-за погоды.

— Жарко, — сказал я смущенно и почему-то вспомнил Онкса.

— Да. И влажно...

Олла позвонила мне только в двадцать три часа, когда я начал дремать.

— Что случилось? — воскликнул я, всматриваясь в лицо сестры. Оно было каким-то странным и чужим. — Что случилось, Олла? Где Корио?

Олла жалко улыбнулась. Я видел, как дрожали ее губы.

— Ты плачешь, милая? Ты плачешь? — закричал я.

Я никогда не видел свою сестру плачущей. Никогда. Только в те времена, когда она была совсем-совсем маленькой. Это было невероятно! Я вообще никогда не видел плачущих людей!

Олла отрицательно покачала головой.

— Нет, ты плачешь! Немедленно говори, что случилось!

— Только что я почти попрощалась с Корио, — наконец сказала Олла шепотом.

— Он?..

Я хотел сказать «он умер», но сестра опередила меня.

— Нет, он жив и чувствует себя прекрасно...

— Он тебя не любит? Он тебя больше не любит?

Олла опустила голову и странно улыбнулась.

— Это все так непонятно... Я ничего не понимаю в том, что произошло...

У меня перехватило дыхание. Если бы Олла была рядом со мной! Но она была от меня на расстоянии полторы тысячи километров, и я мог лишь беспомощно наблюдать, как она страдала.

— Милая моя. Я тебя умоляю, расскажи все по порядку. Я должен тебе помочь. Тебе все должны помочь.

— Мне никто не сможет помочь. Никто.

Олла отбросила прядь волос со лба и, сжав зубы, процедила:

— Скоро Корио не будет...

Я ухватился за металлическую раму экрана.

— Ведь ты же сказала, что он жив и чувствует себя хорошо...

— Да... Но...

Я видел, как сестра не выдержала, слезы брызнули из ее глаз, и, закрыв лицо ладонями, она исчезла из поля зрения видеотелефона. Я продолжал звать ее, кричал в трубку, грозился пожаловаться на операторов, пока, наконец, на экране не появилось строгое лицо молодой девушки, которая сказала:

— С вашим корреспондентом очень плохо. Она не в состоянии продолжать беседу. Ее увели в лабораторию первой медицинской помощи. Эмоциональный срыв, — добавила девушка грустно, и экран погас.

По местному телефону мне сообщили, что первый плазмодин отправляется в Москву завтра в пять утра.

2

Поднимаясь по трапу в самолет с плазменным двигателем, я нечаянно толкнул локтем пассажира, шедшего впереди меня. Он обернулся, и я узнал Онкса Филитова.

— Решил покинуть юг? — спросил я безразлично, думая совсем о другом.

— Как бы не так, — проворчал старик. — Получил телефонограмму срочно выехать в Совет.

— Появилась необходимость что-нибудь или кого-нибудь срочно раскритиковать? — почти с раздражением спросил я. На душе у меня было очень плохо.

— Что-то важное. Ты ведь знаешь, по пустякам из отпуска не вызывают.

Когда мы заняли места рядом, Онкс наклонился ко мне и прошептал:

— Я, кажется, догадываюсь, в чем дело.

— Ну?

— В этой проклятой погоде. Перед отъездом из Москвы у нас в совете говорили о том, что началось интенсивное таяние льдов в Антарктиде и Гренландии.

Я вопросительно посмотрел на Филитова.

— Это грозит большими бедствиями. Представляешь, что будет, если уровень воды в океане поднимется метра на четыре?

— Для этого нужно, чтобы растаяли все льды Гренландии и Антарктики.

— А если они действительно растают?

— Не вижу оснований, — возразил я, поудобнее усаживаясь в кресле.

Вначале заревели обычные реактивные моторы, а когда самолет поднялся на высоту около двадцати тысяч метров, были включены плазменные двигатели, и в салоне установилась тишина, рассекаемая еле уловимым свистом мощного потока ионизированного газа.

Я то и дело поглядывал на ручной хронометр, и мне казалось, что машина приближается к Москве слишком медленно. Внизу, на необъятных просторах, земля была не белой, как обычно зимой, а грязно-серой. Таял снег, таял в январе. А над плазмодином простиралась пурпурная бездна, пронизываемая оранжевыми полосами из-за горизонта, где поднималось солнце.

Я так и не успел попрощаться с Онксом на аэродроме. Одним из первых мне удалось вскочить в монорельсовый электровоз, который тут же помчался к центру Москвы.

Я удивился, когда обнаружил, что моя квартира заперта. Дома никого не было.

Я очень удивился, когда соседи сообщили мне, что Олла ушла на работу. Значит, она не могла остаться одна. Отпуск превратился для нее в муку, и она решила вернуться к своей химии физиологически-активных полимеров...

Я застал ее в лаборатории, в белом халате, сосредоточенно рассматривающей окраску какой-то жидкости в пробирке. Она нисколько не удивилась моему появлению. Глотнув из стакана какую-то жидкость, наверное лекарство, она произнесла спокойным бесцветным голосом:

— Случилось большое несчастье, Авро... Несчастье, которое грозит всем нам, всем людям на Земле большими бедствиями...

Она встала и подошла к стеллажу с книгами.

— Вот смотри, — протянула она мне листок бумаги, на которой были нарисованы четыре линии — красная, синяя, зеленая и желтая. — Это мне оставил Корио. Он сказал, что ты все поймешь. Красная линия показывает рост среднеземной температуры по дням. Синяя — рост влажности в атмосфере. Зеленая — интенсивность ультрафиолетового излучения Солнца. Желтая — интенсивность инфракрасного излучения. Смотри, как круто кривые ползут вверх. С каждым днем активность Солнца возрастает...

Я посмотрел на кривые. На горизонтальной оси было отложено девяносто интервалов, соответствующих девяноста дням. На вертикальной оси были показаны результаты измерений температуры, влажности и интенсивности радиации. За последние три месяца кривые круто поднялись вверх. Я с удивлением взглянул на Оллу.

— Ты сам должен понять, что случится, если так будет продолжаться.

Я кивнул и затем спросил:

— А при чем здесь Корио?

— Не торопись. Научные сотрудники из Центральной службы Солнца установили, что так будет продолжаться в течение года. За январь месяц ак-

тивность Солнца увеличится еще в два раза. Начнется невиданное в истории человечества стихийное бедствие. Начнут испаряться океаны, таять льды, Земля будет окутана плотной пеленой из водяных паров, сквозь которые будут проникать лишь тепловые лучи, создавая на поверхности невыносимые для всего земного температурные условия... Будут затоплены города, порты, океаны вырвутся на просторы равнин...

Олла склонилась над микроскопом и на мгновение умолкла.

— Трудно себе представить, — прошептала она, — какие будут жертвы... Смогут ли люди все это перенести... Еще никто не знает, какие меры следует предпринять. Надвигающееся бедствие застало человечество врасплох.

Я облизал пересохшие губы и хотел было спросить, какое отношение ко всему этому имеет Корио, но теперь, перед лицом картины, которую мне нарисовала Олла, вопрос показался мне и ненужным и ничтожным.

— А что известно о причинах повышения активности Солнца?

— В своем движении во вселенной Солнце и вся наша планетная система попали в густое облако водорода. Яркость Солнца возрастает с каждым днем. По данным спектрального анализа, мы пересечем область максимальной плотности водорода через четыре месяца...

Мне стало жарко, я подошел к окну. Впервые за свою жизнь я посмотрел на Солнце с ненавистью. Утреннее, оранжевое, оно казалось зловещим.

— Я уверен, что наши ученые что-нибудь придумают.

— Я тоже уверена. Особенно в отношении Корио. Но я его так люблю...

Я ничего не понимал.

— Милая Олла! Очень хорошо, что Корио решил работать над проблемой обеспечения безопасности людей от надвигающейся катастрофы. Ты еще

больше будешь гордиться своим любимым, своим мужем, а я своим другом.

В этот момент дверь лаборатории отворилась, и в ней появился Корио. Не обращая на меня внимания, он бросился к Олле. Я отошел к окну и снова стал смотреть на Солнце. Как все перепуталось всего за несколько часов. Нехорошее чувство неприязни к моему другу шевельнулось в моем сердце. Что бы там ни было, но к страданиям Оллы он имел какое-то отношение.

Я резко повернулся к ним и грубо спросил:

— Объясните, что происходит.

Корио поднялся с дивана и протянул мне обе руки.

— Здравствуй, Авро.

— Здравствуй. Что у вас здесь происходит?

Я заметил, что лицо его было усталое, глаза ввалились.

— Я ничего толком не могу добиться от сестры, — сказал я мягче. — Она рассказала мне все про надвигающуюся катастрофу... Ну, а вы... ты здесь при чем?

— Дело в том, что... как бы тебе сказать... я согласился работать в теоретической группе, которая будет разрабатывать меры и средства для предотвращения бедствия. Приказом по федерации меня уже освободили от обязанностей математика — консультанта по промышленности.

— Ну и что же?

— Времени на работу очень мало, — чересчур мало, не более десяти дней. Иначе будет поздно.

— Так.

— Ты сам понимаешь, проблема очень сложная. Ее решение требует огромного напряжения ума. Кроме того, решение должно быть абсолютно правильным, потому что за ним сразу последуют практические мероприятия, связанные с деятельностью большого числа людей, промышленности и так далее. Присчетов быть не должно. Иначе — гибель...

— Да. Ну и что же?

— Значит, умы, которые эти десять дней будут

работать над проблемой, должны быть необыкновенными. Это должны быть гениальные ученые.

Я с удивлением посмотрел на Корио, и мне стало смешно. Конечно, он был выдающимся ученым, но гениальным...

— В том-то и дело, что ты прав, — угадал мою мысль Корио. — Конечно, я довольно заурядный ученый, чуть-чуть выше среднего калибра. Но беда в том, что вообще, как показали недавно выполненные исследования, на Земле не существует ученого, который бы в такой короткий срок смог переработать огромное количество научной информации и найти решение. К сожалению, сложности научных проблем, возникающих перед человечеством, растут значительно быстрее, чем интеллектуальные способности даже самых одаренных людей.

— Для переработки научной информации можно привлечь машины.

— Верно. Но для машин нужно составить программу.

— И среди ученых Земли нет человека, который бы смог это сделать?

— За такой короткий промежуток времени — нет...

— Так что же делать?

— Нужно создать таких ученых.

Я остолбенел. Этого еще не хватало! За последние сто лет люди привыкли к фантастическим успехам науки. Они свыклись с полетами в космос, они больше не удивляются управляемой термоядерной реакции, они перестали восхищаться животными, выращиваемыми в искусственной среде, их больше не удивляют успехи в области экспериментальной генетики, которые позволили получить совершенно новые виды живых существ. Но создавать гениальных ученых...

— Чушь какая-то, — пробормотал я, с подозрением глядя на Корио.

— Я знал, что ты мне не поверишь. Я хочу, чтобы ты и Олла пошли со мной на заседание ученого совета института структурной нейрокибернетики. Там

по этому вопросу сегодня будет дискуссия. Основной докладчик — доктор Фавранов...

Фавранов — всемирно известный ученый, специалист по нейрокибернетике и по физиологии высшей нервной деятельности человека. Я вспомнил, что несколько лет назад, выступая перед широкой публикой с научно-популярным докладом, он заявил:

— Коммунистическое общество освободило человечество от всех материальных забот, от всякого морального гнета. На повестке дня стоит важная задача — раскрепостить гений человека. Человек имеет в себе все необходимое, чтобы стать гениальным...

3

Доклад доктора Фавранова был не так популярен, как тот, который я слушал несколько лет назад. В кратком введении он сообщил о наблюдениях его института над часто встречающимися случаями гениальности у детей, которая с годами угасает. Он подверг анализу это явление и сообщил, что основная его причина — многочисленные побочные и ненужные в новых социальных условиях нервные связи, которые возникли у человека в процессе многовековой эволюции. Хотя коммунизм избавил человека от борьбы за существование, от страха перед неизвестным, от заботы о жизни своего потомства, физиологическая структура его нервной системы продолжает повторять схему, которая была ему нужна тогда, когда на Земле царили волчьи законы... Необходимость в аппарате приспособления к враждебным условиям жизни исчезла при социализме, а в коммунистическом обществе ее существование является главным тормозом раскрытия гигантских творческих возможностей человека.

— Организация нервной системы человека, доставшаяся нам по наследству, слишком несовершенна и обременительна. Мы не можем ждать, пока она изменится сама собой. Еще многие поколения людей будут чувствовать безотчетный и беспричинный страх, отчаяние, ненависть, горе, печаль. Задача нау-

ки ускорить процесс духовного совершенствования человека.

На схемах, проектируемых на экран, Фавранов показал, какие участки центральной нервной системы современного человека являются, как он выразился, «аппендицитами», тормозящими проявление гения человечества в области науки и искусства...

— И вы предлагаете удалить эти «аппендициты»? — спросил Фавранова председательствовавший доктор Мейнеров.

— Да, конечно.

— И после этого человек обретет необходимые сейчас творческие способности?

— Тот, кто обладает нужным комплексом знаний, будет пользоваться им более эффективно. Кто таких знаний не имеет, приобретет их достаточно легко. Вы, конечно, понимаете, — добавил Фавранов, — что речь идет не о хирургическом вмешательстве. Ненужные традиционные нервные связи можно легко и безболезненно разорвать при помощи обыкновенной ультразвуковой иглы.

Сидевшая рядом со мной Олла медленно поднялась.

— Разрешите вопрос, доктор.

— Пожалуйста.

— Скажите, а не повлечет ли такая операция за собой полное изменение личности человека? Я имею в виду, не станет ли человек совсем другим?

Фавранов ласково улыбнулся.

— Конечно, человек станет другим. Он станет лучше, богаче, умнее. Он станет внутренне свободным. Он превратится в ничем не ограничиваемого мыслителя.

Олла тяжело опустила плечи.

— Вы понимаете, доктор Фавранов, что значит изменить личность человека? Вы чувствуете всю этическую глубину проблемы? — спросил Мейнеров.

— Да, конечно. Человек, который первым согласится на такую операцию, совершит подвиг. Для того чтобы решиться стать совершенно другим, необходимо огромное мужество. Такие операции над людь-

ми еще не проводились. Но мы абсолютно уверены в их безопасности, хотя у нас нет никакого экспериментального материала, который бы указывал на то, как глубоко и далеко пойдет изменение личности, как измененное «я» будет относиться к самому себе, к окружающим его людям. Анализ нервных путей и проведенные математические расчеты показывают, что его интеллектуальная работа будет неизмеримо продуктивней.

— Друзья, — обратился к аудитории Мейнеров, — вы, конечно, понимаете, какими чрезвычайными обстоятельствами вызвана сегодняшняя дискуссия. Дело обстоит таким образом, что судьба человечества зависит от того, примем мы или не примем предложение доктора Фавранова. Нам необходима, абсолютно необходима группа ученых, которая бы нашла методы защиты нашей планеты от катастрофы. Только что мне передали, что среднеземная температура за сегодняшний день скачком поднялась еще на один градус. Мы получили огромное количество различных предложений, что нужно сделать, чтобы остановить процесс проникновения солнечной радиации на Землю. Но все эти предложения таковы, что их реализация потребует такого периода времени, после которого всякие попытки в этом направлении окажутся лишёнными смысла. Я прошу вас высказаться по затронутым вопросам.

— Давай выйдем, — прошептала Олла. — Я больше не могу.

Мы вышли из здания института и уселись на скамейке прямо перед воротами в парк. Я знал, что Олла не уйдет отсюда, пока не увидит Корио.

Под ногами на глазах таял снег, а в бетонированной канавке журчал ручеек. Мимо изгороди прошли какие-то женщины, и мы слышали, как одна сказала, что, «по данным института прогнозов, такая погода была триста лет назад...»

— Ты знаешь, чего я боюсь? — не выдержав, спросила Олла.

— Да. Ты боишься, что после этого он перестанет тебя любить.

— Или я его... Вдруг он станет совершенно чужим человеком...

Снег под ногами совершенно растаял, и мы увидели кусок сырой земли и на ней зеленую прошлогоднюю траву.

— Скоро здесь будет тепло, как летом, — пробормотал я.

Облака странно клубились. За ними мелькали клочья голубого неба. Иногда на мгновение проглядывало яркое солнце.

— В результате разогрева земли последует резкое нарушение равновесия атмосферы. Начнутся фантастические по своей разрушительной силе грозы и штормы...

— Это ужасно... Это страшно... Знаешь, мне стыдно, что я... что я не хочу, чтобы Корио...

— Я понимаю, Олла. Может быть, ты себя так чувствуешь по тем же причинам, по каким люди не могут стать гениальными.

— Но я не могу себе представить, как я могу чувствовать себя иначе.

— Фавранов говорит, что таких чувств просто не должно быть, что их можно и нужно ликвидировать.

— Я не знаю, хорошо ли это. Я бы ни за что не согласилась стать другой.

Я пожал плечами. Если стать другим только чуть-чуть, это ничего. Но если совершенно другим, то это просто не укладывалось в моей голове.

— Конечно, это подвиг, — после долгих раздумий сказала Олла. — Подвиг, требующий не меньшего мужества и отваги, чем первый полет на аэроплане, чем первое путешествие в космос. Всегда кто-то первый, самый мужественный, должен для людей что-то совершить и своим примером увлечь других. И все же в этом есть что-то противоестественное. И в воздухе и в космосе человек остается самим собой. Здесь он никуда не девается, никуда не улетает, а становится другим.

Она рассуждала вслух, как бы пытаясь убедить себя...

— Кто знает, какие проблемы ждут еще своего

решения для счастья всех людей на Земле. История знает много примеров, когда люди становились в полном смысле другими во имя великой идеи, — тихо сказал я.

— Такие свойства человека, как его ум, характер, его чувства, интуиция, составляют сущность его личности, его «я». Лиши его искусственно одного из характерных только для него элементов, и он станет другим. Я глубоко убеждена, что такое искусственное вмешательство в самую сущность человеческого «я» не правомерно и не этично.

— Даже если это необходимо для решения жизненно важной задачи во имя всего человечества?

Она промолчала.

— Корио станет для людей более ценным и полезным, чем сейчас.

— Но он будет другим, понимаешь, совершенно другим, чужим...

— Сейчас нет чужих людей, — сказал я. — Все люди — товарищи и друзья.

Я обнял Оллу и хотел ей сказать, что сейчас в ней говорят «аппендициты», доставшиеся ей из глубины веков. Но я не сказал этого: к нам подошел Корио.

Он был очень взволнован.

— Ну что? — спросил я.

— Решено. Я — первый.

4

Я, Олла и Корио не торопясь шли к институту структурной нейрокибернетики. Время еще было, и мы выбрали не самый короткий путь, а пошли вдоль набережной Москвы-реки и далее через парк. Лед на реке набух, под мостами, у быков, образовались лужи воды. На небе не было ни облачка, и солнце светило, как в теплый майский день.

Олла, как бы боясь, что мы заговорим о предстоящих испытаниях, через которые все мы должны пройти, торопливо рассказывала о результатах своей работы над физиологически-активными химическими веществами. Ей удалось получить препараты, кото-

рые снимают чувство усталости у человека. Однако еще не установлено, безвредно ли их неограниченное применение. Во всяком случае, если окажется, что вещества не будут вредно влиять на физиологическую деятельность организма, их можно будет рекомендовать всем, кто должен за короткий срок выполнить тяжелую и сложную работу.

Сама того не замечая, она коснулась темы, о которой все мы думали. Взглянув на Корио, Олла мгновенно умолкла.

— Эти счастливые молодые мамы с колясками и не подозревают, как плохо, что солнце такое яркое, — задумчиво произнес мой друг.

— Как много людей знает о том, что сейчас происходит? — спросил я Корио.

— Очень мало. Только сотрудники Службы Солнца и еще несколько сотен во всем мире. Бить тревогу рано, да и нет никакой необходимости. Может быть, все обойдется...

— Ты вот сейчас идешь на операцию, которая должна сделать из тебя необыкновенно умного человека, Корио. Любопытно, сейчас, в данный момент, у тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу?

— Конечно, есть, — ответил он. — Но все они какие-то неуклюжие и, я бы сказал, неумные. Понимаешь, они, эти идеи, все построены на основе того, что науке сейчас хорошо известно. И если их начать реализовывать, то для этого не хватит ни людских, ни материальных ресурсов Земли. Необходимо что-то принципиально новое! Решение проблемы нужно искать в чем-то совершенно неожиданном.

— И ты думаешь, что после операции ты будешь знать, в чем нужно искать решение проблемы? — с горечью и нескрываемой иронией спросила Олла.

— Не уверен, дорогая, доктор Фавранов говорит, что, может быть, я буду знать.

Олла остановилась у парапета набережной и, не глядя на нас, с грустью промолвила:

— Доктор Фавранов... доктор Фавранов... А откуда он знает, что имеет смысл ставить такой жесто-

кий эксперимент? Может быть, все вы, кто согласился работать над проблемой, ничего не решите. Ведь не придумаете же вы чуда, в самом деле! И какими бы вы ни стали после операции, вы все равно не сможете создать за десять дней новую науку, науку о защите Земли от излучения Солнца. А с каким риском для всех вас это связано!..

Корио возразил:

— Я не верю, что после разрыва каких-то нервных связей в мозге чувства человека, его миросозерцание, его личность изменятся.

В парке снег совсем растаял, и над обнаженными клумбами поднимался теплый пар. Здесь по-настоящему пахло весной, пели птицы, со всех сторон слышались детские голоса... Корио остановился и с грустью посмотрел на большую группу детей, которые играли «в дракона». Они ухватили друг друга за талию, и весь строй извивался на лужайке, подражая старинному японскому танцу.

— И даже если бы пришлось при этом пожертвовать самыми дорогими чувствами, разве человек, любящий других людей, это не сделал бы?

А вот и колоннада у центрального входа в институт. Мы в нерешительности остановились. Я отвернулся и увидел, как Корио и Олла посмотрели друг на друга. У сестры на глазах блестели слезы, как будто бы наступил час расставания навечно. Я побрел в сторону, охваченный странными чувствами. Операция над моим другом произойдет через пять часов. В течение этого времени его будут исследовать и готовить. Затем его введут в необычную «операционную» — зал с большим количеством измерительных и контрольных приборов и с замечательным инструментом профессора Фавранова — «ультразвуковой иглой», которая безболезненно разрывает тончайшие волокна нервной ткани на любой глубине, в любом месте.

Нервные ткани, нервные волокна... Это в их сложном и запутанном лабиринте заключена вся разумная сущность человека, его внутренний мир, его взгляд во вне, его восприятия, его анализы, его чув-

ства и настроения. Там, в глубине человеческого мозга, всегда царит полный мрак, а он видит свет. Там — мертвая тишина, а он слышит сложную гамму звуков. Сложный термостат человеческого организма поддерживает температуру в строгих пределах, а мозг чувствует жару и холод, хотя его собственная температура при этом неизменна.

Только в последние пятьдесят лет мозг стал постигать самого себя, стал анализировать свою собственную работу, начал придирчиво изучать свои собственные функции, находя в них сильные и слабые стороны. Мозг начал критиковать себя! Он начинает восставать против своего собственного несовершенства, он начинает разрабатывать методы, как себя улучшить! Он пришел к выводу о необходимости освободить себя от пут, от бремени ненужных структур, которые возникли в процессе эволюции. Он нашел методы и средства, как это сделать. Он приказывает самому себе сделать это во что бы то ни стало!

И кто знает, может быть, в удивительном процессе самопознания и лежит главное направление самосовершенствования человеческого мозга. Может быть, раскрепощение человеческой гениальности, прыжок в совершенно новое качественное состояние как раз лежит через процесс объективного самоанализа мозга, самоизучения, которое позволяет ликвидировать слабости и усилить силу...

— Войдемте туда вместе, — вдруг сказал Корио.

Он был немного бледен и взволнован. Олла старалась ни на кого из нас не смотреть. Мы поднялись к двери и вошли в холл института.

У широкой лестницы стояла группа людей в белых халатах во главе с доктором Фаврановым. С ним беседовали несколько человек в темных костюмах, спокойные, неторопливые. Это ученые, которые должны пройти то же, что и Корио, но только после него.

— А-а! Вот и наш герой! — воскликнул Фавранов, приблизившись к Корио. — Вы немного опоздали. Мы вас ждем.

— Знакомьтесь, это мои друзья, — Корио представил Фавранову меня и Оллу.

Взглянув на сестру, Фавранов слегка сощурил глаза и едва заметно улыбнулся.

— Судя по вашему виду, вы пришли провожать своего друга чуть ли не в путешествие на далекую Галактику!

— Напрасно вы так думаете, — слабо улыбаясь, сказала Олла. — Мы хорошо понимаем, что так надо.

— Да, милая девушка. Вы правы. Так надо.

Фавранов крепко пожал руку Олле.

— Скажите, а операция займет много времени?

— Пустяки. Всего минуты три-четыре. Больше занимает подготовка к операции. Но после Корио все будет значительно быстрее.

Фавранов хлопнул в ладоши и громко произнес:

— Итак, друзья, прошу внимания. Сейчас пожмите руку нашему дорогому товарищу Корио. Мы его забираем.

Далее он обратился к ученым — геофизику Лейкерту, астрофизику Малиновскому, химику Портеллову, математику Гримзо.

— Вам расходиться не следует. Доктор Косторский проведет вас в аналитическую лабораторию. После работы с Корио мы пригласим вас к себе. А вы, девушка, не волнуйтесь. Просто не думайте об этом, — ласково обратился он к Олле. — Если же вам будет очень тяжело, приходите ко мне. Мы вам поможем...

«Тоже на операцию?» — подумал я и, взяв сестру за руку, буквально вытащил ее наружу.

В январе бушевала яростная, неистовая, злоедающая весна.

5

Через два дня, после того как мы проводили Корио, я встретил Онкса Филитова. Несмотря на свой преклонный возраст, он шагал по улице бодро и стремительно. Он заметил меня первый.

— О, Авро, добрый день!

— Здравствуй, старик.

— Как погодка? — спросил он, лукаво кивнув на солнце.

— Будь она проклята, — процедил я.

— О мой дорогой, нехорошо, нехорошо. Ты сквернослов. Это запрещено.

— Послушай, Онкс. Честное слово, мне сейчас не до твоих критических замечаний. Сейчас я тороплюсь выгнать сестру из лаборатории. Она работает как иступленная. А по ночам совершенно не спит...

— Переутомление?

— Да.

— Хочешь, я помогу твоей сестре? — шепотом произнес Онкс.

— С каких это пор ты стал специалистом по человеческим душам?

— С сегодняшнего заседания критического Совета Нейтрального промышленного управления. Авро, ты даже не представляешь, что случилось!

Я с удивлением смотрел на Онкса, стараясь понять, что могло так изменить человека, превратить старого скептика в восторженного юнца. Он же, взяв меня за руку и отведя в сторону, доверительно прошептал:

— Найден гениальный способ приостановить все это...

Он показал на солнце.

— Найден?

— Да. И притом самый выдающийся, самый невероятный, самый...

Я схватил Онкса за плечи и потряхнул его изо всех сил.

— Кто нашел и что нашел?

— Ага! Совсем другие эмоции. Я уверен, что и твоя Олла поправится, как только узнает, что произошло.

— Рассказывай же, старик, скорее!

— Проблема решена физиком-теоретиком Корио, который стоит во главе группы...

— Корио! — прокричал я вне себя от радости.

— Да. И ты знаешь, что он предложил?

— Что?

— Выбрасывать на ракетах на высоту пятьсот километров над поверхностью Земли обыкновенную воду!

Я нахмурил лоб, усиленно соображая, что может дать такая операция.

— Только что закончилась дискуссия по проблеме, и решение принято. Через час или два первые тысячи тонн воды будут на орбите.

— Я ничего не понимаю, — пробормотал я.

Онкс расхохотался.

— Никто ничего не понимал. Все были загипнотизированы тысячами старых проектов. Предлагали выбрасывать порошкообразные вещества, металлы, графит, металлизированные пленки и еще черт знает что. Каждое предложение немедленно оценивалось с точки зрения промышленного и материального потенциала Земли, и все это пришлось отвергнуть. Не хватало либо требуемых материалов, либо производственных мощностей. Представляешь, сколько нужно выбросить в космос обыкновенного мела, чтобы уменьшить радиационный поток хотя бы вдвое? Миллион тонн! А сколько нужно ракет! И каждая ракета будет создавать лишь ничтожное облачко, а из них нужно составить колоссальное покрывало для Земли. Кроме того, когда Солнце вернется к прежней активности, совершенно не ясно, как все это убрать с орбиты. И вот Корио предложил воду, обыкновенную воду!

Я все еще ничего не понимал.

— Он подошел к проблеме совершенно с неожиданной стороны. Он рассуждал так. Закрыть Землю нужно плотно, надежно и самыми дешевыми средствами, а главное — только на определенное время. Конечно, вода — самый дешевый на Земле материал. Но что с ней будет в космосе? Вся гениальность решения заключена в выяснении механизма поведения воды там, над первым радиационным поясом. Оказывается, и он это неопровержимо доказал, вода сама будет растекаться по огромным пространствам, как растекаются поверхностно-активные вещества по поверхности твердого тела. Тонна воды образует за

несколько часов тончайшую пленку с фантастической площадью. А далее молекулы воды этой пленки под действием солнечной радиации будут диссоциировать на водород и кислород, которые, в свою очередь, подвергнутся ионизации, создавая области с повышенной концентрацией водородно-кислородной плазмы. Корио и его товарищи вычислили работу, которая будет затрачиваться на эти процессы, и пришли к выводу, что она может по желанию составить до семи-десяти процентов излучаемой Солнцем энергии. Представляешь!

Онкс хлопнул меня по плечу и, убегая, крикнул: — Пойди и расскажи обо всем своей сестре. В Промышленном управлении все знают, что она любит Корио, а он ее!

«А он ее... Любит ли?»

Мой взволнованный рассказ произвел на Оллу удивительное впечатление. Она улыбнулась и тихо сказала:

— Я знала, что Корио предложит что-нибудь необычное!

— Мы спасены, все люди Земли спасены, ты это понимаешь! — кричал я.

Олла смотрела на меня и улыбалась.

Окна нашей квартиры внезапно вздрогнули, потом еще и еще.

— Началось! — прошептал я. — Корабли с водой пошли в космос. Проект Корио осуществляется!

Окна продолжали вздрагивать до самого вечера и в течение всей ночи. Впервые за долгое время Олла, наконец, уснула, а я включил радио. За последними известиями последовала сводка погоды. Я слушал ее с замиранием сердца. Да, рост температуры прекратился. В заключение диктор сказал:

— В ближайшие сутки ожидается резкое понижение температуры до двух-трех градусов мороза, а затем до десяти-пятнадцати...

Они даже и это рассчитали!

Рано утром я тихонько оделся и вышел на улицу.

С севера потянул непривычный холодный ветерок. За ночь в парке комья сырой земли затвердели, лужи покрылись тонкой корочкой льда. Утреннее небо было безоблачным, черно-фиолетовым. Воздух внезапно вздрогнул от последовательных взрывов, и я заметил, как минут через пять высоко в небе появились тонкие яркие штрихи, как от метеоров.

Со всех концов Земли в космос выбрасывали воду.

Я неуверенно открыл дверь Института структурной нейрокибернетики и вошел в пустой полутемный холл.

— Вам что? — спросил молодой человек, быстро поднявшись с кресла.

— Вы дежурный?

— Да. Что вам нужно?

— Мне нужно узнать, как обстоит дело с моим другом, с Корио.

— Его тревожить нельзя. Он работает. Он и его товарищи.

— Как прошла операция?

— Очень успешно. Мы сами этого не ожидали. Такой прилив творческой энергии! Невероятно!

Глаза у молодого человека блеснули.

— Гениальный ход! Теперь мы знаем, как выпустить человеческий гений на волю! А что будет на Земле, когда все люди станут такими, как Корио!

Я кивнул головой и вышел. Уже совсем рассвело. Я посмотрел на верхние этажи здания института и заметил, что электрический свет продолжает гореть в трех окнах. Наверное, за одним из них работает мой друг. Он совсем рядом со мной, но, может быть, теперь очень и очень далеко. Я поймал себя на том, что сейчас, когда проблема, касающаяся всей Земли, решена, я начал думать о себе, о судьбе сестры. А как же иначе? Человеческое счастье дедуктивно. От общего к частному...

К институту подъехала машина, из нее вышел доктор Фавранов.

— Как ваша сестра? — спросил он, крепко пожав мне руку.

— Она очень боится.

— Я тоже, — сказал Фавранов. — Но ничего не поделаешь. Ей придется пережить этот кризис. Откровенно говоря, я не знаю, что произошло с эмоциональным миром Корио.

Фавранов несколько секунд помолчал и затем добавил:

— По моим наблюдениям, между интеллектуальными способностями людей и их эмоциональным миром прямой корреляции нет. Очень часто умные люди совершенно бесчувственны.

— Когда Олла сможет увидеть Корио?

— Сегодня вечером. Сейчас он заканчивает разработку программы запуска ракет на период до первого мая. После он будет отдыхать. Вечером я выгоню его на прогулку.

Днем пошел снег. Вначале это были огромные сырые хлопья. Они таяли, едва коснувшись земли. Подул колючий северный ветер, и снег стал мелким и частым. В три часа дня по радио объявили, что предсказанное утром резкое понижение температуры наступит значительно раньше. В три часа снег внезапно прекратился, тяжелая свинцовая туча проплыла над городом, обнажив оранжевое небо. Крыши засияли пурпурными красками.

— Так должно быть, — шептал я, с восхищением глядя на настоящую январскую зиму, как будто бы я никогда не видел ничего подобного.

Я пошел в институт, где работала Олла.

— Пойдем гулять. Смотри, какая красота.

Она посмотрела на меня и догадалась обо всем.

— Мне страшно.

— Пойдем. Корио совершил подвиг. Неужели ты не способна разделить хотя бы его частичку?

— А что, если он меня не узнает?

— Через это нужно пройти, понимаешь?

— Да. Пошли...

Солнце было настоящим зимним солнцем. Оно висело низко над горизонтом, и на оранжевой пелене вытянулись синие тени. На ветвях деревьев качались комья пышного снега. В парке сновали ребяташки, появились первые снежные горки, юные лыжники

барахтались в сугробах. И никто ничего не подозревал. Мы подошли к институту и остановились перед его центральным входом.

Внезапно дверь отворилась, и из нее не вышел, а вылетел Корио. Сзади него громко хохотал человек в белом халате. Это был доктор Фавранов. Корио схватил ком снега и, смеясь, бросил им в доктора.

— Со мной-то вам легко справиться, — сказал громко старик, — А вот попробуйте с ними.

Он повернул Корио в нашу сторону и скрылся за дверью. Сердце у меня стучало как молот. Корио несколько секунд стоял, глядя на нас. На нем был лыжный костюм, голова с пышными светлыми волосами ничем не покрыта. Как бы спохватившись, он быстро сбежал по ступеням вниз и стал прямо перед нами. Мне казалось, что я вот-вот сойду с ума. Я не верил, что лицо Корио может иметь такое выражение. Я никогда не представлял, что человеческое лицо может быть таким одухотворенным, вдохновенным, радостным.

— Корио, это ты? — задыхаясь, прошептала Олла.

Корио бросился к ней, оторвал ее от меня и, подхватив на руки, побежал как сумасшедший.

— Корио, Корио! — кричал я, едва поспевая за ними.

Он остановился и весело посмотрел на меня.

— Ну и смешной же ты, Авро! Только люди, потерявшие здравый смысл, пытаются догнать влюбленных!

Я остановился, взял ком снега и начал тщательно растирать им лоб.

Я пошел вперед прямо по снегу, туда, где парк переходил в лес. Я вдыхал упругий морозный воздух и смотрел на покрытые снегом елки, которые обрели свой вечно сказочный вид. Лес кончился, а я все шел и шел через снежное поле в зимние сумерки. Моя тень вытягивалась передо мной, и я шаг за шагом наступал на нее. Но вот меня нагнали еще две тени, и я пошел медленнее, чтобы увидеть их. Они шли вместе и жили одной жизнью. Тогда я круто свернул в сторону, чтобы уступить им дорогу.

995-Й СВЯТОЙ

Считается, что Кассельская стычка 1528 года между католиками и протестантами началась из-за разногласий в толковании некоторых догматов веры. Так по крайней мере пишут во всех книгах, где упоминается это в общем весьма незначительное событие: в те времена случались побоища куда продолжительнее и кровавее. Что ж, можно принять и такую точку зрения на эту поразительную историю об отце Кроллициасе, объявленном впоследствии 995-м католическим святым.

Все четыре дня Кассельской стычки неразрывно связаны с именем и деяниями отца Кроллициаса.

День первый.

Майским утром 1528 года подмастерье единственного в Касселе цеха бондарей Ганс Крот, помолившись, вышел из дома и направился к лотку, за которым монах-доминиканец торговал индульгенциями. Ганс долго стоял у лотка, внимательно читая прейскурант, и, наконец, попросил дать ему лоскуток пергамента, на котором витиеватыми буквами было выведено: «Отпущение за рукоприкладство на пробста, декана, священника или другое духовное лицо...» Потом, немного подумав, он прикупил также индульген-

цию с текстом: «Если же рукоприкладство дошло до кровопролития и имело место вырывание волос либо иное тяжелое насилие или нанесение побоев...»

Старательно спрятав обе индульгенции, Ганс Крот направился к католической церкви и попросил мальчика-служку вызвать отца Кроллициаса. В последующие несколько минут Ганс Крот старательно отработал на святом отце все, что разрешалось двумя грамотами, за исключением, впрочем, «вырывания волос», так как искусственная тонзура сочеталась у преподобного Кроллициаса с весьма обширной естественной плешью.

Господь, разумеется, не обиделся на предусмотрительного подмастерья, — обиделись многочисленные прихожане-католики. Два духовных собрата из паствы избитого Кроллициаса вышли на городскую площадь и в энергичных выражениях стали призывать к мести зарвавшимся протестантам.

Напрасно Ганс Крот, который, как каждый честный бондарь, был протестантом, потрясая индульгенциями, кричал, что он и не помышлял наносить оскорбление католической церкви. Безуспешно он объяснял сбежавшимся прихожанам, что все произошло из-за того, что преподобный Кроллициас не давал проходу его, Ганса Крота, жене. Попранный католицизм жаждал мести.

Бить протестантов начали на городском базаре. Потом католики, воодушевленные кровожадными призывами отца Кроллициаса, разнесли аустерию, которой владели двое самых именитых в Касселе братьев-протестантов.

Протестанты тоже не остались в долгу. Они утпили в пруду церковного старосту и начали было стаскивать дрова к ветхому зданию католической церкви, как на Кассель опустилась ночь, и обыватели отправились по домам.

Конечно же, встав поутру, кассельцы забыли бы об этой заурядной драке, как забывали о подобных вещах не раз. Но то, что произошло в последующие дни, раздуло тлеющие уголья религиозной стычки до пожара выше среднего уровня.

День второй.

Итак, утром следующего дня немногочисленные прихожане-католики рассеянно прислушивались к привычному ритуалу службы, которую вел украинский синяками отец Кроллициас. И вдруг над Касселем раздался слабый свист, так же внезапно сменившийся треском ломающихся досок. В крыше церкви появилась дыра, лица молящихся обдала горячая волна воздуха, и какой-то дымящийся камень упал у ног отца Кроллициаса.

Преподобный за неуловимую долю секунды отскочил и спрятался за большое распятие. Прихожане в ужасе бросились из церкви.

Когда церковь опустела, отец Кроллициас, убедившись, что упавший предмет не собирается учинять ничего худого, вылез из-за прикрытия, обошел камень кругом и осенил его несколько раз крестным знаменем. Затем, сказав выразительно: «С нами божья мать», нагнулся поднять загадочный предмет.

И тут же церковь огласилась стонами и воплями бедного пастыря. Отец Кроллициас, получивший за последние сутки вторичный телесный ущерб, тряс пальцами и изрыгал отборную хулу: камень был горяч, как раскаленное железо.

Поскольку протестантов ругать за это не приходилось, отец Кроллициас успокоился скоро. Спустя полчаса он, оттопырив перевязанные пальцы, шумными глотками пил хмельное кассельское пиво, и лицо его, как всегда в такие минуты, было умиротворенным.

Полдень и вечер прошли в Касселе, как обычно. И если поутру этого так удивительно начавшегося дня католики и протестанты еще обменивались косыми взглядами, вспоминая о вчерашней драке, то к вечеру даже непосредственный виновник потасовки Ганс Крот мирно беседовал с городским мельником, который был назначен новым церковным старостой католиков. Ничто не предвещало бурной ночи...

Впрочем, бурной эта ночь была только для монастыря. Посреди ночи крепко спавшие после тревол-

нений монахи были разбужены громкими стонами отца Кроллициаса. Посланный узнать, в чем дело, мальчик-служка увидел, что преподобный быстрыми шагами ходит по келье и, непрерывно подвывая, трясет правой рукой.

Служка осторожно спросил святого отца, что его мучит. В ответ пастырь грязно выругался и поднес к самому лицу мальчика неестественно распухшую ладонь. Два пальца этой широченной длани отливали при свете свечи тусклым блеском. Когда же отец Кроллициас постучал друг о дружку этими пальцами и раздался характерный металлический звон, испуганный служка кинулся бежать.

Выслушав сообщение служки, пробст счел его настолько лживым, что на всякий случай отодрал мальчика за уши и спокойно улегся спать. Однако долго почивать пробсту не пришлось: басистые вопли отца Кроллициаса стали гулко перекатываться по всему монастырю.

Недовольный пробст поднял монахов и объявил, что, по-видимому, в их собрата вселился дьявол. Монахи, ропща и зевая, отправились изгонять нечистую силу.

Ввалившиеся нестройной гурьбой в келью отца Кроллициаса монахи застали удивительную картину. Посредине кельи стоял ревущий на одной ноте преподобный и с ужасом глядел на растопыренную ладонь правой руки. Ладонь была вся из блестящего металла, и из нее, как из зеркала, смотрело на отца Кроллициаса его искаженное изображение, оскалившееся в непрерывном реве.

День третий.

Наступившее утро застало монастырь в страшном переполохе. Монахи, забыв о молитвах, носились по узким монастырским коридорам, время от времени забегая в келью отца Кроллициаса. Тот уже не кричал, а только сипло стонал. Скоро металлической стала вся рука преподобного — от пальца до плеча. Ужас монахов достиг предела.

В это время оправившийся от растерянности

пробст с похвальной предприимчивостью заявил, что обрушившееся на их собрата несчастье не что иное, как происки протестантов. Ни минуты не колеблясь, он велел выставить несчастного пастыря на церковную площадь, чтобы честные католики своими глазами увидели пострадавшего за веру.

Перед церковью немедленно собралась громадная толпа. Все — и католики и протестанты — с ужасом смотрели на превращающегося в металл отца Кроллициаса и заунывно тянули «Санта Мария оре про nobis...». Трое протестантов тут же отреклись от своих заблуждений, а остальные сочли за благо убраться восвояси.

За день металлический покров распространился и по второй руке отца Кроллициаса. А к вечеру, когда металлическим блеском стала отливать большая часть груди преподобного, он перестал стонать, закрыл глаза и умер.

День четвертый.

На панихиде пробст отпевал неизвестно кого. Нижняя половина того, кто лежал сейчас в гробу, несомненно, принадлежала когда-то отцу Кроллициасу, весельчаку и сквернослову. Но верхняя половина напоминала человеческое тело только внешне. За время, прошедшее с момента смерти, металл залил уже лицо и лоб святого отца. Вот почему пастырь напоминал сейчас изваяние, один глаз которого почему-то прищурился, а рот скривился в гримасе страдания.

Отпев Кроллициаса, пробст вышел на площадь и призвал верующих к мщению. Вот только тогда-то и началась та самая Кассельская стычка 1528 года, упоминающаяся во многих учебниках истории — книгах, которые, как известно, описывают события сухо и без подробностей.

— Ну и собачья судьба! — жаловался своему приятелю гражданский чиновник баварского епископства Эрих Шлезке, сидя в кассельской пивной «Пена над кружкой» летом 1960 года. — Другим что? Дру-

гим везет. Другие служат где? Другие служат в солидных фирмах, а некоторые, майн готт, некоторые даже в воинском управлении. И что к ним течет? К ним текут деньги. Сколько? Много, о майн готт, как много! Почему? Потому что никто не хочет служить в армии. А в епископстве кто желает служить? Только такие дураки, как Эрих Шлезке!

— 3-3-зачем же дураки? — поинтересовался приятель, прикончивший за взволнованным монологом Эриха восьмую кружку.

— А затем дураки, что глотают пыль в церковных архивах! — сказал о себе Шлезке во множественном числе. — Что делает сейчас мой школьный приятель Вальтер Блох? Мой школьный приятель Вальтер Блох сидит сейчас в Ницце. А почему мой школьный приятель Вальтер Блох сидит в Ницце, когда в школе он не имел и трех пфеннигов на папиросы? Потому что он служит в колбасной фирме Глобке и Грушинский. А почему...

— П-п-плюнь, Эрих, и п-п-пей п-п-пиво, — сказал приятель.

— А что должен делать я? — продолжал плакаться Шлезке. — Я сижу два месяца в этой дыре, в Касселе, и роюсь в бумагах. А зачем? А затем, что его высокопреосвященству захотелось иметь своего баварского святого. А зачем ему иметь своего святого? А пес его знает!

— Эрих, — укоризненно заметил приятель, — ты же знаешь, его высокопреосвященство не любит собак!

— И я роюсь в бумагах, — не останавливался Шлезке, — и что я нахожу стоящего? Ни-че-го! Быть может, его преосвященству нужен документ о том, что один из его предшественников епископ баварский Экзестакустиан был крещеным евреем?

— Не нужен! — сказал приятель.

— Или бумага, свидетельствующая, что папа Григорий IX в 1613 году провел в Касселе три дня? А мало ли где черт мог носить папу Григория IX!

— Папу не мог носить черт, — меланхолически заметил приятель.

— Или бредовое донесение пробста кассельского монастыря о том, что в 1528 году какой-то монах Кроллициас превратился в металл? Мне самому интересно, был этот пробст просто мошенник или к тому же еще и дурак! Так вот, эти бумаги я дам его высокопреосвященству!

— Б-б-брось, — советовал приятель, — м-м-м-мошенником больше, м-м-мошенником м-м-меньше...

— Ибо что делает мне епископ за такой улов? Его преосвященство оторвет мне голову! Ну и собачья судьба!

Владелец пивной «Пена над кружкой» Отто Брунцлау был целеустремленным человеком. Двенадцать лет — двенадцать лет! — ежедневно по утрам он учил Хромого Вилли своей любимой песне «Ах, майн либер Августин». К 1960 году Вилли — облезлый и блеклый попугай, прозванный Хромым, потому что он действительно был им, — научился извлекать с полдюжины гортанных звуков, в которых подобие известной народной песни можно было уловить только с помощью буйной фантазии.

Так вот, когда однажды Вилли, проснувшись поутру, заорал сам, без обычных льстивых уговоров и шантажа конопляным семенем: «Либрррр Аггг...», Отто решил, что курс обучения закончен и можно пожинать плоды своего труда.

Во-первых, он назовет теперь свою пивную «Пенье попугая». Это вам не какая-то «Пена», которую выдумал дедушка, старый Герман Брунцлау. А покойный, как известно, не страдал избытком воображения. Во-вторых, представляете себе, сколько народу хлынет в его, Отто Брунцлау, пивную, чтобы посмотреть на диковинную птицу? Отто Брунцлау тонко понимал, что такое реклама!

Согласитесь, что все это было достаточным основанием для того, чтобы откопать бочку бамергского пива, которую Отто зарыл пять лет назад на своем дворе. Зачем зарыл? Ведь кто понимает в пиве толк, тот не станет пить ганноверское пиво холодным,

а бременское теплым, тот не будет сдувать пену с кружки темного баварского и уж, конечно, близко не подойдет к бочонку бамергского, если не будет уверен, что он пролежал в земле не меньше трех лет, но и не больше семи.

Вот почему июльским утром 1960 года Отто Брунцлау, прихватив заступ, отправился на задний двор, где был зарыт заветный бочонок. Отмерив на глаз пять метров от стены разрушенного гаража, Отто начал копать. Минут десять он усердно ковырял почву. Уже образовалась порядочная яма, но бочонка все не было. Брунцлау совсем было приуныл, решив, что ошибся, но тут инструмент явственно обо что-то звякнул.

— Есть, вот он, — обрадовался Отто, — за обруч зацепился!

Но отлетевший кусок глинистой почвы обнажил что-то блестящее тусклым серебряным блеском. Отто по-заячьи вскрикнул и закрыл голову руками, ожидая, когда раздастся взрыв. Но все было тихо.

— Ма-а-арта, — жалобно закричал Брунцлау своей жене, — Марта! Надо сообщить в полицейское управление, здесь лежит снаряд!

Конечно же, после этого заявления из кухни вылетела Марта и недоуменно уставилась на мужа.

— Марта, — прошептал тот, пораженный внезапной мыслью, — это не снаряд... Я, кажется, нашел клад.

Спустя несколько минут перепачкавшиеся и взмокшие супруги отчистили от глины порядочную часть находки. Еще несколько лихорадочных гребков — и перед ними ясно обозначилось человеческое ухо.

Они нашли скульптуру! Из серебра! Из платины! Сто тысяч!!! Миллион марок... Уфф..

Скоро в вырытой яме показалась голова скульптуры. Отто, обрывая пуговицы, стянул с себя вязаный жилет и обтер драгоценную находку. После первых же мазков лицо скульптуры засияло уверенным тусклым блеском. Отто взглянул на него и застыл в недоумении. На него, прищулив один глаз и страдаль-

чески сморщив рот, смотрела до ужаса странная физиономия.

Владелец пивной «Пена над кружкой» был не искусен в искусстве. Но того, что он увидел, оказалось вполне достаточно, чтобы понять: ЭТО изображение не человека, ЭТО изваяние покойника.

Часы на ратуше хрипло пробили двенадцать ударов, каждый из которых подымал в небо стаи кормящихся на площади голубей. Это вывело Отто из состояния оцепенения.

— Зарыть, немедленно зарыть, а то отберут, — зашептал он Марте.

— Угу, — согласилась практичная Марта и, подавляя непонятный страх, сдавленным шепотом предложила: — Ночью отроем всю, потом вывезем в Гамбург и продадим американцам.

— Герр Брунцлау! — послышался внезапно дребезжащий тенорок. — Герр Брунцлау! Что я делаю? Я ищу вас. И что я думаю? Я думаю, почему вас нет на месте. И может ли это не удивлять? Нет, это не может не...

— Иди скорее, — шепнул Отто Марте, — это Шлезке...

Эрих Шлезке, который последние сорок лет, за исключением воскресных дней и религиозных праздников, заходил в «Пену над кружкой» в полдень, когда ратуша закрывалась на полуденный фрюштык, был очень удивлен, не застав за стойкой никого.

— Но могу ли я уйти, не выпив пива? — недоумевал он, стоя в пустом зале. — Нет, я не могу уйти, не выпив пива. Так как что в человеке самое главное? Самое главное в человеке — это его привычки. А раз так, то могу я... О! — поразился Шлезке, увидев входящую Марту. — Госпожа Брунцлау! Почему я удивляюсь? Потому что я вижу вас в таком пыльном виде. А может ли это представляться естественным? Нет, это не может представляться естественным. Но что я хочу сделать, прежде чем выпить свою кружку? Я хочу повидать герра Брунцлау. А зачем я хочу повидать герра Брунцлау? А затем, чтобы сообщить ему, что его прошение об уменьшении на-

лога передано самому начальнику... Впрочем, я скажу ему это сам. Где же герр Брунцлау, во дворе?

И, проскользнув мимо опешившей и растерявшейся от обилия впечатлений сегодняшнего дня Марты, Эрих Шлезке вышел во двор пивной.

Спустя два часа Шлезке и Брунцлау с довольным видом удачливых искателей кладов осматривали полностью извлеченную из земли статую.

— А почему вы должны меня слушаться? — не умолкая, говорил Шлезке. — А потому, что я старинный друг семьи Брунцлау. Когда я распивал пиво с покойным ныне Германом Брунцлау? С покойным ныне Германом Брунцлау я распивал пиво, когда вас, Отто, еще не было на свете. Но что меня сейчас интересует? Меня интересует совсем не пиво. И даже не служба, на которую я сегодня не вернусь. Меня интересует, почему этот монах, которого мы сейчас вытащили, почему он так странно выглядит?

— Может, разбить и продать по частям? — мрачно предложил Брунцлау.

— О-о-о-о! — застонал Шлезке. — Что делали бы вы, если бы я не был старинным другом вашей семьи и если бы я не пришел сегодня пить пиво? Вы бы кончили свои дни в нищете и оскудении! Но меня интересует совсем не нищета. Меня интересует, что напоминает мне этот металлический монах? Но, может быть, вы, Отто, помните, где я читал про превратившегося в металл монаха?

— Про монаха, который превратился в металл? — переспросил Брунцлау. — Может быть, герр Шлезке до моей пивной заходит в какую-нибудь другую?

— А-а-а-а! — выдохнул внезапно Шлезке. — Я вспомнил!! Так это было правдой! Майн готт, это было правдой!

— А теперь вашему преосвященству угодно будет послушать, что сообщается в газетах?

— Угу, — буркнул епископ баварский и добавил, недовольно сморщившись: — Заберите от меня этот кофе и дайте лучше содовой.

— Начинать, как всегда, с «Баварише рундшау»? — осведомился секретарь, монсеньор Штир.

— Как хотите.

— «Нью-Йорк, 16 июня. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, переговоры о запрещении атомного...

— Пропустить, — сказал епископ.

— «В Южном Вьетнаме сохраняется напряженное положение. Правительство спешно призвало в армию...»

— Дальше!

Секретарь перевернул газетную страницу и начал читать новую статью:

— «Экспансия международного коммунизма по планете...»

— Не надо!

Прошелестело еще несколько страниц.

— «После премьеры фильма «Тсс, джентльмены» несравненная Лилиан Раббат стала самой популярной звездой сезона. Вчера в клубе Стронников крайних мер состоялся прием в честь прекрасной Лилиан. На приеме Лили была в специально сшитом для этого случая серебристом платье, в котором она выглядела еще менее одетой, чем в «Джентльменах». На фото внизу вы видите заключительную часть приема, когда Лилиан...» Вашему преосвященству угодно еще содовой?

— Нет, подайте очки. Что же вы остановились?

— «Каждый день очаровательная Лилиан получает пять тысяч марок, двести приглашений на приемы и шестьсот писем...»

— Кстати, — спросил епископ, — велика ли сегодня почта?

— Тринадцать писем, ваше преосвященство!

— От кого?

— Сестры-кармелитки сообщают, что...

— В корзину!

— Приглашение от общества христиан-энтомологов на...

— Напишите, что не приеду.

— Напоминание, что в среду состоится освящение нового завода фирмы Граббе.

— Запишите в календарь.

— Далее письмо из тюрьмы.

— Раскаявшийся грешник просит о заступничестве? В корзину!

— Не совсем так, ваше преосвященство. Осмелюсь сказать, что письмо любопытное!

— Читайте!

— «Надеясь на вашего преосвященства благосклонное внимание и преисполненный заботы не о себе, а о святыне немецкой католической церкви, попав в беду из-за чудовишного недоразумения, умоляю ваше преосвященство не упускать святого Кроллициаса и разрешить мне предоставить на мудрый суд вашего преосвященства документ, который я вот уже четыре десятилетия храню у себя на сердце и который прольет яркий свет на одну из замечательнейших страниц истории христианства».

— Довольно, переведите мне, что хочет этот проходимец, — сказал епископ.

— Предвидя вопрос вашего преосвященства, — позволил себе усмехнуться секретарь, — я связался с полицейским управлением. Автор письма — некий Эрих Шлезке, сотрудник Кассельского муниципалитета. Вместе со своим соучастником Брунцлау был задержан гамбургской полицией при попытке продать американскому консулу какую-то статую. При допросе вину отрицает, утверждая, что нашел не статую, а якобы подлинные мощи святого.

— Кроллициаса, кажется? — переспросил епископ.

— Да, Кроллициаса. Но среди девятистот девяносто четырех святых такого имени нет, ваше преосвященство.

— Сумасшедший? Маньяк?

— Не похоже, ваше преосвященство.

— Документ, о котором пишет этот... этот...

— Шлезке, ваше преосвященство.

— ...Этот документ действительно существует?

— Я видел его, ваше преосвященство.

— Вы, как всегда, на высоте, Штир.

— Рад вашей похвале, ваше преосвященство!

— Так что же документ?

— Похож на настоящий.

— Так... так... Кто там у них в Гамбурге ведаёт полицией?

— Полициейпрезидент Шуббарт, ваше преосвященство!

— Что ж, соедините меня с господином полициейпрезидентом Шуббартом.

Когда профессор Дроббер читал лекцию, объяснял кому-либо научную проблему или вообще находился в благодушном настроении, то он не говорил, а пел. Студенты свыкались с этой странноватой особенностью профессора, потому что читал, или, вернее, выпевал он свой предмет действительно хорошо.

Но на этот раз аудитория профессора Дроббера была необычной.

Посреди небольшого зала в кресле сидел епископ баварский. Чуть позади на обычном стуле восседал полициейпрезидент Шуббарт. В уютном простенке между двумя окнами устроился секретарь его преосвященства монсеньор Штир. Поодаль, у самых дверей, высились два здоровенных полицейских, между которыми, как меж двух колонн, стояли Отто Брунцлау и Эрих Шлезке.

Незадачливый служащий Кассельского муниципалитета жадно ловил каждое слово профессора. Его же компаньон, напротив, понуро рассматривал прихотливую лепку потолка.

— Итак, облучая нейтронами какое-либо вещество, мы вызываем в нем наведенную радиоактивность, — распевал профессор Дроббер на мотив скорбной молитвы Оровезо из оперы «Норма». — Затем мы определяем, какие и в каком количестве радиоактивные изотопы образовались в исследуемом образце. Этот метод, называемый радиоактивационным анализом, позволяет в короткий срок и с большой точностью определить качественный и количественный состав любого металлического изделия, со-

вершенно не повреждая его. Надеюсь, господа, я излагаю понятно?

— Угу, — сказал епископ.

— Конечно, — заметил полицейский президент Шуб-барт, который в силу своего положения обязан был понимать все.

Монсеньор Штир просто кивнул головой. Шлезке же и Брунцлау молчали.

— Нет никаких сомнений, — продолжал распевать профессор Дроббер, — что этот анализ в нашей лаборатории был бы проведен с большей эффективностью. Но мы вынуждены были привезти аппаратуру сюда — таково было пожелание его преосвященства. И я надеюсь, что он не будет сетовать, если мы немного замешкаемся.

— Подождем, — согласился епископ и обернулся к заключенным:

— Так как же можете вы доказать, что донесение пробста кассельского монастыря — это не подделка?

— Ваше преосвященство, — с чувством сказал Шлезке, — ваше преосвященство, разве посмел бы я лгать вам? Нет, я не посмел бы лгать его преосвященству! Сколько лет прослужил я беспорочно и безгрешно? Я прослужил беспорочно и безгрешно сорок лет! И прошу заметить, что начинал я службу в качестве гражданского чиновника баварского, да, да, именно баварского епископства!

Аппарат профессора щелкнул, послышалось легкое жужжание и удовлетворенное мычание профессора.

— Так, так, — задумчиво протянул епископ, — почему же вы так долго держали этот важный документ у себя?

— Потому что я думал... Что я думал? Я думал, что пробст... некоторым образом... пробст был...

— Нет!!! — раздался вдруг громовой крик профессора. — Нет!!! Не может быть!

— Почему он кричит? — поинтересовался епископ.

— Этого просто не может быть! Один элемент! Всего один элемент! — выкрикивал профессор Дроббер.

— Неужели чистейшая платина? — радостно вострепнулся полицейпрезидент Шуббарт.

— Платина? — переспросил Дроббер. — Какая платина? Нет, господа, я должен повторить. Это какая-то ошибка, какая-то чудовищная ошибка! Я обязательно должен повторить!

— Да будет так, — согласился епископ и вновь повернулся к Шлезке: — Итак, зачем же вы держали этот документ в тайне сорок лет?

— Да! В тайне! Сорок лет! — сурово подтвердил господин полицейпрезидент Шуббарт.

— Надеюсь, у вас не было для этого корыстных целей? — почтительно вмешался в импровизированный допрос монсеньор Штир.

Шлезке ошалело переводил глаза с одного должностного лица на другое и лихорадочно соображал, соврать ли ему или чистосердечно выложить все. Надумав что-то, Шлезке уж было открыл рот, но тут между ним и епископом выросла дородная фигура профессора Дроббера.

Профессор был в такой стадии взволнованности, что не мог уже говорить ни нараспев, ни просто. Он беззвучно раскрывал рот, напоминая персонаж немого фильма. Наконец Дроббер обрел способность выталкивать из себя отдельные слова:

— Шестьдесят третий... только шестьдесят третий, и ничего больше... мой бог, чистый шестьдесят третий... Но откуда же, ваше преосвященство? Откуда? Это... это... Ваше преосвященство, скажите...

— Кажется, профессор что-то у меня спрашивает? — сухо осведомился епископ у монсеньора Штира. — Мне представляется, что это я должен спросить у профессора, что его так взволновало.

Секретарь понимающе наклонил голову, неслышными шагами подошел к профессору и протянул ему стакан с водой. Дроббер благодарно кивнул и сделал жадный глоток. Но, заметив обращенные на него недоуменные взоры епископа и господина Шуббарта, он, брызжа водой, закричал прямо в лицо монсеньору Штиру:

— Ведь это европий! Стопроцентный европий!

Понимаете ли вы, что это такое? Шестьдесят третий элемент — и ничего больше! Бог мой, это не галлюцинация? Нет?

— Европий? Ну и что же? — спросил епископ, начавший понимать, что профессор Дроббер взволнован неспроста.

— Но ведь до сих пор на всей планете этого элемента добыли не больше четверти грамма, — просто-напросто профессор, угнетенный такой чудовищной необразованностью.

— Фю-ю-ю! — присвистнул полицейпрезидент Шуббарт, забыв об этикете и своем высоком чине. — Так это дороже, чем платина?

— В миллион раз, в сто миллионов раз! — закричал профессор Дроббер. — Но при чем же здесь миллионы? Бог мой, килограммы европия! Но скажите мне, ради всего святого, где вы достали эту скульптуру? Где тот чудесник, который добыл столько европия? Кто сотворил это чудо?

— Тихо, господа! — вдруг сурово и властно сказал епископ. — Да, это действительно чудо! А чудесник, сотворивший это чудо, — наш господь, славить которого и служить которому — единственная наша забота. Помолимся, господа, всевышнему, который даровал нам нового святого.

С этими словами епископ подошел к изваянию, возложил на него руку и застыл, шепча молитву. Через несколько минут его преосвященство обернулось и сказал секретарю:

— Монсеньор, составьте письмо в Ватикан. Будем просить его святейшество даровать новооткрытому святому имя Кроллициаса Кассельского.

За все свое трехсотлетнее существование невзрачный Кассельский собор никогда не вмещал столько народу.

В центре, у самой кафедры, сидели наиболее именитые церковные чины. Одна сутана затмевала пышностью другую, а в трех местах алели даже кардинальские мантии.

Левую часть собора занимал генералитет. Представители бундесвера тоскливо переминались в ожидании начала богослужения.

Справа, тесня друг друга животами, стояли руководители министерств и гражданских ведомств. Тем было совсем плохо.

Многочисленные репортеры и фотокорреспонденты мостились в самых немислимых местах: они висели на колоннах, балансировали на спинках кресел, двое зацепились за люстру и, казалось, парили в воздухе.

Среди такого пышного собрания два виновника этого события — почетные граждане города Касселя господа Эрих Шлезке и Отто Брунцлау — боялись даже поднять руку, чтобы утереть струи пота, льющиеся с их распаленных лбов.

Отто растерянно озирался вокруг, то подымаясь на цыпочки, чтобы получше рассмотреть внушительные затылки кардиналов, то принимаясь считать орден на груди у какого-нибудь генерала.

Герр Шлезке по своему обыкновению мыслил. Мыслил он о превратностях судьбы, по милости которой он еще неделю назад хлебал пресную и прогорклую тюремную похлебку, а теперь в числе очень немногих кассельцев был удостоен чести присутствовать на торжественном богослужении над мощами нового, 995-го католического святого Кроллициаса Кассельского.

Богослужение должен был вести епископ баварский. Все с понятным нетерпением ждали выхода его преосвященства. Одним хотелось поскорее увидеть завершение сенсации, которая последнюю неделю бушевала на страницах всех западногерманских газет. Другим не терпелось поскорее попасть на свежий воздух. Особенно волновались корреспонденты. Не позже чем через час фотографии церемонии должны лежать в редакциях вечерних газет!

Гул, царивший в соборе, стал особенно сильным, когда время перевалило за семь.

Корреспонденты стали громко перекрикиваться между собой. Сверху загремел, перекрывая все про-

чие звуки; мощный бас репортера баварского радио:

— Черт, то есть простите, бог возьми, почему начинаете? У меня по эфиру четвертый раз крутят одну и ту же рекламу!

Тогда громко заговорили все. Кардиналы недоумевали степенно, едва поворачивая головы к своим вертким секретарям. Военные чины выражали свое негодование хриплыми басами. Гражданские предпочитали удивляться громким шепотом.

В суматохе не заметили, как на кафедре появился встревоженный и растерянный монсеньор Штир.

— Господа! — закричал он, перекрывая гул. — Господа! Богослужение отменяется! Его преосвященство внезапно и очень опасно заболел!

Собор разочарованно загудел. На монсеньора Штира ринулась толпа корреспондентов.

— В чем дело?

— Какая болезнь?!

— На когда перенесено освящение?

— Скажите несколько слов вот сюда, да, да, сюда!

— Господа! — слабо отмахивался монсеньор Штир. — Еще ничего не известно, вызваны доктора! Нет, слава творцу, не инфаркт. Не знаю... Нет, не знаю... Господа, пропустите же меня!

Собор быстро опустел. Только ворчащий репортер баварского радио сматывал свои провода.

Лишь спустя два часа сторож собора увидел, как из боковой комнаты вышел, осторожно поддерживаемый монсеньором Штиром, епископ. Его преосвященство громко стонал. Проходя мимо занавески, где стояли ослабившиеся мощи святого Кроллициаса, епископ замедлил шаги и остановился.

Сторож, решив, что настал удобный момент, бросился под благословение. Однако его преосвященство, не прекращая стонать, отдернул руку и, подняв ее, устремился к выходу, где его ждала автомашина.

Сторож, оставшись стоять на коленях, с недоуме-

нием смотрел вслед поднятой руке его преосвященства, три пальца которой почему-то были завернуты в какую-то отливающую металлом материю. Или это сторожу только показалось?

Всю ночь резиденция епископа была ярко освещена. У подъезда стояло не меньше десятка лимузинов, каждый из которых принадлежал кому-нибудь из видных профессоров-медиков. Сами профессора находились наверху, в гостиной. Они окружили постель епископа и недоуменно смотрели на его ладонь. Три пальца этой ладони были металлическими. Судя по тому, что четвертый палец опух и сильно покраснел, его должна была постигнуть та же участь. Епископ громко стонал: превращение его преосвященства в металл шло мучительно и трудно.

Уважаемые профессора недоуменно стреляли глазами друг в друга.

— Если верить всему тому, что сообщил нам сейчас монсеньор Штир, — заикаясь от волнения, начал руководитель хирургической клиники Гамбурга профессор фон Гросс, — то придется предположить, что мы встречаемся здесь с крайне удивительным заболеванием.

— Коллега фон Гросс оказался чрезвычайно проницательным! — не удержался, чтобы не съязвить, хирург Миллер, у которого фон Гросс отбивал добрую половину пациентов.

— Если верить документу о Кроллициасе, то есть, простите, святом Кроллициасе, то медлить нельзя, — торопливо выговорил представительный дерматолог Криггер.

— Резать... — задумчиво сказал терапевт Брошке.

— Господин терапевт Брошке, очевидно, желает сказать «ампутировать», — сухо заметил фон Гросс.

— Да, да, именно ампутировать! — поспешил согласиться тот.

— Пожалуй, так! — уверенно сказал Криггер.

— Так! — решился фон Гросс.

— Так! — согласился Миллер.

— Ваше преосвященство, — склонился к уху епископа монсеньор Штир, — консилиум решил, что необходима ампутация.

— А-а-а-а... мне... все равно, — простонал епископ.

— Но резать надо немедленно, — быстро сказал фон Гросс, которому очень хотелось перебить этого знатного пациента у выскочки Миллера.

— Да, да, немедленно, — заявил Миллер, — вот мои инструменты, отправляюсь мыть руки.

— Коллега Миллер соглашается мне ассистировать? — с вызовом осведомился фон Гросс.

— Нет, коллега, я обойдусь без вас, — с нажимом ответил тот, направляясь к выходу.

Фон Гросс направился за ним, намереваясь в коридоре свести счеты с соперником. За ними последовали остальные врачи. Но тут консилиум был остановлен отчаянным криком его преосвященства:

— Не надо! Не надо!

— Что не надо? — подбежал к епископу монсеньор Штир.

— Не надо ампутировать.

— Но ведь это опасно, ваше преосвященство! — перебивая друг друга, заговорили профессора.

— Творец... отметил... печатью... нас... — выбрасывал слова епископ. — Мы... сопричислены... к сонму...

Как всегда, первым догадался монсеньор Штир.

— Стойте, господа! — закричал он. — Его преосвященство покрывается металлом так же, как святой Кроллициас. Это ли не признак святости! Его преосвященство считает, что он тоже заслужил честь быть святым. Девятьсот девяносто шестой католический святой! Боже правый, какая сенсация!

Врачи оторопело выбежали из гостиной...

История повторялась. Утро застало дом епископа в переполохе. Из спальни его преосвященства доносились громкие и пронзительные стоны. Можно было только удивляться, как удается тщедушному и слабосильному старикашке издавать такие вопли. Под дверьми спальни бегали взад и вперед врачи, не осмеливаясь, впрочем, переступить порог: у дверей

с независимым и неприступным видом стоял монсеньор Штир.

— Но, может быть, вы разрешите один укол морфия его преосвященству? — каждые пять минут спрашивал сострадательный Брошке.

Штир отрицательно качал головой. Его преосвященство надрывался все больше. В половине десятого у дома раздался треск мотороллера. Монсеньор Штир подбежал к окну, радостно вскрикнул и кинулся к лестнице. У выхода из зала он столкнулся с монахом, который, тяжело дыша, вбежал в гостиную.

— Телеграмма от его святейшества из Ватикана! — заревел монах внушительным басом, перекрывая доносившиеся из спальни стоны.

Монсеньор Штир благоговейно развернул депешу и быстро пробежал ее глазами. Лицо его разочарованно вытянулось. Он небрежно бросил телеграмму на пол и, не оборачиваясь к врачам, сказал упавшим голосом:

— Можете ампутировать...

Фон Гросс и Миллер, отталкивая друг друга, двинулись к спальне. Любопытный тералевт Брошке склонился над брошенной депешой. Там значилось: «Не слишком ли много святых? Иоанн».

— Да, да, господа, это удивительное открытие, — напевал своим студентам на очередной лекции профессор Дроббер. — Вы, конечно, многое знаете из газет. Но, господа, газеты так неточны, так неточны...

Надеюсь, никто не будет упрекать меня, что я поначалу растерялся, узнав, что эта статуя или эти останки, вернее... мощи... Ну, словом, разумеется, потерял бы самообладание каждый. Триста сорок килограммов шестьдесят третьего элемента сразу! Да еще в таком страшном виде!

Я поначалу решил, что мой радиоактивационный анализатор испортился. Но нет, все было в исправности... И я бы, конечно, господа, сошел с ума, потому что последующие три дня я не спал и не ел, я только думал. О, что я только не передумал! Ведь евро-

пий, из которого сделан Кроллициас, совершенно чистый! Мы не обнаружили даже ничтожных примесей других металлов. Это было совсем страшно!

Да, господа, и тут пришел на помощь мой ассистент. Он занимался в прошлом на медицинском факультете. Он пришел ко мне и сказал: «Это бактерии, герр профессор». И я его выгнал, потому что эти слова показались мне бредом. Но я стал думать и решил: «А почему бы нет?»

Ну, а остальное вы знаете, господа, здесь газеты передавали все как будто бы точно. Да, если мы вдумаемся в эту проблему, то все это покажется не таким уж удивительным. В самом деле, большинство известных нам бактерий черпают необходимую им жизненную энергию так же, как и высшие животные, за счет тепла, выделяющегося при сгорании углеводов в кислороде. Но ведь уже давно было известно, что существует много разновидностей микромира, которые прекрасно обходятся без кислорода. Есть бактерии, которые необходимую им жизненную энергию черпают из реакции соединения с серой или из реакции разложения сероводорода. В последние годы были открыты бактерии, которые возбуждают реакцию соединения кремния с кислородом, и в этой реакции — их источник существования.

Ну, а здесь просто новая разновидность бактерий. Мы с ассистентом Бреслером назвали их атомными бактериями. Они получают жизненную энергию, возбуждая ядерные реакции. Сначала они заставляют медленно, но неукротимо сливаться ядра водорода. При этом образуется кислород и за счет дефекта массы выделяется значительная энергия. Но бактерии на этом не останавливаются. Они ведут процесс ядерных превращений дальше: ядра кислорода сливаются в ядра титана. Это приводит к дополнительному выделению энергии.

Этот процесс укрупнения атомов происходит до тех пор, пока он, по неизвестным нам причинам, не останавливается на европии. Мы зафиксировали эти бактерии в электронном микроскопе, и тогда многое стало ясным. Стало ясно, почему святой Кролли-

циас превратился в металл и почему его преосвященство тоже чуть было не покончил свои счеты с жизнью таким же образом: бактерии с Кроллициаса перешли на его преосвященство.

Но все же оставалось много загадочного. Почему эти бактерии были только на мощах Кроллициаса? Почему все живое на Земле не стало их жертвой?

И тут уже, господа, догадался я. Да, да, я не буду ложно скромн. Это я догадался заглянуть в подлинник знаменитого донесения пробста Кассельского монастыря. Об этом донесении, как вы помните, много писали газеты.

Бактерии эти были занесены на Землю метеоритом. Ведь «упавший камень», о котором говорится в донесении, — это, конечно, метеорит. Кто знает, из каких галактик залетел к нам этот страшный камень?

Ясно только одно — атомные бактерии не выдержали сколь-нибудь долго земных условий. Они быстро перешли в споры, превратив в европий лишь одного беднягу Кроллициаса.

Ну, а «европизация» его преосвященства объясняется просто. Сильный поток нейтронов, которым я облучил мощи при радиоактивационном анализе, разбудил жизнедеятельность спор этих загадочных бактерий. И вольно же было благословлять его преосвященству мощи сразу же после облучения!

Мощи святого Кроллициаса находятся сейчас в Кассельском соборе. Их показывают верующим раз в неделю, в субботу. К концу недели в Кассель съезжается обычно великое множество народу — верующих и туристов. После окончания богослужения верующие бредут на вокзал, а туристов везут в ресторан «Европий», который стоит на месте бывшего погребка «Пена над кружкой». В ресторане туристов встречает сияющий Отто Брунцлау и первым делом подводит гостей к столику, за которым сидит герр Шлезке. Отто Шлезке теперь служит в «Европии». Обязанностей у него две: показывать себя гостям и пить пиво. С обеими он справляется отлично.

ГЛЕГИ

Он открыл верхний люк ракеты и, стоя на ступеньках, до половины высунулся наружу. Небо было ясное, зеленое, с большим белым солнцем. Скафандр быстро нагрелся, стало жарко. «Тут вполне можно было бы обойтись без скафандров, — с досадой подумал он. — В этой скорлупе того и гляди сварисься, как яйцо...» Он хотел было вернуться, но тут увидел темную точку, передвигающуюся вдалеке по равнине. Он сжал губы и медленно поднялся на последнюю ступеньку. «Конечно, вездеход. Почему они возвращаются так рано? И гонят во весь дух, как видно...» Он вдруг понял, что все время подсознательно ждал беды. Ждал какой-то каверзы от этой милой мирной планеты. «Милая, мирная, мертвая, — бормотал он, глядя на вездеход. — Такая симпатичная покойница, прямо сердце радуется».

Он сам не понимал, почему сердится на эту ни в чем не повинную и, должно быть, очень несчастную планету. Вероятно, его злило, что она, такая красивая и спокойная, оказалась мертвой. Вернее — вымершей. Непонятно, почему и как. За холмами, окружавшими долину, на которой опустилась их ракета, лежали селения; невдалеке был большой город, возможно столица государства. Еще недавно там жили похожие на людей Земли разумные существа, создавшие цивилизацию на довольно высоком уровне. Со-

хранились здания и фрески, картины и книги. Остались заводы, дороги, машины, летательные аппараты — хорошо развитая, но заброшенная и гибнущая техника. По книгам, найденным в городе, удалось проанализировать язык, представить себе внешность этих семипалых глазастых созданий, по-видимому более тонких и хрупких, чем жители Земли; можно было бы в случае необходимости объясняться с ними.

Но в том-то и дело, что почти все живое на этой планете бесследно исчезло. Оставалась пышная растительность всех оттенков красного цвета — от розового и бледно-оранжевого до густо-багрового, почти черного: такие черно-багровые деревья толпились вокруг большого озера среди холмов, и вода его казалась черной, хотя река, вытекающая из этого озера, была стеклянистой и прозрачной. В озере водились длинные темные угри, в реке и в ее притоках плавали стайки веретенообразных, почти прозрачных рыбок. Герберт Юнг ловил и исследовал угрей и рыб; ловил он и земноводных фиолетово-черных ящериц. «А что ему еще делать, Юнгу, если только рыбы да ящерицы и остались на этой планете? Ни людей, ни зверей, ни птиц... Правда, Карел позавчера поймал в городе какого-то зверька. Может, где-нибудь тут и есть жизнь...» Он все смотрел на эту мирную красновато-розовую долину, окруженную пологими холмами, и видел, как быстро растет, приближаясь к ракете, пятнышко вездехода. «Да, летят во весь дух... Значит... проклятая планета!» Тут ему стало стыдно. «Ты же изо всех сил добивался, чтоб тебя пустили в этот полет. Хотел псыбывать где-нибудь первым. Открыть новый мир. Романтика Неведомого. Вот и получай свою романтику. Или ты хотел романтики со всеми удобствами?»

— Казик! Наши возвращаются! — крикнул он, вбегая в кабину Казимира.

— Не кричи! — досадливо сказал Казимир, встряхивая пышными светлыми волосами. — Ты мне все рифмы распугаешь... Минуту! Ага, есть все-таки! — Он удовлетворенно хмыкнул, потом поднял голову. — Так что ты сказал, Виктор?

Его большие синие глаза светились на бледном лице. Виктор знал, что у Казимира железное здоровье и крепкие нервы, что он — чемпион Польши по лыжам, и все же каждый раз удивленно смотрел на это бледное узкое лицо, озаренное мистическим сиянием глаз, — лицо поэта и ясновидца. Между тем стихи Казимир писал плохие, а способностью к ясновидению и вовсе не отличался.

— Опять стихи Кристине? — спросил Виктор. — Говорю тебе: наши возвращаются. Слишком рано, понимаешь? Я так и знал, что на этой планете стряется какая-то беда!

Он прошелся по кабине, ероша темные, коротко стриженные волосы.

— Не топчись у меня над ухом, — попросил Казимир. — Мешаешь. И почему именно беда? Может, нашли что-нибудь интересное, вот и вернулись. Выйдут они из шлюзовой, тогда все узнаешь.

Виктор изо всех сил хлопнул дверью — впрочем, он заранее знал, что хлопанья не получится, срывает пористая прокладка и дверь прикроется неслышно. Казимир даже не обернулся.

«Нашел время писать стихи! — с досадой думал Виктор, шагая по мягкому, пружинящему настилу коридора. — Вот ведь характер!» Он, в сущности, завидовал спокойствию Казимира и стыдился своей нелепой тревоги — ведь и в самом деле, может, ничего плохого не случилось...

Но когда из-за поворота коридора показался Владислав, Виктор сразу почувствовал — нет, тревожился он не напрасно. Владислав почти бежал, на ходу приглаживая мокрые волосы.

— Владек! — крикнул Виктор.

Владислав подошел ближе. Его смуглое матовое лицо слегка порозовело от духа.

— Таланов тебя зовет в медицинский отсек, — сказал он.

— Что случилось? С кем? — отрывисто спросил Виктор.

— Карел... с ним неладно. Подожди, Таланов велел рассказать тебе здесь, чтоб при Кареле помень-

ше говорить. Карел, понимаешь... — Владислав постучал пальцем в лоб.

— Карел! — поразился Виктор.

— Да. Слушай. Мы были уже в городе, когда это у него началось. Шли по большой круглой площади со ступенями, — знаешь, где то белое здание, что похоже на яйцо. Карел начал отставать от нас, потом сел на ступеньку. Я подошел, спросил: «Ты плохо себя чувствуешь?» Он покачал головой. Я говорю: «Что ж ты сидишь, человек? Пойдем!» Он встал и пошел. Но, понимаешь, ходил как-то механически, ничем не интересовался, ни с того ни с сего останавливался. Мы его спрашивали, что с ним, он сначала говорил, что ничего, потом стал как-то странно улыбаться, не отвечал на вопросы. Мы решили вернуться. В вездеходе он так осматривался, будто все впервые видел. Потом сказал, что ему все это, наверное, снится.

— Что именно снится? У него были галлюцинации?

— По-моему, нет. Это он о нас говорил, что мы ему снятся, что вездеход ему снится. А в шлюзовой кабине вдруг заявил, что он — это не он. Понимаешь, стоит под душем, трогает себя и говорит со страхом: «Нет, это не я!»

— Так! — Виктор сжал губы, раздумывая.

Ничего подобного он не видел за все время работы на Лунной станции. То есть, конечно, бывали случаи помешательства, но при каких-нибудь тяжелых авариях, катастрофах, под воздействием гибели товарищей, одиночества, ожидания смерти. А здесь ни с того ни с сего... И почему именно Карел, самый уравновешенный и спокойный из всех?..

* * *

— Что ты чувствуешь? — спросил Виктор. — Слабость? Голова болит?

— Слабость? Не знаю, нет... — Карел еле шевелил губами. — Тело не мое.

— Как не твое? А чье же?

— Не знаю. Вот я рукой двигаю, а она не моя. Или, может, моя, а двигает ею кто-то другой.

— Карел, ты же понимаешь, что это чушь, — очень бодро сказал Виктор.

— Понимаю, — согласился Карел. — Конечно, этого не может быть.

Он помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и вдруг резко протянул руку к Виктору. Рука уткнулась в плечо Виктора, и на лице Карела отразилось не то удивление, не то удовлетворение.

— Ты что? — спросил Виктор.

— Я думал, что ты мне снишься, — пробормотал Карел.

— А почему?

— Так... все будто во сне. Или как на картине нарисовано.

Он опять надолго замолчал. Потом вдруг лег и отвернулся к стенке. Виктор отодвинул дверцу стенового шкафа с лекарствами и, поколебавшись, достал маленькую желтую таблетку.

— Глотни, Карел! — сказал он.

Карел послушно приподнялся, проглотил таблетку и опять лег. Виктор вышел в соседнее помещение. Там сидел Таланов.

— В этом состоянии с ним невозможно разговаривать, — сказал Виктор. — Он моментально истощается. Я дал ему таблетку энергина. Минут через десять он, наверное, станет почти нормальным. На время, конечно.

— Что это, по-твоему? — спросил Таланов.

Его темно-карие, глубоко сидящие глаза смотрели испытующе и, как показалось Виктору, недоверчиво. «Ну что ж, он прав, — не без горечи подумал Виктор. — Я ничего в этом не понимаю. А он теперь жалеет, что взял в рейс меня, а не Вендта... Правда, Вендт уже стар для дальних полетов, зато...»

— Не знаю, — Виктор глядел прямо в глаза Таланову. — Я ведь не специалист в психиатрии. Все это кажется мне странным — такое внезапное и бурное развитие болезни у совершенно здорового, урав-

новешенного человека... и без предшествующей травмы...

— На Карела и тяжелые травмы не очень действовали, — сказал Таланов. — Я был с ним в том рейсе «Сириуса»... знаешь, когда погибли Беренс и Фальковский на астероиде и Карел их разыскивал. Случилось это все на глазах у Карела, Беренс был его лучшим другом, а помочь ничем нельзя было... Так вот, если Карел тогда не сошел с ума, пять лет назад...

— Понятно, — сказал Виктор. — Пойдемте к нему, энергин, наверное, уже начал действовать.

Карел сидел, растерянно озираясь.

— Что со мной творится? — голос звучал спокойно, но видно было, что Карел испуган. — Я что — заболел?

— Да, немножко, — Виктор сел к нему на койку. — Как ты себя чувствуешь сейчас?

— Лучше. Что это было?

— Расскажи, что ты чувствовал, — вместо ответа попросил Виктор.

Карел нахмурился.

— Мне трудно, — сказал он. — И потом... я боюсь.

— Чего боишься?

— Мне кажется, если я буду рассказывать, это вернется.

Виктор вздохнул.

— Расскажи, — мягко повторил он. — Нам нужно знать, в чем дело, иначе...

Он не договорил. Лицо Карела исказилось от страха.

— Что иначе? Я все еще болен? Я не выздоровел?

— Послушай, Карел, надо спокойней, — вмешался Таланов. — С тобой бывали вещи похуже, а ты выпутывался. Со всеми бывало всякое, верно?

— Такого не было, — убежденно сказал Карел. — То все было вне меня, понимаете? А это — внутри. Поэтому я боюсь. Я теряю себя.

— Ну, объясни, что это значит.

— Не знаю, как объяснить, — Карел помолчал. —

Сначала я вдруг подумал, что все это ни к чему. Ну, все, что мы делаем. Просто мне стало неинтересно. И вы, и все кругом, и я сам. Но когда мне говорили: встань, ходи, садись, — я это делал. Только уже будто не я, а кто-то другой, внутри меня.

Он тревожно посмотрел на товарищей.

— Это душевная болезнь, да? — спросил он.

— Не думаю, — сказал Виктор. — Откуда у тебя вдруг душевная болезнь? Ты же не новичок в космосе.

Лицо Карела немного прояснилось.

— Это верно, — сказал он. — Но только что же тогда? Понимаете, мне потом стало казаться, что все вокруг не настоящее. Как во сне. Или будто на картине нарисовано, только движется.

— Это как понять? — спросил Виктор.

— Да не знаю. Ну, плохая картина, такие тусклые краски, словно они выцвели, да и вообще нарисовано неубедительно. А сам я будто высох, уменьшился. И внутри меня кто-то сидит. — Лицо Карела опять свела гримаса страха и отвращения. — Я иду, а это будто кто-то другой идет, не я, не мое тело. Или, может, мое, но ведет его кто-то другой. А сам я как будто невесомый... — Он вдруг застыл, глаза его уставились в одну точку. — Это опять начинается... Не надо было говорить! Я знал, что не надо говорить!

— Успокойся, Карел! — Виктор положил ему руку на плечо и почувствовал, что все большое, сильное тело Карела сотрясается от страшного напряжения. — Это пройдет.

— Пройдет? Думаешь, пройдет? Ты ведь не знаешь, что это, и никто не знает. Зачем ты говоришь, когда не знаешь! Вот, вот, я опять потерял себя! — Карел побледнел. — Там, внутри, опять кто-то другой! Виктор, друзья, помогите мне, я ведь болен, этого не может быть, того, что я чувствую!

Он лег и уткнулся лицом в подушку. Таланов и Виктор молча переглянулись. Виктор достал из шкафа прозрачную трубку с белыми таблетками.

— Проглоти, Карел, — приказал он.

Карел сел, взял таблетку и проглотил. Потом начал ощупывать себя.

— Виктор, только по совести скажи: я все такой же? — вдруг спросил он. — Ну, я не стал меньше?

— Нет. Это тебе кажется. — Виктор вздохнул. — Я дал тебе снотворное, тебе нужно поспать и успокоиться. Спи, Карел, мы что-нибудь придумаем. Обязательно.

— Или придумайте, или убейте меня, — сказал Карел угрюмо. — Так жить все равно нельзя. Я ведь не знаю, чего хочет этот, другой, внутри меня. Я не могу так.

— Карел, это болезнь. Ты же понимаешь, что никого другого внутри тебя нет. — Виктор говорил тихо и спокойно. — Спи. Главное — не бойся, мы тебя вылечим.

* * *

— Мы можем сделать для Карела только одно: уберечь его от дальнейших страданий, — сказал Юнг, — и доставить на Землю. Там его вылечат.

— Анабиоз? — спросил Таланов.

— А что же еще? — Юнг пожал плечами. — У нас не остается ничего другого. Карел страдает. А в полете ему, наверное, станет еще хуже. И чем это может кончиться, мы не знаем, верно?

— Виктор, ты как? — спросил Таланов.

— Не знаю. Пока не могу понять, что случилось.

— Но ты соглашаешься насчет анабиоза?

Виктор подумал.

— Отложим до завтра. Я буду дежурить эту ночь в медицинском отсеке.

— А это не опасно? — спросил Герберт Юнг. — Карел ведь очень сильный. В случае чего...

— Я дам ему снотворное.

— Будут дежурить двое, — сказал Таланов. — Ты и Юнг. Спать по очереди.

Карел проснулся вечером. Виктор дал ему таблетку энергина, поговорил с ним. Энергин на этот раз подействовал совсем ненадолго. Карел дрожал от страха, он был неузнаваем. Он, конечно, не умень-

шился, но лицо его так осунулось и побледнело, что Карел казался совсем другим человеком. И глаза у него были еще более странные, чем днем. Виктор присмотрелся и увидел, что Карел сильно косит.

— Ты хорошо видишь? — спросил он.

— Плохо, — сейчас же отозвался Карел. — Очень плохо. Туман, все струится. Вот тут, — он показал рукой влево, — какое-то переливчатое пятно. И ты расплываешься, я тебя плохо вижу.

Действие энергина проходило, Карел стал говорить тише, бессвязней, все время будто прислушивался к чему-то внутри себя. Виктор дал ему снотворного.

— Ложись пока спать, — сказал он Юнгу.

Через четыре часа он разбудил Юнга.

— Если проснется Карел, дашь ему еще снотворного, — сказал он и сразу уснул.

Ему показалось, что спал он всего минуту. Юнг тронул его за плечо, и он вскочил, протирая глаза. Карел лежал на спине, ровно и глубоко дыша; он слегка разумянился от сна и казался совсем здоровым. Виктор взглянул на часы: двадцать минут третьего, он не проспал и двух часов.

— Что случилось, Герберт? — спросил он.

Юнг молчал. Он сидел сгорбившись, весь будто сжался. Прямые светлые волосы, всегда так аккуратно зачесанные назад, свисали на лоб. Виктор поглядел на его бледное, сразу осунувшееся лицо и до боли прикусил губу.

— Герберт, что с тобой? — еле выговорил он.

Юнг поднял на него светло-голубые глаза: в них был испуг.

— Я тоже... я болен, как Карел. То же самое, что он говорил, — Юнг внезапно схватился за голову обеими руками. — Голова стала легкая, как воздушный шар... Может улететь... Да... и все, как во сне...

Виктор подошел к нему. Юнг отшатнулся и закрыл лицо руками.

— Ты можешь остаться один? Я сейчас же вернусь.

— Иди, пока я не гляжу, — глухо ответил Юнг. — Когда ты ходишь, мне кажется, что ты идешь сквозь меня.

Выходя из кабины, Виктор обернулся: Юнг сидел, зажмурив глаза и держась за голову.

* * *

— Карел позавчера порвал скафандр, — сказал Владислав. — Я совсем забыл. Разрыв был совсем маленький.

— Как же это он порвал скафандр? — спросил Таланов. — Легкое ли дело!

— А я вам говорил, что мы зверька видели в городе. Карел поймал его для Юнга. Зверек был красивый такой, с голубоватой блестящей шкуркой, похож на кошку, только мордочка остренькая, как у лисенка, и глаза большие, темные. Зверек начал вырываться, а у него когти острые, вот он когтем и зацепился за скафандр на плече. Тут Карел, конечно, бросил с ним возиться и начал чинить скафандр.

— Ну вот. Значит, это инфекция, — почти удовлетворенно резюмировал Таланов.

Он замолчал. Все трое подумали об одном и том же.

— И от этого они все погибли, да? — тихо проговорил Владислав. — Тогда...

Таланов и Казимир молчали. Болезнь эта, по видимому, развивается молниеносно. Уже неважно, кто будет следующим. Два-три дня — вот что осталось им всем в лучшем случае. Потом болезнь. И смерть. В таком состоянии не доведешь ракету до Земли.

Первым заговорил Таланов.

— Владислав, мы с тобой поедem сейчас в город. Надо, мне кажется, проверить ходы, идущие вглубь, под почву.

Владислав быстро взглянул на него.

— Вы что-нибудь заметили? — спросил он.

— А ты?

— Ничего определенного. Но вчера, еще до того,

как Карелу стало совсем плохо, мы с ним спустились в люк на главной площади и там... ну, словом, там кто-то есть, какие-то живые существа, я в этом уверен. Хотя ничего определенного сказать не могу.

— А все же? — спросил Таланов.

— За нами кто-то следил. Я не видел, скорее чувствовал.

— Почему сразу не сказал?

— Из-за Карела. С ним начало все это твориться... Он тоже как будто чувствовал, что следят, а потом наверху я его спросил, и он ответил, что это нам показалось.

— Да ведь ему все стало казаться сном, — заметил Таланов.

— Ну да, но это потом, а тогда я решил, что мне тоже показалось.

— А теперь ты так не считаешь?

— Не считаю.

Таланов подумал.

— Казимир, можешь ты сочинить небольшую записку на их языке? Написать крупными знаками несколько простых вопросов? На всякий случай.

— Постараюсь, — Казимир поднял сияющие синие глаза на Таланова. — Что надо написать? Мой «Линг», я думаю, быстро справится.

«Линг» — это был электронный анализатор языка, усовершенствованный Казимиром, его гордость и радость. Все знали: Казимир потому и согласился на внезапную и долгую разлуку со своей Кристиной, что не устоял перед блестящей возможностью испытать способности «Линга» на совершенно чуждых языковых системах.

— Я думаю так: «Мы прилетели к вам издалека». Тут надо рисунком показать, откуда мы: отметить путь от Земли до них. Кстати, как все-таки они называют свою планету?

— Боюсь, что на слух этого не уловишь. У них очень сложная фонетическая система, все зависит от высоты и модуляции звука. Не то Энмееен, не то Инемин...

— А «Линг» что говорит?

— В том-то и дело, что «Линг» не говорит, а пишет, — смущенно сказал Казимир. — Он все это подробно объясняет, а я все равно не могу уловить особенностей произношения. Если б услышать живую речь...

— Да, если б! — усмехнулся Таланов. — Словом, запиши текст. Дальше так: «Хотим срочно поговорить с вами. Мы ваши друзья. Почему вы прячетесь?» Ну, хватит на первый раз. Тем более, что непонятно, где и как мы их увидим.

— Сочиняй, — сказал Таланов. — Привет «Лингу». Я пока пойду к Виктору.

Владиславу не хотелось снова видеть больных — впрочем, Виктор все равно держал их теперь в изоляторе и никого туда не впускал. Не хотелось смотреть и на то, как молниеносно перемигиваются зеленые и красные огоньки на белом пульте «Линга». Он остался в кабине и откинулся на спинку сиденья, почувствовав страшную усталость. «Мы все равно ни черта не успеем... К чему это все?» — подумал он и вдруг испугался: а что, если это уже начало болезни? Он вскочил и начал быстро расхаживать по кабине. Потом решил проверить, не кажется ли ему собственное тело чужим, и стал делать гимнастические упражнения. Казимир появился в тот момент, когда Владислав с яростью наносил удары по невидимой мишени. Владислав сразу остановился и почувствовал, что краснеет.

Но Казимир и не думал издеваться над ним.

— Разминаешь мускулы? Правильно! — мечтательно сказал он. — Эх, сейчас бы в наше дорогое Закопане! Снег блестит, лыжи сами идут...

— Неплохо бы... — согласился Владислав и вздохнул. — Написал письмо?

— А как же! «Линг» в два счета...

Таланов появился в дверях.

— Ну-ка, покажи, как оно выглядит, — сказал он.

— Вот, пожалуйста, — Казимир протянул ему плотный лист бумаги, разрисованный непонятными знаками: строка покрупнее, над ней вплотную ряд

мелких значков. — Надеюсь, это будет им понятно. Если только, конечно, это их язык...

— Чей же еще? — спросил Таланов.

— Кто знает? Может, те, которые живут в подземельях, истребили жителей этой планеты, — задумчиво ответил Казимир. — Убили тех, кто любил свет, потому что сами боятся света, ненавидят его...

— Мрачная картинка, — сказал Владислав.

— А ты представляешь себе что-нибудь более веселое? — осведомился Казимир.

Таланов задумчиво разглядывал письмо.

— Почему они пишут в два ряда? — спросил он.

— Верхний ряд, с мелкими значками, обозначает высоту и модуляцию звука. У них, по-видимому, много гласных и есть разные варианты их звучания, меняющие смысл слова. Очевидно, слух у них более тонкий и изощренный, чем у нас. Без этого верхнего ряда нельзя понять, что говорится в основном тексте. Зато основных знаков немного.

— Нелепо, — заметил Владислав. — Ведь проще иметь побольше основных знаков.

— В наших земных языках тоже сколько угодно нелепостей, — сказал Казимир.

— Ты нигде не встречал в их книгах упоминаний о подземельях, о ходах под городом? — спросил Таланов.

— Нет. Впрочем, я ведь очень мало читал.

— Ладно. Едем, Владислав.

Они мчались во весь дух по дороге среди холмов. Кустарник, растущий на крутых склонах, хлестал своими гибкими красно-розовыми ветвями по стенкам вездехода. Впереди уже показался город со своими непривычными для земного глаза спиралеобразными улицами, овальными и круглыми зданиями без окон и дверей, со слегка поблекшей светящейся росписью на стенах. Белые и бледно-зеленые, как небо, палевые и светло-бронзовые здания выступали среди буйно разросшихся, одичавших деревьев, кустар-

ников и ползучих растений, вьющихся по стенам и куполообразным крышам. Весь город был словно залит кровью, темневшей и сгущавшейся на большой площади, посреди которой белело овальное здание с округлой крышей и стенами, слабо светящееся, как гигантское серебристое яйцо. Деревья, посаженные на некотором расстоянии от него, своими темно-багровыми ветвями с узорчатой пурпурной листвой уже касались светящихся, плавно закругленных стен. Снизу, от полосы кустарника тянулись цепкие алые побеги; колыхаясь в воздухе, они безуспешно силились зацепиться за безукоризненно гладкие стены и, достигнув ветвей деревьев, обвивались вокруг них.

Таланов и Владислав вышли из вездехода на главной площади.

— Да, конечно, вся эта история произошла совсем недавно, — сказал Таланов, поглядев на деревья и кусты. — Герберт говорит, что здешние деревья и кусты растут примерно с такой же скоростью, как у нас в умеренном климате. Значит, им лет пять-десять, не больше, верно? Ну, так где ты это увидел, показывай.

— Я ведь, собственно, ничего не видел, — сказал Владислав, шагая по овалю изогнутым широким ступеням. — Просто мне показалось, что за нами кто-то следит. Даже не знаю почему. Я же говорю: ничего определенного.

Они вошли в большой светлый зал. Причудливо изогнутые тени ветвей лежали на смутно серебрищемся полу.

— Ты только внизу это почувствовал, а тут, наверху, ничего не было? — спросил Таланов.

— Только внизу. Будто кто-то глядел на нас. И потом — очень слабый шорох, как будто издалека. А глядели — вблизи. Не знаю, как это объяснить.

— Пойдем вниз, — сказал Таланов.

Овальное отверстие хода темнело в глубине зала. Крышка была откинута.

— Это вы так оставили? — спросил Таланов.

— Так и было. Иначе мы бы и не заметили это-

год хода. — Владислав вдруг остановился. — Впрочем... Помните, мы в первый раз были тут вместе с вами? Я ведь сюда подходил, сейчас я это твердо помню. И ничего не заметил.

— Ты уверен? — спросил Таланов.

— Ну конечно! И Карел был со мной!.. Да, Карел... Но все же, может быть, он помнит...

— Ладно, пойдем вниз.

Таланов начал спускаться по ступенькам, включив фонарик, прикрепленный на груди. Они прошли несколько шагов по подземной галерее. Серебристые плиты потолка и стен в темноте светились ярче, и Таланов выключил фонарик. Они постояли, чтоб привыкнуть к полутьме. Вдруг Владислав прошептал:

— Они опять следят за нами...

Таланов обернулся, прислушался.

— А тебе не кажется? — недоверчиво спросил он. — Я ничего не слышу.

— Я тоже не слышу. Только чувствую взгляд.

— Тебе и вчера на этом месте чудилось?

— Да, кажется, на этом.

Таланов включил фонарик и начал внимательно осматривать стены. Они были всюду одинаковые, слегка светящиеся в остром белом луче фонарика. Таланову показалось, что в одном месте плиты облицовки сходятся менее плотно, он приблизил лицо к стене — и вдруг тоже почувствовал, что кто-то на него смотрит. Он невольно отшатнулся, стараясь понять, откуда это странное ощущение. «Может, так начинается эта проклятая болезнь? — с тревогой подумал он. — Хотя нет, у Карела и Герберта было иначе...»

— Вы слышали? — прошептал Владислав.

Таланов снова приблизил фонарик к стене. Ну да, вот откуда это ощущение! Слабый и короткий, словно оборванный, не то вздох, не то стон там, за этой стеной. Присутствие кого-то живого. Он начал простукивать стену: да, здесь пустота.

— Вы дальше проходили? — спросил он.

— Да, только недалеко, вон туда примерно. Карелу было уже совсем плохо.

Таланов пошел вперед, светя фонариком и простукивая стену. Дальше шла сплошная кладка. Он повернул направо, в боковой проход, держась у той же стены. Гулкий звук пустоты опять возник через несколько шагов.

— Ты что-нибудь чувствуешь? — спросил Таланов.

— Да, — уверенно сказал Владислав. — Они и тут есть.

Таланов стоял у стены, водя фонариком. Тут и плиты прилегали плотно, и вообще стена в этом месте ничем не отличалась от других участков подземного хода. Только этот звук пустоты да еще странное ощущение Владислава. «Пожалуй, и мое, — подумал он. — Если только это не самовнушение».

— Значит, вы дошли до этого места, — сказал он, вернувшись в главный проход, — и дальше не пошли?

— Да, до этого поворота.

Таланов направил луч фонарика в глубь прохода. Белое яркое пятно пробежало по светящимся стенам, по светлому гладкому полу и где-то вдалеке уткнулось в разветвление ходов. Округленная линия выступа, ход налево, ход направо. Таланов выключил фонарик.

— Пройдем еще немного, — сказал он угрюмо.

Таланов боялся идти дальше, боялся этих незримых существ, исподтишка наблюдающих за ними, боялся, что он и Владислав заболеют, не успев добраться до ракеты. Но здесь, в подземном переходе, они были ближе к разгадке, чем наверху. А времени для поисков и попыток спастись у них оставалось, может быть, совсем мало.

«Карел подцепил болезнь наверху, — думал он, внимательно осматривая стены и пол. — Если это они наслали на нас болезнь, значит они выходят наверх. Кто они вообще? Если те, что жили здесь прежде, почему они прячутся под землей?»

— Они опять смотрят, — шепнул Владислав и повел глазами вправо. — Вот отсюда.

Таланов быстро шагнул к стене, полоснул по ней

лучом фонарика. Теперь он гораздо явственней услышал сдавленный стон и легкий шорох. Он постучал по стене — конечно, там была пустота.

— Дело ясное: стены в этих местах прозрачны изнутри, — сказал он. — Они нас видят, а мы их нет. Ловко придумано. Потом — эти существа живут в полутьме. Яркий свет причиняет им боль, поэтому они и выдают себя, если их внезапно осветить.

— Что же теперь нам делать? — спросил Владислав.

— Кто его знает. Если б их хоть увидеть, какие они.

— А какая разница?

— Да, может, там, за стеной, что-нибудь вроде летучих мышей или кротов.

— Да... — пробормотал Владислав. — Верно... А если попробовать приложить наше письмо к этим прозрачным местам в стене? Может быть, они прочтут и как-нибудь ответят?

— Правильно. Сейчас попробуем... Что это?!

Из бокового хода что-то вылетело и с легким, еле слышным стуком упало на плиты. Таланов и Владислав бегом кинулись к боковому проходу и еще успели заметить странный мерцающий силуэт, быстро скользящий вдоль стены, почти неразличимый на ее светящемся фоне. Странное существо неслышно скользнуло за скругленный выступ нового ответвления и, прежде чем Таланов и Владислав успели добежать до поворота, исчезло, словно растаяло в этом призрачном мертвом мерцании.

— Ты ясно видел? — спросил Таланов.

— Ясно. То есть насколько возможно: оно ведь почти незаметное. Я даже не понял, кто это — человек или зверь. Ни ног, ни рук, ни головы — ничего не видел.

— Я видел руку, она мелькнула на мгновение. И голову... Нет, по-моему, это человек, только в какой-то странной одежде.

— Ну да, вроде маскхалата разведчиков, — сказал Владислав. — Похоже, что так.

На плитках пола лежала матовая зеленоватая пластинка со скругленными углами. Таланов опустился на одно колено, разглядывая пластинку; потом взял ее в руки.

— А ведь это их письмо, Владислав! — сказал он. — Они сами к нам обратились.

— Здорово! — отозвался Владислав. — Как теперь быть? Сразу вернуться на ракету?

Таланов покачал головой.

— Письмо не длиннее нашего. Наверно, тоже сплошные вопросы. Придется показать им наше письмо.

— Мы их собьем с толку, — возразил Владислав. — Подумайте: их язык знаем, а на письмо ничего ответить не можем. Как они смогут это объяснить?

— Наше письмо — ответ. Наверняка они спрашивают, откуда мы, и так далее. Вот пускай и посмотрят.

Он постучал по стене и, обнаружив пустоту, приложил к этому месту письмо, плотно прижав его ладонями. За стеной послышался легкий шорох, потом тихие, слабые возгласы и переливчатая быстрая речь, похожая на щебетанье птиц. Таланов все стоял, прижимая ладони к стене, и смотрел прямо перед собой, словно видя тех за тонкой, непрозрачной для него стеной.

Шорох за стеной усилился; потом послышалось слабое шипенье. На белой светящейся стене появились матово-серые круги и пятна; они все ширились, сливались... Таланов отшатнулся и уронил бумагу: стена становилась прозрачной.

— Ты видишь, Владислав? — шепотом спросил Таланов.

— Да. Они снимают защитный слой, — Владислав тоже шептал.

Оба они боялись шевельнуться. На стене возник небольшой, четко очерченный овал. К прозрачному окну приблизилось лицо... Прямо на астронавтов глядели круглые птичьи глаза, без бровей и ресниц.

Тонкий изогнутый нос тоже напоминал клюв птицы; рот был узкий, почти безгубый.

Таланов и Владислав не отрываясь глядели на это странное лицо, лишь отдаленно напомилавшее человеческое. Лицо было живым и разумным.

— Все-таки это они... те, которые жили наверху, — шепнул Владислав. — Те же лица, что на картинах и в книгах.

Таланов кивнул. Существо за прозрачной перегородкой заговорило высоким, переливчатым, щебечущим голосом, указывая на табличку, которую Владислав держал в руках. Астронавты переглянулись.

— Либо мы не ответили в письме на их вопросы, либо они предугадали наши вопросы и все сообщили в табличке, — сказал Таланов. — Ах, черт, что же делать?

Лицо за перегородкой исчезло, вместо него возникло другое, очень похожее, только чуть покрупнее и потемнее цветом: в неясном фосфорическом свете оно казалось коричневым. Таланов сделал вид, что пишет на табличке, и попытался знаками объяснить, что надо писать, а не говорить. Перед отверстием появилась семипалая рука и дважды махнула справа налево.

— Вот и пойми попробуй... — пробормотал Таланов.

С той стороны к перегородке приложили исписанную табличку. Астронавты переглянулись и вздохнули. Потом Таланов постучал пальцем в окно. Табличка исчезла, вместо нее возникло лицо. Таланов начал отчаянно жестикулировать, стараясь объяснить, что хочет взять табличку с собой. Существо за стеной смотрело на него круглыми немигающими глазами. Потом исчезло, послышался щебечущий говор.

Астронавты ждали. Вдруг они услышали легкий стук и, как по команде, повернули головы. На плитках пола лежала табличка. Они бросились к боковому проходу и опять успели заметить быстро проскользнувший мерцающий силуэт.

— Почему они прячутся, почему выскакивают из-за стены только в этих своих одеяниях? — про-

бормотал Таланов, поднимая табличку. — Теперь надо им объяснить, что мы вернемся завтра.

— Я сейчас попробую нарисовать, — сказал Владислав. — Все-таки легче.

Таланов заглянул ему через плечо и усмехнулся. Владислав изобразил двух людей в скафандрах, над ними сияло солнце. Потом шла густо заштрихованная темная полоса. Потом опять двое в скафандрах и солнце.

— Думаешь, поймут? — спросил Таланов.

Владислав с сомнением поглядел на рисунок.

— А кто его знает! — сказал он.

Их все-таки поняли, по-видимому. В овальном окошечке опять появилась рука и махнула справа налево.

— Что это значит: согласны? Или поняли? — вслух рассуждал Таланов.

У окошечка возникло одно лицо, потом другое. Потом оба исчезли. Окошечко стало быстро мутнеть, затянулось пленкой, стало непрозрачным, потом слилось со стеной.

— На сегодняшний день, видимо, конец, — резюмировал Таланов.

* * *

— Понятно почти все, — сказал Казимир. — Первая табличка: «Кто вы? Откуда вы? Друзья или враги? Хотим говорить с вами. Не можем выйти. Боимся...» Вот тут непонятно, чего они боятся. Слово это должно звучать примерно так: «глег». Боятся они глегов — во множественном числе.

— Наверное, их правители. Или полиция.

— Я нигде ничего не читал про глегов. Правительственная стража у них называется иначе — минени. Правительство называется по-разному, но тоже не так.

— У них, ты говорил, было что-то вроде парламента? — спросил Таланов.

— Да, и что-то вроде президента. Только, по-видимому, с диктаторскими правами. Теперь вторая табличка. Там написано: «Мы сказали: боимся гле-

гов. Глеги неумолимы. Не можем выйти. Спасите нас».

— Вот и пойми что-нибудь! — вздохнул Таланов. — Кого — нас? Кто эти глеги и как до них добраться? Ну, утро вечера мудренее. Пойду провожаю больных.

Он вошел в первую кабину медицинского отсека. Там никого не было. Он постучал в дверь изолятора — никто не ответил. Таланов вошел в изолятор. Виктор и Герберт стояли спиной к нему, у койки Карела.

— Я спал... — тусклым, безжизненным голосом говорил Герберт. — Или, может быть, не спал... а думал, что сплю.

— А зачем ты взял с собой сюда лучевой пистолет?

— Я шел дежурить... я не знал, что заболею... а потом забыл...

— Что случилось? — еле выговорил Таланов.

Виктор медленно обернулся к нему. Лицо у него было такое же бледное и осунувшееся, как у Герберта.

— Карел... он покончил самоубийством.

Таланов шагнул к койке. Карел лежал, запрокинув голову, лицо его было сведено судорогой страдания. Под распахнутой рубашкой пылало на груди пятно лучевого ожога.

«Зелено-серая рубашка... любимая его рубашка, вроде талисмана, — подумал Таланов. — Где он только не побывал в этой рубашке... Двенадцать лет в космосе... Пятый полет к неизвестным планетам... И такая нелепая смерть. От страха... от страха перед самим собой». Таланов стоял, склонив голову, и чувствовал даже не горе, а холод и невыносимую усталость. Такую усталость, когда все все равно. И опять он подумал, что это начало болезни, и напряг волю, чтобы стряхнуть с себя оцепенение.

Виктор не то вздохнул, не то простонал. Таланов с трудом повернул к нему голову. Виктор был очень бледен, почти так же бледен, как Карел, даже губы у него побелели.

— Ты здоров? — с тревогой спросил Таланов.

— Здоров пока, — не сразу ответил Виктор. —
Надо перенести Карела куда-нибудь.

— Я сейчас позову Владислава.

— Мы и вдвоем справимся. Не надо никого звать. Вы... вы все равно уже вошли в изолятор. Только наденьте халат, перчатки и марлевую маску.

— А Герберт?

Герберт Юнг устало покачал головой.

— Я-то не покончу самоубийством. У меня жена и дети. Мне надо выздороветь. А Карел...

— Да, конечно, — торопливо ответил Таланов. — Но все же, может, лучше тебе не оставаться одному?

— Нет, ничего... — тихо сказал Герберт. — Дай мне снотворное, Виктор, вот и все... — У него был такой вид, будто он старается что-то припомнить. — Дай снотворное...

Герберт проглотил снотворное и лег, повернувшись лицом к стене. Виктор и Таланов унесли Карела в его пустую кабину, положили на койку.

— Придется сделать вскрытие, — сказал Виктор, когда они шли обратно. — Я делал анализ крови и его и Герберта, ничего не обнаружил. А по многим признакам эта болезнь сходна с нашими нейровирусными заболеваниями — с энцефалитом, например. Может быть, вирусы распространяются по ходу нервных волокон, а не через кровь — как при бешенстве. Значит, нужно исследовать мозг... Нужно исследовать... обязательно...

Он говорил деревянным, безжизненным голосом. Таланов остановился, положил ему руки на плечи.

— Виктор, ты болен? Скажи правду!

— Я здоров, — отводя глаза, возразил Виктор. — Это из-за Карела... и вообще...

— Понятно, — недоверчиво сказал Таланов, — отдохни. Казимир подежурит вместо тебя.

— Мне не надо отдыхать. Некогда, — таким же мертвым голосом проговорил Виктор. — Пускай Казимир мне ассистирует. А Владислав пока попробует наладить аппарат для электросна.

Он прошел еще несколько шагов и остановился.

Таланов смотрел на него с тревогой. Виктор с усиленным проговорил:

— Устал я очень... И потом — если б я послушался совета Юнга насчет анабиоза, Карел остался бы в живых.

— Ну, неизвестно! — решительно возразил Таланов и вдруг запнулся.

Все вокруг окуталось струящимся радужным туманом, очертания предметов потеряли четкость, стали размытыми, начали двоиться. Лицо Виктора тоже расплылось и стало белым туманным пятном. «Вот оно, начинается», — подумал Таланов, стискивая зубы. Он не то что видел — скорее улавливал, что Виктор внимательно смотрит на него.

— Вы сами больны, Михаил Павлович! — как сквозь сон услышал он.

Виктор подхватил его под руку. «Что же будет?» — с вялым испугом подумал Таланов. Шагая сквозь радужный туман, он как-то незаметно очутился в изоляторе и увидел, что Виктор снимает постель с койки Карела. Потом он понял, что лежит на койке. Все окружающее постепенно стало более четким и устойчивым, но словно выцвело и потеряло реальность. Потом проступили нормальные цвета, белый свет потолочной лампы снова показался не мертвым, а привычным, почти родным. Таланов глубоко с облегчением вздохнул и сел на койке.

— А... Уже подействовало! — сказал Виктор, обернувшись от стенового шкафа-аптеки.

Тогда Таланов не то понял, не то вспомнил, что Виктор дал ему таблетку энергина, и мир перед ним снова потускнел — от страха. Он болен, он, начальник экспедиции! Виктор, вероятно, тоже. Ну, хорошо, Владислав — опытный штурман, он довел бы ракету до Земли. Но ведь он тоже заболевает. Тогда... тогда все они погибли. Кто знает, к чему ведет эта болезнь. К сумасшествию? К самоубийству?

— Придется дать и вам снотворное, — сказал Виктор. — Я все подготовил для вскрытия, сейчас пойду за Казимиром. Как вы себя чувствуете?

— Как все, — неохотно ответил Таланов. — Ты ведь уже знаешь, как это бывает.

Виктор молча смотрел на него. Таланов вдруг от всей души пожалел этого мальчика. Худощавый, юношески легкий, с ясным, светлым лицом, Виктор выглядел гораздо моложе своих двадцати шести лет. Хороший паренек. Так рвался в свой первый дальний полет. Неужели этот первый полет окажется для него последним? Что ж, и так бывало. По-всякому бывало в космосе.

— Давай снотворное, — сказал Таланов.

Таланов проглотил таблетку, лег, закрыл глаза и начал думать о Земле. Перед тем как уснуть, он увидел серо-желтые дюны, серебристо-зеленое море и светлое небо, услышал мерный плеск и шипение тихих волн, набегающих на плоский песчаный берег. Он уснул, счастливо улыбаясь, будто вдохнув запах моря, хвои и песка, прогретого ласковым и влажным летним солнцем Балтики.

— Маска мне мешает, — сказал Казимир. — И на что она? И комбинезон этот? Мы все успели уже заразиться. Если не заболеем — значит у нас врожденный иммунитет. И все.

— Не говори глупостей. Тебе и Владиславу, может быть, досталась незначительная доза инфекции, вот вы и здоровы. А если добавить... Герберт жил в одной кабине с Карелом.

— А Таланов?

— Не все одинаково восприимчивы. Потом — когда я в первый раз исследовал Карела, Таланов сидел рядом. А это, может быть, капельная инфекция, мы же не знаем. Словом, не капризничай, Казимир. Дай мне флакон с генцианвиолетом — вои, третий слева. Хорошо. Теперь подготовь препарат из пробирки № 6. Осторожней, Казимир! Все — над сосудом с лизолом, помни!

— Этак с ума сойти можно, — пробурчал Казимир из-под маски.

— Не ворчи, — тихо сказал Виктор.

Казимир с тревогой посмотрел на него.

— Ты совсем болен. Ложись и объясняй мне, как и что. Я сам справлюсь.

Виктор провел рукавом халата по лбу, стирая крупные капли пота.

— Пожалуй, ты прав. Я лягу, — сказал он, отступил от стола и зашатался.

Все вдруг окуталось гудящей тьмой и полетело в пропасть. Он очнулся от холода: Казимир брызгал на него водой. «Он без маски», — с глухой тревогой подумал Виктор, но не смог шевельнуть губами.

— Что тебе дать, скажи? — спрашивал Казимир, наклоняясь над ним.

— На второй полке сверху... ампулы, — Виктор с трудом отвернул лицо от Казимира, говорил в сторону. — Нет, ты не сможешь сделать укол... Дай мне энергин... на третьей полке, белая банка...

— Почему энергин? — спросил Казимир, и его синие глаза расширились и потемнели. — Ты ведь не...

— Не беспокойся, энергин — тонизирующее средство, ничего больше, — Виктор попытался ободряюще улыбнуться, но сам почувствовал, что улыбка получилась жалкая. — И надень сейчас же маску, не валяй дурака.

Энергин подействовал быстро. Виктор встал, хоть и с трудом, подготовил шприц и ампулу. Казимир, болезненно морщась, сделал ему укол.

— Все-таки что с тобой? — спросил Казимир. — Сердце?

— Наверное... Устал я очень, вот и...

— Ну, лежи, лежи. Я уж во время вскрытия поглядел на тебя и испугался: думаю, сейчас упадешь. Ты совсем зеленый был.

— Ты, положим, тоже был зеленый.

— Я-то с непривычки, а ты...

— А я? Думаешь, я только и делал, что вскрывал своих друзей?

— Также верно, — пробормотал Казимир, отводя глаза. — Ну, говори, что делать.

«Хотел бы я знать, долго ли мне удастся хоть так продержаться? — думал Виктор, лежа на койке и

глядя на Казимира, с сосредоточенным видом хлопочущего у штатива с пробирками и у микроскопа. — И вообще чем это все кончится? Что все-таки с Карелом? Откуда у него взялся этот абсцесс в правой гемейной области? Если у него была раньше травма черепа, то как же его пустили в полет?.. Если он знал, что с ним, тогда... Нет, ничего не известно... Зря все-таки я затеял проводить анализы здесь. Всего не продезинфицируешь как следует. Койку надо выбросить... куда? Пока ее будешь тащить по проходам, нанесешь кучу вирусов. Нет, придется закрыть вход и сюда, в первую кабину. А если я... что тогда? Нет, Казимиру все-таки придется заходить сюда в комбинезоне, в маске, в перчатках. Владислава надо беречь во что бы то ни стало... Энергин действует на меня хорошо, только я с ним переборщил сегодня, отсюда и обморок... Надо будет поддерживать сердце, а то мне без энергина не справиться...»

— Ну, я ввел эту штуку... соль серебра, что ли, — сказал Казимир. — Теперь что? Да ты зачем поднимаешься?

— Надо, — сказал Виктор и сжал губы: ноги у него были ватные. — Я сам должен поглядеть, ничего не поделаешь. Да мне и лучше уже.

— Ну, смотри, — сказал с опаской Казимир.

— Я и смотрю, — бормотал Виктор, прильнув к окуляру микроскопа. — Я и смотрю...

— Ты переутомился, это ясно.

— Ясно, — повторил Виктор. — Конечно, ясно...

Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Перед закрытыми веками плавали тонкие, слегка изогнутые жгутики. Даже в окуляре электронного микроскопа, разбухшие от танина и облепленные панцирем из солей, они казались хрупкими, легкими, незащитными. Но нервные клетки под их воздействием плавались, распадались и исчезали. Маленькие, тоненькие, неумолимые, жадные, плодовитые паразиты. Ничто не интересовало их во всей сложнейшей системе человеческого организма — они упрямо и безошибочно продвигались к головному мозгу, выбирали там самые подходящие для себя участки, про-

бирались в нервные клетки, в их ядра и там начинали командовать по-своему. Им нужна была живая, нормально работающая клетка, с ее белками, с ее сложным, точно отлаженным механизмом производства. В ослабевшей, больной клетке они чувствовали себя плохо, а в мертвой, распавшейся умирали. Но до смерти они успевали обзавестись многочисленным потомством, и молодые вирусы шли на штурм соседних клеток, оставляя на своем пути новые, еще более обширные разрушения.

— Казимир, хочешь полюбоваться на них? — проговорил он, не открывая глаз.

— На кого? — удивился Казимир.

— На тех, кто сидел внутри у Карела. На тех, кто залез в мозг Таланову и Юнгу. Познакомься, хоть будешь знать, с кем имеешь дело, в случае чего.

Казимир, затаив дыхание, посмотрел в микроскоп.

— Вот эти... кривые палочки? — спросил он.

— Они самые. Нейровирусы. Убийцы нервных клеток.

Казимир медленно выпрямился. Лицо его сделалось сумрачным, глаза потемнели, перестали излучать сияние.

— Тяжело на это смотреть, когда знаешь... — он махнул рукой.

— Готовь препарат из пробирки номер семь. Я пока запишу результаты. — Виктор взял с полки бактериологический справочник, полистал его и начал записывать в тетрадь: «При бактериоскопическом исследовании клеток зрительного бугра после окраски генцианвиолетом были обнаружены обширные разрушения клеток — расплавление, зернистый распад, исчезновение. В ранее исследованных клетках красного ядра и черной субстанции таких изменений не имеется. После обработки таннином с солями серебра в ядрах клеток зрительного бугра удалось обнаружить вирус неизвестного мне типа (в справочнике Вейсса и Зелеранского такого вируса нет)». Он отложил ручку. «Конечно, они есть не только в клетках зрительного бугра. Скорее всего они локализуются

в диэнцефалоне, в ретикулярной субстанции...» Ну, хорошо, посмотрим еще этот препарат, из правой теменной области, возле абсцесса...

— Готово, Казимир?

— Можешь смотреть.

«В правой теменной области, вблизи от посттравматического абсцесса и пояса лейкоцитарной инфильтрации вокруг него, — записывал снова Виктор, — обнаружены также обширные разрушения нервных клеток, вызванные вирусами. Разрушения эти местами вплотную примыкают к инфильтрату...» Он задумался. «Да, Карела ожидали только страдания, невыносимые боли, для него надежды не было... Если он это знал, тогда... Или все-таки если б анабиоз... — У него нехорошо засосало под ложечкой от этой мысли. — Нет, нет, это все необратимые изменения. Он умер бы на Земле во время операции или после. Не утешай себя, что за дешевая трусость! В-время не решился на анабиоз, а потом еще и недосмотрел...»

* * *

— До чего мне хочется пить! — простонал Казимир. — Глотка слипается, даже больно.

— Ну, нельзя тут пить, потерпи, Казик. Еще немного. Возьми кусок ваты, обмотай марлей, окуни в лизол и все в кабине как следует оботри. Потом оставь здесь комбинезон и отправляйся немедленно в душевую. Придешь потом, когда отдохнешь и поешь.

— А как же ты? Я боюсь тебя оставлять, — Казимир еле говорил.

— Не беспокойся, все будет в порядке, — сказал Виктор. — Ты помни, что я сказал: не подходи близко к Владиславу, разговаривай с ним через маску. И он пусть надевает маску, у вас там, в кабине, есть марля. А ты, конечно, перейди спать в другое помещение. Возьми лизол, протри все там — ну, хотя бы в кабине Таланова. Обещаешь?

— Обещаю, — хмуро сказал Казимир. — Черт знает что! Владислав не согласится.

— Владислав опытный астронавт, он все прекрасно поймет. Ты сам-то пойми как следует: это последний наш шанс. Иначе мы все пропали.

Виктор посидел один, потом встал и, неуверенно ступая, пошел в изолятор. Таланов спал. Юнг сидел на койке, сгорбившись, опустив голову и уронив сложенные руки между колен. Он не пошевелился, когда вошел Виктор.

— Как ты себя чувствуешь, Герберт? — спросил Виктор.

Юнг медленно поднял голову и поглядел на Виктора своими светло-голубыми глазами: он больше не косил, но взгляд был какой-то странный, отсутствующий.

— Не знаю. Я все ясно вижу. И двигаться могу нормально. Как будто болезнь прошла. Но я стал совсем другим, это я чувствую.

— Каким же?

— Совсем другим, — повторил Юнг. — Не знаю, как тебе объяснить. Я понимаю все, что происходит, а мне все равно. Разве мне может быть все равно? Вот Таланов заболел, и все заболеют, наверное, и все мы погибнем, а мне ни вас, ни себя не жалко. И жену не жалко и детей, а я ведь так их любил, — он говорил тихо, ровно, без выражения. — Я нарочно думал о том, что с нами случится, представлял себе все подробности — и ничего не испытывал. Пропали все чувства. И вообще мне ничего не хочется: ни есть, ни пить, ни спать.

— Ну, это даже и удобно, — попробовал пошутить Виктор.

Юнг ничего не ответил.

— Давай я тебя обследую, — вздохнув, сказал Виктор.

Герберт был как будто здоров, только тонус организма несколько снизился: сердце работало вяловато, кровяное давление было несколько ниже нормы, сухожильные рефлексы ослабели. «Острый период, очевидно, уже миновал, — думал Виктор, глядя на

Юнга. — Как стремительно развивается эта болезнь! Инкубация, очевидно, не более двух суток, острый период — тоже. Вирусы уже добрались до мозга и прочно устроились в облюбованных местах. Что дальше? Смерть? Сумасшествие? Частичная неполноценность? Чего нам ждать от этой милой, мирной планеты с ее подземными жителями и загадочными врагами?» Он вдруг вспомнил, как совсем недавно, глядя из верхнего люка ракеты на мирную красно-розовую долину, мечтал о романтике, о необычайных событиях, о встречах с разумными существами иных миров... «Я стал совсем другим, — повторял он про себя слова Юнга. — Кто знает, что дальше будет, а пока... пока я стал взрослым. Да, пожалуй, так это можно назвать...» За последние два-три дня он пережил больше горя, ужаса и усталости, чем за все двадцать шесть лет своей жизни. Сейчас он был уже не великовозрастным мальчишкой, мечтающим о подвигах, а мужчиной, вступившим в тяжелый бой. Он был болен, смертельно устал, но знал, что будет держаться до последнего вздоха, потому что отвечает за товарищей. Он подумал еще, что если б Юнг был врачом, его, может быть, тоже подхлестывала бы ответственность и он если не чувством, то разумом понимал бы, что надо действовать. И ему тогда было бы легче... «Фантазия! — оборвал он себя. — Все зависит от характера разрушений в мозгу. Кто знает, что будет еще с тобой самим. Несомненно, это более легкая форма. И вдобавок энергин на тебя лучше действует, чем на других... Карел, Карел... что же с ним случилось? Посттравматический абсцесс... а может, все-таки не посттравматический? Да нет, не могут же эти вирусы...»

— Герберт, постарайся вспомнить, — мягко, но настойчиво сказал он. — Ты ведь с Карелом не в первой экспедиции вместе. Так вот, ты ничего не слышал о том, что у него была травма черепа?

Юнг поднял глаза.

— Была, — ответил он без всякого выражения. — Была травма. Карел сказал мне.

— Когда? Когда сказал?

— Незадолго до смерти, — так же равнодушно проговорил Юнг. — Он сказал, что два года назад, в последнем рейсе, они столкнулись с метеоритным роем. Их сильно потрянуло, он ударился головой о пульт управления, потерял сознание.

— Почему он это сказал? Почему раньше молчал?!

Юнг продолжал, монотонно и спокойно:

— Он сказал, что у него начинаются очень сильные головные боли. И что его предупредили врачи: если такие боли начнутся, надо немедленно лечь в клинику на операцию. Иначе — сумасшествие и смерть.

— И поэтому он решил не дожидаться! Но почему же ты нам сразу не сказал?

— Я только теперь понимаю, что он в самом деле это говорил. А раньше думал, что мне это показалось.

— Но как же его пустили в полет, если он болен? Как ему удалось скрыть это от сотрудников Лунной станции? — говорил Виктор, обращаясь скорее к самому себе, чем к Юнгу. — Ведь у него в карточке нет никакого упоминания о травме.

— Наверное, он хотел летать, — сказал Юнг.

— Да, конечно... Во всяком случае, самоубийство Карела не вызвано вирусным заболеванием. А мы боялись...

— Эта болезнь, по-видимому, не может вызвать попыток самоубийства, — спокойно сказал Юнг. — Сначала она ошеломляет, пугает, но зато и лишает власти над своим телом, над своими движениями. Карел смог покончить самоубийством только потому, что ты незадолго до этого дал ему таблетку энергина. А потом... потом становится все равно...

Он сказал это без горечи, но Виктору стало так страшно, что захотелось кричать.

Он услышал глухой стук и не сразу догадался, что стучат в дверь медицинского отсека.

— Впусти меня! — крикнул Казимир за дверью. — Я подготовился!

Виктор открыл дверь. Казимир был в маске и в легком комбинезоне.

— Вот! Отсюда — в душевую, как ты требуешь. Там продезинфицирую и себя и комбинезон. Влади-

славу я уже сказал, чтоб он к душевой и близко не подходил. Пускай моется в шлюзовой кабине. Все!

— Почему не спишь? — спросил Виктор, тяжело опускаясь на сиденье.

— Я не устал. Вымылся, напился, наелся — и все в порядке. Хотим с Владиславом ехать в город, разговаривать с этими подземными жителями. Я уже подготовил словарик и грамматику.

— Так быстро? — удивился Виктор.

— А «Линг» на что? Он знаешь какой! Ну, словом, Владислав послал меня спросить благословения у Таланова. Хотя он, конечно, не будет возражать.

— Он спит, — сказал Виктор. — И вообще он болен. Поезжайте, конечно. И постарайся у них обязательно узнать, что это за болезнь, какой у нее исход, как передается инфекция. Может, у них есть лекарства против нее.

— Обязательно узнаю. Хотя не представляю себе, как это мы будем переписываться через стену.

— А почему они все-таки не выходят?

— Да вот боятся глегов. А мы даже не знаем, кто такие эти глеги и как они выглядят. Может, и нам их надо бояться. А ты что будешь делать?

— Я буду спать, — сказал Виктор. — Приедешь разбудишь. Очень хочу спать.

— Конечно, спи, — поспешно проговорил Казимир. — Ты устал как черт.

Виктор видел, что Казимир поглядывает на него с опаской, но ему было уже все равно. Он знал, что если хоть немного не отоспится, то не вытянет.

— Иди. Все в порядке, не бойся, — сказал он.

Он вернулся в изолятор, еле передвигая ноги. Юнг по-прежнему сидел не шевелясь и глядел в пол.

— Герберт, — тихо сказал Виктор. — Если я лягу спать, ты меня разбудишь через три часа?

— Конечно, — Юнг посмотрел на часы. — Через три часа — значит, в десять часов двенадцать минут я тебя разбужу. Можешь спать.

— А ты так и будешь сидеть? — спросил Виктор, ложась. — Если хорошо себя чувствуешь, попробуй

заняться своими записями. Ты ведь хотел привести их в порядок.

Он еще успел увидеть, как Юнг молча поднялся и пошел к столу. Потом сразу заснул.

* * *

На этот раз беседовать было легче. Там, за стеной, уже подготовились к их приходу: расчистили большое окно, и за ним стояло четверо. Когда глаза немного привыкли к беловатой мерцающей полумгле, Казимир сказал:

— Нет, они, конечно, разные. Нам они кажутся похожими только потому, что сильно отличаются от нас. Как европейцу кажутся вначале похожими все японцы или китайцы. Посмотри. Вот этот, высокий, — старик. А тот, позади, наверное, очень молод... или нет, это женщина... да, определенно женщина!

— Ну, что ты! — усомнился Владислав.

— Посмотрим, — Казимир продолжал вглядываться в странные птичьи лица тех, кто читал их письмо, прижатое к перегородке.

Окончив читать, они начали оживленно переговариваться. Их жесты и мимика были настолько своеобразны, что нельзя было понять, радуются они или огорчаются. Казимиру показалось, что они чем-то рассержены; потом он решил, что за стеной идет ожесточенный спор. Один из спорящих повернулся к астронавтам и начал что-то горячо говорить, потом вдруг умолк, открыв рот.

— вспомнил, что мы просили писать, — догадался Казимир.

— Уж очень ты пронизательный, — сказал Владислав. — Прямо ясновидец.

— Прочел бы ты столько их книг, сколько я за эти дни, тоже стал бы пронизательным... Вот начали писать... Ну, конечно, это женщина! Что смеешься? Женщины здесь носят высокие головные уборы, и одежда у них более яркая, чем у мужчин.

— Однако вид у этой дамы... — заметил Владислав.

— А ты представь себе, какими уродами кажемся ей мы, — усмехнулся Казимир. — С нашими толстыми носами и губами, с маленькими глазами, большие, неуклюжие... Ну, вот и письмо готово.

К перегородке приложили письмо. Казимир напряженно читал его, поглядывая в словарь, а Владислав смотрел на тех, кто стоял за перегородкой. Сейчас и он видел, что они разные. Даже глаза неодинаковые: у старика и у женщины большие, чуть посветлее, не то темно-зеленые, не то темно-коричневые, а у двух других — совсем темные, почти черные. Веки у них все-таки были — тонкие, как пленка, морщинистые, более темного цвета, чем все лицо, — но увидеть их удавалось лишь тогда, когда люди-птицы опускали глаза. Это были первые разумные существа, которых довелось видеть Владиславу. В первых двух полетах на неизвестные планеты он видел только ящериц да рыб и уж думал, что здесь будет то же. Люди-птицы тоже глядели на него, и он чувствовал себя неловко под этим напряженным неотступным взглядом.

— Вот послушай, что они пишут, — сказал Казимир. — Нет, подожди, я проверю кое-что.

Он подчеркнул одно слово в письме, приложил листок к перегородке и показал на скафандр. За перегородкой дважды махнули рукой справа налево.

— Так и есть, — удовлетворенно сказал Казимир. — Слушай. «У нас нет скафандров. В скафандрах глеги не страшны. Но будьте осторожны. Помочь нам можете, если вернетесь сюда и доставите средства против глегов. Когда вы сможете вернуться?»

— Очень деловое письмо, — заметил Владислав. — Остается только выяснить, кто такие глеги и какие средства против них годятся. Может, ядерное оружие?

— Этого им только не хватало! — очень серьезно сказал Казимир. — А насчет глегов я, кажется, догадался. Впрочем, проверим, хоть мой вопрос и покажется им смешным.

— А они умеют смеяться?

— Наверно. Разумное существо без чувства юмора? Немыслимо. — Казимир быстро написал что-то на листе бумаги и приложил его к перегородке. — Я спросил: «Как выглядят глеги и где их можно видеть?» Вот посмотри, они смеются!

— Скорее удивляются. Ты их просто ошеломил! — Владислав смотрел на широко раскрытые птичьи рты. — Зубов у них, по-моему, нет.

— Сплошная костяная пластинка по краям челюстей. Мало выступает.

— А волосы есть?

— Есть, только не такие, как у нас. Вроде короткой блестящей шерсти на голове и спине. На лице ничего не растет. Ну, чего ты морщишься? Тебе есть что стричь и брить, значит ты божественно красив. Чего тебе еще? Живи и радуйся. Ага, ответили! Ну, так я и думал! Глеги — это те самые палочки, которыми я любовался вчера под микроскопом.

— Вирусы?!

— Ну да. По-видимому, они и под землю ушли, за эти перегородки, спасаясь от вирусов. Но откуда они взялись, эти глеги? С других планет, что ли, завезены? Если они здешние, то пора бы к ним привыкнуть и приспособиться. Сейчас я их спрошу. — Он написал записку, приложил к стене. — Я написал: «Нам надо узнать все о глегах. Иначе не сможем помочь».

— А как мы им вообще сможем помочь?

— Мы-то никак. Мы вообще не знаем, доберемся ли до Земли. Но если доберемся, там этих глегов приструнят. Справились же у нас и с бешенством, и с полиомиелитом, и с гриппом — а уж вирусов гриппа было черт знает сколько. Читал, что делалось с этим гриппом еще лет двадцать назад? Эпидемия за эпидемией. Нет, лишь бы добраться. Посидим в карантине на Лунной станции, вылечат наших больных...

— А ты оптимист! — сказал Владислав. — Почему ты думаешь, что не все заболеют?

— Срок инкубации у этих глегов очень короткий, а мы с тобой пока ходим. Может, у нас иммунитет.

Ты поведешь ракету, я с Виктором буду ухаживать за больными, ну и все прочее. Хотя Виктор, по-моему, тоже болен, но как-то держится. Возможно, у него более легкая форма.

— Виктор болен? — протянул Владислав, нахмурившись. — Давно?

— Я еще вчера заметил. Сегодня он потерял сознание. Правда, может быть, это другое, не глеги.

— Что же еще? Виктор здоров как бык да и молод совсем. — Владислав помолчал. — Однако долго совещаются... Нет, ничего, мы доберемся. Надо добраться. Только вот сюда мы не скоро вернемся. Через десять лет, не раньше. Мы или другие, все равно. Сколько они уже сидят под землей?

— Выясним. Ну, записку они написали короткую, зато деловую. «Через два синема...» Ну, это их мера времени. Синема — это минут сорок — сорок пять примерно, значит, часа через полтора... «Возьмите книгу там же, где письма». Это в боковом проходе, да? «В книге все будет сказано». Что ж, прекрасно! — Он дважды махнул рукой справа налево: существа за перегородкой переглянулись и широко открыли рты. — Это они так смеются, уверяю тебя. Или улыбаются. Ну, давай пока спросим их о чем-нибудь. Сейчас! — он достал чистый листок. — «Сколько времени вы живете внизу?»

— Ты главное спроси, — хмуро напомнил Владислав. — Что случается с больными? Они умирают, сходят с ума или как? И как передается болезнь?

— Да, ты прав! — Казимир поежился. — Страшно спрашивать... Ну вот, я написал.

Владислав почувствовал, что ему тоже страшно. Они напряженно ждали, глядя, как высокий старик чертит знаки на пластинке тонким белым стержнем. «Стержень белый, а знаки темно-красные, — мимоходом подумал Владислав. — Скорей бы дописывал...»

Пластинка плотно прильнула к перегородке. Казимир начал переводить.

— Под землей они недавно... по нашему счету это примерно лет семь. У них год короче. Насчет

болезни: я не все понимаю. Почему-то говорят, что они точно не знают. «Раньше умирали только слабые и старые. Сейчас, может быть, иначе, мы не знаем. Все равно это хуже смерти. Вы все прочтете в книге. Я вложу в нее письмо». Видишь, старик уже сидит и пишет. Вот еще фраза. «Глеги входят вместе с дыханием». Значит, капельная инфекция.

— Спроси, много ли их там, под землей, защищены ли они там от глегов и вообще, как им живется. И кто они сами, члены правительства: или как?

На этот раз ответ писала женщина, старик только прочел записку и опять начал писать письмо.

— Говорят, что их очень много, что им тесно, они все время роют новые ходы, строят подземные города. Глеги сюда не проникают, но многие переболели, еще когда жили наверху. Книгу принесет тот, кто переболел, чтобы мы посмотрели, к чему приводит эта болезнь. Всем очень плохо под землей; портится зрение, многие болеют и умирают от скудной пищи и недостатка воздуха. Они с нами говорят тайком от правительства, они — ученые. Эти три сплетенные кольца у них на груди — символ знания, я читал об этом. Если очистить планету от глегов, все выйдут наружу и будут жить нормально, а если правительство будет против, люди восстанут и свергнут его. Опять спрашивает, можем ли мы помочь и когда рассчитываем вернуться. Ну, что ответить?

— Напиши всю правду. Что мы больны. Что надеемся добраться до Земли. Что там найдут средства против глегов. И что вернемся не скоро, но обязательно. Еще спроси — бывает ли иммунитет против глегов.

— Не знаю, как у них это называется. Ладно, как-нибудь напишу. — Казимир начал чертить знаки, заглядывая в словарь.

Владислав прислонился к стене, глядя в мерцающую белую даль подземного перехода. «Хотел бы я знать, чем все это кончится... Подумать только, что если б Карел не наткнулся на этого зверька!.. Вот так бросить все, уйти под землю из страха перед этими проклятыми глегами... Откуда они все-таки

взялись — загадочная история... Ну, ничего, скоро узнаем». Он опять посмотрел на подземных жителей, и эти глазастые семипалые существа теперь показались ему более привлекательными. «В конце концов к ним можно привыкнуть. К черной коже и курчавым шерстистым волосам тоже поначалу надо привыкать, а я к Луису Мбонге так привык, что он мне родней брата казался... Читают записку. Женщина закинула голову и скрестила руки на груди. Отчаяние? Горе? Почему я так думаю? Ах да, порывистый жест... и потом содержание записки вряд ли может их обрадовать. У других тоже лица изменились. Ага, пишут... что же они напишут?»

— «Ваша болезнь — тяжелое горе для нас, — переводил Казимир. — Как это случилось? Разве скафандры не защищают? Будем надеяться и верить вместе с вами. Будем ждать. Есть те, против которых тлеги бессильны. Но таких очень мало. Желаем вам счастья!»

Астронавты переглянулись.

— Ну что ж, — помолчав, сказал Владислав. — Будем верить и надеяться, ничего другого не остается. Скорей бы они книгу доставляли. Если Виктору стало совсем плохо...

— Ох, дьявол! — пробормотал Казимир. — Действительно... А без книги...

— Нет уж, придется ждать... Расскажи им про зверька, может, им это полезно знать.

Прочитав записку Казимира, женщина повторила жест отчаяния. Послышался оживленный щебет. Потом к перегородке приложили записку: «Это был сунними. Он испугался. Вы прочтете о сунними в книге».

— Сунними так сунними, — сказал Владислав. — Кто ж его знал, что он от испуга может порвать скафандр. Эх, Карел, Карел... Кстати, у них, по-видимому, есть скафандры, если даже слово такое в язык вошло. Спроси, как у них с полетами в космос. Они, может, летали, или у них кто побывал в гостях?

В ответном послании было сказано, что скафан-

дры у них есть и более легкие защитные одежды тоже, но все они в руках правителей, к ним нет доступа. Никто с других планет тут не бывал, разве что за последние годы, когда они уже сидели под землей. А сами они готовились летать, но все эти приготовления, конечно, прекратились, как только появились глеги.

— Появились! — сказал Казимир. — Раньше их, значит, не было. Откуда же?

— Ну, вот пришел кто-то новый, там, за стеной. А вот и книга. Большая! Ну и работа тебе предстоит, Казимир!

— Не так мне, как «Лингу». Он-то справится, будь уверен!

К перегородке вплотную подвели того, кто пришел с книгой. Он по виду ничем не отличался от других, кроме одежды, более короткой, красно-черной. На левой стороне груди у него была прикреплена большая светлая пластинка, вроде бляхи с какими-то знаками.

— Это, кажется, означает, что он из низших слоев общества, — пояснил Казимир. — Им цепляют бляхи с обозначением профессии и места работы.

— Миленький обычай, а? — сказал Владислав. — Смахивает на фашизм.

— Да, тут жизнь, верно, и без глегов была не веселая... Ну, он на вид совсем здоровый, только вялый какой-то. Смотри-ка, что это они с ним делают?

Существо в черно-красной одежде начало раскачиваться, потом присесть механически, как кукла, слегка приоткрыв рот. Астронавты видели, что он повинуетя командам женщины. Старик сидел и писал письмо, не обращая внимания на все происходящее.

Красно-черное существо то застывало, вытянувшись, то проделывало разные движения, повинуюсь команде. Владислав почувствовал, что у него мурашки бегут по спине.

— Вот это что... — прошептал он. — Хуже смерти, да... Он стал марионеткой.

Красно-черное существо раскрыло рот и застыло, вскинув руки. Потом по команде медленно склонилось вперед, упираясь пальцами в пол, и опять застыло.

«Что он чувствует? Что он думает? Или у него совсем нет рассудка?» — думал Владислав. Он посмотрел на Казимира, тот был бледен, синие глаза его расширились и лихорадочно блестели.

— Напиши им, что мы спешим, — сказал Владислав. — Хватит с нас этого спектакля. И скажи, что мы вряд ли придем еще раз. Насчет книги спроси: можно ли ее взять с собой на Землю?

Прочитав записку, за перегородкой начали оживленно махать руками справа налево. Красно-черное существо тоже махнуло рукой. Потом в книгу вложили письмо и опять вручили ее красно-черному. Вскоре он появился из бокового хода и протянул астронавтам книгу. Владислав взял ее — она действительно оказалась увесистой. Астронавты со страхом и сожалением глядели на посланца из-за стены. Просторная хламида до колен, с короткими рукавами, расцвеченная широкими спиральными красными и черными полосами, открывала тонкую темную шею с какими-то странными поперечными линиями, похожими на рубцы. Голова была обнажена, и Владислав с удивлением смотрел на красноватую блестящую шерсть, равномерно покрывающую череп, маленькие, острые, плотно прилегающие к голове уши и заднюю часть шеи.

— Они, по-моему, как-то ближе к птицам и зверям, чем мы, — сказал он.

— Мы к обезьянам тоже близки, грех жаловаться, — ответил Казимир. — Эх, нет тут ни Юнга, ни Виктора! Им было бы интересней и полезней, чем нам, поглядеть на этого молодца.

Казимир взглядом спросил разрешения у тех, за перегородкой, и ему показалось, что они поняли. Тогда он подошел к красно-черному посланцу, осторожно осмотрел и ощупал его. По строению красно-черный очень напоминал человека, только был более

тонок, хрупок, с менее развитыми мускулами, с более узкой грудной клеткой.

— Знаешь, он весь какой-то сглаженный. Все плавно, ровно, нет наших суставов, грудная клетка не выступает, талия незаметна. Вот посмотри, какие руки и ноги — ровные, всюду одинаковые, как трубки. Даже не видно, где они сгибаются. — Он согнул руку красно-черного, тот пассивно повиновался... — Ага, видишь — там же, где у нас примерно. А не видно. Нет, хорошо, что они не видят нас без скафандров: мы бы им показались чудищами.

— А ну их! — сказал, усмехаясь, Владислав. — Красавчики, нечего сказать. Вся кожа сморщенная, как у стариков. И эта шерсть... бр-р!

— Не говори глупостей! — возмутился Казимир. — Что за уозость кругозора! Кожа у них нежная, приятная. А шерсть шелковистая, как у кошки. Да ты погладь, чудак!

Владислав осторожно погладил красно-черного по шее и сразу отдернул руку.

— Смотри, они смеются! — с досадой сказал он: за перегородкой действительно все открыли рты. — Кончай это дело, надо спешить.

— Да, верно, — огорченно согласился Казимир. — Но, понимаешь, я в первый раз...

— Я тоже в первый раз. Нигде ничего подобного не видел. Пошли прощаться.

Казимир написал: «Мы уходим. Прощайте. Сделаем все, чтоб поскорее вернуться и помочь вам». За перегородкой все подняли руки над головой, потом медленно сложили их ладонями наружу.

— Это прощание, — сказал Казимир, повторяя этот жест.

Владислав тоже поднял руки над головой и сложил их.

— Постой, а этот? — спросил он, указывая на красно-черного: тот неподвижно стоял рядом. Казимир написал: «Почему он не уходит?».

За перегородкой посоветовались. Потом старик написал: «Он должен пройти через другой ход —

там убьют глегов. Но вы можете взять его с собой. Он вам поможет».

— С собой?! — поразился Владислав.

— А знаешь, это идея, — сказал Казимир. — Глеги ему не страшны. Он совершенно послушен, ничего не боится, ничему не удивляется.

— Ну, почему ты знаешь? Может, это только кажется так. Он же человек, ну, или вроде человека.

— Нет, мы не должны отказываться! — уже уверенно заявил Казимир. — Кто знает, что с нами станется. Может, все заболеем.

— А он тогда что?

— Да, тогда... А если не все — тогда он поможет. Если даже ты один останешься.

— Пожалуй, — задумчиво пробормотал Владислав. — Они ждут помощи... Скажи, что мы согласны, хотя я плохо представляю, что с ним делать. Спроси, умеет ли он читать и писать и что он вообще знает.

Оказалось, что читать и писать он умеет, что его можно обучить всякой несложной работе, он запоминает и повинуется. Зовут его Инни. Надо приказывать ему есть, пить, работать, спать. А то он сам не знает, когда что надо делать, и может умереть с голоду.

— А чем его, кстати, кормить? — спросил потрясенный Владислав.

— Боюсь, что это придется выяснять на практике, — вздохнул Казимир. — Да, дело нелегкое, но рискнуть стоит. К тому же его на Земле, может, и вылечат.

— Тогда он, пожалуй, умрет со страху, — усмехнулся Владислав. — Очнется в чужом мире... Ну, ладно, пошли!

Они еще раз попрощались с подземными жителями. Старик крикнул что-то и резко взмахнул рукой: красно-черный ответил жестом согласия и пошел вслед за астронавтами.

— Смотри-ка, он даже не оглянулся, — сказал Владислав. — Ему все равно. Ну и ну!

Они опять кружили по светлым спиралям пусто-

то города, и алые, розовые, багровые ветви стремительно шуршали и царапались о стекла, словно цеплялись за вездеход, молча моля о спасении.

— Понимаешь, Владек,— сказал Казимир,— у меня такое чувство, будто мы удираем и бросаем их тут в беде. Конечно, это глупо, но...

— Конечно, глупо,— ответил Владислав.— Без всяких «но». Это ведь, кажется, библиотека? Остановимся?

Круглое золотистое здание, постепенно суживаясь, ступенями уходило ввысь: на самой верхней круглой площадке светились три сплетенных разноцветных кольца.

— Вряд ли я что-нибудь подходящее найду вот так, сразу,— сказал Казимир.— В прошлый раз я просто наугад захватил несколько книг — выбирал, где побольше иллюстраций, вот и все.

— Возьми с собой этого... Инни.

— А что, неплохая идея! — Казимир несколько оживился: ему, очевидно, не хотелось идти в одиночку.— Инни!

Инни послушно вылез из самохода и двинулся за Казимиром. Владислав смотрел, как сгибаются где-то посредине его ровные трубкообразные ноги, и ему все казалось, что Инни вот-вот подломится и упадет. Но Инни поднялся вслед за Казимиром по ступеням лестницы, окружавшей здание, и исчез за овальной вертящейся дверью.

Владислав огляделся. Он впервые стоял один в этом чужом мире — они всегда ходили парами, для страховки. Было тихо, очень тихо и тепло. Небо стало совсем прозрачным, почти бесцветным, лишь по краям, у горизонта, сгущалась светлая зелень. Владислав прислонился к вездеходу — было приятно чувствовать за спиной прочную, надежную броню. Он смотрел на пушистые алые кусты, широким кольцом окружавшие библиотеку, на плавно изогнутые розовато-оранжевые здания, замыкавшие площадь, и ему казалось, что он видит, как внизу, под землей, движутся отвыкшие от света большеглазые люди с птичьими острыми лицами, как они ходят

там, постоянно ощущая тяжесть сводов, нависших над ними, как крышка просторного гроба, в котором их заживо похоронили. «Будь оно проклято! — с досадой сказал он себе. — Что толку думать сейчас об этом? Надо скорей добираться до Земли и высылать сюда помощь, вот и все... Что толку думать?»

* * *

Виктор поглядел на дверь изолятора.

— Веди его прямо в душевую. Эту хламиду продезинфицируй, обувь — тоже и запри в герметический шкаф. Подбери что-нибудь из нашего, хотя уж очень он худой и маленький, все на нем будет болтаться... Пока держи его у себя, обучай языку, научи ориентироваться у нас. Ко мне ходи сам. — Он опять оглянулся на дверь. — Герберту, конечно, и в голову не придет сюда взглянуть, он готов. А вот Таланов... Словом, ты понимаешь, им нельзя на него смотреть...

«А тебе можно?» — подумал Казимир, глядя на него. Глаза Виктора сильно косили, а лицо покрылось той же синеватой бледностью, что у всех больных.

— Что смотришь? — криво усмехнувшись, сказал Виктор. — Хорош?

— У тебя тоже?..

— Тоже, тоже! — почти грубо выкрикнул Виктор и уже спокойней добавил: — У меня, по-видимому, более легкая форма, я продержусь на энергине. И Герберт теперь может мне помогать, он по-прежнему точен и все помнит. Он даже начал приводить в порядок свои здешние записи.

— Что ты говоришь! — удивился Казимир. — Так это же здорово!

— Здорово... В том-то и дело, что я ему сказал — и он послушался. А иначе он и не подумал бы. Профессиональные способности у него, по-видимому, не пострадали, я просматривал, что он сделал. Работает в приличном темпе, точно, продуманно. Но ему на это плевать. Скажут — будет работать, не ска-

жут — будет сидеть, ничего не делая. Не сказать ему: «Поешь!» — останется голодным.

— Да, те же симптомы... — Казимир глотнул, у него в горле пересохло.

— Очень странная болезнь. Когда твой «Линг» закончит работу?

— Скоро, — Казимир поглядел на часы. — Вот я нашего новосела вымою и переодену, к тому времени у «Линга» все будет готово. Ну, в основном. Я проверю неясные места, подправлю — и можно будет читать. Прочтем мы с Владиславом половину — я тебе принесу. А как Таланов, очень мучается?

— Да я стараюсь, чтоб он побольше спал. Хорошо, что электросон есть. Бужу его только, чтоб покормить. Вообще ему плохо. Почти ничего не видит, передвигается ощупью, закрывает глаза, когда я двигаюсь. Говорит, что у него правая половина тела высохла и ничего не весит. И тоже чувствует, что кто-то внутри сидит. Он-то хорошо понимает, что это — болезнь. Но от этого не легче, можешь мне поверить, — Виктор изобразил нечто вроде улыбки. — Ну, иди... Жду с нетерпением книгу.

— Идем! — сказал Казимир, обращаясь к Инни. — Не понимает, а я не знаю, как произносить их слова. Ну, ладно.

Он резко взмахнул рукой. Инни послушно поднялся.

— Просидел здесь полчаса, а ни разу даже не поглядел по сторонам. Ему все равно, — сказал Виктор, глядя на Инни. — Абсолютно то же, что у Герберта... Да и у меня уже что-то похожее развивается. Смотрю на него, а думаю больше о том, как с ним быть и в чем он может помочь. А недавно я бы ошалел от радости, что вижу разумного обитателя другой планеты... Нет, впрочем, я радуюсь и сейчас. Устал я просто. Иди, иди. Казимир, не трать времени.

Когда красно-черные спирали скрылись за дверью, Виктор, цепляясь за переборку, пошел в изолятор и достал таблетку энергина. Он сел, держа таблетку в руке. «Подожду еще. Надо посмотреть, как будет

без энергина... — Он закрыл глаза и прислонился к переборке. — Симптомы те же... все совпадает. Значит, все дело в энергине? Я более восприимчив к нему? Тогда... тогда вот оно, мое близкое будущее... Герберт и этот жалкий Инни... Нет, я не хочу! — едва не закричал он и открыл глаза. — Опять этот проклятый радужный туман... ничего не видно... кажется, Таланов пошевелился...»

Виктор поспешно проглотил энергин, испытывая странное и жуткое ощущение, будто кто-то другой поднял его руку, приблизил ко рту — и таблетку проглотил кто-то, завладевший его телом, а сам он находится где-то в стороне, отдельно от тела, легкий, невесомый и совершенно бессильный.

— Виктор! — позвал Таланов. — Где ты, Виктор? Я тебя не вижу.

Виктор попробовал встать, но не смог. Ему показалось, что стена кабины стоит вплотную перед ним и если он встанет, то войдет в стену. И ног у него будто не было. Напрягая волю, он сказал, ничего не видя, обращаясь в ту сторону, где должен сидеть Герберт Юнг:

— Герберт, подойди к Михаилу Павловичу, я сейчас не могу.

Он скорее угадал, чем увидел, что Герберт встал. Темное продолговатое пятно со струящимися размытыми очертаниями проплыло по кабине среди радужного тумана, прошло сквозь Виктора, и он откинулся на спинку сиденья, зажмурил глаза. «Что же будет? — подумал он. — Неужели и я выйду из строя?»

— Виктор, почему ты не подходишь? — тревожно спрашивал Таланов. — Это Герберт, а не ты! Что с тобой?

— Я сейчас, сию минуту! — сказал Виктор. — Все в порядке, я готовлю шприц.

Он боялся открыть глаза, но, открыв, вздохнул с облегчением: энергин уже начал действовать. Все стало снова четким, устойчивым, надежным; тот, внутри, не исчез, но словно затаился, ушел вглубь. Виктор встал и подошел к Таланову, с наслаждением

двигаясь, шевеля пальцами рук, встряхивая головой. Он видел, как бледный, выцветший мир вокруг наливаются красками, и понимал, что болезнь опять отступила, что он может и должен бороться, пока хватит сил. «И пока хватит энергина, кстати», — горько усмехнулся Виктор.

— Виктор, ты тоже заболел? — спросил Таланов, хватая его за руку и тревожно ощупывая. — Это твоя рука, правда? А это моя? Ты болен?

— Я не болен, я только устал немного, — спокойно и ласково сказал Виктор.

Он взял Таланова за руку и, отсчитывая частые, судорожные удары пульса, глядел на это лицо, лобастое, широкоскулое, смугловатое лицо с крупным волевым ртом и глубоко посаженными карими глазами. Таланов всегда казался Виктору похожим на русского рабочего-революционера из того племени, что в далекие времена совершило великую революцию, а потом отбивалось от натиска интервентов и закладывало основы первого в мире социалистического государства. Виктор как-то сказал об этом Таланову, и тот молча усмехнулся, видимо польщенный.

— Это правда, Виктор? — спрашивал Таланов, невидящими, косящими глазами пытаюсь взглянуть в его лицо. — А что с Гербертом, почему он молчит?

«Завтра ты, наверное, перестанешь этим интересоваться, — с горечью думал Виктор. — Завтра ты будешь все видеть и все понимать, но ни о чем не будешь спрашивать...»

— Я здоров, Михаил Павлович, — повторил Виктор. — Вполне здоров, вы не волнуйтесь. А Герберт понемногу выздоравливает. Просто он тревожится за вас. Мы все хотим, чтобы вы скорее выздоровели.

— А можно выздороветь? — с надеждой и тревогой спросил Таланов. — Виктор, дай мне энергин, я хочу оглядеться вокруг, сообразить, как и что. И на Герберта посмотреть хочу.

«Вот как раз поэтому я и не дам тебе энергин», — подумал Виктор.

— Я убедился, что энергин затягивает и осложняет течение болезни, — мягко сказал он. — Лучше по-

терпеть. Поешьте, и я опять включу аппарат электро-сна. Вам полезно побольше спать.

— Хорошо, тебе видней, — покорно и устало согласился Таланов, и у Виктора защемило сердце: вот таким Таланов будет завтра. — Ты молодец, Витя: Я рад, что взял тебя в полет. Хотя — глупости: чему тут радоваться... А Владислав? А Казик? — вдруг тревожно спросил он. — Что с ними?

— Они вполне здоровы, — уверенно сказал Виктор, радуясь, что на этот раз не нужно лгать.

Таланов сел и закрыл глаза.

— Я все перепутал, должно быть, — тихо проговорил он. — Давно я болен?

— Со вчерашнего дня. Вторые сутки.

— А... эти, под землей? К ним больше не ездили?

— Ездили, Казимир и Владислав. Привезли книгу. «Линг» ее читает, потом будем читать мы. Там все объясняется насчет глегов. Глеги — это вирусы. Они и вызывают эту болезнь.

— Так... значит, от них они и прячутся... — проворкотал Таланов. — Я бы лучше заснул, Витя, а то уж очень противно себя чувствую.

*

— Значит, они сами это и придумали? Сами напустили на себя глегов, от которых спрятались под землю? Ловкачи! — сказал Владислав.

— Да, вывели глегов в своих чертовых лабораториях, кормили их, воспитывали, обучали, что им делать в организме, куда селиться. Думали, что договорились с глегами, — и выпустили духа из бутылки!

— Ну, а прививки? Он же пишет, что прививки были сделаны!

— Читай дальше. Вначале все шло так, как им хотелось. Появилась армия рабов-автоматов. Они немного медленней работали и немного меньше жили, но зато были неприхотливы, идеально послушны. Никогда не возмущались, не удивлялись, не говорили, что им тяжело, а работали до упаду. Им не нужны были ни развлечения, ни природа, ни любовь. Идеал раба! Нет, Владек, не подходи ближе! И не сни-

май маску! Ты видел Инни? Знаешь, чем это пахнет? Мы все зависим от тебя!

— Ну хорошо, говори. Тут длинное описание болезни. Я и без них уже знаю достаточно. Это Виктор пускай поинтересуется деталями. Читай вслух.

— Сейчас. Нет, у нас с «Лингом» получилась дикая каша. Я уж лучше буду пересказывать. Ну вот. Глеги на свободе расплодились, одичали и перестали обращать внимание на прививки. То есть это они пишут в таком духе, а дело, наверное, в том, что прививка давала гораздо более короткий иммунитет, чем они рассчитывали. Поэтому правители и разделались так зверски с учеными, которые вывели для них глегов.

— Как? Подожди, я этого не дочитал!

— Ты пропустил письмо старика. Он рассказывает, как появилась эта книга — подпольная книга, запрещенная правительством. Всех ученых, работавших над глегами, посадили в герметически закрытую камеру, пустили туда убийственную порцию глегов и держали там часа три-четыре, пока они не начали задыхаться от недостатка воздуха. Они не знали, в чем дело, думали, что их хотят удушить, стучали в двери. А их выпустили. Все они стали глеганни — так называют таких, как Инни. И их заставили выполнять обязанности простых прислужников у правителей. Они ведь совершенно утратили способность сопротивляться чужой воле. А понимают и помнят они все. Правда, они потеряли и способность горевать, но все же...

— Ох, черт! — сказал Владислав.

— Так вот, книгу написал один из них. Ученые — другие, не из этой обреченной группы — выкрали его, объявили погибшим, изменили его внешность, спрятали. И заставили писать эту книгу. Он всю историю хорошо знал и помнил.

— Ну, знаешь! — Владислав покачал головой. — Значит, действительно эмоции у него начисто исчезли. Я бы никогда не подумал, что все это касается лично его... Не могу сказать, чтоб я его особенно жалел: он как-никак активно участвовал в гнусней-

шем злодеянии правительства против народа. Но думать о нем жутко. Как он сидит с переименованным лицом взаперти и пишет, все помня и не умея даже заплакать о себе и о других — о тех, кого он погубил. А он ведь многих погубил, превратил в рабов, а остальных загнал в подземелья, лишил солнца и воздуха, подверг непрерывной пытке страхом.

— Это все верно, — сказал Казимир. — Только я думаю и о другой стороне вопроса. Тебе не кажется, что они — ну, все они, и народ, и ученые, и правители, — слишком уж испугались? Что под землю их загнали не так глеги, как собственные их страхи? Они сдались без боя.

— А может, правителям было выгодно, чтоб люди боялись? Может, правители нарочно загнали народ под землю, чтоб выбить из него мысль о восстании? Ведь тут пишется, что вначале были бунты, что нападали даже на правительственный дворец, требуя, чтоб прекратили всю эту гнусную затею с глегами.

— Да, и это, наверно, было. Но все-таки можно было бороться. Ведь у них были силы, была разветвленная тайная организация, ты же читал. Поэтому правители и торопились с глегами, не дали ученым проверить на практике, каков срок иммунитета от прививки: они знали, что вот-вот начнется революция. Так как же народ... Э, что там говорить! Давай читать дальше.

Некоторое время они молча читали. Потом Владислав сказал:

— Послушай, Казик, мне пришла в голову одна любопытная мысль. Под землю к ним глеги не проникают, новых заболеваний нет. Где же они живут, эти глеги? Насколько я знаю, вирусы не могут жить вне чужого организма: они ведь паразиты. А в книге написано: когда уходили под землю, то истребили всех животных и птиц, чтоб уничтожить резервуар для глегов. Это был строжайший приказ, верно?

— Да... — Казимир задумался. — Мне это не приходило в голову. Постой! А тот зверек, который порвал скафандр Карела? Они ведь знают, кто это.

Даже называли его — сунними, помнишь? Я книгу просматривал наспех, только заполнял пробелы, оставленные «Лингом». Не помню, где я вставил это слово — сунними. И даже не один раз. — Он начал листать книгу. — Ага! Вот!.. Ну, это довольно странно. Послушай: «Но любимая жена верховного правителя...» У них многоженство, что ли? Так вот, эта любимая жена проплакала всю ночь, прижимая к себе своего любимого сунними. Значит, это вроде кота — домашний зверек. Ну и потом этот сунними куда-то исчез, а она заявила, что он сбежал. Потом исчезли еще два-три сунними. Когда все ушли в подземелье, то вначале думали, что это максимум на неделю-две. А потом оказалось, что глеги все живут да живут. Где? В сунними. Сунними устроились в пустых домах, одичали, начали плодиться. Питаются они насекомыми и растительной пищей, так что голод им не грозит. Глеги им такого вреда не причиняют, как людям, болезнь у них протекает легко и особых последствий не имеет. Но они поддерживают глегов, не дают им погибнуть. На сунними выходили охотиться, но они быстро приучились бояться людей и очень ловко прячутся. Ведь надо же было Карелу поймать этого сунними!.. И как только ему удалось это! Они вообще умные и чуткие. А странным мне кажется то, что вот так-таки взяли и выпустили этих сунними. Ведь всюду были караулы, дозоры, санитарные кордоны... Кто и зачем протасил сунними сквозь все посты и кордоны? Они ведь не такие уж маленькие, под одеждой их не скроешь...

— Так что же ты думаешь?

— Думаю, что это очередной подлый трюк правителей. Они решили подольше подержать людей под землей. Для этого и понадобилась сентиментальная легенда о любимой жене и любимом сунними.

— Возможно... — протянул Владислав. — Вполне возможно.

— Ну, давай почитаем еще немножко, и я отнесу то, что прочитано, Виктору... Вот, кстати, о возможности бороться. Ты посмотрел бы, как Виктор здорово держится среди больных, сам больной, хоро-

шо понимая, что его ждет. Думаешь, ему не так страшно и не так жалко себя, как этим, здешним? Как бы не так! А ведь у них наверняка было больше возможностей защищаться. Они трусили, это ясно. И сами себя предали. А теперь кричат нам, чужим: спасите нас от своих! Конечно, мы постараемся им помочь, но досада разбирает, клянусь честью!

Через четверть часа Казимир вскочил.

— Пойду! Беспokoюсь за Виктора, как он там...

— Подожди еще минутку. Послушай, они ведь совсем неплохо жили раньше, пока началась эта история с глегами. Довольно высокий уровень жизни, правда?

— Да. За счет очень развитой биохимии. Тут они Землю обогнали, насколько я могу судить. Ну, например, они сейчас довольно легко обходятся без естественной пищи, если не считать злаков, заготовленных впрок. И, кстати, делается это не по прямой необходимости, а, по-видимому, тоже входит в расчеты правителей: держать народ в полной зависимости, по своему усмотрению регулировать все снабжение. Ведь они могли бы продолжать возделывать поля и огороды, у них масса этих глеганни, а глеганни не нуждаются в надсмотрщиках: дашь задание, и они его выполняют. Могли бы рыбу ловить, она не заражена вирусами. Дезинфекционные камеры у них есть, глеганни ходят в город, приносят книги, химические препараты и прочее... Вообще-то что за жизнь, Владек! Ни воли, ни радости — ничего, кроме страха и тоски. И потом, они ведь разоряют государство. Все заброшено: и промышленность и сельское хозяйство. Народ живет в неестественных условиях, болеет, будет вырождаться: можешь себе представить судьбу детей, родившихся под землей. Потом масса мужчин, причем в самом цветущем возрасте, выключена из жизни.

— Почему? — удивился Владислав. — Разве вирусы передаются по наследству?

— Нет, конечно. Но ведь у глеганни не может быть наследства, у них атрофирован инстинкт размножения. Как и инстинкт самосохранения, впрочем.

Они не испытывают ни страха, ни желания, ни голода, ни жажды. Их ничто не предостерегает от гибели... Подожди-ка!.. Ну, конечно, и боли они не испытывают. Им можно делать любые операции без наркоза, они и глазом не моргнут. Но они могут сгореть живьем, утонуть, умереть с голоду, если за ними не присматривать. Да, кстати! Инни пора покормить, а я не знаю, чем они питаются. Если не найдем в этой книге ничего, надо будет посмотреть то, что мы захватили по дороге в библиотеке.

— А если экспериментальным путем?

— Я сначала тоже так думал. Но ведь он съест все, что ему дашь, а потом может заболеть. Кто их знает, какие у них отличия в организме и какие привычки.

Владислав посмотрел на птичье лицо Инни, безмолвно сидевшего у двери в слишком просторном для него комбинезоне Герберта и красных туфлях с острыми, слегка загнутыми вверх носками: обуви в пору ему не нашлось, и Казимир, тщательно продезинфицировав эти туфли, оставил их Инни. Странное существо сидело, опустив руки и глядя перед собой ничего не выражающим взором.

— Мне, признаться, жутко на него смотреть, Казик.

— Конечно. Только я тебе скажу: на Герберта — гораздо страшней, должно быть. Ведь это наш Герберт! А Виктор все время с ним и знает, что его самого ждет то же.

— Да. Подумать только, что Таланов сомневался, брать ли Виктора в полет.

— Это понятно, Таланов привык летать с Вендтом. А Вендт в этих условиях не выдержал бы, это я тебе точно говорю. Это уже не тот Вендт, о котором писали все газеты, когда мы с тобой были зелеными юнцами. Ему сорок шесть лет, а для астронавта с таким стажем и с такой биографией это уже старость.

— Значит, нам с тобой все равно остается лет пятнадцать жизни, не больше? — заинтересовался Казимир. — Грустно.

— Ну, Вендт летает уже четверть века. А ты впер-

вые отправился в дальний рейс, и тебе всего двадцать восемь лет. Что ты хнычешь заранее? Ты, может, и летать больше не захочешь после милого знакомства с глегами.

— Лишь бы не познакомиться с ними слишком близко! А вообще хотелось бы вернуться сюда и устроить веселую жизнь этим подземным жителям...

— Мне вот что пришло в голову, — сказал Владислав. — Неужели у них на всей планете одно государство, одно правительство? Правда, планета их гораздо меньше, чем Земля, но все же? И что делается в других городах и селениях?

Казимир начал листать книгу.

— Кажется, этот ученый-глеганни записал только то, что происходило у них... Нет, что-то есть... Подожди, я тут не понимаю... очень туманно написано. Много собственных имен и слов, которых я не встречал и «Лингу» не дал. Похоже, что есть другое государство... Знаешь, я попробую спросить Инни.

Он сел рядом с Инни; тот не пошевелился. Казимир написал вопрос на листке бумаги, дал листок Инни и жестом приказал читать. Инни довольно быстро прочел и щебечущим тихим говором начал отвечать. Казимир жестом остановил его и дал карандаш, показав на бумагу. Инни покорно начал писать. Владислав следил за этой перепиской, ощущая тупую тоску.

— Нет, это просто черт знает что! — закричал вскоре Казимир. — Эти правители сами хуже всяких глегов! Ты только послушай, что они натворили! Вернусь и собственноручно всех их перестреляю, даю слово!

— Не давай слова, — усмехнулся Владислав. — Наше дело — уничтожить глегов, а в остальном здешние жители сами разберутся, будь уверен. У нас на Земле бывали и похуже вещи, а люди все же разобрались во всем, хоть и дорогой ценой.

— Это ты об атомной эре говоришь?

— Не только. Всякое бывало на Земле.

— Верно. И все-таки здесь черт знает что. Эти правители, когда уходили под землю, заявили, что

бояться нападения другой державы. И выслали туда глегов... Ну, что-то вроде бактериологических бомб сбросили. А там — ни прививок, ни подземных убежищ, никакой защиты. Представляешь? Инни не знает, что с ними случилось. Наверное, все превратились в глеганни и тихонько умирают, без всякой помощи и защиты. Они ведь беспомощней, чем дети.

— Ох, дьявол! — с ужасом сказал Владислав. — Вот теперь и у меня такое ощущение, что мы бросаем их на произвол судьбы...

— Вот видишь...

— Нет, все равно ощущение глупое. Ну, что мы можем сделать?.. Послушай, Казик, а у них что же, связь между городами и странами совсем прервана? Хотя да, радио они пользоваться под землей не могут... Ну, а телефон, телеграф, другие какие-нибудь средства связи у них были? Спроси Инни!

— Инни не все знает, — сказал Казимир, окончив переписку с Инни. — То есть у него образование было вообще не бог знает какое, по-видимому, а с тех пор, как он стал глеганни, он застыл на прежнем уровне и ничем окружающим не интересуется. В общем что-то вроде телефона, даже видеотелефона у них было, насчет телеграфа я не понял, или он меня не понял. Но под землей ничего этого нет.

— Это правители нарочно так устроили, — уверенно сказал Владислав.

— Возможно. Так или иначе, они мало что знают теперь о своей планете, даже о своем государстве. Этот город — столица, как мы и думали; под ним были древние подземные ходы и жилища; подземный город спешно расширили и перевели туда тех, кого удалось вовремя изолировать от инфекции. Ну, и тех, кто уже переболел. Потом сюда прибыли жители ближних городов, прошли карантин, дезинфекцию...

— Неужели они не пытались узнать, что творится в других местах? Я просто не понимаю, как же так...

— А черт их знает как действительно! — сердито сказал Казимир и снова начал переписываться с Инни. — Ну, может, ученые не так виноваты, как ты

думаешь. Инни говорит, что в горах за большой рекой живут какие-то люди, возможно, даже из этой страны. Но они никого к себе не пускают — очевидно, тоже боятся глегов. Убивают каждого, кто проникнет на их территорию. Группа ученых из столицы выкрала скафандры и отправилась туда, в горы. Многие из них там погибли, другие вынуждены были вернуться. А тут их... ну, превратили в глеганни. Больше никто не решался на такие дела... — Казимир вздохнул и начал медленно перелистывать книгу.

— А они за семь лет так и не научились бороться с этими своими глегами? — помолчав, спросил Владислав.

— Выходит, что нет. Та группа микробиологов, которая создала глегов, сразу вышла из строя, как я тебе говорил. А к тому же работы эти не только не финансируются правительством, но, по сути, и запрещены. Для виду что-то делается в этом направлении, но крайне мало. Это и в книге написано, и Инни подтвердил, что правители не хотят трогать глегов... — Казимир провел рукой по глазам, будто смахивая невидимую паутину.

— А что я говорил? — сказал Владислав. — Тут действительно не поймешь, против кого раньше бороться: против глегов или против правителей.

— Черт знает что, — тихо проговорил Казимир после долгого молчания. — Ведь как-никак эти самые правители... Они тоже люди... Ну, как все, правда? Самим-то им какво в темноте, под землей? Семь лет, а?

— Что ты о них вдруг забеспокоился? — Владислав усмехнулся. — Они уж наверняка устроились получше, чем все другие. И света и простора у них побольше, это уж точно...

— Больше или меньше, а не на воле, без солнца и воздуха... И все-таки сидят там и других держат.

— Значит, боятся своего народа больше, чем жизни в подземелье. Думали, что в темноте легче задушить все живые силы... Да, пожалуй, наши собеседники правы: без помощи им плохо придется. Надо скорей возвращаться.

Казимир молчал и смотрел куда-то в сторону.

— Владек, тебе долго готовиться к старту? — спросил он потом.

— Нет, могу вылетать хоть завтра. Только расчеты надо сделать — Карел не успел...

— Нам ведь нечего теперь задерживаться... Надо бы поскорей, — сказал Казимир, поднимаясь. — Ну, я пойду к Виктору.

— Ты не расстраивайся чересчур, — посоветовал Владислав. — Смотри, ты даже в лице переменялся... — Он вдруг запнулся. — А ты здоров, Казик?

Казимир ответил не сразу.

— Боюсь, что... Все равно мне надо идти к Виктору.

— Я тебя провожу, — Владислав встал и двинулся к нему.

Казимир вскочил, отбежал к двери. Он был бледен, глаза его казались почти черными от расширившихся зрачков.

— Не подходи! — крикнул он. — Ты с ума сошел! Все на тебе держится!

— Ладно, я пойду следом. Иди.

Они шли по коридору, и Владислав видел, что походка друга становится все более неуверенной и шаткой. Немного не дойдя до медицинского отсека, Казимир пошатнулся и оперся о стенку. Он сейчас же обернулся к Владиславу.

— Не смей! Не подходи! — закричал он. — Я сам доберусь! Иди назад! Ты заразишься! Назад!

Владислав видел, что он не открывает глаз и судорожно цепляется за стенку. Белая марлевая повязка трепетала от крика и втягивалась в рот, мешая говорить.

— Я не подойду, успокойся, — сказал Владислав. — Но стань лицом к стене, если ты уж так боишься за меня. Я пробегу и вызову Виктора, чтоб он тебя довел.

— Виктору еще тяжелее, — уже спокойней сказал Казимир и, болезненно морщась, открыл глаза. — Уходи. Пойми, что тебе нельзя болеть.

— Ты, кстати, преувеличиваешь. Почему так уж

нельзя? Вот рассчитаю орбиту, стартуем — и можно будет перевести ракету целиком на автоматическое управление. Это Виктору нельзя, а не мне.

— Виктор все равно болен, — пробормотал Казимир и с усилием пошел, цепляясь за стенку. — Ах, черт, все двигается и расплывается. Слушай, я правильно иду?

— Правильно. Да ты держись стенки.

— Мне все кажется, что я прохожу сквозь стену. Или она сквозь меня.

— Поворачивай направо. Тут уж близко.

Казимир долго топтался у поворота, крича: «Не подходи!» Наконец, сделав отчаянное усилие, шагнул вправо. Дверь медицинского отсека приоткрылась. Виктор поглядел на Казимира, молча подошел к нему, обнял. Владислав поразился, как страшно изменилось лицо Виктора за эти два-три дня: синеватобледное, осунувшееся, с глубоко запавшими усталыми глазами, оно уже не казалось юношеским и светлым. Виктор заметил Владислава и вздохнул.

— Тебе не надо было сюда идти, — тихо сказал он. — Но раз уж пришел, подожди. Я сейчас вернусь.

Виктор вскоре вернулся, закрыл за собой дверь медицинского отсека и прислонился к ней спиной. Он тоже надел марлевую маску.

— Надо поскорее стартовать, — без всяких предисловий сказал он.

— Завтра. Раньше не успею сделать расчеты.

— Ладно... Если почувствуешь себя плохо, немедленно иди ко мне. И забирай этого... Инни.

— Мне нельзя болеть. Кто же рассчитает орбиту?

— Если начнется болезнь, ты уже не сможешь закончить расчеты. Не будешь видеть.

— И что же тогда?

— Подождем до завтра... Завтра, я думаю, Таланов уже сможет это сделать... если ему приказать...

В голосе Виктора звучала горечь. Владислав похолодел и стиснул зубы. «Таланов... герой космоса... я его портрет еще в школе повесил над своим столом. Таланов — глеганни...»

— А ты? — спросил он с трудом.

— Я... ну что ж, я постараюсь продержаться, пока... Видишь ли, нам с тобой придется подготовить анабиоз... для всех, кроме тебя, если ты будешь здоров, и меня. Иначе нам не справиться, они погибнут.

— Тебе тоже надо... анабиоз... — с трудом проговорил Владислав.

— Одному тебе будет слишком тяжело... с этим Инни. Правда, можно научить его разговаривать и понимать, хотя без Казимира это будет труднее.

— Я справлюсь один, не беспокойся.

— А если ты заболеешь после старта?

Владиславу стало страшно. Он представил себе, как останется один с молчаливым, ко всему на свете равнодушным существом из другого мира. Как заболевает и сначала будет мучиться, хорошо зная, что его ждет, а потом станет таким же равнодушным, полумертвым и беззащитным... И никого рядом, кроме такого же ходячего мертвеца... на долгие месяцы... И все будешь понимать, все видеть... «Нет, я не выдержу! Лучше умереть!.. Да, но умереть нельзя, тебе нельзя. Ты должен раньше вывести ракету на орбиту. По крайней мере. А потом...»

— Ты же все равно болен, — сквозь зубы сказал он, с отчаянием глядя на Виктора.

— У меня более легкая форма. Может быть, и последствия будут не такими... как у других. И потом я врач, Владек. Я должен держаться.

Он поднял голову. Владислав поглядел в его серые, ясные, смертельно усталые глаза — и замолчал. Судорога перехватила ему горло.

— Я все сделаю, как ты сказал, Виктор, — проговорил он наконец. — Мы с тобой вместе все сделаем... — Он помолчал и добавил: — Если нам доведется еще летать, я бы хотел всегда отправляться в космос с тобой.

— Спасибо, Владек, — тихо ответил Виктор. — Мы еще летаем, правда?

Они стояли и глядели друг на друга. Марлевые маски почти целиком скрывали их лица; одни глаза жили на этом белом мертвенном фоне. Глаза видели и понимали все.

ИСЧЕЗЛО ВРЕМЯ В АРИЗОНЕ

Оправдываться было бесполезно. Я смотрел в окно и старался не слушать нудного голоса шефа.

— Послушайте, Хокинс, вы же толковый парень, — вдруг донеслось до меня приглушенно, как будто из соседней комнаты.

Я машинально кивнул головой. Это я знал и сам. Я не уловил, чем он кончил, но сказал:

— Есть отличный материал, шеф.

— Тема?..

— Конкуренты лопнут от зависти.

— Тема, черт побери?!

— Еще не знаю, шеф, но они лопнут.

В общем-то тема у меня была, и когда, наконец, я выложил суть дела, редактор просипел:

— Отлично, Хокинс. Годится. Главное — не жалейте красок.

* * *

Национальный центр научных методов борьбы с коммунизмом располагался в замечательном 19-этажном подземном бункере. Крышей ему служили три полутораметровых стальных перекрытия. Промежутки между ними заполняли подушки из инертных газов. Из такого помещения было как-то удобней бороться с коммунизмом.

Битых два часа я рыскал по отделам. Следом ходил унылый лейтенантик. Чистая бомба и народный капитализм нашим читателям уже приелись.

Неохристианство показалось мне скучным.

Я уже совсем было отчаялся, как вдруг мне зверски повезло.

Я сразу понял, что это тип не из здешних. Он был чересчур жизнерадостен и достаточно неопрытен. Я распахнул перед ним дверь, наступив на ногу какому-то майору. Благополучно миновав секретарей, мы предстали перед директором. Я инстинктивно отступил за спину рослого парня в хаки.

— Наконец-то! — воскликнул директор. — Садитесь. Рассказывайте, доктор.

Доктор поставил на стол чемодан и вынул из него небольшой сверкающий никелем и стеклянными трубками аппарат.

— И это все? — спросил директор.

— Это модель. — Доктор энергично потер руки. — Действующая модель, сэр! Сорок киловатт энергии — и я остановлю время на континенте.

Доктор радостно засмеялся.

— Я работал над этим вопросом десять лет. И у меня не было времени повеселиться. Ха-ха!.. Зато сегодня я могу остановить время!..

— Скажите, — перебил его директор, — а если остановить время в Штатах, то там, у них, оно будет идти?

— О да, сэр! Оно будет идти и даже прыгать.

— Прыгать? Нет, это нам не подходит.

К столу тихо подошел еще не старый, но уже лысый мужчина в очках. Форма полковника сидела на нем мешковато. Он соорудил гримасу, которая должна была означать улыбку, и произнес:

— Мы должны остановить время у них, сэр.

— У кого — «у них»?

— У красных, сэр. Мы остановим у них время и сразу обгоним их и по космосу и по бомбам. Мы сможем сделать миллионы, нет, миллиард бомб, сэр. Так, чтобы хватило на каждого красного.

Директор просиял.

— Не увлекайтесь, Доббер, — он повернулся к доктору. — Скажите, доктор, а вы делали бомбу?

Сзади щелкнула дверь.

Тут я, не выдержав, выскочил вперед, хлопнул доктора по плечу и убежденно воскликнул:

— О да, сэр! Мы делали их дюжинами. Мы делали их по сто штук в неделю. Но сейчас — машина!.. — и я протянул руку к столу. — Время!.. — и я сделал жест двумя руками сразу.

Тут доктор, в свою очередь, хлопнул меня по плечу и воскликнул:

— Время, конечно, время! Время — деньги! Не будем медлить. Я продемонстрирую вам, джентльмены, — и он схватился за самый блестящий и длинный рычаг своей машины.

У директора посоловели глаза от страха. Он дернулся, как паралитик, и проскрипел:

— Постойте, доктор! М... М-может быть, вы сначала объясните, как работает ваша машина?

— Конечно, доктор, — сказал я и отошел на всякий случай подальше.

Доктор вышел на середину комнаты и стал в позу. Теперь он говорил спокойнее.

— Я работал над этим вопросом десять лет. Я начинал на пустом месте. Я не нашел у предшественников ни одной дельной мысли, кроме теории о прерывистости времени. Но я нащупал эти крупинки, мельчайшие неделимые атомы времени. Я определил энергию их связей и сделал генератор такой же частоты. Вы знаете, что такое резонанс? Я излучаю энергию на частоте колебания атомов времени и нарушаю их равновесие. Я могу разрушить их порядок, превратить его в хаос, и тогда время остановится. Генератор работает искривленным лучом, так что можно остановить время в любой части земного шара. Расчеты не займут и двух дней.

У меня перехватило дыхание. Это была сенсация века! Это было интереснее атомной бомбы!.. Я уже видел заголовки на первой странице: «Триумф американской мысли!», «Время — свободному миру!»,

«Красных — в палеолит!», «Доктор тасует века, как карты!»

Оставалось благополучно отсюда выбраться. Я понимал, что попал на секретное совещание и теперь мог рассчитывать только на суматоху и собственную ловкость.

А события развивались все стремительней. Эти парни в хаки оказались деловыми людьми. Они уже обсуждали практическую сторону дела.

— Я добился потрясающей четкости передачи, — хвастал доктор. — Искажения времени не могут распространиться дальше орбиты Луны.

— Поразительно! — пролепетал какой-то толстяк.

— Позвольте, — вмешался Доббер, — мы остановили у них время. А на нас это не отразится?

— Пустяки, — ответил доктор. — Я добился изумительной локальности излучения. Конечно, в пределах планеты, я это допускаю, могут быть разрывы и смещения времени...

— Как?! — воскликнул Доббер.

— Как?! — повторили хором парни в хаки.

— Что вы хотите этим сказать? — поднялся директор.

— Пустяки, — снова воскликнул доктор. — Не пройдет и полугодя, как все станет на свои места. Зачем волноваться? Утро, день, вечер... Разве вам не надоело это унылое постоянство? Моя машина... — он потянулся к какому-то рычагу, но Доббер поймал его за локоть.

— Позвольте, позвольте, — назойливо шамкал толстяк. — А это не опасно для жизни?

— Ничуть, — ответил доктор. — Разве что вас похоронят раньше, чем вы умрете.

Доббер выскочил вперед.

— Доктор прав. Что за малодушие, коллега? Дело идет о борьбе с коммунизмом. Красные у нас в руках. Нельзя упускать такой шанс. Мы обязаны рискнуть во имя цивилизации и прогресса.

В комнате воцарилась тишина. Я догадался, что присутствующие переваривают мысль о своей исторической миссии.

— Джентльмены, — сказал директор, — вопрос решен. Через час я буду докладывать совету концернов. Опыт готовим на послезавтра. Потом можно будет поставить в известность конгресс.

— О'кэй! — ответил директор.

— О'кэй! — рявкнули парни в хаки.

— О'кэй... — пробормотал я и на четвереньках, прячась за креслами, пополз к дверям.

По коридорам я мчался как спринтер, скоростной лифт показался мне слишком медлительным. По дороге в редакцию полиция трижды фотографировала мое авто. Стрелка спидометра сломалась, не выдержав перегрузки.

Я схватил редактора за манишку и прохрипел:

— Снимайте первые четыре полосы, — потом упал в кресло и простонал из последних сил: — Стенографистку!..

Шеф был опытный газетчик. Через минуту он отпавал меня виски. Возле двери уже дожидались, держа наготове карандаши и блокноты, две хорошенькие девочки.

Я диктовал больше часа. Тем временем шеф договаривался с издательством, чтобы тираж номера увеличили в двадцать четыре с половиной раза. Потом он связался с авиакомпаниями. С нас содрали три шкуры, но теперь мы были уверены, что не позже завтрашнего утра нас будет читать весь свободный мир.

Я глотал бутерброды и лихорадочно соображал, кому из конкурентов можно выгодно продать сенсацию. Но меня заперли в кабинете и отключили телефоны.

Я удрал через мусоропровод.

До утра я мотался по редакциям и заработал больше, чем за всю свою жизнь. Телеграфировать в Европу было бесполезно. Все равно меня кто-нибудь уже опередил.

Я смертельно устал. Устал до такой степени, что даже обрадовался, когда застрял в лифте между этажами какого-то небоскреба.

Я проснулся в каморке без окон. В щель под дверь пробивался свет. Стены мелко дрожали — где-то рядом работал мощный двигатель. Я сразу понял, что нахожусь в самолете. Меня украли! Меня похитила разведка красных!..

Действовать нужно было немедленно. Я бросился к двери. Заперта! Я попытался выбить ее плечом. Внезапно она распахнулась. Я потерял равновесие и грохнулся под ноги щедедушному старичку швейцару.

— С вас доллар, сэр, — сказал он. — Вы ночевали на моем диване.

Я не сразу понял, в чем дело. Минуту я сидел на полу и анализировал обстановку. Потом я молча встал, сунул старику доллар и ушел.

На улицах было столпотворение, как в дни президентских выборов. Люди с перекошенными от ужаса лицами метались по площадям и скверам. Репродукторы полицейских машин призывали к спокойствию:

«Внимание, граждане! Каждый должен иметь при себе удостоверение личности и медицинскую справку. Правительство гарантирует безопасность. Будьте благоразумны!»

Продавцы газет вопили:

— Последние новости! Исчезло время в Аризоне!

— Сенсационное сообщение. Нашествие мамонтов на Нью-Мексико!

— Летаргический сон Советов!

— Послание президента к народу!

— Интервью с покойником Колумбом!

— Сенатор Лоуренс предлагает вернуть Россию в 1916 год!

Все шло как надо. Я воспрянул духом и, посвящая, направился в редакцию. В небе висели вертолеты панамериканской страховой компании. На головы сыпались листовки:

«Страхуйте ваше время только у нас!»

Лифты в здании объединенных корпораций прессы не работали. Я не особенно огорчился. Мне нуж-

но было всего лишь на двадцать седьмой этаж. Я закурил и не спеша потащился наверх.

— Хэлло, шеф! — сказал я, входя в кабинет редактора.

Шеф повел себя очень странно. Он уронил на ковер горящую сигару, протяжно охнул и полез под стол. Я взял с тумбочки верстку свежего номера. Первое, что бросилось мне в глаза, это моя фотография, отлично напечатанная и... в траурной рамке. Некролог сообщал о моей трагической кончине:

«...он выпал в разном времени, установили экспертизы... Он может находиться в четвертом измерении, утверждает профессор Смоллет».

— Хокинс, вы воскресли? — раздался голос редактора.

— Да, шеф. Оставьте место в завтрашнем номере. Я дам воспоминания о загробной жизни.

Я положил верстку в карман и, перешагнув через бесчувственное тело секретарши, вышел в коридор. Весь день и ночь я загребал доллары. Город трясла лихорадка. Паника охватила весь мир. Акционерные общества и компании возникали и лопались как мыльные пузыри. Количество недоразумений и сенсаций все возрастало. Но я интуитивно чувствовал: еще немного — и толпа устанет. Что будет дальше, я не знал. Я знал только, что военные шутить не любят и рано или поздно установка сработает. Мне не хотелось преждевременно отправляться к праотцам. И потом было бы некрасиво заставлять читателей дважды на одной неделе читать мой некролог. Чтобы знать, когда следует унести ноги, я позвонил приятелю в Национальный центр научных методов борьбы с коммунизмом.

— Какого черта, Хокинс, — пропищало в трубке. — Никакого генератора не было. Эта штука оказалась портативной бормашиной.

Я лихорадочно соображал: не сегодня-завтра паника кончится. На этом можно заработать вдвойне. Пока не поздно, нужно превратить свои деньги в акции сталелитейных компаний. Завтра их цена подпрыгнет до прежнего уровня. Гениально!

Я набрал нужный номер. Мне долго пришлось ждать. Потом хриплый голос сказал:

— Сегодня в шесть тридцать банк лопнул. Что еще?

Я опустил трубку. Это был нокаут. Я долго сидел в кресле и почему-то вспоминал детство. Как однажды я свалился с высокого дерева. И еще: как отец колотил меня палкой. Потом я встал и пошел на улицу. Возле окна с вывеской: «Запись в золотой век — восемь долларов!» — уже не было очереди. Громкоговорители молчали. Под ногами шуршал бумажный сор. Я шел, ничего не видя и не соображая. Вдруг до моего слуха донесся знакомый веселый голос.

— Ха-ха! — захлебывался доктор. — Уэллс ребенок по сравнению со мной. Эйнштейн, ха-ха, Эйнштейн тоже ребенок по сравнению со мной. Ньютон, хо-хо...

Я подошел и стукнул его по голове.

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ НА ПЛАНЕТЕ ЧУНГР

«В век космонавтики несправедливо предположить, что нам, может быть, придется столкнуться с другими живыми существами, весьма высокоорганизованными и в то же время совершенно на нас не похожими».

Академик А. Н. Колмогоров, 1961 г.

Среди семисот миллиардов разумного населения планеты Чунгр (носящей, как недавно выяснилось, у обитателей Третьей планеты¹ название «Марс») лишь очень немногие интересовались космосом больше, чем своими повседневными делами. Для этого были глубокие исторические причины. Однако сегодня решительно вся планета говорила о предстоящем вечером выступлении главы Центра космических исследований (ЦКИ), автора классических трудов по космологии, маститого Тхнтшу².

Это он двадцать лет назад³ впервые принял радиосигналы с Третьей планеты и ошеломил Чунгр сообщением о разумных существах, живущих там. Его эпохальное открытие заставило восстановить ЦКИ, закрытый пятьюдесятью годами ранее при весь-

¹ Земли.

² Так, в очень отдаленном приближении, можно передать его благозвучное имя человеческой речью.

³ Здесь и всюду дальше имеется в виду чунгрианское летоисчисление, в котором год равен двум земным.

ма драматических обстоятельствах, и если не сокрушило, то до основания потрясло окостеневшие за много тысячелетий традиции Чунгра в отношении космоса.

К этим-то драматическим обстоятельствам и обращалась невольно мысль высокоуважаемого Тхнтшу, который летним вечером летел в столицу планеты из теплой полярной зоны, где в тиши санатория готовился к сегодняшнему ответственному выступлению¹.

Тхнтшу мог бы достигнуть цели почти мгновенно, если бы воспользовался фотонным поездом, пролетающим половину меридиана планеты² по трубе подземного тоннеля с субсветовой скоростью. Но он предпочел более медленный индивидуальный атомолет, чтобы получше собраться с мыслями и чувствами. Да, и с чувствами, потому что они тоже в нем бурлили, как кипяток в воронке гейзера.

...Бедный Кхруарбрагфр! Великий Кхруарбрагфр! Гений, учитель, друг. Гений, объявленный врагом Планеты и казненный ею. Учитель, от которого вынуждены были отступить его ученики не по принуждению, а по убеждению, видя его неправоту. Друг, которого покинули, отринув, все друзья, в том числе и молодой Тхнтшу, одна из главных надежд Учителя. Семьдесят лет минуло уже с того страшного дня, когда Кхруарбрагфра по приговору Планеты усыпили сладостным наркозом. А в душе Тхнтшу память об этом далеком дне все еще кровоточит, как незажившая рана. Он никогда не считал Учителя правым в его дерзком философском споре с Планетой. И, однако же, что-то вроде угрызения совести всю жизнь мучило Тхнтшу. Было какое-то страшное обаяние в незабываемых последних словах Кхруарбрагфра:

— Я рад, что мое последнее желание совпадает с желанием Планеты. Если она, отрицая мое право мыслить совершенно самостоятельно, без ее указки,

¹ На севере Чунгра солнце не заходит летом в течение многих дней и нагревает воздух значительно выше точки замерзания воды.

² Около 1 600 километров.

желает моей преждевременной смерти, чего же еще могу пожелать себе я?!

«Как ты был неправ, Учитель! Зачем ты поднял до таких абстрактных высот практический вопрос озонирования радиолучами космоса? Можно было бы решить этот вопрос мирно, не заостряя его так. А то, что сказал ты, конечно, показалось Планете каким-то чудовищным моральным и интеллектуальным уродством, похожим на фантазмагорическое восстание пальца против тела, на котором он вырос. Так восприняли это и твои ученики. И совершилось ужаснейшее, невиданное на Чунгре в течение многих дюжиниад¹ лет: казнь! Гения искусственно лишили жизни. Возглавляемый им Институт космических исследований расформировали. Намеченные им исследования запретили продолжать, как опасные для планеты...

Потрясенный случившимся, Тхнтшу на долгий ряд лет отошел от изучения космоса и занялся чистой математикой. Но зароненные мятежным Кхруарбрагфром семена неповиновения традициям продолжали прорастать. Через дюжину лет, когда улеглось негодование Планеты, ученики казненного, не сговариваясь друг с другом по одиночке, стали вновь, несмотря на запрет, посылать радиосигналы в космос. Делал это тайком и Тхнтшу. Но увы! Пророчества Учителя не оправдывались. Космос угрюмо молчал, и трагическая гибель Кхруарбрагфра все более казалась заслуженной. По-прежнему не было никаких ответов на чунгрианские радиосигналы ни с Третьей планеты, ни со Второй, ни с других, ни из глубин Вселенной.

И вдруг эта незабываемая, потрясающая ночная минута двадцать лет назад, когда Тхнтшу принял первый радиосигнал с Третьей! Явный, неоспоримый, осмысленный! О судьба судеб, что пережил он, когда убедился, что не грезит, что это истина, факт! Тхнтшу почудилось: он чувствует за спиной ликующее излучение Учителя, слышит звук его шеи. Как ликовал бы Кхруарбрагфр, если бы был жив! Он все-таки ока-

¹ Д ю ж и н и а д а — квадрат двенадцати (144).

зался прав! Дюжину дюжин раз прав! Дюжиниады дюжиниад раз!

Забыв все на свете, Тхнтшу тут же послал на Третью приветственный сигнал предельной силы. Но никто не откликнулся оттуда. Зато почти немедленно отозвалась служба порядка Чунгра, обеспокоенная неразрешенным сигналом, зарегистрированным автоматикой.

Грандиозность открытия Тхнтшу заставила забыть о нарушении им планетарного запрета. На другой же день был восстановлен ЦКИ во главе с героем дня и разрешено вести активные радиопоиски в космосе. Но ни на один из бесчисленных, систематически передаваемых теперь сигналов никто с Третьей не отвечал, хотя радиопередачи оттуда принимались во все более возрастающем количестве, записывались, тщательно классифицировались и глубоко изучались аналитическими машинами. Радиофизики Чунгра ломали себе голову над этой удивительной загадкой и не могли ее разрешить. То ли земляне не принимали их передач, то ли не способны были их расшифровать, то ли какие-то особые, неизвестные еще природные условия Третьей препятствовали прохождению радиосигналов извне, пропуская их, однако, оттуда.

Потом — как и следовало ожидать — последовала реакция.

Ревнителю тысячелетних традиций добились того, что снова была запрещена «всякая деятельность в духе Кхруарбрагфра». И лишь после ожесточенных споров Совет Планеты принял компромиссное решение: впредь до нового его указания ограничиться пассивным изучением космических объектов, но не посылать ни на Третью, ни на другие миры ответных сигналов. Традиционный косный «космический изоляционизм» Чунгра восторжествовал вновь.

Сейчас Тхнтшу думал, однако, уже не об этом. Его мучила пустячная на первый взгляд и, однако же, неразрешенная научная загадка: что такое земной «метр»? Это было крайне важно для самых ответственных выводов, которые ему предстояло изложить сегодня Планете. А он не знал этого!

Уже давно установили, что земляне пользуются неудобной десятичной системой счисления¹. Поняли соотношение терминов «километр», «сантиметр», «миллиметр». Стало известно, что Человек — носитель Разума на Третьей планете — в сто раз больше Муравья — существа, остро заинтересовавшего чунгриан своим внешним сходством с ними. Чунгриане уже не одно тысячелетие пользуются системой мер, в основу которой положена в качестве исходного эталона длина волны ультрафиолетового излучения, помноженная на 12⁷. Можно ли предположить, что «метр» — это то же самое? Навряд ли. Но, может быть, тоже какое-то производное от длины волны излучения? Однако какого? Ультрафиолетового? Красного? Зеленого? Все это беспочвенные гадания!

Вдруг Тхитшу осенила мысль: а не пользуются ли земляне таким же эталоном, каким в древности пользовались предки нынешних чунгриан? Те взяли за основу половину экватора Чунгра и разделили ее на шестьдесят миллионов частей². Не так же ли поступили и на Третьей? Это вполне логично предположить, учитывая молодость их цивилизации. Но что именно они делили и на сколько? Разумеется, на десятичную величину. Но на какую? Опять приходилось только гадать, и это приводило в бешенство ученого, привыкшего мыслить точными величинами.

О молодости человеческой цивилизации, бесспорно, говорило уже хотя бы то, что там лишь недавно додумались до ультракоротковолновой связи, способной преодолевать порог ионосферы. Подтверждал это и другой непреложно установленный факт: земляне еще разъединены на множество племен и говорят на десятках различных языков. Даже свою собственную, общую для всех планету называют по-разному: «Земля», «Эрс», «Эрде», «Маа», «Терр», «Ту», «Арз» и так

¹ Как известно, в ней основание «десять» имеет только два делителя, в то время как в принятой на Чунгре двенадцатиричной системе счисления основание делится на четыре делителя.

² Терминология десятичного счисления здесь и в других местах употреблена, разумеется, приближенно и условно за отсутствием в земной речи соответствующих двенадцатиричных выражений.

далее. Так же разнообразны у них наименования для Человека, Муравья, всех других предметов и понятий. Молодой, совсем еще молодой мир! Неведомый! Загадочный! Опасный!..

Доверившись автопилоту, погруженный в раздумье, Тхнтшу не замечал насмешливых взглядов, какими окидывали его пассажиры обгонявших машин, иногда нарочно задерживавшихся около него на параллельном курсе. Дело в том, что атомолет Тхнтшу давно уже перестал отвечать своим внешним абрисом и расцветкой требованиям моды, за которыми чунгрианская молодежь следит весьма ревностно. Но престарелый космолог, готовящийся, в свои сто с лишним чунгрианских лет, к отходу в небытие, предпочитал моде удобство, а удобство, как известно, родная сестра привычки.

Покинув светлую полярную область, атомолет мчался теперь над рыжими, плоскими равнинами Средней Зоны, которые в мгlistом освещении короткой вечерней зари казались мрачно красными. Пустыня! Наверняка так и думают астрономы Третьей, не подозревая, что именно тут, под надежным каменным щитом, богаче всего цветет жизнь Чунгра в его бесчисленных, великолепно благоустроенных, освещенных искусственными плазменными солнцами подземных городах. О наличии этих городов говорили только голубовато-зеленые пятна плантаций и нитки озелененных по берегам искусственных каналов, спрямляющих и соединяющих естественные трещины для более быстрого пропуска весенних паводковых вод.

Утром была песчаная буря. От нее продолжала висеть в воздухе красно-желтая дымка тончайшей пыли. Сквозь эту дымку заходящее солнце казалось багровым шаром, небольшим и угрюмым. Не было от него теней, не было и радости. Умиравший бог, побеждаемый Тьмой. Лиловым крылом набегала на Чунгр ночная тень. Быстро наполнилось звездами густо-фиолетовое небо. Температура снаружи упала с нуля до тридцати чунгрианских градусов ниже точки замерзания воды, чтобы ночью достигнуть пятидесяти-шестидесяти. Таково суровое чунгрианское лето.

Уже в вестибюле ЦКИ ученого окружила большая толпа научных сотрудников. Все они были одеты так же, как Тхнтшу: в плотно облегающие костюмы из пластика, позволяющих регулировать доступ воздуха и подогревать одежду. Такая надобность в условиях резких суточных и сезонных колебаний температуры на Чунгре возникала постоянно. В расцветке костюмов преобладали модные сине-зеленые и ультрафиолетовые оттенки, мерцающие и переливчатые.

Окруженный молодыми учеными, Тхнтшу стоял среди них, тяжело осев на ноги и ного-руки. Только это и некоторая замедленность движений выдавали его преклонный возраст. А три кроваво-золотистых глаза, украшающие мощный выпуклый лоб правильным равносторонним треугольником, искрились молодым, задорным блеском... Недаром еще сто двадцать тысячелетий назад сказал великий мыслитель Чунгра Укхх: «Старится наше тело, но не старится наша мысль».

— Скажу ли я что-нибудь новое? А разве бывало, чтобы я повторял только старое? Что-то я не припомню такого... — шутил Тхнтшу и длинными членистыми пальцами своей верхней руки постукивал одного из собеседников по плечу.

Чунгриане, как и другие высокоразвитые существа, пользовались тремя способами выражения своих мыслей и чувств: жестами, словами и биотоками. Но именно последний был у них ведущим. При помощи сверхчувствительных мягких выростов посреди лица (между троеглазием, ртом и находящимися чуть повыше, по краям рта, двумя парами ноздрей) они передавали друг другу свои мысли и чувства непосредственно, не облекая их в звуковую форму, которая была лишь подсобной и, по мнению большинства физиологов, отмирающей (не говоря уж о примитивном языке жестов).

С-развитием цивилизации и рождением радиотехники третий способ получил могущественное подкрепление в усиливающих и трансляционных электро-механических устройствах. Именно потому и развилась так стремительно и пышно на Чунгре радио-

связь, что сама природа снабдила голову каждого чунгрианина живою антенной. Он способен был принимать ею радиоволны так называемого «естественного диапазона» без всякой аппаратуры, и перед наукой в данном случае возникла лишь задача изоляции от ненужного приема. Эта задача была решена быстро и успешно. А радиоприемники дали возможность воспринимать диапазоны радиоколечаний, недоступные природным антеннам чунгриан, и необъятно расширили для них границы мира.

Не преувеличивая, можно сказать, что вся планета была у телевизоров в момент, когда на бесчисленных экранах появилось стереоскопическое цветное изображение Тхнтшу и раздалось его приветствие — звук, произведенный трением хитиновой шеи о такое же шейное отверстие груди. С особенно жадным интересом смотрели на него и слушали его те, кто видел его впервые. А таких было подавляющее большинство не только среди подростков и молодежи, но и среди огромной части старшего поколения, не интересовавшейся космическими проблемами.

Тхнтшу сидел в глубоком зеленом кресле, погружив в него широкую нижнюю часть туловища и опершись спиной о высокую мягкую спинку. Он положил ногу на ногу, кисти рук опустил на верхнюю доску стола, а руко-ногами уперся в нижнюю. Старый космолог волновался. Он долго жил на свете, но только второй раз выступал перед Планетой. Никто, кроме него, не знал, как радостно и как трудно было ему выступать сегодня. Если бы мог слышать его Кхру-арбрагфр! Если бы можно было обращать время вспять! Опасаясь, чтобы на миллиардах экранов не заметили его волнения, Тхнтшу плотно сцепил длинные хитиновые пальцы рук, оканчивающиеся осязательными присосками, и следил, чтобы они лежали на столе неподвижно.

Ни конспекта, ни каких-либо материалов перед ним не было. Весь доклад был в памяти, со всеми необходимыми подробностями и цифрами.

Телевидение имело обратную связь, и до слуховых органов ученого (расположенных на плечах рук

и руко-ног) явственно доносился неясный, взволнованный шелест колоссальной аудитории.

«Голос Планеты! — подумал он. — Если б она знала, что ей предстоит услышать! Последние секунды Эры Изоляции. Начинается новая эра. Если называть вещи своими именами — Эра Кхруарбрагфра. О великий! Ты со мной сейчас, ты во мне. Если верно, что мысль — главное в мыслящем, то ты жив и это час твоего торжества».

Над столом трижды вспыхнула ультрафиолетовая лампочка. Время начинать. Последние секунды старой эры истекли. И Тхнтшу, сосредоточившись, начал: — Сograждане!

Он не говорил, а думал. Его мысль, излучаемая лицевой антенной, принималась высокочувствительным электромагнитным полем, миллионкратно усиливалась им, мгновенно обтекала планету и делалась достоянием воспринимающих, которых неверно было бы назвать слушающими.

— Двадцать лет назад я нарушил ваш покой сообщением о принятых мною первых осмысленных сигналах с нашей голубой, водяной соседки — Третьей планеты. Двадцатилетие — ничтожный срок в истории цивилизации, насчитывающей триста тысячелетий, тем более в сравнении со всею историей нашего биологического вида, корни которого уходят в темные глубины каменноугольного периода.

Однако я утверждаю: то, что вы услышали двадцать лет назад, и — еще больше — то, что услышите сегодня, кладет такой же рубеж между настоящим и будущим Чунгра, каким в свое время явилась наша титаническая борьба с молококормящими гигантами.

Я упоминаю об этой погибшей цивилизации намеренно, а не случайно, чтобы каждый воспринимающий меня вспомнил весьма важные для нас сегодня трагические события той отдаленнейшей эпохи.

Мы еще не знаем, как развивалась разумная жизнь на Третьей планете. Не знаем путей ее развития на других мирах нашей Галактики и других галактик, где она, несомненно, существует. Но то, что было здесь, на Чунгре, нам хорошо известно.

Здесь, на этой планете, свет разума зажегся в двух видах живой материи. Случилось так, что впервые он вспыхнул не в нас, членистотелых, а в гигантских по сравнению с нами молококормящих яйценосах. Их вид возник гораздо позже нашего, но с удивительной быстротой обогнал нас в своем развитии. Они уже создали свою цивилизацию, когда мы еще были только частью животного мира, не поднявшейся выше сложных коллективных инстинктов.

Вы знаете, как развивались события дальше. Страшнейшим врагом молококормящих, а для нас добрым союзником оказалась быстро прогрессирующая в ту пору убыль кислорода в атмосфере Чунгра. Она поставила молококормящих перед проблемой, которую они не сумели решить, — как ни бились над ней.

А наших пращуров тонкий слой углекислоты, постепенно оседавшей на поверхность планеты, вынудил ходить на задних ногах, держа голову как можно выше. Это привело их к прямохождению, а прямохождение — к тому, что освободились для труда руки, потом руко-ноги, развились пальцы и осязательная функция. Инстинктивные трудовые процессы, которые у нашего вида богато проявились еще в диком состоянии, стали быстро превращаться в сознательный труд, в делание вещей, а это уже было началом разума и началом цивилизации.

Неудивительно, что две столь различные цивилизации не ужились на одной небольшой планете. Завязалась ожесточенная борьба, занявшая полмиллиона лет. Неизвестно, чем она кончилась бы в иных условиях, но нам пришла на помощь сама природа, или, как выражались наши пращуры, «сам бог».

Мы оказались несравненно более стойкими в борьбе с кислородным голоданием, нежели молококормящие. От поколения к поколению наши организмы научились вырабатывать анаэробную компенсацию, а поколения в то время сменялись у нас в двадцать раз быстрее, чем у молококормящих, и в конце концов мы стали так же превосходно чувствовать себя в атмос-

фере, бедной «жизненным газом», как чувствовали себя наши прапращуры, когда этого газа было в семнадцать раз больше.

Для молококормящих этот фактор обернулся трагедией. Они стали вырождаться и хиреть. Все их попытки искусственно обогатить атмосферу планеты кислородом ни к чему не привели. Перспектива неминуемой гибели заставила их устремить всю силу своего разума, уже чрезвычайно развитого в то время, на то, чтобы бежать с Чунгра. Они возненавидели породивший их мир, отвернулись от него с проклятиями и устремили взоры к космосу. Только о космосе думали, только о нем бредили. Чем это кончилось, вы знаете. Наиболее ученые и деятельные из них вступили в заговор между собой, построили пятьсот девять межпланетных кораблей и преступно, тайно от других бежали, оставив миллионы себе подобных на верную смерть от удушья. Среди оставшихся не было ни одного, кто умел бы строить такие корабли. Они, правда, пытались это делать, но каждая попытка приводила только к атомной катастрофе, и в конце концов попытки были оставлены.

Несомненно, такой отвратительный, эгоистический вид жизни заслуживал уничтожения, и мы, со своей стороны, сделали все, что могли, чтобы помочь в этом природе. За какую-нибудь тысячу лет мы полностью очистили Чунгр от молококормящих. Сперва выедали им глаза, потом превращали в ничто их самих, пока планета не стала безраздельно нашей.

Меня часто спрашивают: где сейчас бежавшие, спаслись или погибли? На эту тему написаны тысячи научных и научно-фантастических трудов, но достоверно никто не знает ничего. Чунгр не принял ни единого радиосигнала от бежавших, хотя бы их проклятий, и можно предполагать самое худшее — для них, разумеется, а не для нас.

Сделав маленькую паузу, Тхнтшу отпил глоток ароматной жидкости из стоящей перед ним серебряной чашечки. Дальше надо было тщательно взвешивать каждое слово, и он заставил мысль струиться медленнее.

— Я не собираюсь, сограждане, пересматривать общепринятую точку зрения на дальнейшие события нашей истории. Я всегда искренне считал и считаю сейчас, что мы сделали правильный философский вывод из катастрофы, постигшей тех, кто отвернулся от родной планеты и устремил мысль к космосу. Более чем понятно, что в свете этого трагического урока наши мысли и чувства устремились в прямо противоположную сторону. Закономерным и естественным было то, что наши предки на многие тысячелетия отшатнулись от космоса, прониклись непреодолимым отвращением к этому слову и всю мощь разума направили на то, чтобы найти счастье внутри родной планеты, в ее недрах, еще горячих от вулканического тепла. Это был, я повторяю, естественный и наиболее мудрый выход из тогдашней ситуации. Вполне справедливо его ставят рядом с такими величайшими достижениями нашей расы, как акклиматизация в новых атмосферных условиях и победа над молококормящими.

Разве не на базе нашего традиционного «космического изоляционизма», твердого и решительного отказа от внепланетных химер, мы создали внутри Чунгра и на его поверхности тот чудесный, совершенный мир, в котором живем с вами сейчас?

Он полностью ограничен для нашей биологии, этот мир. Он разумен и прекрасен в своих морально-этических основах.

Он величествен.

Надо ли мне в подтверждение этого напоминать вам о наших бесчисленных, комфортабельных подземных городах, о соединяющих их молниеносно действующих фотонных тоннелях, о наших плантациях внутри планеты и на ее поверхности, нашей могучей энергетике и индустрии, в изобилии снабжающей нас всем необходимым, нашей всеобъемлющей системе связи, искусствах, музыке? Надо ли называть всем известные имена гениев, проложивших нам путь к счастью? Они способствовали достижению сокровеннейших тайн природы. Они избавили нас от болезней. Путем тщательного генетического подбора Отцов и Матерей,

облучения и рационального питания личинок добились того, что улучшилось наше сложение и во много раз удлинились сроки жизни. Вам все это так же хорошо известно, как и мне, и нет необходимости говорить об этом пространно.

У нас нет оснований сомневаться в том, что мы — один из высших в бесконечной и непостижимой Вселенной очагов цивилизации, красоты и морали, хотя мы давно уже стали настолько мудрыми, что не претендуем в этом отношении на первенство, тем более на монополию.

Великий мыслитель древности Пфа говорил: «Чунгрианин есть мера вещей». Это, конечно, наивно. Мы давно уже не думаем так. Мы понимаем, что прекрасное с нашей точки зрения может казаться уродливым другим, и наоборот. Об этом я скажу подробней, когда буду говорить о Человеке.

Но, отлично понимая относительность критериев, не будем, друзья мои, впадать и в противоположную крайность: недооценивать свой вид, его физическую и моральную красоту, его культуру и цивилизацию. Среди воспринимающих меня не найдется, я уверен, ни одного, кто взялся бы утверждать, что мы в нашем нынешнем состоянии в чем бы то ни было уступаем существам, истребленным нами на этой планете. Не говорю уже о морально-этических категориях, об органическом для нашей расы всепроникающем коллективизме, высокоразвитом чувстве взаимопомощи, беззаветной готовности каждого в любую минуту погибнуть ради общества, о нашей поразительной трудоспособности, нашем веселом нраве и физическом здоровье. Но даже сама наша анатомия, когда мы ее сравниваем с анатомией молококормящих яйценосов, а в последнее время с анатомией земного Человека, говорит сама за себя.

Кто станет спорить, что лучше иметь четыре руки, чем две, три глаза, чем два? И каких глаза! Позволяющих видеть мир вдвойне стереоскопически! Или возьмите нашу природную физическую силу, позволяющую нам поднимать груз в двести раз тяжелее собственного веса. Можно ли не восхищаться ею?

А тонкость нашего обоняния, осязания, слуха, биоэлектрических восприятий?

Почему я напоминаю обо всем этом? Именно отсюда, сограждане, я и перехожу к главной теме моего сегодняшнего выступления.

Мой долг рассказать вам о последних наблюдениях, произведенных ЛКИТП. Для тех, кому непонятно это название, расшифрую его: Лаборатория комплексного изучения Третьей планеты.

С тех пор, как разумные обитатели этой планеты-соседки дошли в своем развитии до радиосвязи и телевидения, нам удалось, как вы знаете, пользуясь нашей совершенной техникой, принять огромное количество земной информации, изучить ее и установить, что на Земле, как некогда на Чунгре, существует невероятное количество видов разнообразно организованной живой материи, еще не упорядоченной разумом. Почти несомненно, что там еще не ликвидированы даже хищные животные и болезнетворные микробы и вирусы, давным-давно истребленные нами у себя и чудовищно для нас опасные.

Больше всего привлекают наше внимание на Третьей планете два вида жизни. Прежде всего это, разумеется, двуногий и двурукий носитель ее разума. На разных языках Земли он зовет себя по-разному: «Человек», «Адам», «Мэн», «Ломм», «Менш», «Жин» и так далее. Единого названия у него, как видно, еще нет. Во-вторых, нас живо интересует шестиногое членистотелое, из всех других форм земной жизни наиболее схожее с нашими отдаленнейшими прапращурами. Земляне называют его: «Муравей», «Амайзе», «Ант», «Фурми», вероятно и еще как-нибудь. У них там для всего имеется множество названий.

К сожалению, наши сведения об этом членистотелом слишком еще скудны, чтобы судить о нем сколько-нибудь определенно. Вполне возможно, что сходство Муравья с нами лишь поверхностно, а не гомогенно и мы его преувеличиваем, повинувшись понятному субъективному соблазну. Но так же вероятно и другое: что Муравей — либо аналог древнейших, диких

форм нашего вида, либо, наоборот, его тупиковая, деградировавшая ветвь. Сама по себе возможность (я подчеркиваю: возможность, но отнюдь не обязательность!) возникновения на разных планетах схожих биологических форм, разумеется, оспариваться не может.

Установлено, что Муравей пользуется для хождения всеми шестью конечностями, другими словами, не знает прямохождения, не обладает, следовательно, развитой рукой и навряд ли поэтому способен изготовлять орудия, хотя его трудолюбие вошло даже в поговорку у Человека. Один перехват позволил нам установить силу Муравья. Она оказалась колоссальной, почти невероятной, превышающей нашу относительно в пятнадцать раз, а силу Человека — в шестьсот раз. Я повторяю: в шестьсот! Муравей поднимает в своих челюстях тяжесть, превышающую его собственный вес в три тысячи раз, в то время как Человек в состоянии поднять груз не больше пятикратного своему весу. Вот, в сущности, все, что нам пока известно о Муравье.

О Человеке, гегемоне Земли, мы знаем гораздо больше. За последние годы удалось принять тысячи телевизионных передач Третьей планеты, хотя и отрывочных и искаженных трудностями столь дальнего приема, но все же позволивших не только слышать, но и видеть Человека.

Вы все уже знаете его внешность. Это существо в высшей степени странное на наш чунгрианский взгляд. Его одежда поражает нас нецелесообразностью и безвкусицей. Его нагое тело, лишенное хитиновых покровов, мягкое и беззащитное, невольно вызывает в нас чувство брезгливости. У него два глаза, а на них то и дело падают какие-то перепонки, по-видимому мешающие смотреть. Не обнаружено никаких признаков электроволнового общения людей между собой. Их звуковая речь ограничена весьма скудным и недоступным нашему восприятию звуковым диапазоном. Лицо Человека, тоже мягкое, непрерывно и уморительно меняет свое выражение.

Так же странна, на наш взгляд, жизнь этих су-

ществ, насколько мы в состоянии о ней судить на основании изученных материалов. Надлежит считать несомненно установленным, что обитатели Земли все принадлежат либо к женскому, либо к мужскому полу. Пол там не отделен, как у нас, от прочего, и это является одним из основных источников постоянных тревожений для каждой особи. С одной стороны, пол высоко у них культивируется, воспевается, чуть ли не обожествляется. С другой, я сказал бы, оскорбительно опошляется повседневым смешением с чем угодно.

Вспомните, сограждане, как мы с вами замираем в трепетном благоговении, когда раз в год, поздним летом, поднимаются в прозрачный, чистый воздух, в свой свадебный полет наши Матери и Отцы, существующие только для этого часа и ничего не знающие ни о чем другом! В священных любовных играх, сиянии солнечных лучей и аромате осеннего плодородия они дают начало нашим новым поколениям, после чего Отцы умирают от блаженства и удостоиваются торжественного погребения, а над оплодотворенными Матерями мы благоговейно совершаем обряд обескрыливания и торжественно отводим их в Родилище.

Ничего подобного нет у Человека. У него это священнейшее таинство природы расплыто между всеми особями. Каждый — сам Отец, сама Мать своим детям, и рождение потомства является у них чем-то обыденным, происходящим непрерывно и повсеместно. При этом имеет место живорождение всего лишь одного, редко двух и очень редко трех и более детей, а матери выкармливают молоком подобно истребленным нами чунгрианским молококоормящим.

Мир этих двуногих, двуруких и двуглазых существ так бесконечно далек от наших эстетических и моральных норм, что еще многое остается в нем загадочным для нас, требующим для своего объяснения особой «человеческой», а не нормальной чунгрианской логики.

Тем не менее мы прежде всего должны интересоваться не тем, что нас разделяет, а тем, что между нами и ними есть общего. Общее непременно должно

быть у разумных существ, как бы ни была различна их биологическая организация. И на поисках этой общности нам надо сосредоточить все наше внимание. Я убежден, что мы ее найдем, эту общность, единую и для нас и для землян. Но в каких пределах — об этом сейчас можно лишь гадать.

Учтите, что разумный мир Третьей планеты не един, как наш, а раздирается ожесточенной борьбой, много раз переходившей во взаимоистребление и ежеминутно грозящей перейти в него вновь. Полюсами борющихся лагерей являются, с одной стороны, существа, идеология которых явно схожа с идеологией наших, проклятой памяти, молококормящих, а с другой — люди, которые называют себя «коммунистами». Лозунги этих людей — мир, труд, коллективизм — нам понятны и близки. И нет ничего фантастического в предположении, что с этими землянами мы найдем общий язык, в то время как от первых можем ждать только самого худшего.

Сограждане, я прошу вас очень внимательно выслушать последние новости с Третьей планеты. Вы, разумеется, помните позапрошлогодние сообщения земных радиостанций о том, что построенная Человеком межпланетная ракета обогнула Луну, спутник Земли, и сфотографировала ее оборотную сторону, всегда скрытую от землян. Напомню, что Луна находится от Третьей планеты в шестнадцать раз дальше, чем от нас наш наиболее отдаленный спутник, и что вторая космическая скорость там превышает нашу более чем вдвое. Можете отсюда сделать вывод о мощности земных ракет. Напомню также, что ракета, обогнувшая земную Луну, была третьей по счету, помимо многочисленных искусственных спутников, запущенных людьми на протяжении последних двух с половиной лет. Далее последовал запуск ракеты в околосолнечное пространство, потом ко Второй планете, и, наконец, серия опытов с какими-то низшими по сравнению с Человеком животными. А полгода назад, как вы все помните, мы были взволнованы первым за всю историю Третьей планеты полетом в космическое пространство самого Человека. За этим по-

летом последовали и другие, пока в небольшом удалении от Планеты. А вчера наш молодой, высокоодаренный сотрудник Бзца неоспоримо расшифровал земную передачу, где говорится о подготовке землян к полету на Чунгр!

Едва Тхнтшу промыслил это, как комната, где он находился, наполнилась шумом, точно внезапно распахнулась дверь от порыва ветра и ворвался ропот встревоженной листвы. Это была звуковая реакция взволнованной планеты на его сообщение. Ей сопутствовала такая же электрореакция, которую остро ощутили напряженные нервы ученого. Взволнованный не меньше других, он сделал паузу, чтобы глотнуть немного ароматической воды, потом продолжал:

— Да, дорогие сограждане! Нравится это нам или не нравится, но эре «космического изоляционизма», длившейся долгий ряд тысячелетий, приходит конец. Вернее, пришел уже — извне, независимо от нас и не считаясь с нашими желаниями. Хотим мы этого или не хотим, начинается новая эра, предсказанная моим великим учителем Кхруарбрагфром, — эра космического общения.

Вот когда Тхнтшу раскрыл карты! Прозвучавшее на всю планету имя великого мятежника поразило ее не меньше, чем сказанное перед тем. Снова наполнилась шумом комната, и еще труднее стало нервам оратора от резко возросшего электрического потенциала воздуха. Впрочем, внешне ученый казался совершенно бесстрастным. Только опять глотнул из серебристой чашечки.

— Вернемся, сограждане, к фактам, — невозмутимо продолжал он. — Пока с Земли улетали в космос ракеты-автоматы и поднимались низшие животные, мы еще могли не тревожиться. Но теперь мы стоим перед фактом проникновения в космос самого Человека. Все радиостанции Земли только и твердят об этом. И в каких выражениях! Они говорят о «штурме», «покорении» космоса, о «завоевании околосолнечного пространства». Не более и не менее!

С одной стороны, эти потрясающие новости не могут не обрадовать каждого из нас, как факты победы Разума над Хаосом. Чунгр уже не одинок в нашей солнечной системе, как колыбель мыслящих существ. То, что в течение тысячелетий было лишь надеждой немногих ученых, стало научным фактом.

А с другой стороны, вам всем понятно, какими опасностями чревата для нас эта новость. Кого мы можем ждать к себе в гости с соседней планеты? Вот основной вопрос, который нас волнует. По всей информации, какую мы располагаем на сегодня о Человеке, это существо воинственное и агрессивное. Одна радиостанция Земли недавно сообщила, что за последние три тысячи земных лет (а это, как вы знаете, всего полторы тысячи наших лет) на Третьей планете было лишь 362 года (181 наш год) без войн между землянами. При этом войны не убывают в своем размахе, а прогрессируют. Уже дважды они становились у них всемирными. Вспыхнувшая двадцать четыре наших года назад Первая всемирная война длилась 1 564 дня (как известно, равных нашим дням) и унесла десять миллионов человеческих существ.

А случившаяся десять с половиной наших лет назад Вторая всемирная война длилась уже 2 194 дня и унесла пятьдесят миллионов человеческих существ! Совершенно ясно, что история земной цивилизации вплоть до сегодняшнего дня — это кровь, кровь и кровь...

Что является злостью дня на Третьей планете сейчас? Глобальная ядерная война! Быть ей или не быть? Одна часть человечества, о которой я уже говорил вам, настойчиво требует мира и разоружения, она понимает всю чудовищность такой войны для цивилизации. Но другая, как это ни дико, находит выгодным для себя балансировать на грани войны, угрожать ею. О численности тех и других мы точных данных не имеем. Однако уже одно то, что такие споры ведутся на соседней планете, не может нас не встревожить. Какие гарантии, что к нам прилетят первыми те, кто за мир, а не те, кто за войну? Из отдельных их радиопередач мы знаем, что сторонники войны уже

пускали в ход атомное оружие и уничтожили два больших города. Если первыми прилетят к нам они — нас могут ожидать события, которые мало чем будут отличаться от страшных лет борьбы с молококормящими яйценосами. Как видите, я не случайно начал свое сообщение именно с них.

Опять обратная связь принесла волну тревожного шума, заставившего Тхнтшу сделать новую паузу. Он физически, электрочувством ощущал небывалое волнение Планеты.

— Не мое дело, — продолжал он, — предлагать сейчас какие-либо меры и указывать выход из создавшегося положения. Это сделает Совет Планеты с ведома всего Чунгра. Мой скромный долг — информировать вас о новых данных, полученных наукой. Но, прежде чем закончить, я хотел бы остановить ваше внимание еще на одной стороне дела.

Среди обильнейшей информации, полученной нами путем радиоперехватов с соседней планеты, мы особо выделяем и исследуем отрывочные, но в высшей степени любопытные сведения о научной фантастике землян. Почему мы уделяем ей так много внимания? Потому, что это область литературы, где откровеннее всего, в гиперболизированном виде обнажаются устремления данного общества и его взгляды на мир.

Чрезвычайное значение имеет для нас то, что во всех донныне известных нам произведениях этого рода ясно звучит нота: «мера вещей — Человек». То самое, что утверждал когда-то, говоря о чунгрианах, простодушный Пфа! Это же самое говорят спустя двести тысяч лет земные Пфа. И о ком! О мягком, лишенном хитиновых покровов существе, имеющем только две руки, лишенном тройного зрения, живородящем, общающемся с себе подобными лишь посредством жестов и звуков, а электрочувства не знающем, по-видимому, совершенно! Это существо претендует, извольте ли видеть, на звание «венца творения»! Именно так гласит один перехват.

Комнату потряс взрыв смеха (его звуки и электро-

субстрат), и сам Тхнтшу не смог не засмеяться. Хохотали все семьсот миллиардов чунгриан, как хохотали бы люди, если бы им сказали, что на положение «венца творения» заявил претензию суслик. Обратная связь доносила миллионкратно ослабленное ощущение этого гомерического, планетарного хохота. Когда, наконец, его пароксизм прекратился, ученый продолжал:

— Недавно земною радиостанцией был передан отрывок из научно-фантастического произведения некоего фантаста Казанцева «Планета бурь», в котором описывается полет двух космических кораблей землян на Вторую планету. На одном корабле летят у него миролюбивые земляне, на другом — прошу это особо заметить! — та самая наиболее опасная категория Человека, которая уже прибегала к атомным бомбам и не намерена от них отказаться. Этот радиоперехват, сограждане, является документальным доказательством того, что не исключен прилет к нам и таких. Кого же находят фантастические путешественники на Второй планете? В высшей степени характерно! Во-первых, существа, хотя и не похожие на них, но все-таки отдаленно их напоминающие; во-вторых, обнаруживают следы... себе подобных и на этом основании делают удивительное заключение, будто бы Человек является потомком чунгриан. Да, да! Неизвестно только, каких: молококормящих яйценосов или нас с вами.

Новый взрыв смеха всей планеты прервал его рассказ.

— Вот до какой степени ограниченны и самовлюбленны земляне! Они наивно убеждены, что нигде во вселенной материя не могла сложиться в более рациональные и прекрасные формы, чем те, какие свойственны им самим. Наивность личинки, как говорит наша пословица! Ту же мысль с еще большей настойчивостью развивает другой земной фантаст по имени Ефремов. Он пытается даже научно аргументировать биологическую закономерность и неизбежность

того, что мыслящие существа могут быть только сколком с него самого.

Послушайте, как он это доказывает:

«Прежде всего должны быть развиты мощные органы чувств, и из них наиболее — зрение, зрение двуглазое, стереоскопическое, могущее охватывать пространство, точно фиксировать находящиеся в нем предметы, составлять точное представление об их форме и расположении»¹.

Предпосылки совершенно верны. Но можно ли без смеха слышать, что два глаза лучше выполняют эти задачи, чем три, дающие такую стереоскопичность и точность зрения, о какой двуглазый Человек Земли не может и подозревать?

Другой фрагмент: «Мыслящее существо, — утверждает Ефремов, — должно хорошо передвигаться, иметь сложные конечности, способные выполнять работу, ибо только через работу, через трудовые навыки происходит осмысливание окружающего мира и превращение животного в Человека»¹. Правильно. Но разве две пары рук и одна пара ног (или, если требуется, четыре ноги и две руки) менее совершенная рабочая комбинация, нежели две руки и две ноги?

Последний, третий фрагмент. «Мыслящее животное, — говорит земной фантаст, — должно иметь подвижность, достаточные размеры и силу, эрго — обладать внутренним скелетом, подобным нашим позвоночным животным»¹. Не установлено окончательно, что значит слово «эрго». Но и без него смысл ясен. Можно ли себе представить более странное заблуждение? Что за наивность — ставить знак равенства между силой и внутренним скелетом! Хочется спросить автора: наблюдал ли он когда-нибудь в своей жизни земного Муравья, который, не обладая (как и мы) внутренним скелетом, поднимает тяжести относительно в шестьсот раз большие, чем способен поднять самый сильный Человек?

Спору нет, соотношение между силой и размера-

¹ И. Е ф р е м о в, «Звездные корабли». Детгиз, 1953, стр. 67.

ми животного — величина, не растущая в простой прогрессии. Чем больше существо, тем оно тяжелее и, следовательно, больше теряет силы на преодоление собственного веса. Однако же, даже принимая во внимание это соображение, никак нельзя утверждать, что животное членисто-трубчатой конструкции слабее позвоночного. Это утверждение опровергается техникой. Разве не строят летательные аппараты из труб, несколько не теряя при этом в прочности?

Если бы я мог встретиться с автором приведенных цитат, я порекомендовал бы ему побеседовать с его замечательным сопланетником по имени Энгельс. Беру на себя смелость утверждать, что среди известных нам умов, рожденных Третьей планетой, это один из наиболее глубоких. Вот одно из его высказываний, к сожалению испорченное трудностями приема в связи с песчаной и магнитной бурей в дни последнего Великого Сближения наших планет. «Каждая отдельная форма существования материи — безразлично, солнце или туманность, отдельное животное или животный вид, химическое соединение или разложение — одинаково преходяща»,¹ — говорит этот мудрец. Тут досадный пропуск. Дальше: «Ничто не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее движения и изменения»¹. Нельзя не восхищаться этой блестящей формулировкой. Не то же ли самое говорил наш великий Укхх?

В дальнейшем Энгельс говорит о «животных с мыслящим мозгом», но отнюдь не сводит их к позвоночным или молококормящим. Напротив, он смело утверждает, что материя в своем развитии «некогда истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух...», чтобы «с той же самой железной необходимостью...» снова породить его «где-нибудь в другом месте и в другое время»². Как видите, ни слова о позвоночнике, двух ногах, двух глазах. «Животное с мыслящим мозгом... Мыслящий дух...» — вот в каких выражениях говорит об этом мудрец, понимающий,

¹ Ф. Энгельс, Диалектика природы, 1953, стр. 18.

² Там же, стр. 19.

что развитие материи неисчерпаемо, как она сама.

Как мы знаем, это и есть истина.

Я показал вам, как вульгаризируют некоторые земляне представление о разумной жизни в космосе, чтобы лишний раз подчеркнуть остроту сложившейся ситуации. Из собственного опыта мы знаем, что на ранних стадиях развития культуры мудрецы, увы, не всегда одерживают верх над неразумными.

Тхнтшу чуть было не промыслил, что то же бывает и на более зрелых стадиях развития — примеру трагическая судьба Кхруарбрагфра. Но удержал себя от этого соблазна и продолжал:

— Слишком разны основы нашей биологии, нашего прошлого и настоящего, наших взглядов и вкусов, чтобы ожидать легкого и безболезненного взаимопонимания с Третьей планетой, еще раздираемой междоусобными распрями. От худшей части существ, мнящих себя эталоном разумной жизни, Чунгр и его великая цивилизация могут ждать самого худшего. Удастся ли нам найти общий язык с их лучшей частью, тоже говорящей о «штурме» и «завоевании» космоса, покажет будущее. Так или иначе, мы должны готовиться к очень скорой встрече с этими странными, во многом загадочными для нас существами. Эре «космического изоляционизма», я повторяю, пришел конец. Начинается новая эра, провозвестником которой был и остается мой великий учитель Кхруарбрагфр.

Он испил чашу смерти, поднесенную ему нами. Но он оказался прозорливее нас. Пришло время сказать это открыто. Судите обо мне — или меня — как вам будет угодно, но я был бы лицемером, если бы не сказал этого сейчас. Все мое существо полно невыразимой горечи оттого, что нет рядом со мной в эту минуту Учителя, что не может он порадоваться вместе со мною своему торжеству.

Гробовая тишина была ответом на эти слова. Планета замерла. И сам Тхнтшу не скоро смог совладать с охватившим его волнением. Наконец, пре-

дельным усилием воли смилив чувства, зарадировал дальше:

— Еще одно небольшое, но довольно существенное замечание: о соотношении физических сил чунгрианина и Человека. (В скобках скажу, что в случае столкновения вопрос будет, разумеется, решаться соотношением техники, а не физических данных, но кое-какое значение имеют и они.)

К сожалению, науке до сих пор не удалось установить математический эквивалент земного слова «метр», которым обозначается преобладающая на Третьей планете мера длины. Установлено только, что сантиметр — это сотая часть метра, миллиметр — тысячная, микрон — миллионная, а километр это тысяча метров. Но что такое метр, мы не знаем. Из перехватов известно, что наиболее крупные Муравьи Земли имеют рост в три-четыре сантиметра, а ископаемые прашуры этих земных насекомых бывали величиной до 50—70 сантиметров, то есть раз в пятнадцать больше, чем сейчас. (Кстати сказать, это говорит в пользу моего предположения, что наши биологические аналоги на Третьей планете не прогрессируют, а вырождаются. Средний рост Человека, по имеющимся данным, 165 сантиметров, то есть он больше современного Муравья в сорок-пятьдесят раз.

Но опять-таки что же такое метр? Если принять рост современных Муравьев за равный нашему, то Человек должен быть невероятных, сверхгигантских размеров, гораздо больше и страшнее недоброй памяти молококоормящих гигантов. Однако это только гипотеза, не более, и я не хотел бы, чтобы мои слова дали основание для какой бы то ни было паники. Скорее всего, метр гораздо меньше предположенного мною.

Впрочем, как бы там ни было, мы все должны думать о новой ситуации, возникающей, или, вернее, уже возникшей для Чунгра, внимательно следить за дальнейшим развитием космической агрессии землян и в надлежащее время сделать из нее надлежащие выводы.

Я кончил, сограждане. Благодарен за внимание!

Миллиард за миллиардом выключались и гасли телевизионные экраны Чунгра. Напряженную тишину, стоявшую на всей планете в конце выступления Тхнтшу, сменило взволнованное обсуждение потрясающих новостей.

Выключение трансляционного поля отозвалось на чуткой нервной системе маститого ученого, как электрический толчок, принесший облегчение.

Энергично расправляя затекшие члены, Тхнтшу вышел в фойе. Его тотчас опять окружили сотрудники ЛКИТПа и ЦКИ. Рослый, очень темный Бзцва, которого Тхнтшу так лестно упомянул в своем выступлении, приблизив свое лицо к лицу учителя, беззвучно сообщил ему:

— Вы так рассмешили Планету, что сейсмические приборы отметили небольшое чунгротрясение.

— Вы шутите?

— Нет, серьезно, учитель.

Тхнтшу стоял совершенно неподвижно. Ничего нельзя было прочесть не только на хитиновом покрове его лица, но и в глазах. Если б его увидел сейчас Человек, он, пожалуй, впал бы в заблуждение: ему бы показалось, что он видит на лбу Тхнтшу две глубокие морщины. На самом деле это были борозды, оставленные катастрофой, в которую ученый попал в молодости. Морщин у чунгриан не бывает.

— Меньше всего я хотел смешить, — ответил он наконец.

— Я понимаю.

— Как вы думаете, как отнесутся к тому, что я сказал о Кхруарбрагфре?

— Мы — с вами.

— В вас я не сомневался и не сомневаюсь.

Опять молчание.

— Вы очень устали, учитель?

— Очень.

— Проводить вас в комнату отдыха?

— Нет. В пятую башню.

— Вы хотите...

— Да!

И Тхнтшу пошел к выходу. Толпа молодых уче-

ных почтительно расступилась перед ним и Бзца. Через три сотни шагов они были уже у входа в пятую астрономическую обсерваторию. Башня тускло отражала своей серой металлической поверхностью пепельный свет малого спутника, быстро скользившего по черному звездному небу справа налево.

— Мне хочется посмотреть на Землю, — промыслил Тхнтшу.

— Понимаю, — так же ответил Бзца и распрощался с учителем.

Прежде чем войти в башню, старик бросил пристальный взгляд на ярко-голубую звезду, окруженную семью звездами Большого Топора¹. Третья планета... Она и Большой Топор стояли посередине черного, сияющего небосвода.

Продолжая работать все в том же направлении, мысль Тхнтшу горделиво отметила: разве можно сравнить условия астрономических наблюдений на Чунгре с земными? Насколько здесь прозрачнее и ярче небо!

Однако какой холодный вечер выдался... Наверно, градусов восемьдесят ниже нуля. Поежившись, Тхнтшу вошел в башню.

Сел поудобней в кресло. Руко-ногами привел в движение механизмы, наводящие телескоп на объект. В это же время руками он фокусировал изображение. Три глаза позволяли видеть необыкновенно четкое, вдвойне стереоскопическое изображение объекта. Еще и еще раз старый ученый подумал: как должны будут позавидовать двуглазые земные астрономы чунгрианам!

В поле зрения показался сильно размытый по краям полудиск: в основном ярко-белый, кое-где мутновато-желтый и сероватый, местами отчетливо голубой. Так же отчетливо диск перечеркнут по экватору светлой полоской, подобной кольцу Сатурна, но образованной мельчайшими космическими частицами, взятыми в плен планетой. Посреди голубизны ослепительно лучилась светящаяся точка. Отра-

¹ Большая Медведица.

жение солнца в воде. Как у них там много воды! А сколько солнечного тепла! В два с четвертью раза больше, чем получает Чунгр! Не диво, что так богат животный мир.

Неподалеку от Третьей планеты висел в пространстве крохотный полудиск Луны — до недавнего времени единственного ее спутника, а теперь уже ставшего старейшиной целой семьи спутников, созданных Человеком. Этих крохотулек, конечно, не увидишь. Впрочем, однажды фотография зарегистрировала слабый мгновенный блик — видимо, отражение солнца на полированной металлической поверхности искусственного спутника.

В который раз старый ученый смотрел на планету, изучению которой отдал сто пятьдесят земных лет! Сколько ночей провел он в таких креслах, наблюдая, записывая, фотографируя, размышляя. Но, кажется, никогда еще не испытывал такого восторга и такой тревоги.

Вот он, второй очаг разумной жизни в нашей солнечной системе!

Братья по Разуму!

А вдруг враги?

Она сейчас далеко, эта планета. Но приближается. Угрожающе.

Пять-шесть чунгрианских лет — и новое Великое Сближение, первое после того, как земляне порвали цепи земного тяготения и вырвались в космос. Что-то принесет оно Чунгру?

Глубоко задумавшись, старый Тхитшу застыл в урюмой неподвижности. Хитиновые покровы чунгрианина не отражают чувств. Но в глазах пылали чувства, пылала мысль. Борозды на лбу придавали кроваво-золотистым глазам особенную выразительность.

Не может быть, чтобы на Третьей планете добро не победило зла, Разум — мракобесия. Они победили на Чунгре. Победят и на Земле. Победят во всей вселенной.

МАЙОР ВЕЛЛ ЭНДЬЮ,

его наблюдения, переживания, мысли, надежды
и далеко идущие планы, записанные им
в течение последних пятнадцати дней его жизни

1

Мало кому известно, что осенью 1940 года во время одного особенно ожесточенного ночного налета гитлеровских бомбардировщиков на Лондон милях в двенадцати по Темзе ниже Тауэр-Бриджа выплеснут был на берег сильным подводным взрывом странный предмет, пролежавший, очевидно, глубоко в тине не один десяток лет. Он был похож на гигантский бак для горячего диаметром в добрых пятнадцать метров. По сей день лично для меня остается непонятным, как он за столь долгий срок ни разу не был обнаружен во время проводившейся время от времени чистки дна Темзы, но обсуждение этой самой по себе интересной проблемы увело бы нас от истории, которую мне хочется рассказать. Этот бак, как мы будем его для краткости называть, определенно не был ни железным (во всяком случае, на нем не было и тени ржавчины), ни алюминиевым. Он тускло блестел особенным коричневато-желтым блеском с золотистыми прожилками, напоминавшими блески

в авантюристике. Судя по всему, он был изготовлен из какого-то совершенно необычного материала.

Бомбежка еще не успела отгреться, как это загадочное сооружение под ударом взрывной волны от упавшей неподалеку тысячекилограммовой бомбы рассыпалось, словно оно состояло из сигарного пепла. Воздушная волна от следующей бомбы развеяла образовавшуюся на его месте коричневую кучу тончайшего порошка.

И тогда на берегу осталась ржавая продолговатая жестяная банка из-под бисквитов.

Уже на рассвете следующего дня она была отброшена на обочину дороги третьим взрывом.

Здесь, на обочине, она пролежала никем не тронутая до середины июля тысяча девятьсот сорок пятого года, когда была замечена прогуливавшейся в этих местах влюбленной парочкой. Только что выписавшийся из госпиталя лейтенант, поскрипывая новеньким протезом левой ноги, наслаждался со своей невестой состоянием «вне войны». Возможно, ему хотелось доказать девушке, что он и с искусственной ногой ничуть не менее подвижен, чем был до ранения на берегу Нормандии. Завидев коробку, он ударил ее носком правой ноги, как если бы дело происходило на футбольном поле. Жестянка отлетела в сторону, раскрылась, и из нее выпал пакет, тщательно завернутый в непромокаемую материю, несколько напоминавшую целлофан, но значительно более плотную, непрозрачную, шуршавшую, как шелк.

При помощи перочинного ножа лейтенант вскрыл слипшуюся упаковку и извлек из нее четыре исписанные убористым, не всегда разборчивым почерком записные книжки в добротных зеленых кожаных переплетах.

Затем молодые влюбленные удостоверились, что эти записные книжки, датированные концом прошлого века, принадлежали некоему майору в отставке со странными именем и фамилией — ВЕЛЛ ЭНДЬЮ¹ — и, судя по началу, трактуют о каких-то

¹ Well, and you? — Ну, а ты? (англ.)

теоретических разногласиях между их автором и какими-то столь же безвестными его оппонентами.

Вполне удовлетворившись этими данными, молодая леди без труда уговорила своего жениха не тратить чудесное утро на чтение скучных записок.

Поэтому лейтенант Паттерсон — такова была фамилия искалеченного войной молодого человека — принялся за чтение записных книжек майора Эндью только поздно вечером.

Это было не очень легкое занятие. Почерк майора Эндью иногда становился неразборчивым, слова набегали друг на друга, а строчки металась вверх и вниз, вкривь и вкось, как если бы они писались в темноте или в экипаже, двигавшемся по сильно пересеченной местности.

Лейтенант Паттерсон никогда не интересовался политикой. Тем более проблемами рабочего движения, которым были посвящены первые странички записной книжки номер один. Пробежав их скучающим взором, он совсем было решил прекратить это малоувлекательное занятие, когда его внимание приковали строчки:

«...Намыливая мне щеки, Мориссон спросил, не слышал ли я каких-нибудь подробностей о снаряде, упавшем вчера ночью на пустоши между Хорселлом, Оттершоу и Уокингом. Я сказал, что не слышал. И что скорее всего это обычные вымыслы досужих людей. Никаких артиллерийских полигонов в этом районе нет, нет, следовательно, и артиллерийских стрельб, так что и снарядам на эту пустошь падать неоткуда. Тогда Мориссон произнес нечто такое, что я от удивления чуть не свалился со стула. Он сказал: «Поговаривают, сэр, что это не наш снаряд... что это, смешно сказать, сэр, с н а р я д с М а р с а...»

То, что Паттерсон прочел на следующих нескольких страницах, заставило его броситься к книжному шкафу. Он отыскал в нем роман Уэллса «Война миров», торопливо перелистал его, снова принялся за записи майора Эндью и уже не отрывался от них, пока не дошел до самого последнего использованного листка четвертой книжки.

Тогда он вернулся к «Войне миров», еще и еще раз мысленно прочел те строки из первой главы второй части, которые и в детстве всегда производили на него поистине потрясающее впечатление.

«Было очевидно, что мы окружены марсианами. Едва викарий догнал меня, как мы снова увидели вдаль, за полями, тянувшимися к Нью-Лоджу, боевой треножник, возможно, тот же самый, а может быть, другой. Четыре или пять маленьких черных фигурок бежали от него по серо-зеленому полю: очевидно, марсианин преследовал их. В три шага он их догнал; они побежали из-под его ног в разные стороны по радиусам. Марсианин не прибег к тепловому лучу и не уничтожил их. Он просто подобрал их всех в большую металлическую корзину, торчавшую у него сзади. В первый раз мне пришло в голову, что марсиане, быть может, вовсе не хотят уничтожить людей, а собираются воспользоваться побежденным человечеством для других целей. С минуту мы стояли, пораженные ужасом; потом повернули назад и через ворота прокрались в обнесенный стеной сад, заползли в какую-то яму, едва осмеливаясь перешептываться друг с другом, и лежали там, пока на небе не блеснули звезды».

Теперь у Паттерсона не было никаких сомнений: и роман Уэллса, к которому он привык относиться, как к блистательной и остроумной выдумке великого фантаста, и записные книжки Велла Эндью имели отношение к одному и тому же трагическому событию — к высадке на Землю десанта марсиан.

Как ни далек был лейтенант Паттерсон от политики, он все же понимал, что ничего невероятного в такой ситуации не было. Давно ли Англия со дня на день с ужасом ожидала высадки по эту сторону Британского канала вооруженных до зубов, жестоких и беспощадных гитлеровских полчищ? Смерть и разрушения, которые они несли с собой, оставили бы далеко позади то, что успели в свое время натворить уэллсовские марсиане. Лежа в госпитале, пока у него заживала культя левой ноги, Паттерсон имел достаточно времени на размышления о дальнейших

судьбах мира. Ему приходилось читать в газетах о Квислинге, маршале Петэне и многих других предателях, не за страх, а за совесть служивших тем, кто нес их народам горе, смерть, разорение, позор и рабство.

И сейчас, прочитав записки неведомого ему отставного майора Велла Эндью, лейтенант Паттерсон подумал, что есть смысл, что даже необходимо поскорее опубликовать этот удивительный и страшный человеческий документ.

Опасаясь, что в процессе публикации записок, возможно, кое-что сократят, и желая сохранить у себя полный текст, он потратил добрую неделю на то, чтобы собственноручно снять с них машинописную копию.

Завершив этот акт благоразумной предусмотрительности, Паттерсон собрался в редакцию той газеты, которая была высочайшим и непререкаемым авторитетом для четырех поколений Паттерсонов. С новенькой медалью на черном пиджаке он вошел, громыхая протезом, в кабинет редактора. Нет, он не был согласен оставить записные книжки майора Эндью и зайти, как принято в подобных случаях, через несколько дней за результатами. Он настаивал, чтобы их прочли немедленно, в его присутствии.

Редактор не мог отказать в приеме увечному офицеру из хорошей семьи, но он решительно не в состоянии был тратить свое драгоценное время на чтение каких-то ископаемых записных книжек. Ему было не до записок. Он так и заявил Паттерсону в своем несколько старомодном стиле, которым гордился, как щеголь с Пиккадилли своими сверхновомодными штиблетами.

— Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он. — Сейчас, когда Англия засучив рукава занялась восстановлением всего того, что разрушили гитлеровские разбойники, сейчас, когда Англия позволяет себе отвлекаться на считанные мгновения от этих священных работ только для того, чтобы утереть свои слезы по ее славным сынам, убитым на полях сражений с проклятой нацистской Германией, редактор

такой газеты, как та, которую я имею честь редактировать, не имеет права тратить свое время на немедленное чтение рукописи, да еще такой объемистой, если она не идет в ближайший номер.

На это Паттерсон возразил, что именно по причинам, столь красноречиво приведенным уважаемым редактором, он вынужден настаивать на немедленном прочтении дневников. Или он будет поставлен перед необходимостью, к величайшему и искреннейшему своему сожалению, отнести их в другую газету.

Поражаясь своему ангельскому терпению и в то же время в какой-то степени уже подзадориваемый любопытством, редактор вызвал одного из своих заместителей, и тот в присутствии Паттерсона прочитал-таки все четыре книжки майора Эндью от доски до доски.

— Та-а-ак, — протянул заместитель редактора. — Вы это сами сочинили?

— Я уже говорил вам, сэр, что я их нашел.

— Похоже, что все это — выдумка. Изделие бойкого памфлетиста.

Паттерсон пожал плечами.

— Но ведь сам покойный мистер Уэллс не отрицал, что его «Война миров» не более как фантастический роман, — продолжал заместитель редактора.

Паттерсон снова молча пожал плечами.

— Вы не были с этим в других редакциях?

Паттерсон отрицательно покачал головой.

— Вы не снимали с них копии?

Тон, которым, как бы между прочим, был задан этот вопрос, заставил Паттерсона насторожиться.

— Нет, — ответил он самым правдивым голосом.

— Так-так, — протянул после некоторого раздумья заместитель редактора, — пойду поговорю с шефом.

Он вернулся минут через сорок деловитый, улыбающийся, сердечный, бесконечно благожелательный.

— Хорошо, — сказал он, — мы берем ваши дневники. Но при одном обязательном условии: никто не должен знать об их существовании и о том, что вы

их передали в наше распоряжение. Газетные сенсации имеют свои законы.

— Но... — попытался было возразить Паттерсон.

— Конкуренция властвует и в газетном мире, — развел руками заместитель редактора. — Такой материал должен обрушиться на читателя внезапно, как... — он задержался, чтобы подыскать подходящее сравнение, — ну, как бомба, что ли...

Паттерсон осведомился, когда хоть приблизительно редакция рассчитывает опубликовать дневники Велла Эндью, и получил искренние заверения, что они будут опубликованы немедленно, как только представится первая возможность.

Затем они перешли к денежной стороне вопроса. Паттерсон получил в качестве первого аванса сумму, о которой он и не мечтал. То есть именно о такой сумме они с невестой мечтали, обдумывая, как получше устроить свое будущее семейное гнездышко. Но он и подумать не мог, что их случайная находка может сулить им в качестве первого аванса такое материальное благополучие. Он подписал обязательство, о котором шла речь выше, и получил чек.

Прошло не менее года, прежде чем Паттерсон решился узнать в редакции о судьбе дневника майора Эндью. Ему объяснили, что сейчас, когда разумно мыслящие англичане уже отдают себе отчет в том, что с немцами, пожалуй, поступили жестоковато, опубликование дневников майора Эндью было бы на руку только России и всемирному коммунизму.

Впрочем, если господин Паттерсон почему-либо не согласен с мнением редакции, он может получить записные книжки обратно, разумеется, вернув одновременно аванс.

С таким же успехом Паттерсон мог бы оплатить расходы союзников по высадке в Нормандии.

К тому же он никак не был настроен действовать на благо мировому коммунизму. Это не было в традициях Паттерсонов.

Примерно такие же ответы он получал каждый

раз, когда в последующие годы обращался в редакцию насчет судьбы записных книжек Эндью.

Понемножку он стал привыкать к мысли, что этим дневникам, видимо, не суждено появиться на свет, так как они и в самом деле могут быть использованы русскими и красными против Западной Германии, а следовательно, и всего западного мира. Мистер Паттерсон продолжал читать газету, которая в течение четырех поколений была непререкаемым авторитетом для его семьи, и он сравнительно легко проникся мыслью, что тот, кто против коммунизма и за западный мир, должен держать сторону господина Аденауэра. Ему стало несколько не по себе значительно позже, когда в Англии, правда, пока что на договорных началах, появились первые отряды западногерманских военных.

Тогда он снова нацепил на свой черный пиджак медаль и пошел объясняться в редакцию. Его принял все тот же заместитель редактора, потому что эта редакция не зря славилась здоровой консервативностью, и все в ней было столь же неизменно, как медвежьи шапки и красные мундиры королевской гвардии и мешок с шерстью под задом лорда-канцлера в палате лордов.

Заместитель редактора принял Паттерсона с прежним радушием.

— Дорогой мистер Паттерсон, — сказал он, — сейчас, когда Англия гостеприимно раскрыла свои объятия для западногерманских воинских частей, сейчас, когда Англия предоставила западногерманским воинским частям не свою территорию, как угодно говорить некоторым безответственным демагогам, а всего лишь танкодромы, мне хотелось бы, чтобы вы знали, что это совсем не те немцы, против которых вы так славно сражались, а совсем-совсем другие немцы. Они искренние наши друзья. Они готовы умереть за каждый дюйм нашего старого острова. Больше того, они готовы сражаться с любым легкомысленным англичанином, который помешает им умирать за Англию. И потом, сэр, я взываю к вашим традиционным чувствам. Англичане всегда

были гостеприимны с людьми, особенно молодыми, которые приезжали к нам для продолжения своего образования под сенью британских свобод. Разве молодые немцы, прибывшие на наши танкодромы, не приехали к нам учиться? Почему же нам не относиться к ним, как ко всем студентам, прибывающим в нашу страну? Мне чужды, сэр, ваши необоснованные подозрения. Я верю в искренность и непоколебимость их чувств к Англии. И поверьте мне, сэр, если они проявят малейшие тенденции использовать во вред нам наше гостеприимство, я первый настояю на немедленном, на немедленном опубликовании дневников майора Велла Эндью.

— Значит, как ко всем студентам? — переспросил Паттерсон и встал, скрипя протезом.

— Ну да, — ответил заместитель редактора, порываясь сунуть ему свою руку в знак того, что лично он считает разговор исчерпанным.

Паттерсон, казалось, не заметил этого жеста.

— Но почему нельзя публиковать дневники Эндью, если к нам в Англию прибыли несколько хорошо вооруженных подразделений западногерманских студентов?

— А аналогии? Немедленно у читателей возникнут аналогии. И всякие там мысли.

— Ну и отлично! — сказал Паттерсон. — Именно поэтому я и пришел. Сейчас самое время публиковать записки.

Заместитель редактора с сожалением развел руками.

— Мысли мыслям рознь. И аналогии. Это не те мысли, сэр, и не те аналогии, которые мы, наша газета, хотели бы вызывать у своих читателей. Наша газета, сэр, слишком дорожит мнением своих читателей. Да вы присядьте, пожалуйста, мистер Паттерсон.

Но Паттерсон продолжал стоять.

— Я полагаю, что именно в эти дни, когда тысячи и тысячи англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев поднялись в поход против американских

атомных баз с ракетами «Тор», против грозящей нам чудовищными опасностями базы американских подводных лодок с ракетами «Поларис» в Холли-Лох...

Заместитель редактора впервые позволил себе почти невежливо перебить своего уважаемого гостя:

— Чепуха, сэр! Че-пу-ха! Базы как базы, лодки как лодки, ракеты как ракеты... Безответственные, невежественные люди и плохие патриоты тратят свое время и подметки на недостойную травлю наших союзников и наших министров...

— Сэр! — воскликнул внезапно охрипшим голосом Паттерсон. — Я хотел бы, чтобы вы знали, что завтра и я отправляюсь в поход в Холли-Лох!..

— На одной ноге?

— Вот именно, на одной ноге. Другая осталась в операционной полевого госпиталя, и я ее отдал, в частности, и за то, чтобы у нас не заводились на исконной британской земле иностранные ракетодромы, аэродромы и базы подводных лодок с этими трижды проклятыми «Поларисами».

— Они трижды благословенны, дорогой мистер Паттерсон.

— Не верю. И поэтому я настаиваю на опубликовании дневников Эндью.

— Какое они имеют отношение к этому вопросу?

— Смею утверждать, самое непосредственное.

Заместитель редактора второй и последний раз развел руками.

— Сожалею, сэр, но у меня уйма текущих дел.

Паттерсон правильно понял его слова и немедленно покинул редакцию...

Поздней ночью в конце апреля прошлого года я разговорился с несколькими иностранными туристами, следовавшими «Красной стрелой» из Москвы в Ленинград. Поговорили и разошлись по своим купе. Весь вагон уже давно спал, когда ко мне кто-то тихо постучался. Это был высокий и плотный англичанин лет сорока пяти. Я узнал его: часов до двух

ночи мы с ним тихо беседовали в коридоре вагона, у окошка, за которым ничего не было видно. Его почему-то заинтересовало, что я писатель. Я говорю «почему-то», ибо сам он не имел к писательскому ремеслу никакого отношения.

Несколько удивленный столь поздним визитом, я пригласил его войти: я был один в купе. Англичанин вошел, закрыл за собой дверь, молча вынул из-под пиджака довольно объемистую рукопись, приложил палец ко рту, передал мне рукопись, крепко пожал руку и ушел, тяжело ступая протезом левой ноги...

Ранним утром, когда проводник уже убрал постели, а до Ленинграда еще было сравнительно далеко, он рассказал мне все, что изложено мною выше.

Поезд уже подходил к ленинградскому вокзалу, когда я спросил у Паттерсона, как ему удалось узнать про судьбу таинственного бака, выброшенного темной ночью сорокового года на берег Темзы. Он успел только сообщить мне, что на другой день после прочтения дневников майора Эндью он бродил в районе своей удивительной находки именно с этой целью. Первый день розысков ничего не дал. На второй день ему встретился старик садовник одного из ближайших домов. Он-то и рассказал Паттерсону, не сразу, а после очень долгих и настойчивых расспросов, историю с появлением и исчезновением бака. Старик сказал, что тоже видел ржавую длинную жестяную коробку из-под бисквитов, но не обратил на нее никакого внимания. Паттерсон спросил, почему он не рассказал никому об огромном баке, рассыпавшемся, как сигарный пепел. Потому что он не хотел, чтобы его приняли за сумасшедшего, ответил мистер Соббер. (Фамилия садовника была Соббер.) Ответил, нервно рассмеялся и пошел прочь, так и не сказав больше ни слова.

Такова предварительная история, которую нам хотелось предложить вниманию читателей дневников майора Велла Эндью.

Четверг, 18 июня.

Трудно представить себе более идиотское времяпрепровождение. Целый вечер мы переливали из пустого в порожнее. Сначала эти нелепые разговоры про Марс, про загадочные вспышки на нем. Гадали, что это — вулканы или не вулканы. Арчи говорил: вулканы. Остальные возражали: что это за чудные такие вулканы, в которых извержения происходят ровно один раз в сутки и точно в одно и то же время? Тогда Арчи (в который раз) начинал выкладывать перед нами свои школьные познания насчет регулярных извержений исландских гейзеров, и все начиналось сначала.

А эти четверо молодых джентльменов из Ист-Сайда, которых Арчи коллекционирует с тех пор, как решил увлечься социализмом! Они молчали и ухмылялись, словно находились в зоопарке перед клеткой с мартышками!

Кончили с Марсом, и началась столь же плодотворная и организованная дискуссия о социализме. (Ого, у меня, кажется, родился неплохой каламбур: «Покончили с Марсом и принялись за Маркса»! Не забыть вставить его как-нибудь завтра во время обеда в клубе. Это каламбур с большим будущим, или я ничего не понимаю в каламбурах.)

Арчибальд начал свою последнюю, но уже порядком надоевшую арию насчет того, как все будет хорошо, когда уже больше не будет плохо. Львы будут запросто водиться с ягнятами, все будут ходить чистенькие, добренькие, дружно щипать травку и возносить хвалу всемогущей технической интеллигенции, которая-де осчастливит человечество райским житьем через два-три дня после того, как ей будет вручена вся полнота власти.

На это один из ист-сайдских юнцов — его зовут Том Манн или как-то в этом роде — соизволил заметить, что он и его товарищи придерживаются несколько иной концепции и что, по их, ист-сайдских юнцов, просвещенному мнению, социализм может по-

бедить только тогда, когда за это дело вплотную возьмутся рабочие. Он даже сказал не «рабочие», а «рабочий класс»!

Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в подобные разговоры! Но наглое невежество этого мальчишки меня взорвало. Нет, я, конечно, не унился до спора с этим юным демагогом. Я просто позволил себе заметить, обращаясь исключительно к моему чересчур увлекающемуся кузену Арчи, что классы существуют только в воспаленном воображении тех джентльменов, которым с определенных пор не дают покоя чужие богатства. В действительности же каждому мыслящему и интеллигентному человеку известно, что никаких классов не было и нет, а имеются умные люди и люди глупые, бережливые и моты, верующие и безбожники, упорные и слабовольные, трезвенники и пьяницы. Умные, бережливые, упорные и не забывающие бога люди не шляются по кабакам и не треплют там языками, болтая о классах в промежутке между двумя кружками пива, а откладывают фартинг к фартингу, пенс к пенсу, шиллинг к шиллингу, фунт к фунту. Такие люди становятся в конце концов, и, конечно, с божьего соизволения, уважаемыми дельцами, негоциантами, промышленниками, банкирами — цветом нации. Я уже не говорю о нашей родовой аристократии, которая приобрела свое высокое положение в государстве верной службой Британии, короне и церкви.

Я твердо рассчитывал, что молодые джентльмены с Ист-Сайда найдут в себе хоть то небольшое количество собственного достоинства, которое требовалось, чтобы оскорбиться по поводу моего прямого намека насчет их кабацких споров и уйти. Но юный мистер Манн в ответ на мой намек, я бы даже сказал — плевок, только усмехнулся да еще так снисходительно, точно он имел дело не с майором королевских войск, верой и честью прослужившим почти двадцать лет в Индии и Египте, а с деревенским мальчишкой, не научившимся еще правильно держать в руке вилку и нож.

Неизвестно, к чему привело бы продолжение этой

недостойной перепалки, если бы в это время лакей не принес Арчибальду вечерние газеты. В них на виднейших местах были напечатаны очередные статьи, трактовавшие лично мне осточертевшую «загадку вулканов на Марсе», и все в гостиной моего милого кузена завертелось сначала.

Я плюнул и ушел. Вечер был на редкость теплый и светлый. Я не стал нанимать кеба и не заметил, как дошел до моей одинокой квартиры. Я шел и думал. Сначала я думал о Дженни и ребятах. Они уже третий день гостят у ее родителей, в их усадьбе недалеко от Эдинбурга. Стал бы я ходить к этому лентяю и типичной штафирке Арчибальду, если бы дома меня не томило непривычное одиночество. Потом я почему-то вспомнил об этом развязном Томе Манне и его собутыльниках, и мне, признаться, вдруг стало страшно-вато при мысли, что получилось бы, если бы такие, как он, вдруг взяли верх над порядочными людьми и заняли бы места в правительстве его величества!..

Пятница, 19 июня.

Часов в двенадцать Арчи прислал своего лакея с приглашением на сегодняшний вечер. К нему, видите ли, собираются в гости несколько джентльменов из общества Фабия Кунктатора. Снова будут разговоры про социализм, про святую всемогущую и равноапостольскую техническую интеллигенцию, про всякие там «новые пути». Слуга покорный! Надоело! Я так и написал ему в обратной записке.

Ел в клубе прелестный черепаховый суп. Бифштекс сегодня был не совсем удачный. Полковник Кокс полностью со мной согласен. И насчет супа и насчет бифштекса. Приятный человек полковник Кокс! Джентльмен с головы до пят. Приятно, что у нас с ним так часто совпадают мнения. Мой новый каламбур имел у него потрясающий успех. От смеха он едва не уронил свой монокль в суп. Сразу после обеда он не замедлил повторить мой каламбур доброй дюжине влиятельнейших членов клуба, и я ходил в именинниках. Мы закурили с полковником трубки и весь вечер вспоминали о нашей службе в Индии.

Жаль, что мы там ни разу не встретились. Правда, я почти все время служил в Бомбее, а полковник — в Бенгалии, где-то около Калькутты. Счастливые, невозвратные, поистине чудесные времена!.. Полковник уже третий год командует Н-ским полком, и я несколько не удивлюсь, если вскоре я буду иметь честь и удовольствие дружить с генералом Коксом. Поговаривают, что он вскоре будет принят при дворе. И опять-таки ничего удивительного: он племянник маркиза Вуудхеда и двоюродный брат Стоунбека, того самого Эллиота Стоунбека, который заворачивает всеми свинцовыми рудниками в Рио-Тинто.

Что и говорить, в высшей степени лестное знакомство! И многообещающее. Особенно если учесть, как дружески он ко мне относится. Очень приятный джентльмен! Если бы я мог позволить себе некоторую чувствительность, я бы сказал, что я попросту люблю моего глубокоуважаемого друга полковника Кокса. Преотличный джентльмен. Сегодня же напишу Дженни о том, как мы с ним подружились. Пусть она там тоже порадуетса моей удаче.

Снова возвращался домой пешком. Странно, нет-нет да и мелькнет в голове воспоминание о Томе Манне и его компании, и на душе сразу становится как-то удивительно мерзко, словно наглотался скверного рома или вспомнил о приближении срока уплаты по большому векселю.

Суббота, 20 июня.

Намыливая мне щеки, Мориссон спросил, не слышал ли я каких-нибудь подробностей о снаряде, упавшем вчера ночью на пустоши между Хорселлом, Оттершоу и Уокингем. Я сказал, что не слышал. И что скорее всего это обычные вымыслы досужих людей. Никаких артиллерийских полигонов в этом районе нет, нет, следовательно, и артиллерийских стрельб, так что и снарядам на эту пустошь падать неоткуда. Тогда Мориссон произнес нечто такое, что я от удивления чуть не свалился со стула. Он сказал:

— Поговаривают, сэр, что это не наш снаряд... что это, смешно сказать, сэр, снаряд с Марса.

Я так смеялся, что чудом избежал страшнейших порезов. Я чуть не рыдал от смеха. Несколько придя в себя и утирая слезы, я посоветовал Мориссону выпить успокоительных капель и впредь не болтать подобной чепухи, если он хочет, чтобы его уважали порядочные люди.

Он молча добрил меня, а я с удовольствием предвкушал, как буду рассказывать полковнику про снаряды с Марса, и как он будет вместе со мною хохотать, и как мы с ним снова славно проведем весь вечер в клубе... Но потом я вспомнил, что сегодня суббота и что полковник, конечно, отправится в усадьбу своего двоюродного брата Эллиота Стоунбека, и тогда я поспешил к полковнику, который собирался с утра побывать в штабе полка.

А в штабе я еле смог добиться двухминутного разговора с моим другом, потому что оказалось, что и в самом деле на пустоши возле Уокинга упал снаряд с Марса; и что внутри этого снаряда будто бы оказались живые марсиане, о которых никто толком ничего сказать не может; и что эти марсиане якобы каким-то неведомым, но страшным оружием уже успели уничтожить целую кучу гражданской публики; и что полк моего друга Кокса в полном составе выходит в этот район, чтобы остановить продвижение марсиан, а если не будет другого исхода, то и безжалостно их уничтожить. Вот тогда я по-настоящему пожалел, что я в отставке! Но полковник Кокс любезно пригласил меня прибыть на огневые позиции его полка и быть свидетелем этой в высшей степени оригинальной артиллерийской экзекуции. Конечно, я с благодарностью принял это приглашение. Интересный штрих: чтобы сделать мне приятное, полковник сказал, что будет мне весьма благодарен, если по ходу боя я приду ему на помощь своим богатым индийским опытом. Он так и сказал — богатым, что было в высшей степени учтиво со стороны такого опытного и высокопоставленного офицера. И родовитого. И с такими связями в деловом мире! Это большая честь и преимущество — быть другом такого человека. А я его друг. Он это вчера мне сам сказал.

Уже сегодня, не позже одиннадцати вечера, две роты солдат оцепят злосчастную пустошь. Одна из них высадится в Хорселле, другая начнет разворачиваться южнее Чобхема. А завтра на рассвете батареи полковника Кокса займут огневые рубежи между Сент-Джордж-хиллом, Уэйбриджем и селением Сенд, на юго-западе от Рипли. Командный пункт полковника будет на первой батарее, потому что важнейшие решения должны претворяться в жизнь без секунды промедления.

Договорились, что я прибуду в распоряжение полка завтра же с первым утренним поездом.

Понедельник, 22 июня.

Бедная моя Дженни, бедные мои сиротки!.. Какое счастье, что вы никогда не узнаете, что произошло с вашим несчастным мужем и отцом!..

Вторник, 23 июня.

Пока они возятся с подбитой машиной, я попытаюсь записать события последних двух суток.

Зачем я это пишу? Кто это прочтет? Буду ли я сам даже через каких-нибудь два дня в состоянии прочесть то, что я сейчас запишу? Останется ли вообще через несколько дней во всей Англии хоть одно живое человеческое существо — все равно, грамотное или неграмотное? Не честнее ли будет перед самим собой сознаться, что пишу лишь для того, чтобы хоть на время забыть о той страшной беде, в которую я попал?..

Я честный старый солдат. Я только хотел внести свой посильный вклад в борьбу с этим ужасом, с этим кошмаром, который обрушился на наш добрый старый остров. Неужели так стремительно и безвозвратно может пойти ко дну великая культура, могучий и изобретательный гений такого народа? Нет! Не верю! Если удалось на первый случай хоть временно вывести из строя один их цилиндр, или боевую машину, или как ее там к черту правильней назвать, то можно вывести из строя, смести с лица земли и два и три — все, сколько их там ни окажется, этих дья-

вольских снарядов, в недобрый час выстреленных в нас с далекой и поистине кровавой планеты... О, если бы я сейчас был во главе батальона, если бы в моем распоряжении были хотя бы две-три батареи орудий, лучше всего гаубиц; с марсианами было бы покончено! Слово офицера!..

Подумать только, с каким поистине коровьим спокойствием и тупостью все, с кем я ехал в это злощастное воскресное утро в поезде, по дороге к Хорселлу, относились к предупреждениям насчет марсиан! Нет смысла врать, я был не умнее тех, кто поднимал меня на смех, когда я пробовал заговорить о марсианах, высадившихся на пустоши возле Уокинга. Подумать только, рядом со мной сидела парочка, ехавшая в гости в тот самый Уокинг, который уже вторые сутки представлял собой кучу обгоревших развалин!

— Если верить всяким дурацким слухам, — ответила мне молодая леди, подмигнув своему болвану муженьку, — нам пришлось бы все воскресенье париться в Лондоне.

С удовольствием выслушав одобрительное пофыркивание нескольких не более рассудительных соседей и соседок, она решила развить свой успех и подбросила в печку несколько поленьев дубового сарказма:

— К тому же, даже если верить этим бабьим (бабьим!) слухам, марсиане елѐ ползают вокруг своих снарядов. Так мы, — фыркнула она, и все эти будущие покойники заржали, как табун сытых лошадей, — так мы, так и быть, не будем разгуливать около пустоши. Мы будем, ха-ха-ха, гулять около самого вокзала...

Полковник Кокс встретил меня на своем командном пункте озабоченный, деловитый, спокойный, весь в горячке подготовки к бою, не предусмотренному никакими учебниками и воинскими уставами.

— Я очень рад вам, мой дорогой друг, очень! — повторил он несколько раз, сильно, по-солдатски пожав мне руку.

Мне бы оставаться в расположении полка, а я вы-

звался пойти с лейтенантом Блейдсовером и тремя солдатами разведать, что делается там, откуда теперь уже непрерывным потоком двигались жалкие толпы перепуганных беженцев. У каждого был свой вариант событий.

Нам предстояло уточнить, что же происходит там и правда ли, что они будто бы повылезли из своей ямы посреди пустоши и что они якобы имеют какие-то особые, не похожие ни на какие земные, удивительно быстрые средства передвижения.

Я вышел во главе моего маленького отряда в двенадцатом часу утра. К началу второго небо покрылось черными тяжелыми тучами. Стало темно, душно и жутко. Блеклые языки пожаров лизали черный горизонт. Грянула гроза. С низкого темно-свинцового неба под адские вспышки молний хлынул ливень.

Мы промокли до нитки почти мгновенно, но продолжали двигаться в заданном направлении. Мы наивно радовались. Мы предполагали, что марсиане испугаются неизвестного им явления земной природы, спрячутся в своей яме, а нам дадут спокойно добраться как можно ближе к Уокингу, разведать все возможное и спокойно вернуться обратно.

Мы прошли, таким образом, не соблюдая простейших требований маскировки, мили три, не меньше, когда вдруг лейтенант Блейдсовер сдавленным голосом вскрикнул:

— Вот они!.. Вот они!..

Мы увидели при свете молний быстро приближавшихся марсиан. Вернее, мы увидели огромные, ярдов двадцать в диаметре, цилиндрические сосуды, быстро, очень быстро передвигавшиеся на высоких, с трехэтажный дом, металлических треножниках. Это было так же необычно и удивительно, как если бы вдруг зашагали, торопливо перебирая своими стальными треножниками, приусадебные водонапорные баки.

Но это было не только необычно и не только удивительно. Это было и очень страшно.

Надо было возвращаться и как можно скорей, пока они нас не приметили. Нет, мы не ударились в панику. Мои солдаты и лейтенант даже пытались ост-

рять. Но острили они почти шепотом, хотя до чудищ, примчавшихся на нашу бедную Землю из космической бездны, было еще не менее мили.

Теперь-то я понимаю, что нам нельзя было рисковать. Нам надо было сразу нырнуть в кусты и выжидать.

А мы (нет смысла этого скрывать) растерялись и побежали очертя голову прямо по дороге. Вскоре последние строения мертвого городка — мы даже не успели узнать, как он называется, — остались позади, а мы все бежали и бежали, разбрызгивая дорожную грязь, то и дело попадая ногами в колдобины, залитые водой, бежали, не сворачивая в сторону, не рассредоточившись, компактной группой, то и дело для вящего удобства марсиан освещаемые мертвой голубишной молний.

Когда я, мобилизовав все свое мужество, заставил себя оглянуться назад, ближайшая машина марсиан уже почти настигла нас. Вспышка молнии слишком коротка, чтобы видеть предмет в движении. Цилиндр как бы застыл всего в нескольких десятках шагов, застыл, подняв высоко над нами одну из голенастых суставчатых ног и отбрасывая на нашу группку необыкновенно густую черную тень.

Нам уже не осталось времени даже на то, чтобы подумать, что же с нами произойдет. Было только ясно, что все, все пропало.

В ту же сотую долю секунды я увидел, как из сочленений треножника с шипением вырвался ярко светящийся зеленый пар, что-то над нами залязгало, как буфера вагонов во время составления поездов. Мою талию крепко обхватило что-то холодное, металлическое, суставчатое, змееподобное. Снова вспыхнула молния, и я увидел, как блестящее металлическое щупальце легко, без видимого напряжения поднимает меня на высоту трехэтажного дома и опускает в нечто, напоминающее металлическую корзину с открытым верхом, наглухо прикрепленную к стенке громадного кастрюлеподобного цилиндра. Это и была самая настоящая корзина, но с дном площадью в десять-двенадцать квадратных ярдов.

Я был в ней не один. Рядом со мной оказались все три моих солдата и два неизвестных мне человека. Они сидели, обхватив руками колени: очень плотный мужчина, лет сорока пяти, с мясистым лицом и мощным затылком, и юноша, лет восемнадцать, не больше, очень похожий на пожилого — очевидно, его сын. Старший был без пиджака, в подтяжках, в сорочке без пристежного воротничка, но с торчавшей сзади запонкой.

Лейтенанта Блейдсовера среди нас, к счастью, не было. Хорошо, что хоть он избежал этого позорного и страшного плена. Да поможет ему бог вовремя и благополучно добраться до огневых позиций полка и не забыть то, что я сказал ему еще до того, как мы так глупо бросились бежать от марсиан. Боже, помоги рабу твоему лейтенанту Блейдсоверу не забыть, что я советую полковнику Коксу немедленно вытребовать как можно больше гаубичных батарей, потому что против этих цилиндрических крепостей, стремительно передвигающихся в воздухе на высоте трехэтажного дома, нужны орудия с крутой траекторией.

Оба незнакомца смотрели на нас странными, остекленевшими глазами. Впрочем, очень может быть, что они смотрели не на нас, а как бы сквозь нас. Они просто бесцельно смотрели прямо перед собой, и все.

Ливень уже давно потушил все пожары, и я потерял возможность ориентироваться на местности. Но мне показалось, что марсианин (или марсиане?) внутри «нашего» цилиндра после минутной остановки повернули обратно к пустоши.

Одновременно в результате не замеченных мною сигналов и остальные цилиндры повернули к песчаной яме на пустоши.

«Наша» машина легко шагала по дороге, скрадывая по мере необходимости все изгибы, перешагивая через дома и сады с обуглившимися плодовыми деревьями.

Было непонятно, зачем они нас взяли. Для того чтобы на досуге получше нас рассмотреть? Чтобы узнать поточнее, что собой представляют земные существа? Тогда почему они ограничились только людь-

ми? Почему в этой проклятой корзине, в которой трясло, как на спине бегущего слона, не было ни лошади, ни собаки, ни кошки? Может быть, им нужно было что-то у нас выведать? Но как? Ведь мы не знаем марсианского языка, а они — английского. К тому же нам удалось выпытать у наших штатских спутников, что марсиане и не пытались вступать с ними в переговоры. Это, собственно, единственное, чего нам удалось от них добиться. В ответ на наш вопрос они, наконец, отрицательно мотнули головой, не проронив ни единого слова. Всего моего красноречия не хватило, чтобы заставить их заговорить, а я их просил, срамил, я угрожал им позором и всяческими неприятностями в дальнейшем. Они молчали. Они продолжали смотреть сквозь меня с лицами, как бы навсегда застывшими от нечеловеческого горя и ужаса. Когда я, совершенно выйдя из себя, сказал, что я за себя не ручаюсь, если они и впредь будут пренебрегать просьбой британского офицера, они истерически зарыдали, прижавшись лицами к стене корзины, но так и не произнесли ни единого слова.

Ливень уже кончился, когда мы достигли края пустоши. Быстро ушли тучи, и над всей округой, мертвой, сожженной и обезлюдевшей, открылось высокое, чистое и отвратительно праздничное небо. Было щемяще грустно при виде этого куска нашей милой старой планеты, над которой уже безраздельно владычествовали не люди, а непоколебимо враждебные представители другого, чужого, страшного, далекого, непонятного и злого мира. И было странно и удивительно, что сравнительно совсем недалеко существовал еще привычный и бесконечно родной, но уже навеки нам недоступный мир старинного хозяйства Земли — человека...

Почти у самой ямы юноша пришел в себя. Видимо, когда-то, страшно давно, несколько часов тому назад, он был отличным спортсменом. Во всяком случае, он вдруг с неожиданной легкостью подпрыгнул, ухватился за край корзины и перемахнул через него раньше, чем его успело поймать стремительно взвившееся ему навстречу металлическое щупальце.

Мы слышали глухой стук тела, рухнувшего с высоты двенадцати ярдов на твердую, выжженную землю, и все было кончено.

А его отец оставался совершенно безучастным. Но предположим даже, что это не его отец, а совершенно чужой человек. Почему он не удержал этого мальчика от верного самоубийства?

— Почему вы его не удержали? — Я схватил его за плечо. — Вы были обязаны удержать этого несчастного от верного самоубийства!..

Он молча и как-то очень уж неторопливо смахнул мою руку со своего туго набитого мышцами плеча и посмотрел на меня с таким презрением, которого я не простил бы даже члену палаты лордов.

— Я был бы вам, сэръ, весьма обязан, — сухо заметил я ему, не повышая голоса, — если бы вы не забывали, что имеете дело с майором войск его величества и кавалером...

Тогда этот хам ни с того ни с сего начал смеяться. Он смеялся так, словно я произнес нечто чрезвычайно глупое. Он смеялся так долго, что это шокировало бы даже чистильщика сапог. Он смеялся, а я пытался вспомнить, где я когда-то совсем недавно ловил на себе такой же вызывающе-презрительный взгляд, и, наконец, вспомнил.

Ну, конечно, передо мною был один из тех чертовых социалистов с их презрением ко всем честным слугам короля и нации! Но только я раскрыл рот, чтобы выразить свое мнение об этой неприятной разновидности англичан, как джентльмен в подтяжках выдавил из себя сквозь судорожный смех:

— Самое смешное во всей этой истории, что я мастер по кровяным колбасам, по кровяным!..

— Тем более, — промолвил я еще суше. — Люди вашего скромного положения обязаны ни при каких обстоятельствах не забывать о...

— Боже, какой идиот! — простонал сквозь смех колбасник. — Да понимаете ли вы, что нам с вами теперь надо ду...

— Я понимаю только, что такие оскорбления не

прощаются! — крикнул я и бросился на него с кулаками...

Это был человек невероятной силы. Первым же ударом он отшвырнул меня к противоположной стене корзины, и я на несколько мгновений потерял сознание.

Я пришел в себя, когда цилиндр, к которому была прикреплена наша корзина, с громким лязгом скользнул вниз, вобрав в себя ноги своего треножника, как ножки штатива фотографического аппарата.

Колбасник по-прежнему сидел на корточках с глазами, безразлично устремленными куда-то сквозь меня.

Надо мной склонились два солдата. Один из них, высокий, щеголеватый шатен, по разговору своему типичный «кокни», размахивал перед моим лицом фуражкой, как веером. Другой, рыжеволосый, с круглым и решительным лицом деревенского забияки, лил мне на голову воду из фляжки. Вода была совсем теплая и нисколько не освежала.

— И вы допустили, чтобы этот негодяй, — я кивнул на колбасника, — оскорблял в вашем присутствии вашего офицера?

— Черт с ним, сэр! — прошептал мне на ухо рыжеволосый. — У нас с вами есть сейчас забота поважней.

— Этот социалистический ублюдок... — начал я снова, но на этот раз рыжеволосый перебил меня довольно резко:

— Право же, сэр, совершенно ни к чему впутывать в эту историю дискуссию о социализме.

— Да вы никак и сами социалист? — ужаснулся я. — Нечего сказать, в восхитительную компанию я попал!

Тут рыжеволосый позволил себе такое, что я не позволил бы и его величеству королю, — он заткнул мне рот своей грязной лапой!

— Прошу прощения, сэр, — быстро забормотал он, оглянувшись на заднюю стену корзины. — Кажется, нам нужно поторапливаться, если мы хотим спасти свои шкуры...

Я глянул в ту же сторону и увидел в стенке цилиндра нечто вроде иллюминатора. Сквозь его толстое стекло на нас смотрела пара больших, черных, очень холодных и неподвижных глаз. От этого взгляда марсианина мне стало не по себе, и я сразу потерял охоту обижаться и на колбасника и на рыжего солдата.

А тот мне тем временем торопливо шептал:

— Давайте выпрыгнем, сэр... Выпрыгнем и разбежимся в разные стороны. Всех им не поймать, это уже вполне определено...

— Они нас сожгут раньше, чем мы сделаем первые пять шагов, — ответил я тоже шепотом. — Подождем до ночи... Или пусть они хотя бы все вберут свои треножки.

Но прежде чем последний цилиндр опустился на землю, он подошел вплотную к нашей корзине. Три его щупальца схватили колбасника и двух моих солдат (они беспомощно извивались в их кольцах, как гусеницы) и переложили их в свою корзину. Затем этот цилиндр отошел ярдов на пятьдесят в сторону и тоже вобрал в себя треножник.

Мы остались вдвоем с рыжеголовым солдатом. Его зовут О'Флаган, Майкл О'Флаган. Рядовой, подносчик третьего орудия второй батареи. Рядовой, ирландец и, кажется, социалист!.. Нечего сказать, подходящая компания для майора из старинного рода, давшего Англии двух епископов, одного вице-министра и трех генералов!..

Мы услышали продолжительное шипение, словно выпускали пар из паровоза. Затем последовало какое-то тихое гудение, наш цилиндр завибрировал, и его верхняя крышка стала медленно вывинчиваться...

Вторник, 23 июня (продолжение).

Нет, они не отдыхали. Судя по всему, они вообще никогда не отдыхают. И не спят.

Я видел, как из двух цилиндров, пока третий с выпущенным треножником охранял их покой, вылезли и плюхнулись в яму восемь одинаковых круг-

лых чудовищ, каждое ростом с невысокого мужчину. У них не было туловищ в нашем понимании этого слова. Они состояли из гигантских карикатурных подобиц человеческого лица с большими немигающими глазами, с единственной барабанной перепонкой на затылке и клювообразными ртами; по обе стороны которого двумя пучками свисали отвратительные змееподобные щупальца. Головы-туловища и щупальца. И больше ничего. Они тяжело дышали в непривычной для них, слишком плотной атмосфере.

Видимо, они выползли посоветоваться о дальнейшем плане военных действий. На нас с О'Флаганом они обратили не больше внимания, чем человек на домашнее животное. Скользнули по нас безразличными взглядами и занялись своими делами.

Вскоре они вернулись в свои цилиндры, крышки над ними быстро завращались по нарезке, пока не завилились до отказа. Потом оба цилиндра снова встали на треножки, и все три, развернувшись в каре шириной мили в две — две с половиной, двинулись в сторону железной дороги...

Это нельзя было назвать боем. Это была бойня. Против их оружия бессильны пушки и пулеметы. Невидимый тепловой луч, моментально сжигающий все, что попадет на его пути. В них можно попасть только с первого залпа или погибнуть.

Стоит им только обнаружить батарею или засаду где-нибудь на церковной колокольне, как они направляют на цель этот дьявольский тепловой луч, и все кончено.

Они сожгли несколько городков с такой легкостью, с какой мальчишка сбивает палкой головку одуванчика...

3

Среда, 24 июня.

Боже мой, они нас пасут!

Неясные подозрения охватили меня еще вчера вечером, когда марсиане, вернувшись на свою базу в пустоши, вышвырнули из цилиндров несколько трупов. Два из них мне удалось распознать. Это

были обескровленные трупы моего солдата-кошки и колбасника.

Бесконечно страшно об этом писать, но марсиане питаются человеческой кровью¹. Еще вчера вечером мне удалось рассмотреть этот жуткий процесс сквозь тот самый иллюминатор в стенке цилиндра, который выходит в нашу корзину и, очевидно, предназначен для наблюдения за поведением ее живого содержимого. Это слишком отвратительно, чтобы рассказывать подробности, но это именно так. Они вводят прямо в кровеносные сосуды своего головно-тела кровь жертвы пипетками объемом около чайного стакана.

Марсиане удивительно быстро ориентируются в новой для них земной обстановке. Они уже успели понять, что без пищи и воды люди истощаются и гибнут. И они решили нас пасти. Меня и О'Флагана. И они уверены, что нам от них не убежать.

А мы-то с О'Флаганом сначала не поняли, почему «наш» цилиндр так медленно рыщет среди развалин Уокинга. Он шагал, неторопливо передвигая свои серебристые суставчатые ноги, пока не остановился над домом, с которого как ножом срезало второй этаж. Когда нас охватили щупальца, мы решили, что вот он и пришел, наш смертный час. Но щупальца довольно бережно опустили нас в этот бесконечно печальный разрез дома, в котором еще пять дней тому назад текла мирная и счастливая человеческая жизнь. Опустили и отпустили, а сами с неприкрытой угрозой раскачивались в непосредственной близости от нас. Бежать нам было некуда. И они решили попасти нас, дать нам возможность размяться, поискать себе пищи, набрать воды.

Дом, в который нас опустили, принадлежал до прошлой пятницы владельцу крохотного магазинчика, который, будь он раз в двадцать крупнее, можно было бы назвать небольшим универсальным магази-

¹ Справедливость требует отметить, что марсиане не делали себе матрацев из волос своих жертв, абажуров — из их кожи, мыла — из их жира. — Л. Л.

ном. Жилые комнаты были расположены позади магазинчика и в начисто снесенном втором этаже. В этой лавчонке было всего понемногу: и канцелярских товаров, и колониальных, и вина, и книг, и все, что требуется рассеянному охотнику, забывшему запастись необходимыми боеприпасами в Лондоне.

В кладовой мы обнаружили три окорока, два черствых, но вполне еще съедобных хлеба, несколько банок варенья, фунтов десять сахару, четыре круга колбасы, две дюжины пива в тяжелых картонных коробках, несколько жестяных коробок с бисквитами, ящик отличного коньяку, несколько банок табаку, вдоволь спичек. Мы напились из-под крана, из которого почему-то еще текла вода, и вернулись в столовую за скатерью, чтобы упаковать в нее все это бесплатно доставшееся нам чужое добро. Это было настолько увлекательно — бесплатно брать все, что тебе угодно, что я на время даже забыл о своих тяжких размышлениях.

Для удобства мы взяли две скатерти. Со скатертями в руках мы заглянули в то, что осталось от магазина: четыре стены и голубое небо вместо потолка. На полу поблескивали еще не успевшие высохнуть дождевые лужи. В лужах плавали пожелтевшие листья с деревьев, поломанные стволы которых уныло торчали по обе стороны входа в бывший магазин. В полувыдвинутом ящике кассы денег не было, но вдоволь валялось разбухших от дождя счетов и записок с лиловыми разводами дешевых чернил. Зато на полках товар был почти не тронут сыростью. Я взял себе три записные книжки (родные сестры той, в которой я сейчас веду свои записи! У меня страсть к хорошим записным книжкам.), несколько карандашей и библию, библию, которой мне так не хватало и без которой я во время моей колониальной службы не отправлялся ни на одну операцию, даже если она лично мне не грозила никакой опасностью. Упаковав все это в скатерти, мы положили узлы на стол и стали советовать, как поднять их к нам в корзину. Но мы явно недооценивали сообразительность марсиан. Только мы несколько отошли от стола, как

щупальце схватило один за другим оба громадных узла и перенесло их в корзину со снаровкой бывалого грузчика.

В это время Майкл О'Флаган, в котором его ирландское бунтовщическое нутро рождало одну безумную идею за другой, стал совать мне в руки увесистые продолговатые коробки. Я глянул на их наклейки, и меня чуть не хватил удар: это были коробки с охотничьим порохом!

— В крайнем случае, — возбужденно шептал мне О'Флаган, — мы уничтожим хоть одну марсианскую боевую машину!.. Ну, берите же!.. — Он настолько обезумел, что даже не счел нужным прибавить «сэр». — Берите!.. И я захвачу коробки четыре... Эти вурдалаки не знают, что в этих коробках, а когда поймут, уже будет поздно...

— Я вам приказываю немедленно положить порох на место! — крикнул я этому осатаневшему молоко-сосу. — У меня семья, дети, и я не тороплюсь на тот свет!..

О'Флаган от злости покраснел до самых корней рыжих волос, но то, что еще осталось в нем от дисциплинированного солдата, заставило его выполнить мое приказание.

От волнения у меня пересохло в горле. Я раскупорил бутылку содовой и налил себе стакан.

Сколько это потребовало времени? Минуту, не более. Но за это время проклятый ирландец успел схватить из витрины охотничью двустволку и зарядить ее.

— Бегите! — крикнул он мне, стреляя в упор в дежурное щупальце. — Бегите через кухню и спрячьтесь в саду!.. А я постараюсь пока задержать это чудовище!.. Да здравствует Ирландия!..

Никогда еще я не был так близок к смерти.

Это было просто наитием с моей стороны. Я схватил недопитую бутылку и изо всей силы ударил ею по голове этого идиота. О'Флаган рухнул на пол без чувств (головой в лужу, которая сразу покраснела от крови), и это спасло мне жизнь. Имей

я глупость броситься бежать, меня бы без труда поймали и... Бр-р-р! Даже страшно подумать...

Я уже имел случай писать об удивительной сообразительности марсиан. На этот раз они поняли, что О'Флаган хотел организовать наш побег, а я не согласился. Они это отлично поняли. Полагаю, что в конечном счете и О'Флаган уразумел бы, что я действовал в интересах нас обоих, но, к сожалению, пути наши сразу и бесповоротно разошлись. То самое щупальце, в которое он столь легкомысленно и бесполезно выпустил заряд, как ни в чем не бывало подхватило обеспамятевшего солдата и зашвырнуло его в мрачную глубину чуть приоткрывшегося цилиндра. Пока крышка стала сама по себе завинчиваться, я услышал донесшееся из цилиндра довольное уханье марсиан, и у меня мороз пошел по коже. Потом то же щупальце мягко охватило меня под мышки и бережно (!!!) подняло в корзину, где и оставило наедине с теперь уже только для меня одного предназначенными двумя узлами...

Надо будет все-таки поэкономней расходовать продукты и напитки. Бог знает, сколько дней и ночей мне предстоит еще провести в этой ужасной корзине, пока до меня дойдет очередь.

А вдруг меня минет чаша сия? Господи, помоги мне ради моей бедной жены, ради моих невинных детей!

Четверг, 25 июня.

Прошлой ночью я не сомкнул глаз.

Утром, лишь только достаточно рассвело, я начертил на листке бумаги «Пифагоровы штаны» и поднес бумагу к самому иллюминатору. В цилиндре заметили, что я хочу привлечь внимание. Пучок света, на сей раз, к счастью, безвредного, осветил мой незамысловатый чертеж, и одна за другой несколько пар больших, чудовищно спокойных глаз показались по ту сторону иллюминатора.

Мой расчет был очень прост: мыслящие существа, дошедшие до такой высокой степени цивилизации, как марсиане, не могут обойтись без геометрии.

Геометрия всюду одинакова. Увидев мой чертеж, марсиане поймут, что имеют дело с мыслящим существом и что это мыслящее существо хочет с ними вступить в контакт.

Удостоверившись, что все они ознакомились с моим первым чертежом, я предложил их вниманию второй. Это была грубо нарисованная, но достаточно ясная схема солнечной системы. Кружочки, изображавшие Землю и Марс, я перечеркнул крестиками. Перечеркивая Землю, я на всякий случай ткнул пальцем в грудь, а перечеркивая Марс, показал пальцем на цилиндр. Потом я постарался изобразить вокруг Сатурна кольцо и держал эту бумажку, прижав к стеклу иллюминатора, пока марсиане не ушли в глубь цилиндра.

Тогда я, совершенно обессилевший от нервного напряжения, присел на дно корзины. Выпитая натошак бутылка коньяку дала себя знать, и я не заметил, как уснул...

Проснулся я оттого, что ярдах в двухстах от меня разорвался снаряд. Потом еще два. Несколько осколков прогудело где-то высоко над моей головой. Почти одновременно с этими тремя взрывами, не причинившими марсианам никакого вреда, в отдалении раздался грохот, от которого листва на деревьях под нами зашелестела, как при ураганном ветре, и от теплового луча марсиан взлетела на воздух батарея, укрывшаяся за восточной окраиной городка. Кажется, это был Уэйбридж. А может быть, Шеппертон. Было очень трудно разобраться: дым, пламя, зыбкие коричневые стены пыли от рушившихся зданий. Все более или менее приметные ориентиры были начисто сметены с лица земли...

На этот раз пленных (если людей, взятых для такой цели, можно называть пленными) взяли в свои корзины марсиане с других боевых машин. Но значит ли это, что меня не хотят беспокоить, что меня как-то выделяют из массы других пленных?.. А что, если меня решили оставить в живых? Просто так, из благодарности?.. А может быть, меня оставили и оставят в живых не столько из благодарности

(вряд ли они настолько сентиментальны), сколько в знак доверия? А если в знак особого доверия, то чего они от меня ждут?.. Как мне отблагодарить марсиан за то, что они мне доверяют?

Погруженный в размышления, я долго не обращал внимания на местность, по которой неторопливо продвигались боевые машины.

Я был уверен почему-то, что мы возвращаемся в пустошь. И вдруг я поднял глаза и увидел, что мы передвигаемся в прямо противоположном направлении. Вскоре меня охватило странное чувство: меня томило какое-то неопределенное воспоминание. Я готов был поклясться, что совсем недавно был уже в этих местах, хотя — и это было так же несомненно — ни разу не видел их сверху. И вспомнил: в отдалении, вон за тем леском, и за тем, и вон за этой кучкой домиков, тонувших в сочной зелени садов, и во-о-он за теми высокими каменными изгородями расположились огневые позиции полка, которым командует мой друг полковник Кокс. Ну, конечно, я еще помог ему выбрать для его гаубиц ложбинку справа от железнодорожной станции...

Значит, еще минут пять, не более, и мы окажемся в зоне огня его батарей. Судя по опыту предшествующих дней, им вряд ли удастся произвести больше одного залпа. В лучшем случае (для полковника Кокса, а не марсиан) ему удастся повредить одну из боевых машин марсиан. А потом полковник Кокс со своими орудиями и артиллеристами все равно будет сметен с лица земли. Но марсиане озлобятся. А кроме того — и это-то наиболее вероятно, разрывы снарядов единственного залпа полковника Кокса, не причинив никакого вреда цилиндрам, превратят меня, ничем не защищенного от осколков, в грудку дырявого мяса...

Еще в военной школе я получал высшие баллы за то, что быстро и точно набрасывал в полевых условиях кроки. Мне до сих пор трудно вспомнить, отдавал ли я себе отчет, чем руковожусь, набрасывая с лихорадочной быстротой на листке бумаги кроки местности, по которой, не подозревая о грозив-

шей им опасности, продвигались боевые машины марсиан. Но скажу без ложной скромности: редко кому когда бы то ни было удавалось в столь короткие промежутки времени набросать в труднейших условиях (плохая видимость: ведь моя корзина была на обращенной назад части цилиндра, и трясло, как на спине у верблюда) столь точные кроки, от которых зависела — страшно сказать! — судьба человечества. Над всеми естественными и искусственными прикрытиями, за которыми укрывались орудия полковника Кокса, я по наитию (кто знает, какие знаки употребляют в подобных случаях марсиане!) нарисовал, конечно схематически, орудия с белыми облачками вокруг их жерл и стал неистово стучаться в иллюминатор.

Не думаю, чтобы они услышали там, внутри, этот стук: слишком толсты были прозрачные пластины, заменявшие в них наше земное стекло. Но, прижавшись к иллюминатору, я застил собой свет, поступающий внутрь цилиндра, и на это обстоятельство марсиане сразу обратили внимание. Одна за другой промелькнули за иллюминатором несколько пар неподвижных, холодных глаз.

А спустя считанные мгновения (я так до сих пор и не могу понять, каким способом марсиане поддерживают между собой связь на походе) боевые машины развернулись в широкое каре, охватив с флангов огневые позиции полковника Кокса. Потом по тому же невидимому и неслышимому сигналу все машины одновременно подняли над собой сероватые цилиндрические предметы размером со ствол трехдюймового орудия, и в тучах рыжей пыли, в чудовищном пламени и грохоте взлетел на воздух и превратился в прах весь полк со всей орудийной прислугой, со всеми расположенными в глубине позиций зарядными ящиками, повозками и лошадьми.

И все это обошлось без единого выстрела со стороны того, что еще несколько мгновений тому назад составляло грозное и мощное боевое подразделение.

Впрочем, для кого грозное? Для марсиан оно

было не более грозным, чем нападение десятка ос на человека в водолажном скафандре.

Я не сентиментальная барышня. Я старый военный, и меня учили трезво оценивать боевую обстановку. Больно и трудно признаться, но я не вижу теперь на всей нашей планете сил, которые могли бы противостоять беспощадной и сверхсовременной мощи марсиан...

Я старался не вспоминать о полковнике Коксе. Он был, смею надеяться, моим другом. Он был человеком хорошего происхождения и самых лестных связей. Я был бы рад иметь его на своей стороне в этой новой ситуации. Но я отнюдь не уверен, что он обладал достаточно широким кругозором, чтобы стать на мою точку зрения, даже если бы ему представилась такая возможность. Он был, пожалуй, слишком чувствителен и старомоден для кадрового военного. Боюсь даже, что он не смог бы отнестись к моей точке зрения с должным если не пониманием, то хоть уважением. Что ж, это несколько облегчает тяжесть моих теперешних переживаний...

Весь во власти этих мыслей, я стоял, опершись о стенку корзины, когда мне вдруг ударил в глаза пучок света из иллюминатора. Я увидел во мраке цилиндра два глаза и матовый блеск бурого змеевидного щупальца. Мне показалось, что марсианин машет мне этим щупальцем, чтобы привлечь мое внимание. Во всяком случае, когда я приблизился к иллюминатору, щупальце поднесло к самому стеклу серебристую матовую пластинку, несколько напоминающую алюминиевую. Я различил на ней прекрасно вычерченные густой черной краской «Пифагоровы штаны». Потом оно перевернуло пластинку. На обратной ее стороне было изображено что-то, напоминающее крючковатый крест. Подобные знаки я часто встречал на индийских храмах, хотя ясно, что ничего общего с индийскими культовыми знаками, кроме чисто случайного внешнего сходства, этот знак не имел и иметь не мог.

«Пифагоровы штаны», видимо, должны были служить подтверждением того, что марсиане признают

меня мыслящим, высокоорганизованным существом, с которым они считают возможным вступить в контакт. Что же до крючковатого креста, то хочется видеть в нем знак того, что они признают меня полезным для себя, достойным признательности за помощь, которую я им только что оказал.

Первой моей мыслью было, что отныне я единственный на Земле человек, которому не грозит гибель от руки (от щупальца?) марсиан. Второй моей мыслью было, что я стою на пороге огромных и величественных свершений. Третьей моей мыслью было: хорошо, что, кроме меня, никого в корзине нет!

Долго и смиренно искал указания и утешения в чтении библии. «Несть власти, аще не от-бога!» Эти пророческие и боговдохновенные слова да будут мне путеводной звездой в моем грядущем трудном подвиге! И не могу не повторить снова и снова: как хорошо, что никто не был свидетелем того, как между марсианами и мною впервые и навсегда установился нерушимый контакт!

Верю, что господь направил мою руку, когда я вычерчивал кроки огневых позиций полковника Кокса, и что он и в дальнейшем будет ее направлять в удобном ему направлении...

Ночью черное небо прорезал стремительный ярко-зеленый болид и упал милях в восьми от Уокингской пустоши. Это шестой снаряд с Марса. Новое пополнение. Со дня на день мы становимся сильнее и сильнее. К месту его падения сразу отправились две боевые машины, чтобы оградить его от возможных эксцессов со стороны безумцев, продолжающих сопротивление. К утру вновь прибывшие марсиане уже смогут принять участие в дальнейших мероприятиях по наведению порядка.

4

Пятница, 26 июня.

Для меня ясно одно: безвозвратно ушло время, когда Британия была повелительницей мира. Но трез-

вые политики не падают духом, а принимают решения, сообразуясь с обстановкой.

Я продолжаю стоять при этом на той точке зрения, на которой стою с первого дня моей сознательной жизни: сила не нуждается в моральной упаковке. Сила есть сила, и этим все сказано.

Лично я склонен видеть в появлении на нашей старой планете марсиан нечто в высшей степени ободряющее. Больше того, я почти уверен, что при известной гибкости и такте возможно подлинно плодотворное объединение Британии и марсиан в единое государство, в некое в конечном счете глубоко конструктивное и гармоническое целое. Конечно, ценой некоторых взаимных уступок в дальнейшем, а пока что за счет всех возможных уступок с нашей стороны. Вместе с марсианами — пусть и в качестве их младшего партнера — мы будем силой, которая в несколько месяцев подчинит себе все человечество.

Основания?

Первое. Было бы неразумно и катастрофично не понимать, что марсиане никогда и ни за что не откажутся от обязательств, которые они имеют по отношению к Англии и всему земному шару. Но они отнюдь не заинтересованы в полном или даже более или менее серьезном истреблении человеческого рода. Мне скажут: они питаются человеческой кровью. Правильно, питаются. Но именно по этой причине они и заинтересованы в сохранении человечества как своей питательной базы. Да и много ли им в конце концов потребуется для этой цели людей? Тысячи. Ну, сотни тысяч. Пусть даже, на самый крайний случай, несколько миллионов голов. Объединенное государство с лихвой обеспечит им это количество за счет политических преступников и цветных. Зато какой огромный прогресс в укреплении порядка! Под страхом попасть в щупальца марсиан мы в несколько недель добьемся идеального дисциплинирующего эффекта и внутри страны и в колониях. А если молодчикам вроде Тома Манна и прочих социалистов и возмутителей общественного покоя (включая и моего кузена Арчи, если он не одумается; но он обяза-

тельно одумается: я его неплохо знаю) будет угодно бунтовать, пусть и идут себе на здоровье на пропитание наших мудрых и верных союзников. И нет сомнения, что все государства мира с благодарностью будут предоставлять своих заключенных в распоряжение марсиан. Ради такой перспективы любое цивилизованное государство с радостью пойдет на некоторое разумное ограничение своего суверенитета. Мальтус был бы счастлив приветствовать марсиан во имя здоровья и гигиены человечества. Дикари-туземцы, политические преступники и смутьяны, безработные старше сорока — сорока пяти лет — какие поистине гигантские возможности удовлетворить запросы наших старших друзей! Безо всякого ущерба для цивилизации и прогресса.

Второе. Марсиане не смогут обойтись на Земле без посредников, без тех, кто полностью и с уважением понимал бы их цели, интересы и обязательства и которым они могли бы полностью доверить это трудоемкое и в известном смысле щекотливое дело. Только организованный в виде высокодисциплинированного и четко работающего государственного аппарата коллектив особо доверенных и глубоко порядочных людей способен обеспечить бесперебойное, равномерное и высококачественное снабжение достаточным поголовьем людей пищевого назначения.

Третье. Было бы в высшей степени легкомысленным недооценивать известную ограниченность могущественных боевых возможностей марсиан.

Прежде всего они не знакомы с географией Земли. Без нашей помощи им не разобраться в сложном комплексе географических вопросов, в путанице мировых, региональных и внутригосударственных путей сообщения.

Кроме того — и это, пожалуй, самое важное, — марсиане понятия не имеют о крупных естественных водоемах, начиная от рек и озер и кончая морями и океанами. Их нельзя в этом винить. Ведь на Марсе этого уже очень давно нет. Значит, то государство, которое поможет им своим флотом, окажет им неоценимую услугу. Без наших плавучих средств для них

станет непреодолимой преградой любой водоем, глубина которого превышает высоту их треножников.

Без нас им нечего и думать о десанте на континент и завоевании всего мира.

Итак, в перспективе, и притом ближайшей, — соединение марсиан и английских владений под единым знаменем, тень от которого даст долгожданную прохладу, покой всему человечеству. Со стороны людей потребуются второй по значению член этого могущественнейшего за всю историю человечества правительства, и этим всесильнейшим из всех смертных, когда-нибудь правивших на Земле, буду я. Я, Велл Эндью, — первый из людей, вступивший в боевой и деловой контакт с нашими космическими друзьями и уже оказавший им поистине неоценимую услугу...

Какое все-таки счастье, что Дженни с детьми сейчас так далеко отсюда, в Эдинбурге!

Пятница, 26 июня (продолжение).

На пустошь к нам пришли вновь прилетевшие марсиане. Пока они вместе с прежними марсианами совещались в яме, я имел возможность снова, на этот раз без ложной и ни на чем не основанной предвзятости, внимательно присмотреться к их внешнему облику.

Надо иметь мужество признаться, что я был к ним несправедлив. Они совсем не так отвратительны. Они вообще не отвратительны. И дело не столько в том, что я к ним притерпелся, сколько в исходной точке зрения.

С точки зрения банальной эстетики, господствовавшей на Земле до прошлой пятницы, марсиане далеки от совершенства. Вряд ли они могли бы увлечь своим внешним видом какую-нибудь простодушную красотку с Пиккадилли, но только потому, что у нас с марсианами были разные представления о красоте. Но если красота — это наиболее экономное воплощение высшей целесообразности, то марсиане, превратившиеся в итоге многотысячелетнего прогресса их умственной деятельности в тело-голову, являются образцами высочайшей целесообразности и, следовательно, по-своему не только красивы, но и прекрасны.

В восточных поэмах признаком высшей красоты считается лицо, подобное луне. Не сомневаюсь, что у африканцев приплюснутый нос и толстые губы также служат предметом восторженного воспеания в примитивных произведениях их невежественных поэтов. Но точно так же, как общечеловеческим критерием красоты до прошлой пятницы считался европейский критерий, так сейчас, после прошлой пятницы, носителями подлинного идеала красоты стали представители марсианского мира.

Нет ничего красивей и благородней внешнего облика завоевателя! Важно только понять это, почувствовать эту непреложную истину. В остальном это становится только делом привычки. Пройдут год-два, а может быть и меньше, и прекраснейшие дочери Земли будут вздыхать по марсианам и вздыхать, увы, без всякой надежды на взаимность, потому что похоже, что марсиане — существа бесполое и размножаются отпочкованием...

Пятница, 26 июня. Полдень.

Мне оказано волнующее доверие: сегодня я пас пленных.

Конечно, эти новички принимали меня за одного из своих, и я их, понятно, не разочаровывал, а, наоборот, всячески в этом приятном и для них и для меня заблуждении утверждал. Они обрадовались, узнав, что я в корзине уже шестые сутки. Они видели в этом хорошее предзнаменование для себя.

Оказывается, кем-то где-то был три дня тому назад обнаружен обескровленный труп, и по всему юго-востоку поползли слухи, что марсиане для каких-то неведомых целей выпускают из пленных кровь.

Я изобразил на своем лице улыбку:

— Разве вы не замечаете, что во мне не осталось ни единой кровинки?

И все они облегченно рассмеялись.

Я стою на той точке зрения, что бывает обман, который на том свете будет засчитываться как высшая степень милосердия. Если это так, а это именно так, то мне на небесах все мои грехи будут

прощены. Я сказал этим беднякам, что, судя по всему, марсиане подобрали нас для того, чтобы поближе присмотреться к людям. Для этой цели они будут время от времени брать к себе внутрь цилиндра то одного, то двух, а то и больше человек, но что бояться этого нечего.

Смею надеяться, что именно под моим воздействием ни один из пленных и не подумал улизнуть. Набрав необходимое количество продуктов в брошенных хозяевами домах и лавках, напившись и нагулявшись вдоволь, они спокойно отдались во власть щупалец, которые и вернули их в корзины.

Вскоре после того, как и я очутился в своей корзине, я увидел в иллюминаторе пластинку с крючковатым крестом. Скорее всего, я прав, принимая это за знак признания моих, пусть и скромных, заслуг.

А может быть, они только проделывают надо мною какие-то свои заранее запланированные психологические опыты? Вдруг они всего лишь проверяют мои рефлексы, как биологи, изучающие реакцию муравьев или пчел на разные раздражители? Или как собаководы, выискивающие среди очередного помета наиболее многообещающие экземпляры? Ну что ж, на крайний случай и это не так плохо. Во всяком случае, сегодня я могу спать спокойно. Сегодня меня не умертвят. И завтра тоже...

Пятница, 26 июня. Полдень (продолжение).

Только я приготовился вздремнуть, как четыре боевые машины выпустили свои треножки и с уже привычным лязгом приблизились к нашей машине так близко, что мне стало вчуже за них страшно; достаточно было бы одного шального снаряда, чтобы сразу вывести их всех из строя. Надо будет подумать, как им дать понять, чтобы они всячески избегали такого скопления.

Но, судя по всему, они скучились ненадолго и только для того, чтобы рассмотреть меня получше. Во всяком случае, щупальце нашей машины подняло меня из корзины и передало на весу щупальцу из другой. Повертев меня перед ее передним иллюмина-

тором (оказывается, у цилиндров впереди и по бокам тоже имеются иллюминаторы, только значительно большие, чем задние, обращенные к корзинам), второе щупальце таким же манером передало меня третьему. Точно таким же путем я был передан следующему щупальцу, и, после того как меня подробно осмотрел экипаж четвертой машины, я был благополучно возвращен «домой», в свою корзину.

Во время этих захватывающих перелетов меня приветствовали из своих корзин пленные, которых я меньше часа тому назад пас в разрушенном доме. В ответ я махал им рукой, улыбался и кричал:

— Ну, вот видите! Я нисколько не боюсь!.. Это наши подлинные друзья!.. Они нас всех подробнейшим образом изучат и отпустят по домам!..

Я еще не успел как следует прийти в себя после этого головокружительного воздушного променада, как крышки всех машин одновременно приподнялись и щупальца каждой перенесли по человеку внутрь своих цилиндров.

Что ни говори, а потребуется еще, вероятно, некоторое время, покуда я научусь с должным спокойствием переносить подобные сцены. Как все-таки счастливы по-своему цыплята, которые и понятия не имеют до самого последнего мгновения, зачем их понесли на кухню!.. Эти люди, которых щупальца уносили в глубь цилиндров на неминуемую и уже совсем близкую смерть, улыбались, смеялись, махали тем, кого они оставили в корзинах, как мальчишки, особенно высоко взлетевшие на «гигантских шагах».

А те, кто оставался еще в корзинах, кричали им, чтобы они не особенно задерживались внутри цилиндров, потому что всем интересно поближе посмотреть на марсиан.

Правда, из одного цилиндра раздался пронзительный человеческий вопль и довольное уханье марсиан, прежде чем крышка над ними окончательно завинтилась. Все оставшиеся на воле, то есть в корзинах (как все в конце концов относительно!), встревоженно взглянули на меня. И хотя меня самого проби-

рала нервная дрожь, я нашел в себе силу воли улыбнуться и крикнуть:

— Нечего сказать, хорошее у них составится мнение о нашем пресловутом спокойствии!..

Я почувствовал себя лучше лишь тогда, когда машины наконец развернулись в каре и выступили в очередной боевой поход.

И тут, когда я уже думал, что обо мне, наконец, забыли и что мне удастся хоть немного отдохнуть от этого сверхчеловеческого напряжения нервов, шторка в моем иллюминаторе раздвинулась. В нем показались не то две, не то три пары глаз (от волнения я позабыл, сколько в точности). Затем одно из щупалец, висевших до этого отвесно вдоль стенки цилиндра, вдруг взмыло в воздух, сделало плавный полукруг, и самый его конец повис перед моим ртом. Что-то внутри щупальца щелкнуло, и у моего рта оказалось нечто продолговатое, прозрачное, объемом с чайный стакан. Это нечто было заполнено чем-то темным, жидким...

Мой отказ был бы равносителен подписанию самому себе смертного приговора и не принес бы никакой пользы никому, в том числе и несчастной жертве...

Впрочем, я все больше проникаюсь уверенностью; что с их стороны это было не только испытанием моей преданности пришельцам с Марса. Возможно, что там, на их далекой планете, этим угощают гостей, всех, кому они хотят сделать приятное. Ведь в каком-то смысле я находился у них в гостях. В таком случае мой отказ мог быть воспринят как оскорбление и иметь не менее далеко идущие последствия.

Трудно пересказать, что я передумал за эти короткие мгновения. Я подумал о своей семье, которая в случае отклонения мною этого угощения осталась бы без главы и кормильца в эти тяжкие времена. В то же время я твердо сознавал, что никогда еще судьбы моей страны и всего человечества так не зависели от того, проявит ли или не проявит единственный человек чисто условное чувство брезгливости... Я уверен, что и тот, кто только что стал в нашем цилиндре жертвой особенностей марсианско-

го питания, легче умирал бы, если бы знал, что и он, пусть столь пассивным и косвенным путем, участвует в борьбе за превращение своей страны в младшего партнера самых могущественных властителей, которые когда бы то ни было появлялись на просторах нашей старой планеты...

К чести марсиан, они даже не заставили меня выпить все до конца. Щупальце отплыло от моего рта, а в иллюминаторе снова, уже в третий раз за время моего пленения, появилась пластина с крючковатым крестом. Теперь уже у меня не было никакого сомнения. Это могло означать только одно: они были мною довольны.

Итак, первый этап установления взаимопонимания между марсианами и человечеством можно считать завершенным. И радостно сознавать, что именно меня господь избрал на этот высокий подвиг. Нет теперь и не было никогда на всем земном шаре человека, обладающего такими поистине неограниченными возможностями воздействия на дальнейший ход мировой истории на страх всем подрывным элементам и для вящей славы христианской европейской цивилизации!

Задача теперь в том, чтобы выработать необходимый язык для более детального и точного общения с марсианами. Но в этом я смиренно полагаюсь на них, у которых интеллект так далеко ушел вперед по сравнению с человеческим.

Пятница, 26 июня. Четыре часа полудни.

Правильней всего было бы высадить меня на землю и дать мне возможность любым путем передать правительству их ультиматум и мой проект сотрудничества и государственного объединения. Я уверен, что мой проект нашел бы понимание у большинства министров и членов палаты лордов. Но не было решительно никакой возможности объяснить мой план марсианам. Приходилось поэтому ограничиться тем, чтобы давать им кроки местности и такие схемы боевых действий, которые обеспечили бы наименьшее количество жертв среди мирного населения и наименьшие

разрушения невоенных объектов. Вот когда мне и, надеюсь, Англии пригодилось то обстоятельство, что военная школа, питомцем которой я являюсь, проводила учебные маневры как раз в тех местах, где сейчас ведут свое наступление марсиане.

Как военный, никогда не осквернявший свою репутацию ложью, я обязан заявить, что на первых порах недооценивал военный и технический гений представителей этой знаменитой планеты. Оказывается, кроме тепловых лучей, на их вооружении имеется еще одно неотразимое оружие — черный дым. Они выпускают на объект нападения клубы черного дыма, который душит все живое, но оставляет совершенно целыми и невредимыми строения, машинное оборудование и прочие предметы материальной культуры! Дым постепенно оседает в виде черного порошка, из которого, на мой взгляд, можно изготавливать первоклассные красители для текстиля и промышленных лаков.

Порошок этот следует убирать как можно скорее, потому что первый же дождь смывает его без остатка.

Суббота, 27 июня. Десять часов утра.

Никогда я еще не имел таких оснований считать себя идиотом! Я мог, я обязан был предусмотреть эту возможность!

В самом деле. Каждый вечер мы возвращались на Хорселлскую пустошь по одной и той же дороге. Каждое утро мы отправлялись по той же дороге в обратном направлении. Навстречу новым победам? Бесспорно. Но ведь и навстречу неизвестности. Я не имел права успокаиваться на том, что армейские части откатились далеко на северо-восток.

И все же кто мог подумать, что неожиданности грозят нам со стороны каких-то штатских!

Правда, что-то вроде искорки сомнения вспыхнуло у меня еще вчера, когда мы возвращались на пустошь. Мой взгляд упал на велосипедный завод, вернее, на то, что от него осталось. Его обгоревший и полубрушившийся остов мрачно и как-то угрожающе чернел у обрыва крутого и широкого оврага на ярко-

оранжевой стене заката. Я патриот, горжусь индустриальной мощью Британии, но смею все же заявить: терпеть не могу индустриальных пейзажей. Они портят мне настроение. Они портят буколическую красоту доброй, веселой старой Англии. Они портят людей, которые приходят на предприятия законопослушными и доверчивыми верноподданными короны. Они портят молодых людей призывного возраста.

Мне пришло в голову, что лишней порцией теплового луча дела не испортишь. Я торопливо набросал на бумажке контуры завода, а над ними — разрывы снарядов.

По меньшей мере полминуты две боевые машины тщательно прожаривали заводской скелет, пока он окончательно не осыпался и не превратился в смрадную грудку полурасплавленного и потрескавшегося кирпича.

И все же этого оказалось недостаточно.

Два часа тому назад, как раз недалеко от этих проклятых развалин неожиданно взлетела на воздух одна из боевых машин. Она спокойно, не встречая на своем пути препятствий, шагала третьей справа от нашей, пока не достигла того единственного узкого места, где можно было перешагнуть через овраг. И тут раздался оглушительный взрыв.

Теперь-то я знаю, что это сработала адская машина, предательски замаскированная дерном и битым кирпичом. А тогда я увидел, как внезапно вырос огненный холм в темно-рыжем нимбе вздыбленной земли. Треножник несчастной боевой машины как бы растаял; ее цилиндр боком грохнулся в овраг и покатился по нему, как неправдоподобно громадная консервная банка. Мы кинулись на помощь, но были еще ярдах в пятистах от него, когда крышка цилиндра отлетела прочь и из нее показались первые щупальца. Это было безумие! Это было так непохоже на осторожных и осмотрительных марсиан. Они должны были ждать нашего прибытия и уже тогда только отвинчивать крышку!

И вот я увидел, как откуда-то, видимо из норы во внутреннем склоне оврага, полетела в открытый

цилиндр вторая адская машина, и со всеми, кто не успел еще выбраться, было покончено. Ключья кровавого мяса брызнули во все стороны и оглушили единственного марсианина, которому к этому времени удалось отползти от цилиндра ярдов на пятнадцать. Его расстреляли в упор из дрянных охотничьих ружей два обросших человека в рваной, отвратительно грязной одежде, опоясанные дешевыми матерчатыми патронташами.

Нет, они не стали удирать от нас. У них хватило мозгов, чтобы понять, что убежать от марсиан невозможно. Они перезарядили ружья и стали палить по приближавшимся цилиндрам. С таким же успехом они могли бы стрелять из рогаток по Дуврским скалам.

О, если бы марсиане догадались хоть на несколько минут спустить меня на землю! Я бы придушил этих мерзавцев собственными руками. Но марсиане оказались умнее меня. Надо еще и еще раз воздать должное великолепному хладнокровию и блистательной расчетливости этих прирожденных завоевателей.

Они взяли их живьем! Они взяли их живьем и швырнули в мою корзину. А пока они еще извивались высоко над моей головой в могучих щупальцах, в иллюминаторе мелькнула знакомая табличка с крючковатым крестом: марсиане целиком полагались на мою преданность и сообразительность. И, смею надеяться, я не обманул их надежд!

Пленники не очень удивились, обнаружив в корзине еще одного человека.

С минуту они тяжело дышали, упершись спинами в стенку цилиндра.

— Вот это здорово! — воскликнул, наконец, младший из них, невысокий, тонкогубый, кудлатый, как пудель, вытаскивая дрожащими руками из кармана старенький кожаный портсигар. — У нас тут собралась неплохая компания! Хотите закурить? — протянул он мне портсигар.

Этот невзрачный малый был в состоянии крайнего возбуждения. Второй, высокий, широкоплечий, с загорелой лысиной, обрамленной по сторонам плохо

подстриженными седыми волосами, был внешне спокоен.

Вот и говорите после этого, что нет на свете наития! Я повел себя с ними, как равный с равными. Я взял сигарету, и мы закурили.

— Видали? — торжествующе продолжал кудлатый, судорожно затянулся и закашлялся. — Полный ящик марсиан ко всем чертям!

— Великолепно сработано! — ответил я. — Никогда бы не подумал, что такое возможно.

— Возможно! Все возможно! — расхохотался (подумать только, в таком положении расхохотался!) кудлатый. — Плохо вы знаете англичан, сэр!

— Я надеюсь, что вы не откажете мне в чести быть англичанином, — возразил я с улыбкой, которая стоила мне очень многого.

— Прошу прощения, сэр, — спохватился кудлатый. — Я не хотел вас обидеть... Я только хочу сказать, что просто так англичане не сдаются... Что мы еще повоюем...

Его перебил лысый:

— Ходят слухи, что они питаются людьми... Что они якобы кормятся человеческой кровью...

Видимо, он не терял еще надежды, что я отвечу на его вопрос отрицательно. Но я утвердительно кивнул головой.

Лысый помрачнел еще больше и замолк надолго.

— Еще вчера нас было трое, — сказал я.

Казалось, что на кудлатого мои слова не произвели никакого впечатления. Он продолжал упиваться своей пирровой победой. Глаза его лихорадочно блестели.

— Даже помирать не так обидно, когда знаешь, что отправил на тот свет полную кастрюлю этих чертовых чудищ!

Он сделал несколько глубоких затяжек, швырнул окурок за борт корзины и не совсем последовательно добавил:

— А что, если выпрыгнуть из этого лукошка?

— Поймают, — сказал я с самым обреченным видом. — Разве только, когда вернемся в пустошь.

Ночью... А пока давайте знакомиться. Томас Браун.
Бухгалтер.

— А что! — запальчиво заметил кудлатый. — Среди бухгалтеров тоже попадаются совсем неплохие парни!

Видимо, он хотел сказать мне нечто приятное.

В интересах дела я проглотил эту пилюлю. Мне надо было во что бы то ни стало заставить его разговариваться.

— Вчера мы тут с одним парнем, ирландцем, попробовали было улепетнуть, — продолжал я. — Между прочим, тоже палили из ружья, и тоже из охотничьего...

— И что? — спросил кудлатый.

Я пожал плечами.

— Они его сожгли? — спросил кудлатый.

Я отрицательно покачал головой.

— Противно! — промолвил после коротенькой паузы кудлатый.

— Что ж, — вздохнул я, — давайте хоть на несколько часов знакомиться.

— Джек, — представился кудлатый. — Джек Смит. Литейщик.

— Фергюс Дэвидсон. Слесарь, — мотнул головой лысый и снова надолго замолк.

— Вы с этого завода? — кивнул я на развалины велосипедного завода.

— Подымай выше, с сэнткетринских доков! — горделиво ответил кудлатый.

Я поразился не на шутку:

— Вы хотите сказать, что вы пробрались сюда из Лондона?

— Потомственные почтенные кокни! — ответил оборванец таким тоном, словно он отрекомендовался пером Англии.

— Нас, докеров, голыми руками не возьмешь! — снова разгорячился он. — Мы, с вашего позволения, сэр, не бараны... Мы пораскинули мозгами и решили действовать... В нашем союзе...

Он вдруг замолк, вопросительно глянул на Дэвидсона, словно спрашивая, можно ли выдать мне

военную тайну. Лысый утвердительно кивнул, и тогда кудлатый Смит простодушно поведал мне такое, от чего у меня потемнело в глазах.

Оказывается, лондонская чернь, и не только лондонская (кудлатый намекнул, что уже имеется договоренность и с Бирмингамом, и с Глазго, и с Манчестером, и с горняками Уэльса), собирается на свой страх и риск вести войну с марсианами. На манер испанских гверильясов. Нетрудно понять, что значит такая борьба в условиях капитуляции армии и к чему такая борьба может в конечном счете привести. Предо мной устрашающим призраком встала Парижская коммуна. Я содрогнулся, представив себе, к чему скатится бедная Англия, если вдруг случится чудо и эти ист-эндовские гверильясы победят марсиан. Чернь у кормила государственной власти!.. Лорд-канцлер — литейщик!.. Сапожник — в палате общин!.. Дети поденщиков и лакеев за одной партой с моими детьми!.. Моя жена — на фэйв о'клоке у кухарки!.. Все, что есть в Англии родовитого, богатого, просвещенного и тонко думающего, под пятой у торжествующего простонародья!

Нет, нет и еще тысячу раз нет! Пусть лучше все летит в тартарары, пусть Англия станет даже самой заурядной провинцией великой Марсианской империи, пусть нами правят немцы, американцы, французы, но только не взбунтовавшаяся безграмотная чернь! В каком поистине величественном ореоле предстали предо мною профессор Тьер и генерал Галифе, которые имели мудрость и мужество призвать пруссаков против сорвавшейся с цепи закона и религии парижской голытьбы!

Эти мысли буквально раскалывали на части мой мозг, а Смит с упоением разворачивал передо мною свои воинственные и столь далеко идущие планы. Как я ни старался сохранить на своем лице внимательное и даже благожелательное выражение, оно все же время от времени поневоле мрачнело, и кудлатый думал, что это потому, что я не верю в выполнимость столь заманчивых планов. Он амикошонски хлопал меня по плечу, он старался меня подбодрить!

А я с тоской мечтал о той сладостной минуте, когда милосердные щупальца избавят меня от этого вонючего общества грязных и страшных плебеев...

Наша боевая машина уже давно продолжала свой путь на левом фланге каре.

— Я бы отдал жизнь за то, чтобы принять сильное участие в нашей общей борьбе, — сказал я, надеясь узнать, где и как можно будет найти штаб этих заговорщиков.

— Здесь, в корзине? — усмехнулся лысый.

— Я сегодня ночью снова попытаюсь бежать, — перешел я на шепот, то и дело с подчеркнутой опасливостью оглядываясь на иллюминатор.

— Вы все-таки считаете, что есть шансы? — загорелся приунывший было кудлатый.

— К сожалению, мы ничем не рискуем.

— Вот то-то и оно! — жарким шепотом поддерживал меня кудлатый. — На всякий случай запомните адресок. Может, вам в Лондоне пригодится... — Он снова глянул на лысого, испрашивая у него разрешение, и лысый снова разрешил. — Олдгейтхайстрит, угол Миддлэссекстрит... Запомнили?.. Второй дом от угла, там, где «паб»¹, забыл вдруг, как он называется...

— «Голубой лев», — подсказал лысый.

— Правильно, «Голубой лев», во дворе спросите инженера Стеффенса...

— Инженера? — неприятно поразился я. Мне было дико представить себе образованного человека в компании с подобным отребьем.

— Инженера, — подтвердил кудлатый. — Расскажите, что мы с Дэвидсоном уничтожили марсианскую машину.. Это придаст ребятам бодрости... А может быть, нам повезет и всем троим удастся убрать ноги подальше, тогда нам с вами, сэр, большущие дела еще предстоят!..

Тут его взгляд впервые остановился на уголке корзины, в котором были сложены мои запасы. Он мог

¹ Pub (сокр. от public house) — бар, пивная.

спросить, что это такое, и тогда я влип бы в неприятную историю.

— А что, если нам выпить по стаканчику брэнди? — спросил я с неплохо разыгранным радушием. — Все-таки веселее станет на душе...

— Брэнди? — удивились оба джентльмена.

— Осталось от вчерашнего парня, — соврал я.

И снова мне на выручку пришли мои верные и мудрые союзники!

Я увидел в иллюминаторе две пары неподвижных черных глаз и табличку, на которой был изображен какой-то знак.

Судя по обстановке, это мог быть знак вопроса. Во всяком случае, я страстно хотел, чтобы это был именно знак вопроса. В таком случае у меня спрашивали, достаточно ли я выведал у наших пленных, не пора ли с ними кончать.

— Глаза! — закричал я страшным голосом. — Вы видите, они на нас смотрят! Сейчас они нас будут забирать к себе внутрь цилиндра, двоих из нас... Это их дневная порция — два человека... Надо спасаться!

И я стал суматошно «помогать» то одному, то другому взобраться на край корзины. А когда они заметили взметнувшиеся к нашей корзине щупальца, было уже поздно.

Через мгновение щупальца обхватили обоих воинствующих ист-сайдских джентльменов.

— Не забудьте, — крикнул мне, уже находясь высоко над корзиной, кудлатый Смит. — Инженер Стеффенс! Угол Олдгейтхайстрит и Миддлэссекстрит!.. И скажите, что мы умираем с гордо поднятой головой!..

— Не забуду! — весело крикнул я им в ответ. — Приготовьте ему место потеплее в аду, вашему инженеру Стеффенсу и всей вашей банде!

— Я вас не понял! — успел еще переспросить кудлатый, пока медленно отвинчивалась крышка цилиндра. — О чем это вы?.. Громче!..

— Будьте вы оба прокляты вместе с вашим грязным Дэвидсоном! — заорал я с диким торжеством. Если бы вы видели их лица!..¹

Суббота, 27 июня. Час пополудни.

Это была моя мысль — выйти на побережье, чтобы отрезать противнику путь эвакуации на ту сторону канала. К сожалению, они или не захотели со мной согласиться или плохо меня поняли.

Я им начертил ясную схему: идти вдоль побережья, но вне досягаемости артиллерии военных кораблей. Я даже, словно предчувствуя несчастье, нарисовал одну нашу машину у самого берега, и облачка вспышек снарядов вокруг нее, и военный трехтрубный корабль, ведущий по ней огонь. Но они, видимо, не разобрались в моем предостережении. Надо полагать, что у них на Марсе нет судоходных водоемов.

И мне выпала печальная судьба беспомощно наблюдать, как правофланговая боевая машина вступила в пролив так далеко, что треножник ее почти целиком скрылся под водой, и как прямо на нее помчался крейсер. Кажется, это был «Сын грома». Если это так, то на нем служит (вернее, служил) артиллерийским офицером старший брат Арчибалда — Фрэнсис. Конечно, я в таком отдалении не мог бы даже в бинокль увидеть моего несчастного кузена. «Сын грома» успел сделать только один залп из своих носовых орудий и попал-таки в правофланговую боевую машину марсиан. Снаряд разорвался внутри цилиндра и разметал в клочья весь его экипаж. Но перед тем как рухнуть в воду, машина, уже лишенная своего мозга, подняла все же трубу, испускающую тепловой луч, крейсер вспыхнул, как спичечный коробок, огонь мгновенно достиг его порохо-

¹ Эти страницы из записок майора Велла Эндью представляют, на наш взгляд, особый интерес. Г. Дж. Уэллс, которому человечество обязано потрясающими описаниями страшных дней марсианского нашествия, видимо, не знал об этом эпизоде. А между тем он говорит о многом. И прежде всего о том, что с разгромом кадровых вооруженных сил сопротивление марсианам отнюдь не закончилось. — *Л. Л.*

вых трюмов, и чудовищный взрыв довершил то, чего еще не успел сделать тепловой луч.

Как член фамилии Эндью, я почувствовал гордость за высокое мастерство и отвагу моего кузена Фрэнсиса Эндью. Как военный и патриот, я не мог не отдать должное мужеству и выдержке прочих офицеров и команды «Сына грома». Это было высоковольтное зрелище, в сравнении с которым тускнеет подвиг древних героев Фермопильского ущелья. Но как реальному политику мне было больно видеть, как бесполезно гибнет один из тех кораблей, которые вскоре потребуются нам с марсианами для объединенных и вдохновляющих действий во славу цивилизации и прогресса.

Первое, что мелькнуло у меня в мозгу, когда я увидел, как в облаках пара ушли под воду печальные останки правофланговой машины, — это вполне понятное опасение, как бы оставшиеся в живых марсиане не заподозрили, что я нарочно подвел их несчастных товарищей под огонь орудий Фрэнсиса. Но последовавшее после гибели боевой машины заставило меня устыдиться моих подозрений. Почти сразу после того, как развороченная снарядом машина, уничтожив безумный крейсер, сделала несколько шагов мористей и исчезла в водах канала, в иллюминаторе моего цилиндра показалась пластина с крючковатым крестом. Даже в такую минуту они нашли в себе силы, чтобы успокоить меня, подчеркнуть, что они меня ни в чем не винят! В такую минуту!.. Вот это военные!.. Были достойны всяческого восхищения быстрота и четкость, с которыми они перестроили свои ряды и двинулись на северо-запад, на Лондон...

Суббота, 27 июня. Восемь часов вечера.

Я все более убеждаюсь, что был прав в своих предположениях. Они и не помышляют об уничтожении всего населения. То, что они совершили с момента высадки, следует, очевидно, понимать как операцию по устрашению, которая должна была привести к прекращению военного сопротивления десанту.

Им ровным счетом ничего не стоило бы в несколь-

ко дней уничтожить Лондон со всеми его обитателями и двинуться дальше двумя колоннами на север и запад. Между тем лишь только они перестали встречать организованное сопротивление, марсиане начисто прекратили боевые действия. Лондон остался совершенно нетронутым.

Свершилось исторически неизбежное: марсиане стали повелителями Англии. На очереди дня — перенесение дальнейших боевых операций на континент. Я уже набросал для них соответствующую схему, которая, насколько я могу понять, служит сейчас предметом их обсуждения. Но прежде всего надо ликвидировать опасное гнездо на углу Олдгейтхайстрит и Миддлэссексстрит...

Я чувствую огромный прилив сил, в частности, и в связи с тем, что мы не продвинулись дальше юго-восточной окраины Лондона и что, следовательно, мои близкие вне всякой опасности. Бедные мои! Они, конечно, с ума сходят от беспокойства! Может быть, даже думают, что я погиб. Если бы они знали, что я жив, здоров, полон кипучей энергии и замыслов титанических масштабов!

Впрочем, насчет здоровья я, пожалуй, несколько преувеличил. Вчерашний дождь и ночевка под открытым небом наградили меня довольно противным насморком. Я промок до нитки и продрог до мозга костей. Вольно же мне было забыть об одеялах! Их можно было взять хотя бы в той самой лавке, где мы расстались с О'Флаганом. Но тогда, в спешке, мы думали прежде всего о пище и питье. А потом, когда О'Флаган угодил в цилиндр, мне было не до одеял.

И вот я чихаю и чихаю, точно кошка. Меня даже легонько знобит. В порядке профилактики я осушил больше полбутылки «Мартини». В Индии мне в подобных случаях всегда помогал коньяк. Поможет и на этот раз. Но, конечно, не сразу... А тут еще подул довольно свежий ветер с Темзы. Мы стоим ярдах в пятидесяти от берега. Отсюда до моей квартиры не больше семи-восьми миль... Черт возьми, я бы сейчас с удовольствием принял горячую ванну!

Воскресенье, 28 июня.

Это поистине гениальные существа! Они догадались, что мне в теперешнем моем состоянии было бы лучше в закрытом от ветра помещении!

Вчера, когда солнце уже скрывалось за Вест-Эн-дом, милосердное щупальце перенесло меня внутрь цилиндра. Меня сразу охватило благодатное чувство тепла и покоя, и я, почивав еще минут десять, заснул.

Я проснулся рано утром от вопля: марсиане подкреплялись перед деловым днем. Не скрою, мне с непривычки стало жутковато. Я зажмурил глаза и прикинулся спящим... Меня они не трогают!..

Я не заметил, как снова заснул. Меня разбудили мирные и еще не жаркие солнечные лучи, пробивавшиеся через иллюминатор.

Было четверть восьмого утра. Значит, я в общей сложности проспал около десяти часов, но чувствовал себя на редкость отвратительно. Болела голова. Очень хотелось пить, а все мои запасы остались в корзине.

Я подошел к иллюминатору, выходящему в корзину, и увидел, что в ней копошилось пятеро пленных: трое мужчин и две женщины с изможденными, голодными и полубезумными лицами. Одна из женщин (на вид лет двадцати) была в голубой жакетке с большими пуфами. На голове у нее чудом сохранилась газовая шляпка с нелепо болтающимися искусственными вишенками. Другая постарше, просто-волосая, с пышными рыжеватыми волосами, в моем вкусе. Одевается, видно, у первоклассного портного. Очень может быть, что это дама из общества.

Все пятеро с жадностью пожирали мои запасы. Та, которая с вишенками, случайно подняла глаза, заметила меня и испуганно вскрикнула. Двое мужчин (один из них — полицейский, без шлема, с обвисшими от истощения и давно не бритыми щеками, другой — типичный пожилой клерк, без пиджака, в жилете и грязном стоячем воротничке) вздрогнули и бросили на меня быстрый взгляд затравленных животных. Просто-волосая женщина и третий мужчи-

на (у него большая розовая лысина и желтые усы на нездоровом костистом лице) продолжали жрать, не обращая на меня никакого внимания.

Я отодвинулся от иллюминатора, но потом заставил себя снова приблизиться к нему. Эти опустившиеся существа возбуждали во мне какое-то болезненное любопытство. Неужели все лондонцы так быстро опустились?

Но только я успел прильнуть к прозрачной толще иллюминатора, как клерк вдруг сжал грязные кулаки и рванулся к иллюминатору с такой стремительностью, что я на какой-то миг забыл о том, что нахожусь за надежным прикрытием, и отпрянул в глубь цилиндра.

Мне стало стыдно моего малодушия, и я вернулся на свой наблюдательный пункт. Рядом со мной пристроился один из марсиан. Доверчиво положив мне на плечо одно из своих щупалец, он уставился на пленных.

Сейчас уже все пятеро лондонцев размахивали руками перед самым иллюминатором. Судя по их широко раскрытым ртам и ненавидящим лицам, они выкрикивали какие-то проклятия и угрозы. Несчастные пигмеи! Против кого они выступают?! Если бы они могли понять, кого они удостоились лицемерить перед тем, как превратиться в продукт питания!

Мне было стыдно перед марсианином за их вульгарное поведение и совершенно непристойный вид. Впрочем, не прошло и минуты, как они снова принялись уничтожать мои запасы.

На Темзе — ни суденышка. На берегу — ни души. У наших ног — мертвый Лондон. Очень хочется пить. Я чихаю почти беспрерывно.

Вдруг в моей голове возникает глупейшая мысль: «Интересно, подвержены ли марсиане насморку?..»

Я с досадой щупаю свои обросшие щеки. Завтра утром неделя, как меня в последний раз брил Мориссон. Интересно, жив ли он? Куда он делся? Не удивлюсь, если он, пользуясь суматохой, скрылся, захватив все более или менее ценное, что было в моей квартире.

Воскресенье, 28 июня. Вечер.

Они пришли в форменное остервенение, эти люди в корзине. Насытившись и утолив свою жажду, они схватили бутылки и пытались разбить стекло иллюминатора. Оно, конечно, выдержало, не дав ни трещин, ни вмятин, но бутылки одна за другой разлетелись вдребезги. В том числе и еще непочатые. В несколько минут они уничтожили все мои запасы пива и коньяка. Их руки были в крови от бесчисленных порезов. Покончив с бутылками, они стали колотить по иллюминатору кулаками, оставляя на нем кровавые следы. Сквозь него уже почти ничего не видно. Нет, один уголок, самый верхний, остался чистым. Им до него невозможно было дотянуться.

Поэтому мне удалось увидеть (марсианину, видимо, надоело, и он ушел), как клерк стал рвать на полосы скатерти, в которые была увязана провизия, скатывать эти полосы в жгуты и связывать в самодельную веревку. Чтобы удлинить ее, обе женщины порвали свои юбки и тоже скрутили из них жгуты. Бесстыдницы! Остаться в нижних юбках перед посторонними мужчинами! Боже, как тонок еще слой культуры в наших людях! Потом в ход пошли подтяжки и пояса мужчин. Связав из всего этого самодельный канат, клерк прикрепил его к краю корзины, а свободный конец перебросил наружу.

Им нельзя было позволить убежать. Они могли своей безответственной панической болтовней создать нам немалые затруднения.

Я жестами привлек внимание моих марсиан к готовящемуся побегу. Странно, почему они так вяло передвигаются? Во много раз медленнее, чем тогда, на пустоши близ Уокинга. Но вот один из них дополз, наконец, до какого-то выступа на стене, нажал кнопку. Я вижу, как мешкотно, словно нехотя, вздымается по ту сторону цилиндра щупальце и невыносимо медленно плывет в воздухе к корзине.

Но бунтовщики (я их иначе не могу назвать) заметили, что щупальце пришло в движение. При помощи клерка (он переплел перед собой обе свои

ладони, и остальные становятся на них, как на скамейку) они один за другим перемахивают через высокий край корзины и, ухватившись за канат, начинают спускаться. Своих шлюх они пустили первыми! Джентльмены, с позволения сказать! Я вижу только напружинившийся канат, закрепленный торопливым узлом. Неужели он выдержит всех пятерых? Он не должен, не имеет права выдержать!.. Слава богу, не выдержал! Оборвался!..

А вспотевший и обезумевший от ужаса клерк пытается подпрыгнуть до края корзины и не может. Не те годы, сэ! Опершись спиной о стенку, он как замороженный смотрит на медленно приближающееся беспощадное щупальце. Вот оно, наконец, достигло цели, попыталось (да, только попыталось!) схватить бешено сопротивляющегося клерка... Впервые за все время моего пленения я вижу, как человеку удается отбиться от щупальца!.. После нескольких бесплодных попыток оно бессильно падает, глухо звякнув о цилиндр...

Что-то неладное творится с нашей машиной...

Ужасно хочется пить...

Кажется, вторник, 30 июня.

Два дня у меня во рту не было ни крошки пищи, но голода я совсем не чувствую. Мне очень хочется пить.

Удивительно, что все четверо марсиан совершенно не движутся. Они обмякли на полу, как четыре большие кучи темно-бурого, тускло лоснящегося студня. Они только изредка вздрагивают, словно сквозь них пропускают гальванический ток...

Отвратительно пахнет. Душно. Очень жарко. Хоть бы дождь пошел и остудил раскаленные солнцем стенки и крышку цилиндра!

Непонятно, почему мы не движемся, почему стоят на месте и остальные боевые машины? Три из них находятся в пределах нашей видимости. Почему над одной из них выются тучи воронья? Почему марсиане третьи сутки обходятся без пищи и даже не

пытаются напасть на меня? Потому что они видят во мне своего союзника? Вряд ли. Они не настолько сентиментальны. Они вообще не сентиментальны... У меня мелькнула смешная мысль: «А вдруг они заболели?.. Чем? Насморком? Все? Все сразу и в нашей и во всех других машинах? Фу, глупости какие!..»

Скорее всего, они все-таки отдыхают. Они, очевидно, как и люди, нуждаются в отдыхе, но только через значительно большие промежутки времени, нежели жители Земли... Ну, конечно, это так, это именно так... А вот я, пока они изволят отдыхать, определенно погибну от жажды, если они не вберут хотя бы на полчаса треножник или не спустят меня на Землю любым другим путем...

Четверг, второго июля (?)

Я схожу с ума от жажды...

Теперь они, кажется, совсем уснули. У них глаза стали какими-то невидящими. Смотрят сквозь меня тяжело, неподвижно, как тот мастер по кровяным колбасам, когда я с ним впервые встретился. Они очень редко, судорожно и очень слабо вздыхают. Где-то совсем близко, над самой моей головой, все время, ни на секунду не умолкая, звучит душевнматывающий, громкий, как пароходный гудок, однотонный вой: «Ула-ула-ула-ула!»

И даже на таком отдалении и через толстые стенки нашего цилиндра до нас доносится такой же вой остальных машин: «Ула-ула-ула-ула!»

От этого воя можно сойти с ума, даже если человек и не умирает от жажды.

Я пытаюсь обратить на себя внимание марсиан. Я рисую перед ними на бумаге машину с вобраннм треножником, бутылку, из которой льется вода, но они никак не откликаются. Я чувствую, как во мне пробуждается глухая ненависть. Почему они так безразличны к моей просьбе? Ведь они прекрасно понимают, что мне нужно, необходимо немедленно напиться или я погибну! Черт с ними, попытаюсь сам.

Я начинаю обходить по кругу внутреннюю стену

цилиндра и нажимаю на все попадающиеся на моем пути кнопки. Одно за другим вяло вздрагивают и снова бессильно повисают, как плети, все наружные щупальца. Я бреду дальше, держась за стенку, чтобы не упасть, с трудом обходя застывшие, но от этого еще более зловеще расплывшиеся тела марсиан. Нажимаю какую-то, бог весть какую по счету, кнопку. Рев над моей головой усиливается во много раз. Теперь от него дребезжит раскаленная крышка нашего цилиндра. Я торопливо нажимаю соседнюю кнопку. Слава богу, вой прекратился. Стало тихо до звона в ушах.

Ох, как у меня закружилась голова! Я, кажется, на какое-то время потерял сознание. Во всяком случае, я вдруг обнаружил, что лежу на полу. Мне стоило большого труда подняться на ноги, еще большего — продолжить поиски нужной кнопки. Я обошел уже почти всю стену — и все безрезультатно. Очевидно, требуется определенная комбинация кнопок. Если это так, то я погиб... Ага, вот еще какой-то рубильник...

Я повисаю на нем всем своим телом. Машина вздрагивает и еле ощутимо начинает передвигать ноги. Это мне совершенно ни к чему. Я пытаюсь вернуть рубильник в исходное положение, но для этого у меня уже не хватает сил...

Мы движемся к берегу!.. С фантастически ничтожной скоростью, чуть быстрее черепахи, но безостановочно и неотвратно. И я ничего не могу поделать. Я слишком слаб, чтобы остановить это движение. Через пять-восемь-десять минут машина войдет в Темзу. А еще через минуту она уйдет под воду.

Но ведь можно попытаться отвинтить крышку. Боже, только бы отвинтить ее, и я спасен!

Где же тут кнопка, рубильник или штурвальчик, который открывает крышку? Я был настолько беспечен, что не поднимал даже головы, нажимая эти легионы одинаковых кнопок! Я снова перебираю одну кнопку за другой, один штурвальчик и рубильник за другим. Ими густо утыкана стена этой дьяволь-

ской марсианской кастрюли... Фу, вот он как будто, тот самый марсианский рубильник! Но я уже не в силах, даже повиснув на нем всей своей тяжестью, оттянуть его вниз до конца. Крышка чуть сдвинулась по нарезу и остановилась... Остановилась!.. Значит, теперь вся надежда на то, чтобы пробиться через иллюминатор!

Я хватаю тяжелый металлический предмет — что-то вроде гаечного ключа — и пытаюсь пробить им то, что я условно называл стеклом иллюминатора. Я продолжаю в иступлении бить по стеклу изо всех сил и вдруг замечаю по ту сторону его сначала недоумевающее, а потом торжествующее лицо проклятого клерка. Это уже свыше моих сил!.. Я, я безнадежно заперт в этой огромной коробке из-под шпрот! Я, я буду медленно издыхать от жажды и удушья еще долго после того, как цилиндр уже будет покоиться на дне Темзы! А он, этот плебей, этот вонючий клерк в грязном стоячем воротничке, этот жалкий раб, только чудом избежавший смерти, смеется надо мной и еще может надеяться на спасение!

Чтобы не доставлять ему напоследок удовольствия, я бросаюсь (бросаюсь?! Я еле передвигаю ноги!) к другому иллюминатору со своим бесполезным гаечным ключом, к третьему... и убеждаюсь окончательно, что мне уже нет спасения...

А марсиане и вздрагивать перестали. Неужели они погибли? Погибли от насморка?..

Как мы еще каких-нибудь две недели тому назад смеялись над подобными соображениями!..

Что же делать?.. Они бы еще могли спасти и себя и меня... Но как им помочь? Как привести их в себя, вдунуть в их грузные и безобразные голово-тела жизнь хоть на четверть часа? Всего на четверть часа — и все было бы спасено: и наши жизни, и наши планы, то есть мои планы... У них уже совсем мутные зрачки... Мутные и мертвые...

Все!.. Кажется, теперь уже все кончено!..

Что это такое? Банка с печеньем? Зачем мне теперь печенье? Другое дело, если бы это была вода. Хоть глоток воды, и веселее было бы умирать! Прочь

эту банку!.. Хотя нет... Пусть моя семья узнает хотя бы из этих записных книжек, что их самый близкий, самый родной человек чуть не стал самым могущественным человеком за все время существования человечества.

Боже мой, что подумал бы, узнав о моей нелепой гибели, этот молодой демагог из Ист-Энда, этот наглый демагог Том Манн!.. Я хочу верить, мне необходимо перед смертью быть уверенным, что он уже погиб от руки марсиан, сгорел в тепловом луче, задохся в их черном дыму, раздавлен под развалинами обрушившегося дома! И инженер Стеффенс и вся его гверильянская банда. Боже, помоги мне быть в этом уверенным в самый последний мой смертный миг, и я уйду в царствие твое безропотно и с легким сердцем!..

Мне бы перед смертью хоть два денечка поуправлять Англией, чтобы навести настоящий порядок в стране, суровый, беспощадный, при полной поддержке всей военной мощи марсиан!..

Пора паковать книжки...

Мы уже вступили в Темзу...

Вода подступила к самому иллюминатору, она смыла кровавые следы на стекле, и я теперь ясно вижу, как этот проклятый клерк, даже не взглянув в мою сторону, быстро поплыл к берегу...

Стало совсем темно...

Где моя библия?..

НАУКА И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

ФАНТАСТИКА «ЧИСТАЯ» И «НЕ ЧИСТАЯ»

Расцвет научной фантастики характерен в общем для всех стран с высокоразвитой наукой и техникой, где они составляют основу роста производительных сил. Наибольшее свое развитие научная фантастика получила в англо-американской литературе. В Англии и Америке в 30-х годах нашего века и в первые годы после второй мировой войны издавались десятки (до 60!) журналов, специально посвященных научной фантастике, печатались тысячи рассказов, новелл, романов. Организовались даже специальные издательства. Подобного этому полноводному (хотя и мутному) потоку не было ни в каких других странах. Интересно, что, несмотря на былое первенство в науке, Германия дала очень мало научно-фантастических произведений. Очевидной причиной этого послужила общая деградация науки и культуры при фашистском режиме.

Научная фантастика за рубежом многообразна. Американцы различают «чистую» научную фантастику, основанную на тех или иных серьезных научных положениях, и более «свободный» вид этого жанра, где в причудливом вымысле авторы сплетают оборотней и кибернетические машины, вампиров и космические корабли, привидения и высшие достижения

химии. Немало и так называемой научной фантастики, которая обходится даже без этой скромной научно-технической основы. Надуманный бред преимущественно религиозно-мистического оттенка лишь для занимательности оснащается переносом действия на другие планеты или в отдаленное будущее. Иногда местом извечной борьбы добра и зла становится какая-нибудь лаборатория с маньяками-учеными во главе.

Сами читатели издеваются над подобной литературой, называя ее «БЕМ»-литературой («Bug and Monster»), подчеркивая постоянное присутствие чудовищ или гигантских насекомых, вторгающихся на Землю из космоса или встречающих астронавтов на планетах иных звезд. Другое издевательское название для таких произведений — «ЭмЭс» (Mad Scientist) — безумный ученый, то есть гениальный одиночка, открывающий ужаснейшие способы истребления людей или потрясения всей планеты — очень частый аксессуар англо-американской научной фантастики. Наконец третья прозвище также метко выделяет основу еще одного вида произведений: «Ю. Л.» (Urheaval literature), то есть литература катастроф, непременно случающихся с нашей бедной Землей или с иными планетами, если действие перенесено в иные звездные системы. Ядерная война, сметающая цивилизацию и перерождающая человечество в толпу вампиров, крысо-людей или, в лучшем случае, в дикарей. Или это вспышка сверхновой звезды, нередкая и нашего собственного Солнца, сжигающая начисто всю жизнь. В последнее время — столкновение со звездой из антиматерии. Даже видные писатели-фантасты идут этими утопанными дорогами. Немалое число авторов использует фантастику для открытой религиозной пропаганды. Характерный пример — три романа видного английского писателя Льюиса о борьбе бога и дьявола на трех планетах — Венере, Земле и Марсе. Совсем недавно появился мастерски написанный роман Уолтера Миллера «Гимн Лейбовицу», где изображается всемирное возрождение римско-католической церкви после кру-

шения культуры и всеобщего одичания из-за ядерных войн. В этом романе церковь, хотя и данная в несколько гротесковом плане, все же единственный собиратель и хранитель былых научных знаний. Пожалуй, еще чаще научная фантастика становится детективом, где гангстеры и сыщики прикрыты лишь фиговым листком науки, а череда убийств и преследований украшается пейзажами космических перелетов или иных планет. Эта разновидность наиболее распространена.

Даже самые блестящие представители американской научной фантастики, такие, как Исаак Азимов, известный, очень образованный ученый-биохимик, отдали дань научно-фантастическому детективу. Азимов написал с десяток романов, в которых действуют сделанные «под человека» роботы — космические сыщики.

Следует упомянуть еще об одном любопытном явлении, чтобы показать, насколько разнообразна маскировка под научно-фантастическую литературу. Талантливый писатель Рэй Бредбери отнесен к первому десятку американских научных фантастов. Однако все произведения этого писателя проникнуты ненавистью к науке и страхом перед ней, которые он даже не очень скрывает. Произведения Бредбери, пожалуй, первый случай в истории литературы, когда полные ненависти к науке произведения сочтены выдающимися образцами «научной» фантастики. Это как нельзя лучше показывает, насколько велика путаница в представлении о жанре, его пределах и назначении.

К чести англо-американских читателей, они начали разбираться в существе вопроса значительно раньше критиков и литературоведов.

Положение научной фантастики в Америке за последние годы очень характерно. Читателям надоели пустые, хоть и хитроумные выдумки о космических шпионах и безумных ученых, приелись убийства и детективы, их тошнит от психологических извращений. Стало понятным, что описания ужасающих катастроф в земном или всегалактическом масшта-

бах — не больше как литературный прием. Сам по себе неплохой, придающий внешнюю увлекательность неглубокому произведению, этот прием, будучи повторен тысячи раз, уже превратился в дешевку, литературный штамп. Читатель все больше разбирается в науке, верит в нее, интересуется ею и легко разгадывает прежде «сходившие с рук» разнообразные маскировки.

Поэтому медленно, но неуклонно отходят в небытие все побочные, мусорные побеги научной фантастики, уступая место «чистой» научной фантастике, завоевывающей все более широкую аудиторию. Но процесс идет еще дальше. За последние годы в Англии и Америке большое число признанных авторов отходит от традиционных форм этого жанра и приближается к традициям и требованиям «литературы главного потока», как говорят американцы, или к «большой литературе», если пользоваться принятым у нас термином. Это вызвано настойчивым предпочтением читателями «чистой» научной фантастики. Специальные научно-фантастические журналы и альманахи прогорают и закрываются один за другим. Только за 1958 год число научно-фантастических журналов сократилось с 21 до 10, за 1959 год «прогорело» еще три альманаха, в 1960 году из вновь открывшихся в 1958—1959 годах четырех новых журналов не осталось в «живых» ни одного. И в то же время научно-фантастические произведения проникают с каждым годом все больше в толстые журналы общелитературного характера и специальные программы телевидения, а книги на эти темы охотно издаются все возрастающим числом издательств.

Анализ этого противоречия занимает наиболее крупных редакторов и писателей научной фантастики.

Джюдит Меррил, писательница и редактор многих научно-фантастических сборников, правильно чувствует современное положение жанра. В заключительной статье к сборнику научной фантастики за 1959 год Меррил считает, что этот жанр покидает

свои прежние формы и поднимается на новый уровень. Бурный прогресс научных исследований сделал самые фантастические гипотезы и предположения объектом научного исследования. Каждое новое соображение, пусть еще весьма спекулятивное (то есть неразработанное и не подкрепленное нужным количеством научных наблюдений, опытов и фактов), немедленно подхватывается и подвергается изучению. Исаак Азимов в письме к Д. Меррил заявляет: «Даже самые безумные идеи или такие, которые были совершенно ненаучными несколько лет назад, сейчас подвергаются серьезному исследованию учеными и, чудо из чудес, освещаются в печати без всякой иронии или шутки. Как ни быстро идет прогресс науки, он не вторгается и не может вторгаться в научную фантастику, хотя, между нами, он может вторгаться в читателей научной фантастики, удовлетворяя их самих успехами науки и избавляя их от необходимости чтения научной фантастики».

Меррил полностью соглашается с Азимовым. Литература логических соображений теряет свою обособленность, растворяясь в «большой» литературе. «Научная фантастика как категория если не мертва уже, то обречена, так пусть здравствует научная фантастика (большая литература и путь мышления)!» — восклицает Д. Меррил в заключение.

В приведенных, пока еще не очень ясных, соображениях, однако, как нельзя лучше отражено то самое главное обстоятельство, которое странным образом отрицается И. Азимовым, — огромное, я бы сказал, определяющее влияние научного прогресса на фантастический жанр литературы.

Д. Кэмпбелл, который в течение 20 лет редактировал ведущий и самый серьезный журнал англо-американской научной фантастики «Эстаундинг Сайенс Фикшн», опубликовал призыв к своим читателям вступать в новое общество «Джентльменов — любителей науки», которое будет издавать свой собственный журнал, посвященный исключительно научному и техническому «дальнему теоретизированию» и фантазированию. Вот здесь и находится ключ к чет-

кому ответу на противоречия и те проблемы, которые занимают в настоящее время теоретиков англо-американской научной фантастики.

В нашей стране научная фантастика находится в самом начале своего большого подъема. Пока что ее расцвет определяется в большей степени ненасытным читательским спросом, нежели богатством тем, книг и мыслей.

Однако по строгому отношению к качеству литературы у нас мы избежали всякого мусора — мистики, демонов, оборотней, космических гангстеров и страшных убийств — всего, что основательно засорило зарубежную фантастику и заставляет относиться к ней с большой осторожностью. Наша научная фантастика вся «чистая», по американской терминологии. Она строится на более или менее прочной научной основе. По моему глубокому убеждению, только такая научная фантастика и может считаться подлинной, имеющей право на существование в этом жанре. Все другое, будь то даже полезные, идейные и хорошие по литературным качествам произведения типа памфлетной «фантастики», к этому жанру не относится.

Разговоры о точности научной документации, неизбежно возникающие на каждой дискуссии о фантастике, хотя безусловно правильны, но, пожалуй, уже запоздали. Научные ошибки и неточности абсолютно нетерпимы не только в научной фантастике, но и в «бытовой» литературе. Подобно тому как давно уже, с начала реализма, нельзя придумывать несуществующие детали жизни или искажать ее правду в произведениях общего направления, так теперь, в современном реализме, недопустимы невежество и погрешности в любых деталях научного характера. Но в отношении научной фантастики об этом даже не стоит много распространяться — это звучит вроде требования писать книги без орфографических ошибок.

Важнейшим вопросом прошедших у нас дискуссий о научной фантастике можно назвать соотношение науки и фантазии. Право писателя на безгра-

ничную свободу фантазирования отстаивалось с не меньшим энтузиазмом, чем противоположные требования строгого лимитирования писательского воображения точными данными современной науки. И, конечно, обе стороны, развивая свои положения логически односторонне, а не диалектически, были неправы.

Ортодоксальным защитникам писательской «свободы» было мало того, что в научной фантастике якобы обязателен примат фантазии над наукой. Нет, научная фантастика должна вести науку за собой; показывая ей новые направления и освещая пути в неведомое вдохновенным взлетом фантазии. Приверженцы «теории лимитирования» в своих крайних выражениях требовали обязательной проверки каждого научно-фантастического произведения учеными соответствующих специальностей.

КАКОВА ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ?

Современная наука настолько проникла во все области жизни общества, что стала решающим фактором в развитии производительных сил. Теперь уже наука вовсе не идет путями внезапных прозрений гениальных одиночек, размышляющих в тиши своих кабинетов или под липами уединенных усадеб. Благодаря накоплению гигантского опыта и колоссальным техническим возможностям наука поднялась на новую, качественно иную ступень. Отражение этого в сознании людей обуславливает, в частности, интерес к научно-фантастическому жанру литературы, успех его развития.

Именно в науке современный человек, отрешившийся от религиозных представлений о мире, видит единственную реальную опору как для построения нового, справедливого общества, так и «для души», для понимания своего места и значения в жизни. Но, вероятно, далеко не все ученые и писатели представляют себе всю необъятность накопленного человечеством научного опыта, всю широту фронта науч-

ных исследований и скорость их нарастания! В этом бесконечно многообразном хранилище исканий и размышлений человечества находятся истоки решительно всех научно-фантастических произведений, и еще несметное их количество ждет своих литературных открывателей.

В самом деле, лишь малая часть замеченных явлений, фактов, намеков природы разрабатывается методически и планомерно научными исследованиями. Гораздо большее число пока лежит втуне, может быть, храня в себе возможности самых заманчивых взлетов науки. Привлечение внимания к этим или еще не использованным, или забытым возможностям — одна из наиболее серьезных задач научно-фантастической литературы. Только в таком смысле поиска в стороне от главных линий научных исследований можно понимать «опережение» науки фантастикой.

Однако придется разочаровать писателей. Для того чтобы идти в научную фантастику этим путем, надо быть ученым, стоящим на переднем крае исследований, широкообразованным в области истории науки и накопленным ею фактов. Следовательно, надо работать сразу в двух областях, то есть находиться в наш век узких специализаций в самом невыгодном положении.

Теперь, когда мы начали яснее представлять себе устройство мозга, работу мысли и памяти, мы подошли к раскрытию процесса отражения мира в сознании человека, так гениально предугаданного основоположниками марксистской диалектической философии. Тем же закономерностям подлежит, конечно, и процесс «фантазирования». Поэтому, если писатель в своих фантастических предвидениях в самом деле опережает науку, то он может это сделать, лишь исходя из каких-то определенных познаний. И чтобы не получилось повторных гениальных открытий, вроде вторичного открытия дифференциального исчисления одесским сапожником в начале нашего века, познания писателя должны быть на уровне переднего края современной науки. Иными сло-

вами, это достижимо тогда, когда сам писатель ученый.

Вот почему научная фантастика и фантастика вообще не может состязаться с наукой в объяснении и овладении законами природы и общества. В этом смысле можно говорить о примате науки над фантазией.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ НАУКИ

Наука неоднородна и представляет собой процесс, развивающийся, как и все в мире, противоречиво.

Часть ученых, наделенных могучим и живым воображением, «фантазирует» в науке, двигается в ней как бы бросками. Другая часть, консервативная, аналитическая, движется в области открытий очень медленно, но прочно отвоевывая у природы неведомое. Такие ученые сдерживают и проверяют фантазирующих «скороходов». Если бы соотношение обеих частей было равным, то мы имели бы диалектически сбалансированное противоречие и быстрое движение вперед. Однако консервативная часть ученых гораздо многочисленнее, особенно в науках описательных, где воображение меньше значит, чем в физике или математике.

По аналогии с механизмом наследственности сдерживание фантазирования в науке совершенно необходимо, для того чтобы наука не превратилась в бесформенную массу теоретических спекуляций, а сохранила свою сущность — проверку опытом, искусственное воспроизведение природных процессов и овладение ими.

Но в совершенно равной степени (и в этом диалектика развития науки) стимуляция научных фантазий определяет темп научного прогресса. Но только когда «фантазирующая» часть ученых обладает столь же высокой (и лучше, даже еще более высокой) «закалкой» серьезной подготовки и дисциплиной мышления, как и «тормозящая» консервативная часть,

Пока все же число подобных ученых в любом научном коллективе невелико, что и вызвало известное замечание Эйнштейна: «Воображение важнее, чем знание!» Следует поправить Эйнштейна, что хотя его воображение и привело к открытию фундаментального закона соотношения массы и энергии, частичное овладение этим явлением природы потребовало чудовищного труда миллионов людей и громадных материальных затрат, пока мы не пришли к созданию ядерной энергетики.

В бурном разрастании дерева науки есть и другая аналогия с природными процессами, именно с процессом органической эволюции. История развития жизни на Земле показывает нам неисчислимое множество различных ответвлений на пути общего усовершенствования и приспособления организма к физическим, фазовым условиям биосферы нашей планеты. Каждое из этих ответвлений в общем ходе эволюции становилось своеобразным тупиком, задержкой общего прогресса вследствие приспособления к местным и частным условиям существования. Иными словами, разрешение бесчисленных противоречий, возникающих в ходе развития жизни, шло вначале путем частичного приспособления в данном месте и времени. Новое продвижение вперед на пути общего прогресса достигается новым, как бы обходным путем, ведущим не к приспособлению, а к преодолению местных, временных условий. Однако и оно при дальнейшем развитии обречено на новый «тупик», пока не возникнет другой обход вновь возникшего противоречия.

Все великое «дерево» развития жизни демонстрирует диалектический закон необходимости, проявляющийся через сумму случайностей. Необходимостью здесь являются общее усовершенствование организма, повышение его энергетики как биологической машины, усиление защитных устройств и увеличение долговечности. Случайностями — частные приспособления (частные для исторического пути огромной длительности). В ходе своего развития наука встречает также бесчисленное множество тупи-

ков, не разрешимых для формально-логического, дедуктивного метода мышления. Эти «тупики» преодолеваются обходным, зачастую совершенно неожиданным путем, с помощью диалектического мышления, которое мы нередко путаем с индуктивным методом. После обхода «тупика» вновь возникающая идея, теория, метод становятся ведущими, пока, логически продолженные и развитые, они не приходят к новому «тупику». Часто преодоление нового тупика совершается путем возврата к старому, брошенному методу или гипотезе, которые на новом уровне достижений науки становятся опять ведущими — до очередного тупика. Описанный ход развития науки находится в полном соответствии с законами диалектики. Я остановился на нем лишь для наглядной иллюстрации того, как много для прогресса науки значит «обходное» движение через смежные области знания или оставленные, ранее сочтенные невозможными пути.

Процесс этот находится в жестоком противоречии с узкой специализацией науки и научного образования. Узкая специализация ученых содействует быстрому разрешению частных вопросов, но в то же время мешает обобщению более широких проблем. Поэтому количество «тупиков» имеет тенденцию к возрастанию, тем более что ширящийся фронт исследований неуклонно увеличивает число широких проблем, объем и внутреннее содержание которых становятся настолько сложными, что они могут быть разрешены только при помощи многих смежных путей познания.

Не мудрено, что соответствующие организации у нас и в США — двух странах, где особенно велико число ученых и особенно сильна их специализация, — в настоящее время озабочены расширением образования ученых. Необразованный ученый — это звучит парадоксально, но лишь потому, что мы воспитались на старых представлениях об ученом как носителе энциклопедических познаний. Однако это совершенно реальное явление времени, с которым нужно серьезно считаться и которое обуславливает неправоту

сторонников строгого обуздывания научной фантастики. Проверка «точности» науки в научно-фантастических произведениях, порученная узким специалистам, принесет не пользу, а вред. Специалист сможет судить лишь по состоянию вопроса в своей узкой области, неизбежно ведущей в будущем к очередному тупику, и не в состоянии усмотреть того нового и положительного, что привносит научная фантастика из смежных областей знания. Вот почему, не будучи в силах вести за собой науку, научная фантастика в то же время не может быть отдана на расправу узким специалистам в науке и должна оказывать серьезное влияние на расширение кругозора ученых, а следовательно, и на развитие науки. Таково диалектическое решение вопроса о соотношении науки и фантазии.

ЛИТЕРАТУРА МЕЧТЫ И НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

Но этим далеко не исчерпывается взаимосвязь науки и научно-фантастической литературы, в которой, на мой взгляд, есть еще одна сторона первостепенной важности. Подавляющее большинство любителей и сторонников научной фантастики, равно как и сами писатели, соглашаются, что это литература мечты. На возражение, что мечта в совершенно равной степени свойственна любому художественному произведению, а социальная мечта составляет основу как утопических, так и многих исторических произведений, обычно отвечают: мечта в научной фантастике — дальнего прицела, и это, мол, отличает ее от других видов художественной литературы. Эти определения, очевидно, неточны. Само собой разумеется, в научной фантастике мечта занимает очень важное место, но какая мечта? Разве обязательно дальнего прицела? И как установить, далек или близок прицел? Мне кажется, что мечта о приложении научных достижений к человеку, к преобразованию природы, общества и самого человека составляет сущность настоящей научной фантастики. Показ

влияния науки на развитие общества и человека, отражение научного прогресса, овладения природой и познания мира в психике, чувствах, быту человека — вот главный смысл, значение и цель научной фантастики.

Здесь «обратная связь» с наукой приобретает большую значимость потому, что в такой литературе ученые увидят то, что иногда трудно осмыслить им самим, — действие их открытий и опыта в жизни и в человеке, причем не только положительное, но иногда и трагически вредное.

Не подлежит сомнению, что на этом пути научной фантастики осуществляется прямой контакт с социальными проблемами. Фантастика становится социологической, смыкается и переходит в большую литературу, выходя из границ своего жанра, но совсем не в том направлении, о каком думают американские теоретики научной фантастики.

Большое внимание, которое привлек роман «Туманность Андромеды», не только у нас, но и в самых различных странах, я объясняю прежде всего тем, что это произведение в какой-то степени ответило на общественные запросы.

Американская теория смыкания научной фантастики и научно-популярной литературы не представляется мне правильной. Успехи науки и ее ошеломляющие открытия сами по себе так интересны, что не нуждаются в художественном одеянии. Действительно, хорошие научно-популярные книги и статьи читаются нарасхват и привлекают куда больше читателей, чем иные произведения художественной литературы. Нелишне попутно посоветовать книготорговым организациям и издательствам учесть этот повышенный спрос на научно-популярные произведения и перепланировать тиражи.

Много лет ратуя за широкую популяризацию науки, я не могу не приветствовать от души появление отличных популяризаторских книг Д. Данина, М. Васильева (Хвастунова) и других, громадные тиражи и многочисленные переводы которых во всем мире как нельзя лучше подтверждают смещение ин-

тересов широкого читателя в сторону «просто науки» и служат грозным предупреждением для писателей-фантастов, ратующих за «чистую фантазию», за право писать пустяки, хотя бы и сделанные с большим художественным мастерством.

Но популяризаторский рассказ о науке — не путь научной фантастики, которая должна оставаться художественной литературой, как бы близко ни подходила она к научно-популярным произведениям и какими бы фантастичными ни казались смелые предположения ученых, вроде высказывания астрофизика И. С. Шкловского о природе спутников Марса. Подобные высказывания «фантазирующих ученых» всегда будут увлекать миллионы людей, возбуждать самый горячий интерес и питать научную фантастику.

Успех научной популяризации лишь подчеркивает, что прошло время, когда для пропаганды научных знаний приходилось снабжать их путешественнической, приключенческой или детективной декорацией. Теперь в сумме накопленных знаний и своей действительности наука интересна сама по себе. Роль научной фантастики для популяризации почти сошла на нет, а сочетание авантюрного рассказа с популяризацией науки, что прежде называлось научно-приключенческой литературой (и в которой я тоже пробовал писать прежде), уже отжило, не успев расцвести. Не популяризация, а социально-психологическая действительность науки в жизни и психике людей — вот сущность научной фантастики настоящего времени.

По мере все большего распространения знаний и вторжения науки в жизнь общества все сильнее будет становиться их роль в любом виде литературы. Тогда научная фантастика действительно умрет, возродясь в едином потоке большой литературы как одна из ее разновидностей (даже не слишком четко отграничиваемая), но не как особый жанр.

Составитель К. АНДРЕЕВ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Геннадий Гор</i> , Странник и время	3
<i>Аркадий Стругацкий</i> , <i>Борис Стругацкий</i> , Попытка к бегству	146
<i>Анатолий Днепров</i> , Подвиг	262
<i>Юрий Цветков</i> , 995-й святой	287
<i>Ариадна Громова</i> , Глеги	310
<i>С. Илличевский</i> , Исчезло время в Аризоне	369
<i>Анатолий Глебов</i> , Большой день на планете Чунгр	377
<i>Л. Лагин</i> , Майор Велл Эндью	405
<i>И. Ефремов</i> , Наука и научная фантастика	467

ФАНТАСТИКА, 1962 ГОД. С б о р н и к. Составитель *Андреев Кирилл Константинович*. М., «Молодая гвардия», 1962.

480 стр.

Редактор *Б. Клюева*. Художник *В. Носков*
Художественный редактор *Н. Печникова*
Технический редактор *А. Бугрова*

А08600. Подп. к печ. 25/Х 1962 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 15(24.6).
Уч.-изд. л. 23,9. Тираж 115 000 экз. Заказ 1193. Цена 87 коп.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия»,
Москва, А-30, Сущевская, 21